



Мамочка моя была молодой и прекрасной. Да и всё, происходившее со мной до войны, слилось во мне в светлое, лучезарное, радостное пространство, где все любили меня, гладили меня, носили на руках или на спине. Но ближе всех всегда была мама.

Это она уже смотрела на меня, улыбалась, когда я просыпался, и тут же целовала. Это она умывала меня и одевала, как будто нарочно оставляя бабушке всякую прозу жизни – горшок, зубную щетку, ничего не обозначающие фразы и много чего значащие наставления, которые всякое дитя пропускает мимо ушей, озираясь по сторонам, постепенно освобождаясь от тёплого, сладкого сна, вступая в новый праздник своей жизни и вовсе не думая о том, сколько будет ещё таких дней.

Мама убегала на работу – она всегда торопилась, оставляя на свои передвижения самое малое время. А когда прибегала, то кричала с порога моё имя, приближалась ко мне и тесно прижимала к себе мою голову.

Она работала в лаборатории железнодорожной поликлиники, а во время войны – в военном госпитале, но от неё никогда не пахло лекарствами или ещё чем-то не домашним. Но всегда – свежестью, чистотой и ещё чем-то поразительно приятным, вроде, к примеру, лесной хвои.

Теперь-то я знаю, что так пахнет молодость.

Когда человек полон желаний, радости, не заглядывая далеко, живёт счастливыми намерениями, которые непременно исполнятся, тогда от него веет свежестью, особым духом надежды, какой-то особенной силы, передающейся другим. Да! И сила имеет свой крепкий аромат!

# НАШ СОВРЕМЕННОК

*Журнал писателей России*



## № 1 2018

*Поздравляем наших читателей  
с Новым годом и Рождеством Христовым!*

**ХРИСТОВА КОЛЫБЕЛЬНАЯ**

*Солнце село за горою,  
Мгла объяла всё кругом.  
Спи спокойно. Бог с тобою.  
Не тревожься ни о ком.  
Я о вере, о надежде,  
О любви тебе спюю.  
Солнце встанет, как и прежде.  
Баю-баюшки-баю.*

*Солнце встанет над землю,  
Засияет всё кругом.  
Спи, родимый. Бог с тобою.  
Не тревожься ни о чём.  
Дух Святой надеждой дышит,  
Святость веет, как в раю,  
Колыбель твою колышет...  
Баю-баюшки-баю.*

*Веет тихою любовью  
В небесах и на земле.  
Что ты вздрогнул? Бог с тобою.  
Не тревожься обо мне.  
Бог всё видит и всё слышит,  
И любовью, как в раю,  
Колыбель твою колышет...  
Баю-баюшки-баю.*

Из поэмы Юрия Кузнецова  
"Детство Христа".

**Премия им. В. В. Кожина**



Ю. Убогий

**Премия  
им. Л. М. Леонова**



Д. Филиппов

**Премия  
им. Ю. П. Кузнецова**



Г. Шувалов

**Премия  
им. А. Г. Кузьмина**



Я. Сафронова

**Ежегодные премии журнала**



А. Байборodin



С. Бережной



Н. Беседин



В. Бушин



А. Водолагин



В. Ганичев



А. Касмынин



Е. Ларина



М. Любомудров



С. Михеев



В. Овчинский



И. Переверзин



В. Струж



С. Сырнева



М. Тарковский



## Содержание

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

У Ч Р Е Д И Т Е Л И:

Союз писателей России  
ООО «ИПО писателей»

Международный фонд  
славянской письменности  
и культуры

Издается с 1956 года

Главный редактор  
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Ю. В. БОНДАРЕВ,  
А. В. ВОРОНЦОВ,  
В. Н. ГАНИЧЕВ,  
Г. Я. ГОРБОВСКИЙ,  
Т. В. ДОРЕНИНА,  
**С. Н. ЕСИН**  
Л. Г. ИВАШОВ,  
С. Г. КАРА-МУРЗА,  
В. Н. КРУПИН,  
А. Н. КРУТОВ,  
А. А. ЛИХАНОВ,  
Ю. М. ЛОЩИЦ,  
С. А. НЕБОЛЬСИН,  
Д. Н. НИКОЛАЕВ,  
Ю. М. ПАВЛОВ,  
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,  
В. Д. ПОПОВ,  
З. ПРИЛЕПИН,  
Е. С. САВЧЕНКО,  
А. Ю. СЕГЕНЬ,  
В. В. СОРОКИН,  
С. А. СЫРНЕВА,  
А. Ю. УБОГИЙ,  
Р. М. ХАРИС,  
М. А. ЧВАНОВ,  
С. А. ШАРГУНОВ,  
В. А. ШТЫРОВ

Эхо юбилея ..... 3

### Проза

Александр ПРОХАНОВ  
Гость. Роман ..... 17

Дмитрий ЕРМАКОВ  
На берегу Леты.  
Рассказ ..... 84

Вадим АРЕФЬЕВ  
На Троицу у Патриарха.  
Из дневников писателя ..... 102

### Поэзия

Валерий ДУДАРЕВ  
Глубокий снег — предвестник  
дум глубоких ..... 13

Юрий К.ЛЮЧНИКОВ  
Огненные крылья ..... 81

Николай КОНОВСКОЙ  
Холод животворящий ..... 98

Мушни ЛАСУРИА  
“Друг без друга нас  
просто нет...” ..... 112

### Память

Станислав КУНЯЕВ  
“Дневник третьего  
тысячелетия” ..... 115

Андрей ТАРАСОВ  
Поэт шёл за хлебом ..... 158

### Очерк и публицистика

Сергей КАРА-МУРЗА  
Русские: два народа ..... 162

Сергей БУЗМАКОВ  
Записки учителя истории ..... 166

Татьяна МИРОНОВА  
Слово целительное  
и губительное ..... 187

Михаил ЗАРУБИН  
Беседы с Борисом Орловым ..... 198

Яков АЛЕКСЕЙЧИК  
Комплекс Болеслава ..... 216

## Редакция

Приемная —  
(495) 621-48-71

А. И. Казинцев —  
*зам. главного редактора* —  
(495) 625-01-81

Е. В. Шишкин —  
*зав. отделом прозы* —  
(495) 625-30-47

*Отдел прозы* —  
(495) 625-57-45

С. С. Куняев —  
*зав. отделом критики,*  
*отдел поэзии* —  
(495) 625-02-81

С. С. Зотов —  
*ред. отдела публицистики* —  
(495) 625-30-47

Е. Н. Евдокимова —  
*зав. редакцией* —  
(495) 621-48-71,  
факс (495) 625-01-71

Г. В. Мараканов —  
*зав. техническим центром* —  
(495) 621-43-59

М. А. Чуприкова —  
*гл. бухгалтер* —  
(495) 625-89-95

## Критика

Александр НЕСТРУГИН  
“У нетающего снега  
на краю...” ..... 228

Владимир БОНДАРЕНКО  
Певец Поморья ..... 236

Александр РАЗУМИХИН  
“Как наше сердце  
своеправно!” ..... 240

Алексей БАШИЛОВ  
Звезда полей ..... 277

## Среди русских художников

Станислав ЗОТОВ  
Он проклял войну,  
а погиб за Россию ..... 282

Некролог ..... 287

Творческие итоги 2017 года ..... 288

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках не реже двух раз в год. Каждая рукопись внимательно рассматривается и может, по желанию автора, быть возвращена ему редакцией при условии, что объем рукописи по прозе — не менее 10 а. л., поэзии — 5 а. л., публицистике — 3 а. л. Срок хранения рукописей прозы 2 года, поэзии и публицистики — 1,5 года. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Компьютерная верстка: Г. В. Мараканов; Операторы: Н. С. Полякова, К. К. Сейдаметова.

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова.

При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП “ПараТайп”.

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675.

Подписано в печать 09.01.2018. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 66-2018. Тираж 4500 экз.

*Подписаться на журнал по минимальной цене можно в редакции (пн.-чт. с 12 до 17 ч.)*

Адрес редакции: Москва, 127994, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2.

Адрес электронной почты: [n-sovrem@yandex.ru](mailto:n-sovrem@yandex.ru)

(Рукописи по электронной почте не принимаются)

Адрес сайта в интернете: [www.nash-sovremennik.ru](http://www.nash-sovremennik.ru)

Отпечатано в АО “Красная Звезда”, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.  
Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 [www.redstarph.ru](http://www.redstarph.ru) e-mail: [kr\\_zvezda@mail.ru](mailto:kr_zvezda@mail.ru)

## **Уважаемый, бесценный Станислав Юрьевич!**

Примите сердечные поздравления с юбилейным днём рождения!

Богато одарённый человек, Вы занимаете блистательные высоты в поэзии, публицистике, литературной критике. Для миллионов соотечественников Ваше Слово стало подлинным откровением, немеркнувшей путеводной звездой в пути к возрождению России.

Вы – бесспорный лидер и властитель дум в деле укрепления национального самосознания русских людей. Неукротимый общественный темперамент, яркий литературный талант, редкий дар убеждения и человеческое обаяние делают Вас прирождённым победителем, которому не страшны любые преграды.

Великолепный организатор, опытный руководитель, на протяжении почти тридцати лет Вы возглавляете журнал “Наш современник”. Благодаря Вашим высоким деловым качествам и мудрой, взвешенной политике сегодня это самый читаемый литературный журнал в Российской Федерации.

Искренне и от всей души желаю Вам новых побед и свершений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

К моему поздравлению присоединяются все писатели Вятской земли.

С уважением и любовью –  
**Светлана Сырнева**  
г. Киров

## **ОТ “СВОБОДНОЙ СТИХИИ”...**

Дорогой Станислав Юрьевич! Почти промыслительно в канун Вашего дня рождения, перебирая свою бессистемную библиотеку, встретил Вашу книгу-эссе “Свободная стихия”, изданную “Современником” около 40 лет назад и тогда же прочитанную мною с явным “пристрастием”. Обилие подчёркиваний текста, заметок на полях привлекло моё внимание, и я снова погрузился в страницы сборника, можно сказать, с духовным наслаждением. Многие Ваши мысли нашёл по-прежнему весьма глубокими, интересными, особенно в отношении самых любимых и мною поэтов, от Пушкина и Некрасова до Есенина, Заболоцкого, Смелякова, Рубцова... В размышлениях о Николае Заболоцком приятно было увидеть среди избранных Вами для цитирования дорожки и моему сердцу стихи, к примеру, “Журавли”, со щемящими душу строками: “два крыла, как два огромных горя”, “и частица дивного величья”... Снова подивили страницы, посвящённые чудесному бывалому таёжнику Ивану Романычу Фаркову, с которым Вас свела судьба в зимовье на Угрюм-реке и которого Вы с таким мастерством живописали – вплоть до точной передачи колоритного сибирского говорка, знакомого мне.

Закрыв книгу, я пожалел, что она так скоро кончилась, но утешился при мысли, что у неё ныне есть более чем достойное продолжение, поскольку “Свободная стихия”, в сущности, была предтечей Вашего, наверно, главного труда в этом жанре – “Поэзия. Судьба. Россия”. Да, пожалуй, отчасти и книги “Любовь, исполненная зла...”, которая, при внешне скромном объёме, “томов премногих тяжелей”, ибо заставляет по-новому взглянуть на целый “век” нашей литературы, на так называемый Серебряный, увы, на поверку во многом “непушкинский”, бездуховный, в отличие от “золотого”...

Словом, низкий поклон Вам, Станислав Юрьевич, за Вашу поэзию, ставшую уже признанной классикой, за Вашу горячую и мудрую публицистику и самые сердечные поздравления с Юбилеем, высоким, как наши Саяны, сияющие белыми вершинами. Доброго здоровья и активного творческого долголетия Вам, неутомимому путнику и собирателю лучших литературных сил под кровлей благословенного “НС”.

**Александр Щербаков,**  
Ваш подмастерье и единоведец с берегов Енисея  
г. Красноярск

Здравствуйте, дорогой Станислав Юрьевич!

От полноводной нижней Камы, от могучих прикамских лесов и цветущих закамских лугов, где Вы ещё, как нам кажется, и рыбу не ловили (а стерлядка здесь пока водится), от работающего ныне в полную силу КамАЗА, от каждого из Ваших благодарных читателей – наших земляков – позвольте поздравить Вас с 85-летием и пожелать, чтобы Вы жили как можно дольше, потому что – ну, как мы, русские мужики, без Вас? Ваши книги “Сквозь слёзы на глазах”, “Жрецы и жертвы Холокоста”, “Любовь, исполненная зла...”, “И бездны мрачной на краю...”, ваш удивительный, уникальный, неповторимый трёхтомник “Судьба. Поэзия. Россия” – всегда на рабочем столе у нас, у наших друзей и повсеместно по всей России-матушке, от Калининграда до Владивостока. Вслед за Вадимом Кожиновым, Юрием Селезнёвым, Юрием Кузнецовым именно Вы несёте народу русскую правду. “Душа верна неведомым пределам. // В кругу врагов займёмся русским делом” – это и о Вас. Ваши труды подпитывают мировоззрение русского человека, возникшее и возросшее на “Слове о Законе и Благодати” митрополита Илариона, на Новом Завете, на всечеловечности Достоевского. Ваш журнал “Наш современник” – наш журнал, это лучший литературный журнал России. Ну, как мы без Вас? Живите долго, творите всегда!

**Николай Алешков,**  
поэт, главный редактор журнала “Аргмак. Татарстан”

**Виктор Суворов,**  
ректор Набережночелнинского государственного  
торгово-технологического института, доктор педагогических наук

**Александр Бабаев,**  
председатель попечительского совета  
Русской Православной Церкви в Набережных Челнах  
г. Набережные Челны

Многоуважаемый Станислав Юрьевич!

От всей души поздравляем Вас – главного редактора ведущего литературного журнала России “Наш современник” – с юбилеем. Спасибо Вам за Ваш энтузиазм и бескорыстие, за Вашу огромную просветительскую работу на благо читателей Вашего издания. Искренне желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемых творческих и жизненных сил, благополучия. Радуйте нас новыми работами, новыми книгами и тем, что Вы есть в нашей жизни.

**Т. З. Куприна**  
и сотрудники Елатомской поселковой библиотеки

Уважаемый Станислав Юрьевич!

С первых Ваших поэтических строк, прочитанных мной ещё в молодости и оставшихся во мне как своё родное:

*Никогда не желал отличать  
правду жизни от правды искусства,  
потому и привык отвечать  
словом на слово, чувством на чувство... —*

и с первых моих поэтических строк, напечатанных в Вашем журнале при Вашей доброй поддержке, чувство благодарности за то, что Вы делаете не только для меня, а для многих и многих собратьев по литературе, да и для самой русской литературы, росло и крепло. Не могу не выразить его в день Вашего 85-летия:

*Звучат светло, возвышенно и чисто  
соратников слова,  
слова друзей:  
Россия отмечает юбилей  
редактора,  
поэта,  
публициста.  
Написано и сделано немало.  
И в этот славный юбилейный час  
нам трудно Вас представить без журнала,  
но всё-таки трудней — журнал без Вас.  
А в радости и нотка есть печали:  
когда СВОЁ и НАШЕ пополам,  
Вы столько своего не досказали,  
чтоб дать возможность высказаться нам.  
И вечный бой,  
всегда передовая —  
Ваш крестный путь бесменного бойца.  
Пусть Вас всегда хранит  
страна родная,  
где нет простору ни конца, ни края,  
нет творчеству ни края, ни конца.*

**Валерий Фокин**  
г. Вятка

Дорогой Станислав Юрьевич!  
От всего большого сибирского сердца поздравляю вас с юбилеем!  
Журнал “Наш современник”, Ваши книги, Ваши стихи — это целая эпоха, которая питает уже несколько поколений главным — любовью к Родине, любовью к слову. Передаю Вам привет и поклон от деятелей культуры и литературы Тюмени.

По всей стране и на просторах Советского Союза, уверен, сегодня миллионы людей, миллионы Ваших современников вспомнили о Вас в своих молитвах.

Храни Вас Бог!

**Сергей Козлов**  
г. Тюмень

Дорогой Станислав Юрьевич!  
Примите поздравления и наилучшие пожелания!  
Не перестаю удивляться Вашему чувству гармонии. В каких тонкостях и глубинах Вы смогли разобраться! Сколько соблазнов Вам удалось и удаётся преодолеть! Вы — настоящий русский и наша слава: гигант и по замыслам, и по поступкам. Но обильный талант и звонкое имя не вскружили Вам голову ни в молодости, ни теперь. Потому что для Вас важнее всего — русское дело, оно же и всечеловеческая забота.

Герой Достоевского Митя Карамазов, великий путаник, убоявшись царившего в его душе сумбура, воскликнул: “Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил”. Не об одном себе сказал — о человечестве подумал. Однако криво подумал: проявил всемирную отзывчивость русской души и тут же от неё отказался. Но для того-то и нужен Достоевский, чтобы помочь нам

увидеть живительную суть в русском и вселенском хаосе. Для того же и Вы нужны, Станислав Юрьевич, и другие подвижники.

Наша широта – драгоценная особенность, оплаченная верижной русской судьбой. Куда деваться нам, народу мессианскому и китежанскому, которому тесны и космос, и собственная душа, подпольная поневоле, потому что одинокая среди прочих племён? Мы должны быть не просто широкими – необъятными, иначе не выживем, а без нас человечество пропадёт. Ведь другие народы – как дети малые: падки на тлен и побрякушки, заморожены день-говерием, наивно склонны полагаться на то, что “проклятые вопросы” либо решатся сами собой, либо решать не надо – всё равно не решишь.

А решаем их мы, поскольку для нас живы понятия бескорыстия, правды и справедливости. И будем решать до тех пор, пока среди нас останутся такие подвижники, как Вы, Станислав Юрьевич. Какой мерой измерить Ваш подвиг? Мерой русской и всечеловеческой доблести. Здоровья Вам и достойных продолжателей!

**Александр Юрьевич Горбачёв,**  
старший преподаватель кафедры русской литературы  
Белорусского государственного университета (Минск)

### **С. Ю. КУНЯЕВУ**

Талантливейшему творцу и отважному гражданину – мои восхищённые поздравления с наконец-то истинным совершеннолетием – совершенным 85-летием!

**Дорогой Станислав Юрьевич,** гордись содеянным для народа и востри новые замыслы ради его благоденствия.

Твоё могучее оружие многоствольчато: и своё перо, и ударная армия авторов, которая отобилизована журналом, и солидная читательская рать единомышленников.

Так быть этим стволам всегда – как и прежде – точно прицельными.

Не скрою: радуюсь, что не только ранее широко издавал авторов “НС”, но и порой удавалось быть призванным в ряды твоих авторов-соратников.

Да сбудется то, что сам себе напожелал в эти часы, – я всячески за!

Твой **Валентин Осипов**

Уважаемый Станислав Юрьевич! От всей души поздравляю Вас с 85-летием!

Крепкого сибирского здоровья и долголетия, **ХРАНИ ВАС ГОСПОДЬ!**

**Николаева Галина Степановна**

Санкт-Петербург

**СПАСИБО ВАМ ЗА ВАШЕ МУЖЕСТВО, ТАЛАНТ, НЕСГИБАЕМУЮ ВОЛЮ К ПОБЕДЕ ))))**

Здравствуйтесь, уважаемый Станислав Юрьевич!

От всей души поздравляю Вас с юбилейным Днём рождения!

Желаю счастья, здоровья, любви, вдохновения, стойкости, новых книг и верных друзей!

С благодарностью

**Андрей Шутов**

г. Шилка

Дорогой Станислав Юрьевич!

Прими моё сердечное поздравление с этой почтенной юбилейной датой.

Пожалуйста, не грусти! Поверь мне – эта дата абсолютно несправедлива, а справедлива она будет только тогда, когда я, по своей личной инициативе,



как младшенький твой дружок, возьму и переставлю твои юбилейные цифры в их обратном прочтении.

И получится замечательная цифра, которая точно характеризует твой истинный возраст. Итак, юбилейную цифру 85 прочитываем справа налево и получаем ровно 58! Вот твой истинный возраст, дорогой Станислав! Разреши поздравить тебя и крепко-крепко обнять, пусть не физически, то хотя бы виртуально! Доброго здравия, доброго здравия, доброго здравия!

Всегда с тобой!  
**Геннадий МОРОЗОВ**  
г. Касимов

Великому поэту и человеку  
Станиславу Юрьевичу Куняеву

Поздравляю Вас с 85-летием Вашего жизненного пути!  
Здоровья, любви, работоспособности до нескончаемых дней Ваших!  
А главное – счастливой Вам рыбалки!

С глубоким уважением  
Ваш вечный ученик  
**Василий Струж**

Дорогой Станислав Юрьевич, Стасик!

От всей души поздравляем с 85-летним юбилеем! Замечательная дата! За плечами – интересная жизнь, насыщенная событиями и творчеством! До сих пор ты востребован, твоя работа доставляет удовольствие. Так держать! Здоровья тебе и твоим близким! А мы всегда рядом. Ещё раз поздравляем и целуем.

С огромным уважением и любовью твои племянницы **Таня Фёдорова** и **Гая Нам**, а также **Катя Суханова** и **Маша Джибладзе**.

Дорогой Станислав Юрьевич!

85 лет! С ума сойти, не верю! Вы так молоды в своих произведениях, строки Ваши наполнены такой энергией, мудростью и юностью! А в зеркало смотреть не надо. Там – отражение пережитых трагедий, драм, печалей, но совсем не Вы.

Менялись страна, границы, генсеки, а потом и президенты, премьеры, Союзы писательские, наконец. . . Они и названия меняли, и содержание своё, катастрофически не улучшающееся, если говорить мягко. Порой кажется, что всё рушится, летит в тартарары, а как откроешь “Наш современник”, прочтёшь его от корки до корки, да ещё, если счастье выпадет в журнале Ваши строки встретить, то и приходит праздник, говоря Вашими словами, “Пиршества Духа”, именно “ПИРШЕСТВО!!!” – духовное, моральное, нравственное, философское, правдивой жизнью наполненное, любовью к Отечеству напитанное!

В Вашей высокой и глубокой поэзии (как моя дочь говорит, “есть духи, а есть туалетная вода!” – так вот, эти стихи – духи самой сложной, глубочайшей композиции), в Вашей правдивой и, главное, предельно искренней прозе и публицистике мы, Ваши читатели, уже больше полувека черпаем силы. Да, мы живём и оживаем подчас именно благодаря тому, что имеем возможность открыть Ваши книги, прочесть то, что пропустила через себя Ваша кровотокащая уже от жестоких и порой смертельных ран душа: и боль этого мира, и его красóты, и глубину падений, и вершины духа!

Дорогой Станислав Юрьевич! У меня нет такой власти и таких богатств, чтобы подарить Вам то, чего достойны Вы и Ваше творчество, Ваша огромная

и обширная общественная и политическая деятельность, совершённые и совершенные на благо Отечества, но есть искренняя любовь и глубочайшее уважение, благодарность Вам лично и журналу “Наш современник”, который неизменно несёт свет алчущим и страждущим в нынешнем сложном мире, прямо-таки будто стремящемся к гибели, будто не понимающем, что он творит. . .

Поздравляю Вас с преодолением 85-летнего рубежа, а он очень высок, знаю и чувствую по себе, в преддверии наступающего на меня юбилея в следующем году: **как длинна и как коротка жизнь!** Но Вы достойно и спокойно сегодня стоите на этом рубеже! Вы прекрасны, молоды, сильны духом и словом, и, главное, верны самому себе и своему делу, которому Вы никогда не изменяли!

Дай Вам Бог здоровья, сил и радостей побольше на все отпущенные дни! Верных друзей, щедрых спонсоров, новых мощных и верных строк, и – чтоб не болело ничего!!!

Многая Вам лета!

С глубочайшим почтением и любовью  
**Тамара Краснова-Гусаченко,**  
поэт, председатель Витебского областного отделения  
ОО “Союз писателей Беларуси”

Многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Календарь фонда “Возрождение Тобольска” высвечивают не понимаемую нами цифру – 85. И, поверьте, мы нисколько не льстим (какая лесть между единомышленниками?), а лишь соглашаемся с непреложным: истинное дарование ни старению, ни угасанию не подлежит.

Россия знает Вас как выдающегося русского поэта, публициста, автора крупнейших научно-художественных биографий, главного редактора лучшего русского литературного журнала “Наш современник”, а мы, со своей стороны, счастливы жить и работать в одно время с Вами, оставаясь Вашими верными соратниками.

Сибиряки – люди неговорливые, часто суровые, но в глубине их сердца потаённо, как самая великая ценность, хранится любовь, о которой не кричат, говорят бережно, хранят всю жизнь. Вы родились в Калуге, но и далёкая от неё Сибирь Вам не чужая, и потому, считая Вас и сибиряком, искренне говорим: пример Вашей, Станислав Юрьевич, деятельной Любви к Родине придаёт нам сил и в нашей деятельности.

Убеждены, что Вы ещё не единожды одарите нас своими выдающимися работами, после знакомства с которыми многое становится ближе и понятней в этой постоянно напряжённой жизни. Низкий поклон Вам за все Ваши благодеяния и добродетели, долгих-предолгих Вам лет благословенной жизни в спокойствии, во здравии, в мире со всеми сродниками и в согласии со всеми ближними, изобилия плодов земных и всего, что к удовлетворению Ваших нужд необходимо!

Председатель Президиума общественного благотворительного фонда  
“Возрождение Тобольска”

**А. Г. Елфимов**

Главный редактор альманаха “Тобольск и вся Сибирь”, член Высшего творческого совета Союза писателей России

**Ю. П. Перминов**

Дорогой Станислав Юрьевич!

От всего сердца поздравляю Вас с прекрасным юбилеем!

Желаю, как всегда, сибирского здоровья на долгие годы! Бодрости духа, веры и любви близких и дальних людей.

Как выдающийся публицист современности, как замечательный поэт Вы сегодня очень нужны умному народу России.

В Ваших словах заключена многовековая мудрость народа, его чаяния и надежды, поэтому он Вас и любит.

Дай Вам Господь терпения и мужества в борьбе с силой тьмы.

**Владимир Андреев**

Уважаемый Станислав Юрьевич!

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!

Желаю Вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия. Пусть Ваша жизнь будет наполнена интересными событиями, теплом человеческих отношений, а удача сопутствует Вам во всех делах!

Успехов Вам и всего самого доброго!

Член Совета Федерации  
**И. Н. Кулабухов**

Дорогой Станислав Юрьевич! По-братски обнимаем тебя в день юбилея. Ты один из лучших русских писателей, ледокол русской мысли. Любим тебя, гордимся твоей дружбой. Живи долго на страх врагам России!

**Вологодские писатели**

Дорогой Станислав Юрьевич!

Счастливы быть причастными к могучему племени русских писателей, являющихся авторами “Нашего современника”. На памятнике Минину и Пожарскому, ставшем своеобразной эмблемой журнала, незримо начертаны имена Валентина Распутина и Василия Белова, Вадима Кожина и Юрия Кузнецова, и, конечно же, Станислава Куняева, кормчего “НС”. Здоровья и счастья Вам, Станислав Юрьевич! Вечного света Русскому Маяку под названием “Наш современник”!

**Владимир Подлузский**  
г. Сыктывкар

Дорогой Станислав Юрьевич!

Ваш юбилей – это праздник всей русской литературы, ибо без Вас – главного редактора лучшего русского литературного журнала – русская литература уже многие десятилетия немыслима. Большой русский поэт, тонкий критик, блестящий публицист и мыслитель, главный редактор с редким вкусом, умеющий выстоять в самых тяжёлых условиях, патриот, поднимающийся на защиту России в самых трудных ситуациях, – всё это вместе складывается в огромное явление не только русской литературы, но и русской жизни, и имя этому явлению – Станислав Куняев.

Всеми нами любим и всем нам дорог большой русский поэт Станислав Куняев.

Поэт огромной силы и энергетики, Вы умеете быть заострённо публицистичным, прямым и дерзким, и в то же время Ваши стихи мгновенно пленяют тонкой прозрачностью, щемящей лиричностью, затаённой печалью непокорных смыслов. Многие Ваши стихи возникали как мгновенная реакция на происходящие события, но неожиданно становились пророческими, а зачастую и трагически пророческими, и обретали долгую жизнь в литературе – с такой афористической точностью и бесстрашной правдивостью в них отражалось время:

*Всё равно на просторах раздольных  
ни единый из нас не поймёт,  
что за песню в пустых колокольнях  
русский ветер угрюмо поёт...*

Эти строки, как и многие другие Ваши стихи, останутся в русской поэзии навсегда.

Многие современные поэты и прозаики могут сказать о себе: “Без Станислава Юрьевича Куняева и журнала “Наш современник” меня в русской литературе не было бы”. То же самое могу сказать о себе и я. Спасибо за всё, что Вы делаете для России и русской литературы.

Божьей Вам помощи!

И, конечно же, — здоровья и долголетия, радости и вдохновения, новых книг и новых стихов!

**Надежда**

Дорогой Стас! Всё, что есть в моей литературной судьбе главного, это произошло благодаря тебе. Дорогой Учитель и Друг, спасибо за твой, избранный однажды, Русский путь, полный ухабов и звёзд, льда и солнца! За любовь к Русскому Слову и Русской поэзии и культуре, за библиотеку нашей семьи, в которой бережно хранятся подаренные тобой твои умные и талантливые книги! За то, неведомое провинциальной женщине, сакральное знание, открывшее мне тайну Родины, за твоё постоянное чтение всего лучшего, что только подарила нам русская философия и русская литература. За твоих бесчисленных учеников и читателей! За “Наш современник”, продолживший классическую традицию XIX века! И несть конца моей благодарности. Счастья тебе и всей вашей замечательной семье вместе с Галиной и Серёжей! Живи долго и так же непримиримо! Бог в помощь!

**Надежда Мирошниченко**

г. Сыктывкар

“Добро должно быть с кулаками...”

Во времена нашей молодости, когда мы делали первые шаги в литературном мире, эти поэтические строки повторяли часто. Эти очень справедливые слова написал в 1959 году Станислав Куняев, верная и смелая личность, в прошлом году отметивший своё восьмидесятипяtilетие и всё ещё идущий в первых рядах, как настоящий борец в защиту родного народа. Долгие годы я его знал по поэтическому творчеству и по острой публицистике, затем мне посчастливилось познакомиться с ним. Возглавляемый им журнал “Наш современник” именно благодаря Станиславу Куняеву остаётся самым содержательным, смелым и любимым читателями изданием. На стыке двух тысячелетий когда-то выходившие миллионными тиражами многие центральные журналы сейчас дышат на ладан, по сравнению с ними лишённый даже малейшей государственной поддержки “Наш современник” во многом из-за неутомимой деятельности Станислава Куняева остаётся самым читаемым и уважаемым журналом в стране. Я радуюсь и горжусь тем, что тесно общаюсь с главным редактором Станиславом Юрьевичем, являюсь его современником и единомышленником. В его переводе в журнале были напечатаны две мои поэмы (“Система”, “Барокамера”) и стихи. Я даже стал лауреатом “Нашего современника”. Ещё раз поздравляю Станислава Юрьевича Куняева со знаменательной датой и повторяю его слова: добро должно быть с кулаками!

*Добро должно быть с кулаками,  
Добро суровым быть должно.  
Чтобы летела шерсть клоками  
Со всех, кто лезет на добро.  
Добро не жалость и не слабость,  
Добром дробят замки оков.  
Добро не слякоть и не святость,  
Не отпущение грехов.  
Быть добрым не совсем удобно,  
Принять не просто вывод тот,*

*Что дробно-дробно, добро-добро  
Умел работать пулемёт.  
Что смысл истории в конечном  
В добротном действии одном —  
Спокойно вышибать коленом  
Добру не сдавшихся добром.*

**Равиль Бикбаев**  
Народный поэт Башкортостана

Дорогой Станислав Юрьевич!

*В юбилейный рождения стаж  
Будьте здоровы, редакторский пленник!!!  
Дорогой современник Вы наш,  
Как я рад, что я Ваш современник!*

Светло и сердечно —  
**Владимир Молчанов**  
г. Белгород.

Дорогой Станислав Юрьевич! Есть имена знаковые в современной русской литературе. Ваше имя относится к их числу. Как и журнал “Наш современник” — один из главных путеводителей, “сталкеров” в сложном и противоречивом литературном мире на протяжении многих десятилетий. Господь дал Вам “второе дыхание”, и сейчас Вы пишете великолепную публицистику — зачитаться можно! — рассказывая о целой эпохе в истории русской литературы, свидетелем и непосредственным участником которой Вы стали. Невероятно интересно и, главное, поучительно.

Крепкого Вам здоровья, вдохновения и радости! Храни Господь!

Ваш **Володя Илляшевич**  
от имени Эстонского отделения СПР и, конечно, от себя лично

Дорогой Станислав Юрьевич!

Позвольте искренне, сердечно поздравить Вас с Юбилеем! Пожелать здоровья, сил и мужества, так необходимых в наше время! Благополучия и душевного спокойствия, веры, надежды, любви! Внимания, поддержки, тепла и Добра!

Помнится, Вы писали:

*Добро первоначально, как земля,  
И пишется “Добро” с заглавной буквы.*

Многая лета Вам! Неустанного Служения единственному, единому Отечеству!

Процветания “Нашему современнику” — форпосту, цитадели верных России, и дай, Бог, — несокрушимой.

С уважением, благодарностью, теплом **Л. Владимирова**  
г. Одесса

Дорогой Станислав Юрьевич! Поздравляю Вас с великим юбилеем!  
Вы, как наш могучий Уральский хребет, перекрываете вечным врагам дорогу в Россию! А в России крошите глаголом продажных либералов! Мы, рус-

ские поэты, учимся у Вас и по мере сил бьём по сусалам всевозможных иудушек и гришек отрепьевых!

Желаю Вам здоровья, а нашему прекрасному “НС” – русских тиражей!

Обнимаю,  
**Ваш Игорь Тюленев**  
г. Пермь

Дорогой Станислав Юрьевич!

Каждая Ваша историко-публицистическая книга оставляет в сознании читателя запоминающийся на долгое время след. Ваши рассуждения о польском вопросе, Холокосте, воспоминания о литературных именах формируют целостное и психологически достоверное представление о русском мире в самые тяжёлые времена его истории. Дискуссия о классике в 1970-х благодаря Вам стала чрезвычайно значимой вехой в опознании русского ума и таланта в шумливом советском литературном потоке.

Спасибо Вам за Ваши труды, вдохновенные и мужественные стихи. Здоровья, творческих сил, стойкости характера!

С юбилеем!

**Вячеслав Лютый**  
г. Воронеж

Многоуважаемый и родной Станислав Юрьевич Куняев!

*Это большая честь для нас —  
поздравить с юбилеем Вас.  
Пусть время обернётся вспять!  
Ещё не финиш —  
Ваши восемьдесят пять!*

Члены Всеукраинского Союза Советских офицеров  
**Галина Савченко, Михаил Пухно, Иван Царский**  
г. Киев

Дорогой патриот земли русской - Станислав Юрьевич!

Примите от меня и моей семьи самые горячие поздравления. Спасибо за Вашу высокую поэзию и непревзойдённую публицистику! Кланяюсь всему Вашему коллективу - Вы поистине “удерживающие” в эти очень непростые для русских людей времена.

Дай Бог Вам долгих лет жизни!

**Ваш Владимир Иванович**  
г. Москва

ВАЛЕРИЙ ДУДАРЕВ



## ГЛУБОКИЙ СНЕГ — ПРЕДВЕСТНИК ДУМ ГЛУБОКИХ

ЗИМНЯЯ ЭЛЕГИЯ

Смотрю на снег — и взгляд не оторвать!  
На что ещё так можно засмотреться?!  
Так начинаешь брэнность понимать  
Всего...

Сильнее грусть.

Сильнее бьётся сердце.

Грусть оттого, что время так бежит,  
Что ни один пейзаж не сохранился.  
Как изменился мир!

Как изменился быт!

Как изменились мы!..

Как снег не изменился!

Быт стал чужим,

мир стал ещё грустней,

---

*ДУДАРЕВ Валерий Фёдорович — русский поэт. Родился в Москве. Работал сторожем, дворником, каменщиком, бетонщиком, столяром, служил в армии, валил лес в Якутии. Окончил филологический факультет МПГУ. Автор книг стихотворений “На склоне двадцатого века” (1994), “Где растут забытые цветы” (1997), “Ветла” (2001), “Глаголица” (2004), “Интонации” (2010), “Ветла и другие стихотворения” (2016). Лауреат литературных премий им. Сергея Есенина, Бориса Корнилова, Александра Невского, Фёдора Тютчева и др. Главный редактор журнала “Юность”.*





В них вишня каждая цветёт  
На грани ада или рая,  
И отрок ясный пропадёт,  
Судьбу Рублёва избирая.

Пока орнаменты Руси  
Ещё остались у обочин,  
Ты клятву в ночь произнеси  
Неутолимей и короче!

Провинция!  
Вот часослов!  
Ни грай,  
ни публика столичья  
Не затемнят колоколов  
Её скитанья  
и величья.

### В УСАДЬБАХ

Так-так.  
Начинается новое время.  
Но что остаётся от ближнего древнего парка?  
Пустяк!  
Неразумно и вредно  
В усадьбах искать:  
вот качается арка,  
Весь портик и даже колонны немножко.  
Внимать:  
вот торжественно гибнут фасадные балки,  
С фронтоном карнизы и даже окошко  
У самой земли, где робеют две галки,  
Гортензия, кошка. А дальше — дорожка.  
И снова дорожка...

В моей стороне не сыскать —  
не сберечь классицизма.  
О, сколько в ней лишних веков и мелодий!  
Но если опомнишься —  
в этом судьба и Отчизна,  
И даже великая вроде...

В последнее небо  
Заглянешь едва, ненароком —  
И даже мечтательно: мне бы!  
Но скуп Сумароков.  
Сквозь липы сияют далёкие вешние воды.  
Так что ж остаётся?

Лишь оды.  
Лишь вздорные оды...

\* \* \*

Я не участвую в истории.  
Весь исторический процесс  
Моей не знает территории.  
Здесь поле, стог, река и лес.

Хожу-ищу грибочки рыжие.  
Солю на зиму огурцы.  
И, слава Богу, снятся хижины  
Гораздо чаще, чем дворцы.

## ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Есть высшая доля:

однажды,

Всю жизнь отложив на потом,  
Пойти одиноким, миражным,  
Просёлочным, диким путём.

Но в той навалившейся доле,  
Когда опускается мгла,  
Есть счастье добраться до поля,  
Увидеть, как дремлет ветла,  
Печальную кликнуть старуху  
В глухом, в незнакомом селе,  
Свою разделить с ней краюху  
На этой вечерней земле,  
А там уж, совсем по старинке,  
Как будто столетия назад,  
Испить из предложенной крынки  
Под долгий, внимательный взгляд,  
А после скупого прощанья  
Услышать:

“Исусе, спаси!” —

Сдержат вековые рыдания  
И дальше пойти по Руси.

## АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



### ГОСТЬ

РОМАН

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

В Москве проходил экономический форум, с лоском, величаво, с выступлениями, в которых стильно и изысканно сочетались лёгкая небрежность и тяжеловесная убедительность, утверждавшая господствующий экономический курс, суливший пуск и не сиюминутное, но неизбежное процветание. На форум съехались директора крупнейших банков, главы корпораций, владельцы металлургических заводов и нефтехимических концернов. Здесь были виднейшие экономисты, авторы финансовых теорий и промышленных доктрин. Члены кабинета обнародовали долгосрочные программы. Премьер-министр в своей обычной мягкой манере предупреждал о трудностях, ссылался на международный опыт. В заключение выступил президент с напутствием бизнесу следовать не только коммерческой выгоде, но и преследовать национальные интересы. Было много кулуарных встреч, доверительных бесед, в которых сглаживались противоречия, глушились конфликты, достигались негласные договоренности.

После закрытия форума состоялся банкет. Разговоры за столами становились все веселее и оживлённее. Посмеивались над премьером, который владел искусством говорить красочно и объёмно, оставляя после своих рече-

---

*ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов “Чеченский блюз”, “Красно-коричневый”, “Идущие в ночи”, “Господин Гексоген”, “Крейсерова соната”, “Человек звезды”, “Время золотое”, “Убийство городов”, “Губернатор”. Живет в Москве.*

ний ощущение удивительной пустоты. “Вакуум мысли”, — сострил один из банкиров. Отмечали прекрасную форму, которую продемонстрировал президент, что отметало всякие сомнения в том, что он снова будет баллотироваться на высокий пост. “Власть — не часы, которые нужно менять”, — тонко пошутил финансист, намекая на новые дорогие часы, замеченные на руке президента. Сплетничали о магнате, который развёлся в очередной раз, оставив жене половину своего состояния. “Я знаю, где водятся женщины, которые выглядят гораздо красивее, а стоят гораздо дешевле”, — съязвил глава авиастроительной корпорации. Сговаривались о путешествии на яхте, которая ждёт их всех в Неаполе, и к ним обещает присоединиться знаменитый Тарантино. “Не путать с капучино, дорогой. А то попросишь принести два Тарантино с пенкой”, — засмеялась одна из дам.

Иногда разговор заходил о слиянии корпораций, о процентной ставке, о предстоящем назначении на пост министра финансов. Но женщины сразу же прерывали подобные разговоры. Начинали говорить о картине Моне, которую приобрёл за несколько миллионов долларов “алюминиевый король”. О высокой церковной награде, которую вручил Патриарх многодетной жене нефтяного олигарха. О средневековом замке в долине Луары, в котором, когда его купил криминальный авторитет из Петербурга, ему стал являться дух французского короля.

Когда стало совсем шумно, и гости переходили от стола к столу, поднимали бокалы, целовали руки дамам, на подиум вышел один из организаторов форума, президент известной пиар-компании, с седовласой красивой головой, благородной осанкой, в которой чувствовалась непринуждённость и свобода человека, привыкшего к открытому общению. Постучал пальцем по микрофону, мягкими стуками привлекая к себе внимание, и произнёс:

— Господа, наш форум удался. Помимо серьёзных аналитических выступлений, помимо оригинальных идей, наш форум продемонстрировал силу и цветение молодого российского капитализма. Навсегда миновали тревожные времена, когда из каменной толщи советского уклада пробивались робкие ростки капитализма, а на них с рёвом, как стадо вепрей, неслись оголтелые красные орды, желая их затоптать, осуществить реванш плановой экономики. Всё это позади, и вчерашние красные монстры превратились в жалкие мхи и лишайники, оттеснённые на периферию российской жизни. Поздравляю, друзья!

Он поклонился, и зал откликнулся аплодисментами, звоном бокалов и несколькими экзальтированными возгласами “ура”.

— Теперь хочу представить вам художника, блистательного фантазёра и мага, который своими художественными выдумками, экстравагантными поступками создаёт у зрителей переживания, разрушающие обыденные представления, вызывающие изумление, а порой и шок. Этот вид искусства называется перформанс. Маэстро любезно принял наше приглашение и готов совершить своё действие, как всегда, оригинальное и, быть может, шокирующее. Он скажет несколько слов в адрес лидеров российской экономики, вокруг которых собираются лучшие умы, лучшие художники и писатели, самые успешные и блистательные представители нашего общества. Итак, Аркадий Веронов!

Он сделал шаг в сторону, уступая место, и на это свободное место в круг света вышел маэстро. Он был высок и статен, лет пятидесяти, но моложав, в тёмном, застёгнутом на все пуговицы сюртуке, напоминающем френч. Сходства добавляла толстая серебряная цепь, как позумент, висящая на груди. У него было продолговатое матово-смуглое лицо с высоким лбом и пушистыми, вразлёт бровями. Его нос украшала небольшая династическая горбинка. Волосы были тёмно-русые, с лёгкой сединой у висков. Картину дополняли твёрдый подбородок и свежий малиновый рот, который слегка усмехался. Эта усмешка относилась к шумному многолюдью зала, мужским бокалам и женским бриллиантам, а также к самому себе, к своему полувоенному френчу, серебряной цепи, кругу света, в который он встал, как цирковой артист.

Служители вынесли на подиум столик, на котором возвышался какой-то предмет, накрытый тканью. Аркадий Веронов обвёл зал глазами, и этот

взгляд серых внимательных глаз по мере того, как они двигались вдоль столов, смирял голоса, усаживал гостей на место, заставлял дам поворачивать лица в одну сторону, словно это были подсолнухи.

— Господа, — произнёс Веронов голосом кафедрального профессора, начинающего лекцию. — Один из присутствующих здесь именитых гостей, я вижу его благородное лицо, в одной из своих статей блестяще изложил суть перемен, происшедших в России, — Веронов умолк, наблюдая, как закрутились в разные стороны головы гостей, желавших угадать, о ком упомянул маэстро. — Этот уважаемый и успешный банкир сказал, что современное российское общество делится на “победителей”, “винеров”, как он их назвал, и “лузеров” — “проигравших”, выброшенных из истории. “Винеры” — это самые деятельные, способные, авангардные люди России, которые заняли лидирующие места в стране и ведут её к процветанию. Они получили во владения заводы, рудники, корпорации, а вместе с этим и русские реки, леса, океанские побережья. Распоряжаются они всем этим в интересах не только России, но и всего человечества. “Лузеры” — это лохмотья истории, лишённые воли, талантов. То сырьё, из которого едва ли можно создать полноценный человеческий материал. Они брюзжат, рошщут, пьют водку, живут в своих зловонных подъездах, устраивают поножовщину и раз в году, в годовщину Октябрьского переворота проходят по Москве в колонне под красными флагами, развлекая своим видом иностранных туристов, — жалкое подобие бразильского карнавала.

Гости улыбались, некоторые хлопали, иные поднимали бокалы. Продолжали искать того, кому принадлежит эта теория “высшей касты”, к которой они себя причисляли.

— Октябрьская революция, как чудовищная эпидемия, охватившая мир, схлынула и больше никогда не повторится. Россия, где находился самый страшный очаг эпидемии, переболела навсегда, выработала противоядие и теперь смотрит на это жуткое время без страха, а скорей с насмешливым презрением. Относится ко всем символам того кровавого времени, как к исторической бутафории. Начиная с крейсера “Аврора”, где сегодня проходят забавные вечеринки, и кончая пулемётом “Максим”, который смотрится теперь театральным реквизитом.

Веронов повернулся к столику, сдёрнул матерчатую накидку, и все увидели пулемёт “Максим”, так хорошо знакомый всем по кинофильму “Чапаев”. Серо-зелёный, на металлическом лафете с железными колёсами, с овальным щитком, с ребристым кожухом, из которого торчало короткое рыльце ствола. Пулемётная лента с латунными патронами вываливалась из его чрева. Пулемёт стоял на полированном столике, в нём была беззащитность слепца, брошенного посреди дороги, не знающего, где он, зачем его привели и оставили посреди незнакомого мира, для каких издевательств и насмешек.

Гости за столами ахали, смеялись, рукоплескали, радовались этой шалости весельчака, который выставил на посмешище это чудище, похожее на зелёную жабу, выловленную из мутного болота исчезнувшей истории.

— Это не пулемёт, это артефакт, который мы внесли в область современного искусства, напоминающий нам о былых кровавых убийствах, но теперь знаменующий собой безвозвратный уход того отвратительного и кровавого времени. Это надгробный памятник на могиле Октябрьской революции. И вы, в духе древних языческих традиций, можете принести на эту могилу свои дары. Всё, что лежит на ваших тарелках и налито в ваши бокалы. Быть может, эти деликатесы и эти марочные вина усладят на том свете неизвестного пулемётчика.

Веронов насмешливо сжал свои малиновые губы, отступил, приглашая гостей исполнить языческий обряд поминовения. От ближнего стола лёгким игривым скоком подбегала молодая женщина с бокалом шампанского. Обернулась к залу хохочущим лицом, подняла высоко бокал и стала выливать на пулемёт шампанское тонкой струей. Сияла счастливыми глазами. Зал аплодировал, смеялся. На мокром пулемёте заиграл отблеск. Вслед за женщиной к пулемёту подошёл величавый банкир, неся тарелку с сёмгой.

Цепляя вилкой красные лепестки рыбы, он клал их на ребристый кожух, на железные колёса. Солидно, с лёгкой усмешкой вернулся на место. Зал хохотал, выкрикивал слова одобрения. Мерцали вспышки айфонов. Устроитель форума директор пиар-агентства был в восторге. Веронов, отступив в сторону, благосклонно улыбался, как воспитатель, наблюдающий за играющими детьми.

Молодой менеджер, управлявший огромной торговой сетью, обмазал пулёмёт красной икрой, оглядываясь на зал, чтобы убедиться, что им любят его затея нравится. Аналитик ведущей рейтинговой компании поднёс к пулёмёту тарелку с королевскими креветками, посадил креветок на щиток, и они потешно увенчали железную кромку, как ласточки на проводах. Зал ликовал. После напряжённого делового форума его солидные участники нуждались в разрядке, в развлечении, и Веронов это развлечение им предоставил.

Дама в бриллиантах повязала пулёмёту салфетку, как повязывают немощному неряшливому старику. Другая, по-видимому опустошившая не один бокал шампанского, повесила на торчащий из кожуха ствол свой перламутровый крестик и перекрестила пулёмёт. И “Максим”, заляпанный объедками, с несвежей салфеткой и перламутровым крестиком, казался дурацким чучелом, не пугал, а смешил.

Веронов вновь приблизился к пулёмёту, жестом останавливая череду желающих накормить и напоить загробного пулёмётчика.

— Господа, мы совершили магический обряд. Мы закупорили ту бездну русской истории, из которой вырвалось в своё время чудовище революции. Мы замуровали эту бездну навсегда, и больше никогда не вырвется из неё осатанелые комиссары, больше никогда не застрекочет этот зелёный уродец, из которого кухарка Анка-пулёмётчица истребляла цвет русской интеллигенции, из которого большевистские палачи расстреливали пленных офицеров в Крыму. И вам, капитанам российской экономики, лидерам российского общества, никто не мешает вести нашу Россию к процветанию!

Веронов согнулся, длинным прыжком подскочил к пулёмёту, схватил рукоятки и ударил огнём и грохотом, посылая в зал разящие очереди. Пулёмёт дрожал, у дула трепетал язык огня, лента извивалась, погружаясь вглубь пулёмёта.

Людей срезало со столов, дробилась посуда, брызгали хрустали. Люди стонали, визжали, бежали к выходу. Падали, топтали друг друга. Какой-то тучный господин давил каблуками голую спину упавшей дамы. Летели в сторону бриллиантовые броши и колье. Дергались голые ноги чьей-то вельможной жены. У выхода громоздилась гора шевелящихся тел.

Веронов в упоении водил пулёмётом, вгоняя в банкетный зал огненные клинья. Кричал сквозь грохот:

— Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция! Заводы — рабочим! Землю — крестьянам! Да здравствует Ленин!

Он чувствовал животный ужас зала, слышал звериные визги, ликовал, видя перевёрнутые столы, ползущих людей, разорванные пиджаки и платья. Этот ужас был ему сладок, доставлял наслаждение, он впивал его, жадно глотал, расстреливая пулёмётную ленту с холостыми патронами. В нём открылась тёмная воронка, бездонная скважина, в которую всасывались страх, страдание и хаос. Он хотел, чтобы их было больше, чтобы они не кончались. Чтобы эта энергия разрушения и боли уходила в ненасытную воронку, куда падал и он сам с небывалым, неутолимимым наслаждением.

Он заметил, как среди обезумевшего зала, бегущих и падающих людей остался стоять высокий пожилой человек с седой головой, тонко улыбался, сиял голубыми восхищёнными глазами.

Лента кончилась. Пулёмёт умолк. Веронов оттолкнул пулёмёт. Видел, как из металлического рыльца вытекает голубая струйка порохового дыма и продолжает висеть и качаться перламутровый крестик.

Веронов стряхнул с рукава своего френча приставшие соринки и спокойно, медленно вышел через чёрный ход. Спустился на подземную парковку, уселся в “Бентли” и катил по ночной, переливающейся алмазами Москве,

оставляя позади стеклянные небоскрёбы. Он вернулся домой, в свою великолепную квартиру, в окнах которой сиял Новодевичий монастырь, похожий на волшебный ночной цветок. Небрежно разделся, разбросав по спинкам стульев одежду, и отправился в ванную, сверкавшую белизной. Сидел среди душистой пены, выставив из неё руку с айфоном, просматривал первые отклики на свою недавнюю выходку.

Интернет трепетал от восторгов, возмущался, торопился с прогнозами, предупреждал, грозил, хохотал, издевался, сквернословил и проклинал. Известие о случившемся волной бежало по социальным сетям, подобно кругам на воде, и центром, от которого разбежались круги, была фотография Веронова, прильнувшего к пулемёту. Размытое сияние вокруг ствола, падающие веером люди, оголённые женские ноги, раскрытые в ужасе рты. И страстное безумное лицо Веронова с прищуренным глазом, посылающего в толпу очереди.

Интернет бесшумно волновался, трепетал, переливался, как северное сияние, распространяя весть со скоростью света. Это трепетанье разлеталось среди бесчисленных мировых новостей, ошеломляющих, грозных, ужасных. Падали самолёты, взрывались дома, гибли под бомбами города, рушились банки, свергались режимы, прорицатели извещали о скором конце света, прекрасные женщины танцевали на карнавалах, голливудский актёр в очередной раз превращал свой развод с фотомodelью в мировое представление, в Антарктиде от ледника отрывался айсберг и, окутанный туманом, плыл в океане в поисках беспечного “Титаника”.

Веронов чувствовал таинственную связь зыбкой, летящей по миру волны, которая несла весть о его сегодняшней выходке, с другими мировыми событиями. Казалось, эти события были порождены холостой стрельбой пулемёта в “Москва-Сити”. Вопли ужаса, порождённые этой стрельбой, его собственная ярость и ненависть, сокрушение самодовольного величия дельцов и банкиров, возомнивших себя повелителями России, — электронная волна со скоростью света летела по миру, замыкала контакты незримых взрывателей. Обрушивались горящие кварталы Алеппо, сходил с ума снайпер, стреляющий по мирной толпе, раскупоривалась колба с бактериями, от которых умирали в муках африканские племена.

Веронов лежал в ванной, среди сверкающего кафеля и тихого журчанья воды. Выставил руку из пены, наблюдая, как с запыстья к локтю медленно стекают белоснежные хлопья. Он перелистывал электронные страницы айфона, просматривая комментарии на свою “пулемётную акцию”.

“Веронов, молоток! Только зря холостыми шерстил. Пришло тебе боевые. Борьба до последнего банкира!”

“Веронов, ты красная сволочь! Такие, как ты, из пулемёта русских профессоров и священников перестреляли, а равнинов в Кремль привели. У тебя на лбу магендовид”.

“Предлагаю ввести “черту оседлости” и поставить крутом пулемёты. За царя, за веру православную, за нашу Родину, огонь!”

“Как из города Бердичева, из-за той “черты оседлости” выбегали добры молодцы. Наши грады разлояхся, наши храмы оскверняхся!”

“Считаю, что надо как можно скорее восстановить на Руси монархию. Это и будет всенародным покаянием, а иначе Россия погибнет”.

“Попы, дворяне и царь привели Россию к гибели, отдали её масонам. А Сталин сделал Россию мировой державой. Да здравствует Сталин!”

“В том, что учинил господин Веронов, просматриваются признаки терроризма. Прокуратуре следует проверить случившееся в Москва-Сити на предмет экстремизма!”

“Господин Веронов, мы любили вас за ваши талантливые выступления по телевизору и считали вас совестью нации. Теперь же во время ваших выступлений мы будем выключать телевизор”.

“Сбросить бы на вас всех атомную бомбу. И на Веронова тоже!”

Пена стекала по руке. Переливались в пузырьках крохотные радуги. И Веронов думал, не страхнуть ли ему пену, чтоб у того, кто хотел сбросить бомбу, взорвался сосуд головного мозга, и он упал в неизлечимом инсульте.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Аркадий Петрович Веронов проснулся в своей широкой кровати, которая никогда не была для него брачным ложем. Он некоторое время лежал, открыв грудь, глядя на потолок, где в полосе бледного солнца бежали прозрачные тени машин и что-то тихо и восхитительно розовело. Новодевичий монастырь с каменными кружевами, диковинными раковинами и золотыми главами отражался в пруду, и это зыбкое отражение с плывущими лебедями проливалось в спальню.

Веронов сбросил одеяло, голый, перед зеркалом сделал несколько упражнений, возвращая бодрость мышцам, пропуская упругую волну по всему своему сильному стройному телу. Набросил халат, принял холодный душ и перед тем, как выпить утренний кофе, прогулялся по своей великолепной квартире.

Помимо спальни она состояла из кабинета, гостиной и столовой. В кабинете ореховый письменный стол под зелёным сукном, доставшийся ему по наследству от прадеда, с каменной плитой, на которой сиял стеклянный куб чернильницы, и в гнездах бронзовых подсвечников сохранился старинный воск. На сукне темнели пятна давнишних чернил. Здесь писал деловые бумаги прадед, отвечал на письма дед, готовила уроки мама, и он сам, не доставая ногами пола, старательно вписывал буквы в линованную тетрадь. Слышал, как дышит над его головой бабушка, умиляясь стараниям внука. Потом на этом столе, на зелёном сукне лежала мёртвая бабушка, и он сквозь слёзы видел у её головы блёклые чернильные пятна.

Гостиная была в летнем солнце. На белых стенах висели картины современных модных художников. Отрок с двумя свечами среди красных холмов. Уродливый, с каменными ногами коновал, несущий на плечах окровавленного коня. Чернобородый насупленный кавказец, пьющий пиво. Обнажённая женщина в радужной пене. Веронов ласкающим взглядом осмотрел картины, вспоминая лица художников, вернисажи, выставки, бражное веселье богемы.

На диване лежали иранские, шитые шелками подушки. На длинной полке стояли кальяны. Их разноцветные флаконы и тонкие шеи напоминали стеклянных птиц, в каждой мерцало зелёное, красное, золотистое солнце. Вся стеклянная стая была готова взлететь.

Веронов подошёл к окну и с обожанием смотрел на монастырь, на его изысканные женственные главы, бело-розовую колокольню, солнечную поверхность пруда, по которому плыли лебеди, оставляя длинные следы стеклореза. И, откликаясь на его обожание, в монастыре зазвонили, и рокочущий колокольный звук наполнил гостиную.

Пришла работница Анна Васильевна, чтобы напоить его кофе и убрать квартиру. Стареющая, со следами увядшей красоты вдова генерала, которую Веронов называл помощницей, уважая её вдовство, ценя её деликатность и умение готовить.

Анна Васильевна принесла из почтового ящика утренние газеты, и Веронов, в халате, пил кофе с гренками и просматривал их. И в каждой — в “Коммерсанте”, в “РБК-дейли”, в “Ведомостях” — были сообщения о его вчерашней “пулемётной выходке” и приводилась одна и та же фотография, снятая на айфон кем-то из ошеломлённых гостей. Стреляющий пулемёт с маленьким факелом у ствола, и Веронов с диким лицом, сжимая рукоятки, ведёт пулемёт по залу.

“Коммерсант” писал: “Учинённое нашим прославленным художником господином Вероновым действие в банкетном зале “Москва-Сити” вполне сравнимо с террористическим актом и может послужить поводом для прокурорского расследования. Террористическому нападению с помощью эстетических средств был подвергнут цвет российской финансовой, промышленной и политической элиты. Результаты этого нападения несомненно скажутся на финансовом рынке, на поведении акций, приведут к непредсказуемым всплескам во внутренней и внешней политике”.

Газета “РБК-дейли” отмечала: “Пулемёт, из которого Аркадий Веронов обстреливал холостыми патронами представителей российской элиты, дал по-



нять, что пропасть, разделяющая миллиардеров и нищий народ, легко преодолима с помощью справедливого распределения боевых патронов между пулёмётчиками из числа народных мстителей”.

“Ведомости” писали: “Напрасно полагают, что искусство отступило на дальнюю периферию общественной жизни. Мы получили свидетельство того, как новейшая эстетика вторгается в самые закрытые сферы и производит там разрушительное действие. Искусство мстит за годы своего отлучения и берёт реванш, оповещая о себе не стихотворными строчками, а пулёмётными очередями”.

Веронов пил кофе, перелистывая газеты, довольный результатом вчерашнего перформанса, эхо которого продолжало лететь по миру.

Работница Анна Васильевна, деликатно отойдя от стола, не мешала Веронову просматривать газеты. Но когда он отложил газеты в сторону, приблизилась и спросила:

— Вы меня извините, Аркадий Петрович, но я давно собиралась вас спросить. В чём состоит ваше искусство? Я знаю, есть художники, которые рисуют картины. Есть поэты, которые пишут стихи. Музыканты, которые сочиняют музыку. А у вас в руках нет ни кисти, ни смычка. Вы как бы фокусник, правильно я понимаю?

Веронов улыбался, разглядывая её полное лицо с утончённым носом и красивыми губами, над которыми начинала собираться гармошка морщин:

— Видите ли, дорогая Анна Васильевна, творческий акт вызывает у зрителя прилив эмоций. И для этого вовсе не обязательно писать картину или водить смычком. Например, — он схватил чашку с недопитым кофе и плеснул на белую, с шёлковым шитьём скатерть. Анна Васильевна вскрикнула, отшатнулась от чёрного, измаравшего скатерть пятна. Веронов смеялся, глядя на её испуганное, помолодевшее от испуга лицо. На этом лице на мгновение вспыхнула увядшая красота и женственность.

— Вот видите, Анна Васильевна. Моё искусство подействовало на вас сильнее любой картины.

После кофе он удалился в гостиную, улёгся на диван среди персидских подушек и принимал утренние звонки, которые нарастали волной по мере того, как оживал интернет, являлись на работу жадные до новостей журналисты.

Всех интересовало вчерашнее происшествие в “Москва-Сити”. Требовали подробностей, искали символические смыслы, просили уведомить о следующих акциях. Веронов сначала отвечал увлечённо, шутил, дурачился, пугал. Потом ему наскучили однообразные вопросы. Он выключил звук телефона и только поглядывал на мерцанье экрана и вспыхивающие номера. Один из номеров показался ему необычным. В нём подряд следовали четыре “семёрки”. Такой телефонный номер мог принадлежать исключительной персоне, и Веронов взял трубку.

— Господин Веронов? Меня зовут Янгес Илья Фернандович. Я директор английского инвестиционного банка, работающего в России. Вчера я был участником банкета, который был расстрелян вами из пулёмёта “Максим”. Хотел вам сказать, что это было великолепно.

Голос говорившего был властный, рокошущий, с легчайшей иронией, которую мог позволить себе сильный, влиятельный, сведущий человек, не принимавший всерьёз поступки людей, ибо знал истинную природу их побуждений.

— Я бы хотел увидеться с вами и познакомиться.

Веронов вспомнил, как среди бегущей, падающей и стенающей толпы оставался стоять высокий седовласый господин с тонкой усмешкой и восторженными голубыми глазами. Он с восхищением следил за обезумевшим залом, и Веронов хлестнул по нему очередью, а тот в ответ поклонился.

— Если вам позволяет время, приглашаю вас к себе.

— Где вы находитесь? — Веронов уловил легчайший трепет, словно колыхнулось пространство, и время едва заметно изменило свой бег.

— Новинский бульвар. Бизнес-центр. Компания “Лемур”. Пропуск уже заказан.

В бизнес-центре бесшумно скользили лифты. На медных досках значились имена компаний и корпораций. Лощёные клерки с одинаковыми лицами и причёсками, в белых рубашках и тёмных пиджаках мелькали на мгновение и исчезали среди блеска, словно проходили сквозь стены. Молодые женщины, похожие одна на другую, — стройные ноги, короткие юбки, высокие каблуки, — несли куда-то лёгкие папочки или выглядывали из-за стопок в приёмных, окружённые компьютерами и телефонами. Всё пространство тихо шелестело, нежно позванивало, переливалось.

Веронов отыскал медную доску с гравированной надписью “Лемур” и ушастым пучеглазым зверьком, растопырившим когти. Секретарша за стойкой очаровательно улыбулась сиреневыми губами:

— Аркадий Петрович, вас ждут.

Кабинет, куда он ступил, был огромный, весь белый, сияющий, с просторным окном, за которым мягко рокотало Садовое кольцо. Посреди кабинета стоял загорелый немолодой человек с белыми, отливавшими синевой волосами.

— Янгес Илья Фернандович. Когда вы полоснули по мне пулемётом, в ленте среди холостых оказался один боевой патрон. Он просвистел у моего виска и пробил стекло. Вот, посмотрите. — Янгес протянул Веронову снимок, на котором виделось пулевое отверстие в оконном стекле с паутиными трещинами, за которыми туманилась огненная панорама Москвы. — Не волнуйтесь, к вам не будет претензий. Я оплатил ущерб.

— Как среди холостых патронов мог оказаться один боевой?

— Не исключаю, что это была не пуля, а ваша неистовая воля, способная на расстоянии сбивать самолёты. — Янгес рассмеялся и за руку дружелюбно подвёл Веронова к дивану и усадил. Очаровательная секретарша уже разливала в узорные чашечки душистый чай, ставила вазочки с восточными сладостями.

— Попробуйте чай. Он заварен на травах, которые я сам собирал в Тибете.

— Вы изучали с монахами тибетские практики?

— Они, как и вы, взглядом сбивают птиц.

Веронов делал маленькие глотки, чувствуя душистую горечь, которую сообщали чаю жёлтые цветочки, что растут у подножья каменных Будд. Ждал, когда хозяин кабинета объяснит смысл их встречи.

— Я слежу за вашим творчеством, Аркадий Петрович, по публикациям в художественных журналах, читаю статьи арткритиков. На некоторых ваших выступлениях присутствовал лично, как, например, вчера. Перформансы, которые вы устраиваете, имеют далеко идущие последствия. Выходят далеко за пределы студий и галерей, где они совершаются.

— Что вы имеете в виду? — Веронов рассматривал собеседника, стараясь понять, что этот господин с характерным лицом банкира находит в его эстетских, часто скандальных представлениях, столь далёких от банковских счетов и валютных бирж.

— В Норильске я был по делам службы и присутствовал в Доме культуры на вашем представлении. На улице был чудовищный мороз, звёзды — как раскалённая сталь. Кругом тундра, тьма. В зале простуженные, утрюпые лица. И вдруг вы совершаете чудо. Занавес падает, и на сцене живая, ярко зелёная, благоухающая трава, и на этой траве стоит прелестная обнажённая женщина с распущенными волосами. Какое было потрясение в зале!

— Действительно, было много оваций.

— Но я провёл исследование, и после вашего действия в городе резко упало число психических расстройств и на десять процентов увеличилась рождаемость.

— В самом деле? Так далеко мои арткритики не заглядывали.

— Но вот другое ваше представление, в Петербурге. Тогда на длинную доску вы положили огромного живого осетра. Рыбина сначала билась, танцевала на голове. Всё тише, тише. Замирала, ей не хватало воздуха. Она шлёпала красными жабрами, вздрагивала плавниками. Было видно, как она мучается. Как меняется цвет её тела, от бело-серебристого до тускло-фиоле-

того. Люди неотрывно смотрели, и казалось, они сами умирают вместе с рыбиной. И когда она умерла, все разошлись, обессиленные.

— Да, быть может, это было жестоко по отношению к рыбе, но публика была околдована и лишилась сил. В этом был эстетический эффект перформанса.

— Но через неделю начались знаменитые лесные пожары, когда горела вся Россия, сгорали села, огонь врвался в города, от дыма тускнело солнце, и множество людей умерло от удушья. Это природа мстила за убийство рыбы. Вы казнили Царь-рыбу, и природа решила сжечь себя и всех нас. Это вы подожгли леса.

— Вы серьёзно так думаете?

— Я убеждён. Вы своими художественными действиями умеете извлекать бурю эмоций и подчиняете эти эмоции целенаправленной воле. Эта воля двигает эмоции в окружающий мир, и там рождаются непредсказуемые последствия. Ваш перформанс не кончается студией или залом, а имеет продолжение в окружающем мире. Ваш перформанс есть детонатор невидимых взрывов.

— Вы хотите сказать, что вчерашняя злая шутка с “Максимом” имела другие последствия, кроме разбитых бокалов, толкотни и женских задраных ног?

— Сегодня ночью взорвалось газохранилище в Липецкой области. Взрывом уничтожена промзона площадью в десять гектар, погибло шестнадцать человек и нарушено железнодорожное сообщение. Газохранилище принадлежало одному из участников банкета.

Янгес взял пульт, включил телевизор, и Веронов увидел мутный дым, огромные бесплохи, развороченные конструкции, пожарных, бегущих в огне, и машины “скорой помощи”, в которые заталкивают носилки, покрытые брезентом.

— Это всё сделал я?

Веронову вдруг захотелось подняться и, не прощаясь, уйти. Но он остался сидеть, остановленный лемурыми цветными глазами, заворожённый колдовским бархатным голосом.

— Я уверен, — продолжал Янгес, чуть усмехнувшись, словно угадал происходящую в душе Веронова борьбу и торжествовал свою победу. — Уверен, что взрыв в Чернобыле случился после того, как кто-то на потеху зрителям заколол невинного бычка. Ужас бычка, сладострастное возбуждение зрителей, направляемые беспощадной волей мясника, который был по-своему художником, этот волевой импульс достиг реактора и взорвал его. Это был диверсионный акт абсолютно нового типа. Диверсия, совершённая художником.

Веронову показалось, что его лизнул ледяной сквознячок. В кабинете было тепло. За окнами сияло солнце. Но сквознячок коснулся его, словно где-то приоткрылся погреб, пахнуло ледяной промозглой сыростью.

Веронов оглядел кабинет. Пол был гладкий и чистый, не предполагал подполья. И Веронов вдруг понял, что сквознячок сочится в нём самом, из невидимой щели, которая ведёт в бездонное, находящееся под сердцем подполье.

— Скажу вам больше, Аркадий Петрович. Советский Союз был разрушен художниками. Без пуль, без вторжений, без военных переворотов. В Советский Союз, по тайной договоренности вашего и американского президентов во время их встречи в Рейкьявике, приехало несколько выдающихся мастеров перформанса. И они в течение четырёх лет перестройки совершали свои акции, нанося глубинные травмы общественному сознанию, в котором с каждой акцией умирали представления о величии государства. О несокрушимости армии. О всеведении спецслужб. О мощи промышленности. О героической истории. О доблестных героях. О гениальных писателях и музыкантах. Каждый перформанс наносил удар по одному из столпов государства. И когда последний столп рухнул, когда состоялся заключительный грандиозный перформанс — введение танков в Москву, убийство трёх демонстрантов, сокрушение памятников, — когда это грандиозное зрелище совершилось, пало государство. Недаром в Священном Писании сказано: “Дело рук художника ненавижу”.

Веронов желал понять, не смеются ли над ним, не является ли сидящий перед ним человек фантазёром, которые водятся в артистической среде и своими фантазиями расцветивают и украшают общение. Но Янгес, хотя и улыбался, но улыбка его была жестокой и хищной.

— Почему вы меня пригласили? — спросил Веронов. — Я не взрывал Чернобыль.

— Я хочу предложить вам проект. Художественный, но и не только. Мы испытаем с вами новое оружие. Вы оружейник, вы и оружие.

— Я просто художник, мастер перформанса, искусства, которое интересует очень узкую прослойку и абсолютно не интересует власть. Власть сослала художников в самые тёмные глухие углы общества и забыла о них. Мы все — отшельники культуры.

— Это и важно. Вы отомстите власти за унижения, за несправедливую опалу и ссылку. Вас не видят, вы вдалеке от Кремля, генерального штаба, президента. Вы в чулане. Но из своего чулана, из потаённого убежища вы наносите удары сокрушительной силы. И от ваших ударов загораются леса, взрываются газохранилища, шатается свод Государства Российского. Вас нельзя обнаружить, вы неуязвимы. Но после ваших камерных представлений падают самолёты и происходят массовые беспорядки. Давайте встряхнём Россию?

— Вы так не любите Россию?

Янгес встал и, глядя в дальний угол кабинета, перекрестился. Веронов увидел среди белизны мерцающий маленький образ в цветных переливах, как и глаза Янгеса.

— Я люблю Россию больше, чем кто-либо. Россия — душа мира. Дом Богородицы. Россия соединяет небо и землю. Из России колодцы уходят прямо в небо, в Царствие небесное, и всё человечество пьёт воду из чаши, которую подносит народам Россия. Мир смотрит на Россию и ждёт, когда она произнесёт своё сокровенное Слово Жизни, которое спасёт род людской. Все волшебные русские сказки, все великие философы и писатели, все революционеры и космисты слышали это небесное Слово и стремились обратиться с ним к людям. И все русские муки, все дыбы и плахи, все небывалые мучения побуждают сегодня Россию произнести это желанное Слово.

Янгес говорил вдохновенно, с глубоким волнением и верой. Глаза его увлажнились, и казалось, вот-вот из них потекут разноцветные слёзы.

— Но это Слово не может пробиться сквозь хаос и шум, которые сегодня наполняют русскую жизнь. Мы хотим услышать великую русскую симфонию, а слышим визги, скрежеты, отвратительные крысиные пiski и собачьи хрипы. Там “красные”, там “белые”. Там монархисты, там революционеры. Те за Ленина, те за Сталина. А те за Колчака и Деникина. Мусульмане стекаются в свои мечети и мечтают об ИГИЛ. Евреи в синагогах мечтают о Второй Хазарии. Русские в церквах молятся о государе императоре. Шаманы выходят на капища и выкликают Большую белую сущность. Патриоты, либералы. Никониане, язычники. Всё это смешивается, дерётся, готово схватиться в смертельной войне. Надо встряхнуть Россию. Чтобы весь этот сор опал. Чтобы ржавчина осыпалась. Чтобы грубая мазня исчезла, и под ней открылся подлинный дивный лик. И Россия, наконец, произнесла своё вещее Слово Жизни.

Веронову казалось, что он стоит на прозрачном тончайшем льду в отблесках солнца, а под хрупким стеклом чернеет бездонная глубина, куда он провалится. И от этого было сладко и было ужасно, и этот ужас был упоителен, и эта тёмная бездна таилась в глубине его собственной души, и хотелось упасть в неё и лететь в этой крошечной упоительной тьме, из которой он когда-то вышел на свет, был поставлен на хрупкий прозрачный лёд, готовый распасться.

— В чём ваш проект? — слабым голосом спросил Веронов.

Тот мгновенно остыл. Голос утратил слёзную дрожь. Глаза высохли и переливались холодным блеском.

— Я открываю вам счёт в банке, не ограниченный. Даю вам задания, присылаю по электронной почте наименование объектов, которые вам надлежит взорвать. Конечно, фигурально, никакого терроризма. Хотя, если

угодно, речь идёт об испытании нового оружия. Это оружие — вы, Аркадий Петрович. Сокрушая очередную моральную твердыню, вы вызываете вихрь, который производит невероятные разрушения на огромном от вас удалении. Эти разрушения копятяся, ваши эмоциональные удары учащаются и в итоге приводят к желаемой встряске. Россия вздрагивает. Ржавчина опадает, окалина осыпается. И Русская Мечта начинает сверкать в своей волшебной красоте. Вы меня поняли, Аркадий Петрович?

Веронов вдруг испытал удивительную лёгкость, освобождение, счастливое веселье. Он кудесник, обладатель волшебных искусств. Он будет разрушать запретные табу, срывать пломбы с запечатанных сундуков, где заперты стихии. И эти стихии по его повелению вырвутся на волю и своей свежестью, нерастраченной силой омолодят ветхий мир, очистят Россию от скверны.

— А что, если я, разрушая все заповеди, все запреты, отрицая все нормы и правила приличия, схвачу вас за нос? — спросил Веронов.

— Можете это сделать, Аркадий Петрович. Но вы этим ничего не добьётесь, как если бы вы схватили за нос себя самого. Мы с вами одно и то же.

Они посмотрели один на другого и рассмеялись. Веронов, прощаясь с хозяином белоснежного кабинета, вновь почувствовал ледяной сквознячок, который лизнул ему сердце.

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Янгес не замедлил о себе напомнить уже в тот же вечер. Раздался телефонный звонок, и вежливый, слегка грассирующий голос произнёс:

— Аркадий Петрович? Ваш телефон мне дал Илья Фернандович. Он сказал, что я могу к вам обратиться.

Это лёгкое грассирование и доставшаяся от прежних еврейских поколений печальная интонация позволили Веронову тут же создать портрет собеседника. Голый бледный череп с зачёсами седых волос на висках. Заострённый, книзу опущенный нос с голубой жилкой. Большие влажные, чуть навывкате грустные глаза с серыми мешочками.

— Я слушаю вас.

— Меня зовут Исаак Моисеевич. Я исполнительный секретарь общества “Мемориал”. Илья Фернандович сказал, что я могу к вам обратиться. А для нас Илья Фернандович является большим авторитетом.

— В чём ваша просьба?

— Илья Фернандович сообщил, что в вашем роду есть репрессированные родственники. Он сообщил, что ваш прадедушка был расстрелян по делу “Промпартии”. Что две ваши двоюродные бабушки были сосланы в ГУЛаг, в Красноярский край, а потом отбывали ссылку на Урале. Что ещё один ваш дедушка отбывал срок в Каргополе. Так ли я говорю?

Веронов был уязвлен осведомлённостью неизвестного человека, который вторгся в сокровенное прошлое его рода и бесцеремонно ворошил это прошлое.

— Откуда у вас такие сведения? Ведь, согласитесь, не каждому по нраву, когда кто-то с неясной целью теребит ваши родовые предания.

— Вы не должны гневаться, Аркадий Петрович. Судьбы ваших репрессированных родственников складываются с миллионами других репрессированных и не являются только вашим родовым прошлым. А являются нашим общим прошлым, прошлым нашей страны. У нас в “Мемориале” есть картотека, где значатся имена и судьбы всех невинно пострадавших от сталинского произвола.

— Допустим. Но зачем я вам понадобился?

— Видите ли, Аркадий Петрович, мы завтра проводим расширенное собрание, на котором хотим выступить с некоторыми инициативами, направленными на оздоровление нашего общества, в котором некоторые силы возвеличивают Сталина и оправдывают совершенные им злодеяния. Это прокладывает дорогу для новых возможных репрессий. Мы хотим предупредить общество об этой опасности.

— Но при чём здесь я?

— Илья Фернандович сообщил нам, что вы замечательный оратор и известный человек. Мы приглашаем вас выступить на нашем собрании, которое состоится завтра в Библиотеке Иностранной литературы.

Веронов раздумывал, стоит ли ему продолжать разговор. Но вдруг понял, что Янгес, этот загадочный маг, с которым он вступил в опасный и увлекательный сговор, даёт ему повод совершить перформанс. Силой искусства извлечь из омертвелой материи импульс энергии, способной распахнуть окостенелую жизнь.

— Что ж, я согласен. Мне есть что сказать.

Его предки, деды и прадеды, расстрелянные, погибшие на этапах, измученные в лагерях, вызывали в нём не страдание, а недоумение, как необъяснённая причина. За что? Почему? В какой связи с его собственной жизнью? Он отодвигал их в туманное прошлое, в фамильные альбомы с их лицами, с их вопрошающими глазами, перед которыми робел и от которых отворачивался. Вокруг ревели страсти, истощённые сталинисты воспевали своего кумира, поборники либеральных свобод ненавидели палача с бриллиантовой Звездой Победы.

Всё кругом мучилось, корчило, не умело отрешиться от прошлого, не хотело заглянуть в будущее. Зрел пузырь, один из многих, который Веронов хотел проткнуть. И он стал готовиться к перформансу, стал искать иглу, которой проткнёт пузырь.

Утром, отправляясь в собрание “Мемориала”, он катил на своём респектабельном “Бентли” по набережной, в струящемся блеске. Наслаждался зрелищем близкой реки, белыми речными трамвайчиками, зелёной кущей Нескучного сада, серебристой арфой Крымского моста. На заднем сиденье, обёрнутый в холст, таился сюрприз, с которым он выйдет к собранию. И никто, ни одна душа, не должны угадать, что скрывается под свежей холщовой тканью.

Впереди нежно и восхитительно зазелел Кремль, породив сладостное головокружение, которое он испытывал с самого детства, когда Кремль румянился в синем морозном воздухе или таинственно плыл в осеннем дожде, или в праздничном пасхальном ликовании парил над рекой с белоснежными дворами и храмами, с лучистым золотом своих куполов. Веронов смотрел на Кремль, словно вдыхал аромат таинственного цветка, которым одарила его Москва. Но поведя глазами в сторону, испытал внезапную тяжесть, словно сумрачная туча заслонила недавнюю солнечность. Этой тучей был Дом на набережной, огромные, пепельно-серые сдвинутые кубы, вызывавшие тайную тоску, мутную тревогу, какая охватывает при виде крематория. Дом был задуман как символ мрачного беспощадного господства победивших революционеров над проигравшей монархией. Нависал над Кремлём, ложился на него могильной плитой, топтал его кресты, дворцы и соборы. В него заселилось первое поколение победивших комиссаров, из окон своих квартир наблюдавших поверженную Россию.

Их торжество продолжалось недолго. Сюда один за другим подкатывали ночные “воронки”, и недавних властителей поднимали из тёплых постелей и везли на Лубянку, где им ломали кости и расстреливали в глухих подвалах. Их детей и жён высылали в далёкую Сибирь, а их квартиры заселяли офицеры НКВД. Развешивали на стенах портреты вождя, любовались рубиновыми кремлёвскими звёздами, сознавая себя гвардией Сталина, “орденом меченосцев”, чей меч продолжал свистеть, выкашивая ряды истинных или мнимых заговорщиков. Когда рухнула империя НКВД, и главные опричники Сталина были расстреляны или сосланы, в пустые квартиры вселились партийные руководители, их сытые простоволосые жены, новая знать, уставшая от бремени сталинских новостроек и расстрелов. Теперь Кремль был их, как кремовый торт, которым они лакомились, выковыривая и обсасывая золотые ягодки куполов. И так продолжалось все тучные годы, когда медленно, липко сползал оползень прокисшего государства, и в роковую ночь из Москвы улетели все красные духи, оставив столицу на истребление загадочным нетопырям и остроклювым грифам, которые долгие годы таились в глухих

проёмах кремлёвских колоколен и звонниц. Дом на набережной заселили разбитные торговцы, ловкие спекулянты, устраивая свои пиры с видом на Кремль, учиняя оргии под визгливую восточную музыку, с танцами на столах голых красавиц. И Кремль молчаливо наблюдал, как светятся окна в чудовищном доме, и из окон выпадает очередная красавица. Эти временные обитатели Дома, заселившие его не по чину, постепенно убрали загаженные квартиры, отремонтировали их с невиданной роскошью, заставили антикварной мебелью, развесили хрустальные люстры, и в них вселились главы концернов, иерархи церкви, банкиры и звёзды эстрады. В квартире, где когда-то жил комиссар в пенсне с еврейской бородкой, отдававший приказ о расстреле священников, теперь поселился епископ, молящийся по утрам на кремлёвские кресты, мечтающий срезать с кремлёвских башен рубиновые сатанинские звёзды.

Веронов проезжал Дом на набережной, похожий на огромный кусок антрацита, и гадал, кто следующий поселится в Доме в очередную годину русской беды.

Он доехал до высотного здания, свернул на Язу и оказался возле библиотеки. Оставил машину на парковке. Дал пяти тысячную купюру двум служителям, чтобы те перенесли его сюрприз в здание библиотеки, но так, чтобы ни одна душа не заглянула под холст. У входа его встретил Исаак Моисеевич, чью внешность с поразительной точностью угадал Веронов. Лысый желтоватый череп. Два пышных седых зачёса на висках. Деловитый опущенный нос с голубой жилкой. Печальные глаза, в которых, казалось, дрожала вековечная слеза.

— Вам будет предоставлено слово, Аркадий Петрович. У всех у нас разбитые сердца, и я вижу, что и у вас оно разбито. Проходите в зал заседаний.

Здесь былолюдно, шумно. Люди перемещались, взмахивали руками, громко говорили. Напоминали стаю грачей, оправляли перья, чистили клювы, готовые сняться и полететь дальше, исчезая тёмными метинами на вечерней заре. Среди них было мало молодых. Мужчины и женщины были скромно, даже бедно одеты. По виду мелкие служащие, учителя, библиотекари, общественные деятели средней руки. Среди них Веронов заметил известную правозащитницу, до того ветхую, что она сидела, опираясь на палку, в нелепом чепце, с неопрятными волосами. Нелепо выделялся полный казак, затаенный в синий мундир с эпогетами и георгиевскими крестами. Виднелись телекамеры. Наконец, все расселись и понемногу утихли. Исаак Моисеевич занял место в президиуме, постукивая пальцем по стакану, призывал к тишине.

— Объявляю наше внеочередное собрание “Мемориала” открытым. Очень тревожно на сердце, когда видишь, как вновь поднимают из могилы Сталина. Ставят ему памятники, прославляют по радио и телевидению. Забыли, какой он кровавый изверг, и нас готовят ко второму пришествию Сталина. Мы, общество “Мемориал”, должны обратиться к народу, к власти, к президенту с предупреждением о грозящей опасности. С призывом провести десталинизацию, как она проводилась в годы Хрущёва и Горбачёва, и вырвать корень сталинизма из нашей русской почвы.

Исаак Моисеевич обвёл зал тревожными глазами, желая убедиться, что призыв его услышан. Из зала раздалось несколько возгласов:

— Президент сам из КГБ, он сталинист!

— Надо не просить, а требовать! Именем всех расстрелянных!

— Любо! — ухнул, как филлин, казак и умолк, втянул голову в плечи.

Веронов чувствовал возбуждение зала, нетерпеливые волны возмущения, страдания, закипающей ярости. Пузырь взбухал. Сюрприз, который Веронов приготовил для зала, стоял у стены, укрытый холстом.

Исаак Моисеевич высматривал в зале наиболее активных, указывал пальцем:

— Вы хотели сказать, Софья Львовна! Вы поднимали руку!

Из зала на сцену пошла невысокая, хрупкая женщина в поношенной кофте, с седой головой. Её движения были порывисты, словно она вырывалась из чьих-то цепких объятий. У неё был большой розовый зоб, перевитый

синей веной. Когда она стала говорить, зоб начал краснеть, наливаясь, и жила пульсировала, готовая лопнуть.

— Вы знаете, мой дедушка Франц Генрихович Беркович был адъютантом у Уборевича. Он воевал за эту власть в Бессарабии, в Туркестане с басмачами. Он был награждён орденами, красный командир. Его арестовали по делу Уборевича. Его голого ставили в яму с ледяной водой, чтобы он дал показания на Уборевича. У него ноги стали синие, и в них завелись черви. Его расстреляли по личному приказу Сталина. Я узнала имя следователя, который выбивал показания. Мартынов Фёдор Иванович. Так пусть же дети и внуки этого Мартынова поедут к той яме и упадут на колени, станут вымаливать прощенье. Я бы хотела заглянуть в их глаза, чтобы в этих глазах шевелились черви, которые завелись в ногах моего деда. Пусть на каждом доме, где жил палач, висит знак: “Здесь жил сталинский изверг. Люди, плюньте на порог этого дома!”

Её зоб казался огромным красным корнеплодом, выросшем на шее. Голос клочкотал, обрывался, и она была готова упасть со сцены. Её подхватили и усадили на место. Раздавались возгласы;

— Всех палачей-сталинистов заочно судить!

— Бирку на дом: “Здесь жил палач”!

— Вырыть их из могил вместе со Сталиным!

— Любо! — ухнул казак и замер, втянул голову в тучные, с эпюлетами, плечи.

— Вот вы, вы, Николай Нестерович! Вы хотели сказать! — Исаак Моисеевич указал пальцем в зал.

На сцену пошёл худой старичок в клетчатом пиджаке с кожаными подлокотниками, какие бывают у бухгалтеров. Он шёл и оглядывался, словно его кто-то окликал. У него был седой хохолок и белые губы.

— Вы знаете, я художник и скульптор. Внучатый племянник Андрея Андреевича Филимонова, который рисовал декорации к спектаклям Мейерхольда. Вместе с ним был арестован, сослан на лесоповал. Там на людей наваливали огромные стволы и заставляли тащить на себе из леса к железной дороге. Мой дедушка надорвался и умер прямо в лесу. Я создаю памятник жертвам сталинизма, чтобы такие памятники стояли во всех городах, напоминали о невинных жертвах. Один мой памятник изображает изнурённого эка на подгибающихся ногах, а на нём огромное тупое бревно, которое его давит. Другая скульптура изображает Сталина, лежащего на земле, как поверженный дракон, в чешуе и с хвостом, и ангел всаживает в него отточенный осиновый кол. Я бы хотел, чтобы убрали скульптуру Рабочего и Колхозницы, символ торжествующего сталинизма. И на этом месте поставили мой памятник. Прошу вас, поддержите мои проекты. Пусть Министерство культуры даст денег!

Его поддерживали:

— Предлагаю всем подняться, пойдти к кремлёвской стене и всадить кол в могилу Сталина, чтобы тот никогда не поднялся!

— Прямо сейчас начнём собирать деньги!

Старичок, взволнованный, возвращался на место. Его хохолок победно трепетал. Губы порозовели.

Веронов слушал выступления, в которых тоскливые воспоминания мешались с гневными всплесками, с требованием возмездия, с тоскливыми, как плачи, упованиями. За каждым выступающим стояли убиенные, замученные, сгинувшие бесследно в сибирской тайге, в тундре Салехарда, в горячих песках Караганды, во льдах Магадана. Они наполняли зал бестелесными телами, пустыми глазницами, открытыми беззубыми ртами. Их становилось всё больше. Их не пускали стены. Веронов чувствовал лицом хлопки ветра, который поднимали их пролетавшие души. Все, кто выступал, казались ущербными, с отклонениями, смещёнными осями симметрии, словно им передавались через поколения переломы, травмы и помешательства тех, кого вели на расстрел, кидали во рвы их недобитые трепещущие тела.

— Мы должны поддержать инициативу “Бессмертный барак”, — говорил огромного роста человек в чёрном потёртом пиджаке и неправильно за-



стегнутой рубахе. На его бледном лице синели подглазья, ноздри орлиного носа были полны волос, голос был каркающий, кашляющий, словно в горле застряла кость. — Достанем из альбомов фотографии наших репрессированных родственников и понесём в многомиллионной колонне. По всем городам, по всем деревням! По Красной площади, мимо могилы душегуба, чтобы она зашевелилась, и земля выдавила из себя проклятые кости.

— И пусть президент возглавит колонну! Мы узнаем, с кем он, с народом или с палачами!

— День плача! Как холокост!

— Нет сталинизму!

— Любо! Любо! — ухал казак, сжимая в воздухе огромные кулаки.

— Дорогие товарищи, — успокаивал зал Исаак Моисеевич. — Я хочу предоставить слово нашему новому члену, которого порекомендовал наш замечательный спонсор Илья Фернандович Янгес. Это известный художник и общественный деятель Аркадий Петрович Веронов. Он будет продвигать идеи “Мемориала” своим искусством. Пожалуйста, Аркадий Петрович! — Исаак Моисеевич постучал ногтем о стакан, призывая к тишине.

Веронов подхватил свой свёрток, вышел на сцену и установил сюрприз на столе, бережно поправил холст. Стоял бледный, статный, в чёрном сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, похожий на факира:

— Дорогие братья, да, да, братья! Потому что все мы входим в скорбное братство, скреплённое слезами мучеников, кровью невинно убиенных. Наш с вами священный долг — сберечь эту горькую родовую память, не давать ей увянуть, не позволить жестоким и бессердечным людям предать эту память забвению. Моя двоюродная прабабушка была историком, раскапывала Помпеи и кончила свои дни в лагере под Красноярском, где умерла от цинги. Мой двоюродный прадед был прекрасным инженером, и его арестовали, лили ему на голову нечистоты, и он умер от разрыва сердца. Половина моего рода бежала за границу от большевицкой тирании, а другая осталась здесь и погибла в тюрьмах и лагерях.

Зал слушал его с сочувствием, раздавались вздохи, стоны сострадания. Веронов чувствовал, как утончается плёнка между ним и залом, и по ту сторону невидимой плёнки взбухает пузырь. Сердце его сладко замирало от предчувствия, от таинственной музыки, которая наполняла его голос певучестью.

— Наша память делает нас бесстрашными, не даёт сомкнуться над нашими головами злу. Мы собрались сюда, чтобы восстановить величие, солнечную победную красоту, пропеть хвалу неповторимому и бессмертному. — Веронов замер, чувствуя, как натянулась и дрожит протяннутая через мирозданье струна. Повернувшись к установленному на столе предмету, укрытому холстом. Схватил и, сдёргивая холст, задыхаясь, страстно захлебываясь, крикнул: — Слава товарищу Сталину!

Сдёргнул холст, и огромная икона польхнула золотым и алым, плеснула в зал своим огненным светом.

На золотом поле, среди ангелов, в рост, в белом кителе, с бриллиантовой звездой Победы, стоял генералиссимус. Над его головой пылал ослепительный нимб.

Икона, как прожектор, светила в зал, испепеляя его. Веронов чувствовал ужас зала, гибнущие в страдании души, меркнущие от кошмара рассудки. Он куда-то проваливался, куда-то летел, в бархатную бездонную тьму. В сладчайшем падении испытывал несравненное наслаждение, неизъяснимое блаженство, в которое превращались мучительные крики толпы, слёзные стелания, хрипы ужаса.

Он видел, как отшатнувшаяся женщина с зобом закрывает локтем лицо, словно ей выжигали глаза. Как застыл с пустым, без дыхания ртом мужчина с хохолком, превращённый в камень. Как тучный казак съехал с кресла вниз и блестел одним эполетом. Весь мир вокруг бурлил, сотрясался. Шевелились кости в расстрельных рвах. Взбухали безвестные могилы в песках и тундрах. И его прадед в мундире горного инженера бежал по воздуху, беззвучно крича.

Веронов видел всё это, испытывая сладкий ожог в паху. Улыбаясь длинной волчьей улыбкой, покинул зал и вышел, никем не преследуемый.

Сел в “Бентли” и покатил в московском воздухе, в котором, казалось, пламенели лучи красно-золотой иконы.

Весь день Веронов испытывал счастливое вдохновение. Чувствовал молодую свежесть. Вся его плоть веселилась, смеялась. Тело порозовело, как у юноши, словно он принял радоновые ванны. Всё то страдание и ужас, что исторгали потрясённые люди, преобразились для него в ликующую энергию, какая бывает при омоложении. Пропасть, куда он проваливался под вопли и стоны, была упоительной, свободное падение порождало счастье, и на дне этой пропасти что-то мерцало, драгоценно вспыхивало, манило, будто там, на огромном удалении, находился бриллиант. И хотелось слиться с этим бриллиантом, испытать небывалое блаженство.

Он лежал на диване, среди разноцветных кальянов, которые шествовали один за другим, как экзотические птицы. Интернет бушевал. Порождённая Вероновым буря летела от сайта к сайту. Её разносили буйные блогеры, подхватывали остряки. Веронова проклинали, грозили судом. Им восхищались. Приводили отрывки текстов о раскулаченных крестьянах, расстрелянных маршалах, убитых режиссёрах и академиках.

“Будь проклят ты, сталинский ублюдок! Тебе гореть в аду”. “Сталин — не человек, а скорость света. А его невозможно остановить”. “Давайте оудмаемся, проведём спокойную дискуссию: “Кто для России Сталин?”. “Мало вас Сталин стрелял! Жаль, не дострелял”. “Сталин — кровавый карлик, который съел сердце России”. “А вы все жида vonючие!”

И множество фотографий иконы с генералиссимусом и золотым нимбом.

Волны, порождённые его эксцентрической выходкой, расходились по интернету. Вибрация растревоженного мира накладывалась на другие вибрации, одна волна проникала в другую, их сложение меняло зыбкое пульсирующее поле, в котором происходило множество одномоментных событий. Русские самолёты пикировали на Алеппо. Ополченцы Донбасса шли в наступление, выбивая противника из посёлка. Разгневанный американский президент показывал кулак журналисту CNN.

И всё переливалось, меняло очертание, и икона с генералиссимусом плыла в беспшумном океане, омываемая потоками мира.

Ближе к вечеру пришло электронное письмо.

“Блестяще! Вы истинный кудесник. Будем ждать техногенных последствий. Первый транш прошёл. Ваш Янгес”.

К письму прилагалась эмблема, напоминающая монету древней чеканки, времён Ниневии или Вавилона: змея, обвивающая колонну.

Веронов соединился с банком, где хранил деньги, и убедился, что на его счёт только что пришло два миллиона рублей.

Он лежал на диване, вспоминая сладостное падение в бездну, в глубине которой дышал, переливался дивный бриллиант, манящий, влекущий, обещавший небывалое счастье. Эта бездна находилась в нём самом, он падал в себя самого, и заветный бриллиант переливался в глубине его сущности, на такой её глубине, до которой невозможно дотянуться рассудком, а только колдовством, волшебством его искусства. Разрушением запретных преград, срыванием заветных печатей, одну из которых он только что сорвал. Он вдруг вспомнил нечто, что испытал когда-то в детстве и что было связано с мамой.

Мама, драгоценная, ненаглядная, — её лёгкий прах покоился на небольшом подмосковном кладбище, закрытом для новых погребений. Туда раз в год приходил Веронов, стоял у розового камня, на котором было вырезано дорогое имя, вдруг тускневшее, плывущее в тумане от неудержимых слёз. С мамой был связан свет, который не давал тьме сомкнуться в его душе, уберегал от злодеяний, позволял выстоять среди жестокого и крошечного мира.

Их веранда на даче, полная янтарного солнца, и мама, улыбаясь своей милой улыбкой, протягивает ему белую булку с мёдом, и золотистая медовая капля блестит на её руке. Ёлка наполняет их дом ароматами леса, тёплого воска, волнующей сладостью праздника, и в блеске шаров, в мерцании голубой

слюды мамина рука скользит среди хвои, вешает за петельку стеклянную звезду. Зимнее окно с синим снегом, красная кирпичная стена дома, и мама читает ему сказку о богатыре, и на картинке богатырский конь склонил голову к придорожному камню. Заброшенная церковь, полная душистого сена, и мама, смеясь, легонько толкает его в это сено, которое принимает его в свою шелестящую глубину, и они с мамой лежат на сене, глядя, как в куполе церкви розовеет нарисованный ангел.

Их дача стояла на зелёной горе, над рекой. Мама ушла на речку сполоснуть бельё, а он остался в доме, перебирая засушенные цветы среди газетных листов, — жёлтый зверобой, белый тысячелистник, фиолетовый горошек. И вдруг испытал прилив нежности, захотелось увидеть маму, обнять, поцеловать её каштановые душистые волосы. Он выбежал из избы. Гора была зелёной, солнечной, с неё сбегала розовая тропка прямо к синей реке, у которой на мостках мама полоскала бельё. И такой огромный солнечный мир был вокруг, такая синяя река с разбегавшимися крутами, такая любимая обожаемая мама, к которой он сейчас сбежит и обнимет, что детская его душа раскрылась навстречу необъятному восторгу, любви, словно кто-то светоносный, белоснежный, поднял его на руках, вознёс в высоту, в лучистую лазурь, и оттуда он видел весь дарованный ему мир, леса, деревни, зелёную гору, маму у синей реки.

Теперь, лежа на диване, Веронов старался воскресить то детское чудо, богоявление на зелёной горе. Не мог. Знал, что оно было, что несло в себе неизъяснимую сладость, указывало путь вверх, в лучистую бесконечность, куда ему не дано было воспарить. И теперь эта уходящая в небо лазурь сменилась таинственный, уходящей вниз бездной, в глубине которой мерцал таинственный подземный бриллиант.

## ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

Утром за кофе Веронов просматривал газеты. На первой полосе “Коммерсанта” размещалась крупная фотография Веронова, когда тот сдёргивает холст с иконы, открывая белоснежного генералиссимуса на золотом поле, окружённого ангелами. Нимб над головой Сталина казался солнцем, встающим над головой вождя. Заголовок гласил: “Православный сталинизм”. В статье сообщалось, что икона Сталина, наделавшая столько шума в обществе “Мемориал”, была изготовлена по тайному поручению Московской патриархии и написана в Софринских иконописных мастерских. Это подтверждает существование в церковной среде целого течения, прославляющего Сталина и утверждающего, что Сталин рано или поздно будет причислен к лику святых как мученик, отравленный врагами русского народа, с которыми всю жизнь боролся Сталин. Остаётся узнать, как относятся к упомянутому течению кремлёвские власти и скоро ли в кабинетах высших государственных чиновников появится икона Сталина.

Анна Васильевна дождалась, когда Веронов отложит газету, и сказала:

— Аркадий Петрович, вы уж меня извините, что я, быть может, вмешиваюсь в не своё дело и доставляю вам неприятность. Но вы же добрый, сердечный, интеллигентный человек. Зачем вам эти шалости? Кому-то от них смешно, а кому-то больно. Я читала, что вчера в зале, где вы выступали, многим стало дурно, а одну женщину с инсультом увезли в больницу. Пожалейте их, Аркадий Петрович. — Она волновалось, и её увядшее, когда-то красивое лицо порозовело от переживаний.

— Любезная Анна Васильевна, — ласково ответил Веронов, глядя на её большое, поплневшее тело, которое раньше, должно быть, волновало не одного мужчину, — искусство, которым я владею, вовсе не должно доставлять людям радость и удовольствие. Оно должно заставлять людей страдать, чтобы они очнулись от окружающей их пошлости и скуки. Может быть, они за это меня распнут. И будут правы. Художников всегда распинают.

— Не знаю, — огорчённо сказала Анна Васильевна. — В народе поселился зверь. Все ненавидят, обижают друг друга. А где живёт зверь? В ящике

он живёт, — и она кивнула на чёрный экран телевизионной плазмы. Веронов взял пульт и включил телевизор.

И сразу же натолкнулся на ошеломляющий сюжет. Под Нижним Новгородом столкнулись два скоростных поезда. Уродливая кишка съехавших с рельсов вагонов. Вереницы воющих санитарных машин. Военские подразделения. Носилки. Металлический туман, в котором тускло мерцают мигалки. Сплюсненные от удара стальные конструкции. Чьё-то окровавленное лицо. Рыдающая женщина. Сидящий на откосе старик. Крупным планом — лежащая на насыпи детская туфелька.

Веронов жадно смотрел. Авария произошла из-за сбоя электронной системы. А сбой случился после того, как вибрация, рождённая его перформансом, складываясь с другими вибрациями, усиливаясь, наполняясь таинственными энергиями, замкнула малый контакт, который передвинул дорожную стрелку, и случилось жуткое столкновение. Связь одного с другим была не прямой, но она существовала. Энергия разрушения, которую Веронов извлёк своей выходкой, привела к техногенной катастрофе, и это он повинен в смертях, увечьях, в гибели двух составов. Это открытие, ошеломив его, не вызвало раскаяния, чувства вины, а лишь странное большое удовлетворение. Он управляет разрушительными энергиями мира. Он тайный повелитель, от которого зависит жизни и смерти людей. Он обладатель могущества, которое увеличивает сладость того падения, того скольжения в пропасть, где мерцает подземный бриллиант.

Веронов сидел перед телевизором, втягивая ноздрями воздух, словно вдыхал металлический туман катастрофы. Прозвучал телефонный звонок.

— Аркадий Петрович? С вами говорит протоиерей Марк из патриархии. Я работаю в отделе по связям с общественностью. Завтра мы проводим круглый стол в рамках воскресных чтений, посвящённый взаимоотношениям церкви и общества. Вас рекомендовало одно уважаемое лицо, и мы бы хотели услышать ваше выступление.

Голос был рокошующий, величавый, и, должно быть, великолепно звучал под сводами храма. Веронов знал, о каком уважаемом лице идёт речь. Удивлялся разносторонним связям Янгеса, который, судя по этим связям, был не простым банкиром.

— Я согласен, отец Марк. Завтра я выступлю.

Он стал готовиться к перформансу, как готовится боевик к совершению террористического акта. Он обдумывал сущность аттракциона, воображал обстановку, в которой ему предстоит действовать. Рылся в интернете, исследуя материалы о церковных событиях, о конфликтах, участившихся между священниками и людьми светской культуры. Принял душистую ванну и покрыл свое ухоженное тело мазями, лосьонами, благовониями, похожими на те, что источают священники, проводящее время среди кадилльных дымов и елеев. Из реквизита своих театральных туалетов извлёк рясу. Примерил, надел на шею золочёный крест и несколько раз перед зеркалом осенил своё отражение крестным знаменем.

Утром, облачившись в рясу, направился в Кадаши. Там, среди чудесных замоскворецких особнячков, шатровых колоколен, старинных палат размещался культурный центр, где проводился круглый стол.

Отец Марк оказался тучным, с волнистой гривой, розоватыми белками и огромной грудью, в которой перекатывался рокошующий бас.

— А я, извините, предполагал вас мирянином, — облобызался он с Вероновым, коснувшись его щеки влажными губами. — Где служите, отче?

— В Торжке, вторым священником, в Богоявленском храме.

— Да как там благочинным отец Георгий Лавров. Как он здравствует?

— Слава Богу.

Отец Марк оставил его, заторопился к дверям, в которых появился иерарх в клобуке, тёмной мантии, с сияющей панагией. Марк припадал к его белой сдобной руке, а тот крестил ему темя и оглаживал свою пышную, цвета железа, бороду.

Веронов расхаживал в коридоре. Заглянул в зал, где размещался длинный овальный стол с микрофонами, висел на стене образ Богородицы Державной.

В зале было пусто, и публика расхаживала по коридору. Раскланивались, целовались троекратно. Светские одежды мешались с церковным облачением.

— Как я рад, как я рад! — подлетел к Веронову господин с розовым лицом, холёными усами и бакенбардами. — Как Елизавета Семёновна? Удивительные наши русские реки! Удивительные монастыри! Незабываемое путешествие! — Господин спутал его с кем-то, и Веронов не стал его разочаровывать. Глубокомысленно произнёс:

— Волга — река русского времени. — И они расстались, господин поспешил здороваться с кем-то другим.

Два господина, любезно поклонившись Веронову, остановились недалеко от него.

— Вы заметили, что Понтифик первый поцеловал Святейшего? И Патриарх лишь ответил братским поцелуем. Торжество Православия было подтверждено, и одновременно был сделан шаг на преодоление мучительного раскола церквей.

— Удивляюсь ворчанию некоторых владык. Как глубоко всё-таки в нас сидит неизжитый грех старообрядчества.

Люди кружили по коридору, заглядывали в зал, ожидая приглашения. Наконец, прозвучал звонок. Все заполнили зал, стали рассаживаться. Одним было отведено место за столом перед микрофоном, и перед каждым лежал блокнотик и ручка, стояла бутылка с водой, другим — в зале.

— Ваше место здесь, отец Аркадий, — усадил Веронова отец Марк рядом с господином профессорского вида.

Другие расселись на стулья вдоль стен. Повсюду сияли кресты, белели бороды, смотрели внимательные строгие глаза. Несколько телекамер темнели зрчками.

Веронов испытывал волнение, предчувствие драгоценной секунды, когда в душе польхнет обжигающий огонь, сорвёт его с места, вложит в уста восхитительные насмешливые и злые слова, и состоится преломление света, излом светового луча, мгновенный толчок сердца, перевёртывающий вверх ногами мир, и начнётся сладостное падение в бездну, скольжение в пропасть, которая разверзнется среди обыденного пошлого мира.

Поднялся иерарх с железной бородой и, оборотившись к иконе, прочитал молитву, и все крестились, кланялись драгоценной ало-голубой Богородице.

— Дорогие братья и сестры, — загудел в микрофон отец Марк. — С благословения Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси мы открываем наш круглый стол. Дух Православия от алтарей и амвонов распространяется в светские аудитории, на университетские кафедры, в книги и рукописи писателей, близких к Церкви. Именно это околоцерковное творчество нуждается в нашем каноническом попечительстве, ибо вольный дух художников и мыслителей может занести их в неверные пределы. Причащайтесь, братья, и не ошибётесь. Хочу предоставить слово нашему известному мыслителю и исторiku, с которым мы находимся в постоянном братском общении, Серафиму Григорьевичу Монахову. Он сделает сообщение о Русском мире.

Названный господин имел пепельно-серебристое лицо, впалые виски, тонкий нос и бледно-голубые слезящиеся глаза. Худые пальцы перебирали листки бумаги, и микрофон воспроизводил их шорох.

— Принято утверждать, что Святой князь Владимир из всех возможных религий выбрал Православие, отдав предпочтение посланцам Византии, отвергнув католиков, мусульман, иудеев. Но разве, спрашиваю я, религии — это товар, лежащий на лотке, и их можно выбирать, шупать, пробовать на зубок? Не Владимир выбрал Православие, а оно выбрало его. После крещения князя в Херсонесе свет Православия воссиял над Россией и сделал её избраницей Христа. Тогда же образовался Русский мир, одна из ипостасей его является земным царством, а другая — небесным. Россия не может исчезнуть, не может пропасть, ибо её бессмертная часть находится на небесах.

Оратор вопрошающе осмотрел слушателей, ожидая услышать возражения. Но их не было. Иерарх произнёс:

— Очень глубокая мысль.

Оратор, вдохновлённый иерархом, продолжал:

— Земная ипостась Русского мира могла меняться. Увеличиваться, уменьшаться. Менялись границы, уходили и приходили народы. Но даже тогда, когда земная ипостась совсем исчезала, и русская история проваливалась в чёрную дыру, из небесной Руси, из Царствия Небесного падало в эту чёрную дыру несколько капель фаворской влаги, и Россия возрождалась во всей красе и могуществе.

Ему хлопали. Он, порозовев от удовольствия, кланялся всем. Выключил микрофон.

Выступал провинциальный батюшка, робея, сбиваясь, рассказывал о воскресных школах и православных гимназиях. Выступил областной чиновник из Воронежа и рассказал о благотворительности, о жертвователях, помогающих восстанавливать храм.

Веронов слушал, делал пометки в блокноте, чувствуя, как приближается заветный миг. Так чуткий охотник, затаившись, ждёт, когда птицы, забыв осторожность, приблизятся на расстояние выстрела. Он кивал, демонстрировал высшую степень внимания, лишь бы не спугнуть добычу. Но добыча не улетала. Иерарх величаво колыхал бородой. Профессорского вида господ, наклоняясь друг к другу, деликатно перешёптывались. Духовенство чинно слушало. Вдоль стен на стульях сидели аккуратные дамы, молодые безбородые семинаристы. Телеоператор скользил вокруг стола, улавливая камерой бороды, клобуки, сияющие кресты.

Выступал толстенький господин, которого отец Марк представил доцентом кафедры богословия в Инженерно-физическом институте.

— Деятельность Петра Степановича в стенах этой обители научной мысли свидетельствует о серьёзных сдвигах в обществе, о сближении веры и науки, которая преодолевает атеизм.

Доцент читал по бумажке, пугливо поглядывая на иерарха:

— Наш президент в своём обращении к Федеральному собранию сказал, что с присоединением Крыма в Россию вернулся сакральный центр власти. Заявление из ряда вон выходящее. Жаль, что мало кто обратил на него внимание. А оно значит, что после возвращения Крыма, после этого чуда, совершённого по воле Господа, власть в России становится сакральной. Власть президента становится сакральной. Он становится не просто гражданским президентом, но избранником Бога. Своего рода помазанником. Присоединение Крыма к России стало своеобразным помазанием президента, что делает его, по существу, монархом. Приближает долгожданное восстановление в России монархии.

Доцент выдохнул это последнее заявление торопливо и скомкано, боясь, что его перебьют. Но все спокойно отнеслись к его суждению, иерарх поощрительно кивал могучей железной бородой.

— А теперь, — отец Марк посмотрел на Веронова, — выступит отец Аркадий, который привёз нам поклон из Торжка от благочинного отца Николая. О чём будет ваше выступление, отец Аркадий?

Веронов почувствовал, как счастливо остановилось сердце, воздух вокруг стал прозрачней, икона Богородицы засияла, как радуга, чётки в руках сидящего напротив священника казались самоцветами, крест на груди тучного иерея полыхнул таинственным златом. Приближалась желанная секунда, приближалась восхитительный миг, когда он рассечёт оболочку тленного мира, и огромные безмянные силы, закупоренные в тесный плен омертвело бытия, рванут на волю, хлынут бушующим потоком, и он станет пить, захлебываться, насыщаться несказанной сладостью освобождённого мира.

— Ваше преосвященство, — он поклонился иерарху. — Достопочтенные отцы, — он обвёл глазами восседавший за столом клир. — Я служу в Торжке. У нас в городе стоит вертолётная часть. И много соборов. Половина из них восстановлена, и в них происходит служба. Другие подлежат реставрации. И мне приходится от наших горожан слышать: “Зачем восстанавливать храмы? Лучше строить на эти деньги боевые вертолёты”. И я отвечаю. Армия, вертолёты, корабли, танки защищают Россию вдоль её земных границ. А алтари и молящиеся у алтарей священники защищают небесные границы России, чтобы злые силы, сатанинские духи не проникли к нам.

Их отражает молитва. Каждый молящийся священник или монах — это воин Христов, отбивающий от наших границ сатанинские полчища.

Его слушали благосклонно. Иерарх поправил на груди панагию. Отец Марк одобрительно кивнул длинноволосой головой.

— И я говорю моим прихожанам на проповеди: “Зачем вы идёте в эту безбожную церковь, где вместо Бога — деньги, вместо веры — блуд? Попы, раскормленные коты, торгуют верой, содомиты, стяжатели. Это не Церковь Христа, а церковь сатаны. Не храм Богородицы, а вертеп дьяволородицы. Под рясами попов — козлиная шерсть, под клобуками — рога, и весь клир — пахнущие серой и фосфором козлища!”

Веронов с бляеющим вскриком на стул. Вспрыгнул на стол. Расстегнул крючки на рясе, сволокавая её с себя. Голый, в одних плавках, затанцевал на столе, набросив на лицо отвратительную козлиную маску. На его теле синей краской была нарисована змея, обвивающая колонну. Он играл, крутил животом, и змея извивалась. Он видел обомлевшие лица священников, выпученные глаза иерарха, задравшего холёную бороду, отца Марка с открытым ртом, осеняющего себя крестным знамением.

Веронов с ликующим кликом, с пронзительным клёкотом проваливался в чёрную бездну среди скользящих мерцающих стен, испытывая несравненное наслаждение, дивную вспышку в паху. Стеная, проваливался туда, где приближался из мрака сверкающий бриллиант, желая слиться с ним, стать этим волшебным бриллиантом. Не долетев до чудесного света, остановился в падении. Бесшумно вознёсся ввысь.

Он голый стоит на столе. Ошеломлённые, в обмороке, батюшки. Иерарх схватился за сердце. Какой-то семинарист опрометью покидает зал. Какой-то дюжий монах пытается схватить Веронова.

Веронов подхватил упавшую на стол рясу, кое-как замотался в неё, сбросил козлиную маску и выбежал из помещения. Катил по Москве, натягивая на плечи драную тёмную ткань. Ему казалось, что вслед машине мчатся, перевёртываются, хохочут уродливые существа. То ли хотят его изловить, то ли славят его.

Вернувшись домой, он принял горячую ванну. Тёр пенистой губкой грудь и живот, смывая змею. Краска была едкой, и змея плохо смывалась, и он стирал её до боли, а потом раздражённую кожу мазал целительным кремом. Всё его тело ликовало, как в детстве, когда просыпался в лучах солнца, и все его клеточки пели, восхищались своим ростом, как радуется молодое хлебное поле, где всходит каждое зерно, напоенное светом и влагой.

Он старался понять природу своего наслаждения. Его веселил успех аттракциона, испуг людей, не ожидавших подвоха. В этом была его изобретательность, весёлое коварство, пусть злое, но шутовство. Но помимо этого наслаждение доставляло поспание запретов, разрушение табу, которое наложило на жизнь человечество за долгие годы своего существования. Он был революционером, разрушителем. Он поднимал восстание. Он разрушал темницы, в которых томилась древние чувства и желания. Он нёс свободу. Он нёс свободу запечатанному человечеству. Он был освободитель, и там, где он проходил, раскрывались темницы, и скованный дух вылетал на свободу. Именно этот освобождённый, веками таившийся дух омолаживал его, делал счастливым, заставлял ликовать. Это было упоительно. Делало его великим художником, возвышало над всеми мастерами.

Так думал он, лежа в ванной, среди душистой пены, слыша, как тихо журчит из крана вода. На его розовой груди вновь проступила змея, и досадуя, он снова тёр грудь твёрдой щёткой, избавляясь от навязчивой гадины.

Интернет клокотал, хохотал, глумился.

“Козёл в монастырской капусте”. “Атака сатанистов”. “У владыки Амвросия случился выкидыш”. “Богохульник должен предстать перед судом”. “Что, попы, дождались кары небесной?” “Иудеи не дремлют”.

Пришло электронное сообщение от Янгеса: “Восхищаюсь! Вас причислят к лику святых! Очередной транш прошёл”.

Он лежал на диване среди кальянов, слыша слабые звоны Новодевичьего монастыря, и думал о природе своего искусства. Оно родилось не вчера.

Молодым человеком он работал в закрытом институте, изучающем Космос. Вместе с другом Степановым они проектировали космические поселения для дальнего Космоса, где превалирует "серая материя", действуют иные законы природы. Мир, как утверждал Степанов, подчиняется геометрии Лобачевского, согласно которой две прямые пересекаются в бесконечности. И второй мир, мир Меньковского, умонепостижимый, запечатанный и нераскрытый. Они со Степановым стремились смоделировать эти миры, искали их математический и эмоциональный образ. Доводили себя до безумия. Веронов считал, что этот образ открывается человеку в момент стресса или в момент смерти, или в секундных откровениях, когда в мозг из других миров влетает космическая частица, замыкает в мозгу нейроны, и человеку на одно мгновение открываются фантастические картины, которые затем навсегда пропадают.

Для поиска этих частиц они поднимались на вершины Памира и часами, днём и ночью сидели среди светомузыки гор, под огромными звёздами, дожидаясь гостя из Космоса. Они прыгали с парашютом, били себя электрическим током, оглушали страшными децибелами, топили себя, фиксируя свои видения и переживания.

Их разработки, чертежи, рисунки, математические выкладки были остановлены распадом страны, крахом науки, смертью великих начинаний. Их институт закрыли, в нём хозяйничали американцы, вывозя секретную документацию. Предлагали Веронову и Степанову уехать в Америку. Веронов согласился, а Степанов остался в России на воде и хлебе.

В Америке Веронов недолго поработал в Хьюстоне, а потом познакомился с компанией художников, творцов современного искусства. Так родились его перформансы. Так он погружал публику в стрессы, извлекая из этих стрессов небывалые переживания. Вернувшись в Россию, он несколько раз порывался отыскать Степанова, позвонить по его домашнему телефону. Но откладывал звонок. Откладывал встречу с прошлым.

За окном тихо шелестела Москва. Веронов слышал множество переливов, слабых всплесков, словно он лежал на отмели, и на него набегали невидимые волны. Они неслись в мироздании, соединяли его с бесчисленными явлениями мира: звёздами, цветами, атакующими танками, висящими на дыбе мучениками, девственницей, кричащей в объятиях насильника. Он слышал, как просачивается в мир, обретая волновую природу, его сегодняшнее действо: задранная борода иерарха, испуганный зев отца Марка, полное тоски лицо безусого семинариста.

Встал и включил телевизор. Сюжет, на который он натолкнулся, рассказывал о трёх девочках-подростках, которые, взявшись за руки, с блаженными улыбками бросились с крыши двенадцатиэтажного дома. Так и лежали в крови, взявшись за руки. Веронов знал, что их роковой прыжок был связан с перформансом. Когда он вскочил на стол, разрывая ясу, девочки подошли к краю крыши. Когда он танцевал, выкрикивая глумливые слова, они летели вниз. Когда он побежал из зала, они стукнулись о землю. Этот сюжет не поразил его, а только изумил. Какая таинственная связь существует между его колдовскими действиями и удалёнными событиями, где случаются чудовищные разрушения? Ответа не было. Были три подруги, которые с улыбкой себя убили.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Пребывая в возбуждении, он не мог оставаться дома и отправился на вечеринку, которую устраивал один модный литературный журнал. Редакция находилась недалеко от Чистых прудов. Там собирались писатели и поэты, актёры и безалаберные милые фантазёры, неизбежные спутники богемы, наполнявшие подобные вечеринки смешливыми разговорами и безобидными сплетнями.

Вечеринка проходила в ресторане, где были убраны столы, служители разносили напитки, гости снимали с подносов бокалы и рюмки и медленно кружили по залу, слипаясь в нестойкие группы, чокались, судачили, теряли



друг к другу интерес, переходили из одной группы в другую, создавая в зале непрерывное кружение, в котором что-то размешивалось, какой-то невидимый раствор, выпадал какой-то невидимый осадок.

Веронов чувствовал свою принадлежность к этому сообществу, где все друг друга знают, дружат, недолголюбивают, кидаются друг другу на помощь, вероломно отворачиваются. Где все нуждаются друг в друге, как нуждаются лесные деревья, кусты, трава, грибы, мхи и лишайники, что всё вместе и называется лесом. Так думал Веронов, посмеиваясь над собой, не зная, кем себя считать — жимолостью, жёлудем или сыроежкой.

— О, привет, Аркадий! — кинулся целоваться писатель Цесерский, автор манерных, с претензией на модерн, эротических повестей. — Ну, ты великолепен! — Цесерский был худ, с лицом молодящегося старика, с тяжёлыми морщинами, добытыми не в тягостных раздумьях, а в страстных и порочных поползновениях. Он был одет в жёлтый пиджак и сиреневые штаны, на шее красовался шёлковый розовый бант, и это экзотическое облачение соответствовало эстетике его повествований, модной, дорогой и безвкусной. — Слушай, твои последние перформансы наделали шума. Это новое слово. Ты взрываешь все мосты, все храмы и все могилы, и мы любимся летящими в небо осколками. России надо взрывать, взрывать и взрывать. Надо сделать русский народ очумелым. Чтобы он жил среди взрывов. Чтобы он сошёл с ума и только потом прозрел. Русский народ — это бык с налитыми кровью глазами. Ты сражаешься с этим быком. Ты тореадор современного русского искусства! — Цесерский смотрел на Веронова дружелюбно, но его коричневые, с розоватыми белками глаза таили тревогу, словно он ожидал от Веронова едкой насмешки и своими комплиментами предупреждал возможность такой насмешки. — Ты знаешь, вышла моя новая книга “Отравленная лилия”. Пришло тебе обязательно, она в твоём вкусе. Я только что из Парижа, презентовал “Лилию”. Огромный успех. Договоры на переводы, рецензии в “Фигаро”. Ты знаешь, французы считают меня лучшим русским писателем. Что ж, я не мешаю им так думать! Надо ехать на Запад, только там оценят наше с тобой искусство. Здесь, в России, мгла! Искусство не нужно. Власть жрёт, народ пьёт. До какой степени оскотинился народ! Русским отведено место в стойле, и они охотно его заняли. В России всё гадко — власть, дороги, автомобили, книги, котлеты. Одно хорошо — это женщины. “Волосатое золото”, как его называют. Я возвращаюсь из Парижа в Россию только для того, чтобы насладиться русскими женщинами. У них особые пальчики, особые соски, особые губки, особое выражение глаз, когда ты доводишь её до экстаза, а потом делаешь больно. Их глаза меняют цвет. Я описал это в моей книге “Русские прелестницы”. Ну, ты читал, конечно...

Мимо Веронова прошла девушка в спортивной растёгнутой куртке и белой майке, под которой волновалась свободная, ничем не стеснённая грудь. У девушки было смуглое, как у мулатки, лицо, чёрные выщипанные волосы, сиреневые губы и яркие, шальные глаза, которыми она скользила по Веронову, маня его куда-то сквозь толпящийся люд. Веронов притворился, что этого не заметил, и повернулся к поэтессе Лиле Воронежской, которая писала стихи про арийцев и нибелунгов и побывала на Украине в частях, что сражались в Донбассе с повстанцами.

— Ну, как “Золото Рейна”? Как Зигфрид? Как Вагнер? — Веронов поклонился и внимательными, чуть смеющимися глазами оглядывал мужеподобное лицо поэтессы, тяжёлый подбородок, мужскую солдатскую стрижку, камуфлированную грубую куртку и брюки. Представлял, как в этом камуфляже среди боевиков батальона “Азов” она читает свои стихи.

— Арийские мифы побуждают человека не бояться смерти, обращают его к величию, — сумрачно ответила Воронежская. — Русский народ больше не верит в бессмертие, отвернулся от величия. А я отвернулась от русского народа. Я больше не русская. Я учу иврит, учу украинский. Я не хочу быть среди подлого трусливого народа, который отдал себя во власть еврейских банкирам и служит охранником в еврейских банках. Я сменила народ.

— Можно сменить пол, но как можно сменить народ? — Веронов чуть было не пошутил, что Воронежская, судя по причёске и штанам, похоже, уже

сменила пол. — Твой народ будет преследовать тебя до предсмертного шёпота, ибо ты перед смертью станешь шептать по-русски.

— Я перед смертью прочту на иврите мой стих, посвящённый Моше Даяну, который купался в крови этих недочеловеков арабов.

— А как тебя принимали в батальоне “Азов”? Они не разглядели в тебе новую Ахматову и Цветаеву?

— Я читала им стихи на украинском, на позициях, где артиллерия была по этим бандитам и недоноскам в Донбассе. Я сказала, что каждый убитый ими русский вызывает во мне восторг. И я попросила артиллеристов позволить мне выпустить снаряд по Донецку.

— Может быть, твой снаряд убил неизвестную тебе русскую поэтессу по другую сторону фронта?

— Я бы очень этого хотела. Мои стихи — это снаряды, которые я выпускаю в сторону народа-отщепенца, народа-предателя! Каждый русский, которого привозят в брезентовом мешке из Сирии или с Донбасса, — премия за мои стихи! — Воронежская резко повернулась к Веронову бритым затылком, и Веронову показалось, что от её одежды пахло казармой и гарью.

В Веронова вцепился пробежавший мимо чернявый, похожий на колючку публицист Меерович, посвятивший всё своё творчество высмеиванию президента. Он схватил пуговицу на сюртуке Веронова и стал сыпать мелкими смешками, мерцал бусинками фиолетовых глаз:

— Последний кремлёвский анекдот. Президент летит в Алеппо принимать парад российских солдат-победителей. Одновременно решил испытать систему Глонасс в условиях Сирии. Прилетает, строй бойцов. Он выходит: “Здравствуйте, товарищи грушники!” А они в ответ: “Аллах Акбар!” Оказывается, Глонасс сдал сбой и привёл его в расположение ИГИЛ. Смешно? — И Меерович, хихикая, отцепился от Веронова и побежал дальше, чтобы колочкой прилипнуть к кому-нибудь другому и рассказать тот же самый анекдот.

Веронов снова увидел смуглую девушку, которая прошла совсем близко от него, опустив глаза и улыбаясь сиреневыми губами, и эта улыбка сиреневых губ предназначалась ему, Веронову, и её рука с бокалом показала куда-то в сторону, приглашая за собой Веронова. Но он снова сделал вид, что не увидел знака.

— Кто эта особа с сиреневыми губами, которая ходит кругами с бокалом вина? — спросил Веронов у модника, писавшего острые эссе в глянце-вые журналы.

— Вы не знаете? Лариса Лебедь. Дочь крупного нефтяника из списка Форбс. Живёт в Европе, приезжает в Москву, чтобы устроить пару скандалов. Папа выкупает её из рук полиции, и она, удовлетворённая, уезжает обратно в Европу. По-моему, она ищет повод устроить скандал. От неё подальше держитесь.

Устроитель вечера, главный редактор издания, уже слегка подшофе, расплескивая из стакана виски, возгласил:

— А теперь, дорогие собратья, как всегда в традиции наших встреч, прозвучат стихи. Сегодня их нам читает один из самых экстравагантных, революционных поэтов Вениамин Кавалеров. Прошу тебя, Вень!

Гости расступились, освободив круг, стояли, не выпуская из рук бокалов и рюмок. В круг вышел невысокий изящный человек, словно фигурка, вырезанная из кости, в чёрной рубахе, из которой видна была худая, в стариковских складках шея. Его лицо было высохшим, сморщенным, как плод, пролежавший долго на солнце. Седой бобрлик, выбритые виски, рука с перстнем — всё было модным, стильным, изысканным, словно над его обликом работал опытный стилист. Поэт Вениамин Кавалеров был из числа эмигрантов, покинувший советскую страну и годы живший в Париже, сотрудничая с антисоветскими журналами и подвизаясь в богемных салонах. Там он воспринял стиль революционных студентов, философию Сартра и поэзию французского авангарда. Вернувшись в новую Россию, он продолжал исследовать революционную идею, участвовал в демонстрациях и создавал эстетику грядущей в России революции. Теперь он стоял, окружённый литераторами, отчуждённый от них едва ощутимым высокомерием, сознавая себя не столько

поэтом, сколько провозвестником грядущих бурь. Он поднял свою лёгкую руку с блеснувшим перстнем и стал читать:

*В Кремле разбилось голубое блюдо,  
И с колокольни колокол упал.  
Зажглись над Русью люстры революций,  
И начался крошечный русский бал.*

Голос у Кавалерова был с клёкотом, петушиный. Он своим чутким слухом поэта угадывал больше других. Видел солнце задолго до того, как оно взойдёт. Пророчествовал, пугал своим пророчеством не ведающий суетный люд.

*Ударил час, и мир сорвал личину,  
И чайнье пророка воплотилось.  
Пришла вода, и Кремль взяла пучина,  
Чудовищный России “Наутилус”.*

Веронов вдруг ясно ощутил невидимый вал времени, который надвигался. Ещё не наступил, но уже стоял у горизонта тёмной стеной, готовый их накрыть.

Революция, которая их всех поглотит, распорядится с каждым по-своему. Те, кто сейчас дружелюбно чокается, мило улыбаясь, станут непримиримыми врагами, будут стрелять друг в друга. Те, благополучные и уважаемые, наденут красные галифе, повесят на бедро “Стечкина” и пойдут убивать тех, кто сейчас стоит рядом с ними, рассказывая забавные анекдоты. Та, в модной шёлковой блузке, с бриллиантками в ушах, станет проституткой в парижском борделе. А та, с милой родинкой на свежем лице, пойдёт медсестрой в тифозный лазарет. Тот станет жестоким предводителем новой страны, а этот пойдёт по этапу. И он, Веронов, ещё не зная своей доли, чувствует трепет, ожидание этого грозного вала, который изменит всю его жизнь, даст ему новый образ, быть может, ужасный.

*Святая Русь, берёзовая грусть,  
Ты участи своей не избежала.  
Мне, сыну своему, разъяла грудь,  
Вонзив штыка отточенное жало.*

Веронов смотрел на изящного хрупкого, как резная статуэтка, Кавалерова, на бледную руку с перстнем, стильный бобрик, и чувствовал беду его поэтических прозрений, которыми он выкликал бурю, тревожил неподвижное русское время, извлекал из него взрыв. И эта буря летела, морщила, ябила недвижную гладь, была готова ворваться ревущей жутью, сметая зыбкую жизнь. Кавалеров с окровавленной головой, с пробитым лбом лежал в овраге, расстрелявшие его конвоиры удалялись, забрасывая на плечи ремни автоматов, и в овраге зацветала черемуха.

*В салон, где процветали недомолвки,  
Где скептик остроумием блистал,  
Влетел снаряд тяжёлой трёхдюймовки  
И начал повесть с белого листа.*

На белой стене были развешены фотографии с именитыми гостями, посещавшими редакцию журнала. Поэт Быков с круглой головой и усиками, похожий на кота. Вдова Солженицына Наталья с белым волевым лицом, продолжающая на земле миссию покойного мужа. Американский посол в Москве Стелбот, окружённый сияющими членами редакции. Веронов смотрел на белую стену, нарядные рамки фотографий и чувствовал, как снаружи налетает, приближается к зданию снаряд и сейчас с грохотом проломит стену, оставляя рваную дыру, промчится слепым вихрем над головами гос-

тей и вылетит сквозь другую стену. И в открывшуюся дыру станет слышен шум улицы, рёв толпы, пулемётные стуки, и в светский салон ворвётся бешеное время, о котором пророчествует хрупкий, с петушиным клёкотом читающий свои стихи поэт.

*Померкнут блёстки мишуры мирской,  
Повиснут флагов ветхие мочалки.  
Тогда в ночи промчатся по Тверской,  
Сверкая пулёмтами, тачанки.*

Веронов вдруг испытал сладостную муку, слепящее, до боли в глазах страдание, жадную страсть к разрушению, в котором сгинут все обрыдшие образы мира, обступившие его тесной тошной стеной. И начнутся жуткие русские игры, уносящие с земли все омертвелые формы, все благополучные мысли, все благонамеренные слова, превращая их в разящий свист великого русского сквозняка.

*Москва красна от липкого варенья.  
Под тяжестью согнулись фонари.  
Моя жена, как в первый день творенья,  
Войди ко мне при отблесках зари.*

Боже, была когда-то иная жизнь, прекрасная женщина, её чудесное родное лицо, от которого становилось чудно и светло, и они плыли в лодке по негаснущему отражению зари, и вокруг стояли осенённые солнцем леса, и в зелёном небе летела утка, роняла в озеро незримую каплю, от которой по стеклянной воде расходились медленные нескончаемые круги. Ведь была эта дивная женщина, что могла бы его спасти от чёрной мглы, разрушительного безумия, смертельной тоски, в которой погибает его заблудшая душа.

Поэт Кавалеров закончил чтение, бессильно уронил руку, согнул беспомощно голову, словно у него обломилась шея. Пошёл в толпу, окружённый рукоплесканиями. Все чокались, поздравляли его, и уже о нём забывали. Занимались сплетнями, флиртом, шелестящими смешливыми разговорами.

— Вы отказываетесь меня замечать? — Перед Вероновым стояла девушка с сиреневыми губами, смуглолицая, с яркими глазами, в которых сверкали две серебряные безумные точки. — Вы так избалованы женским вниманием?

— Напротив, я боюсь женщин, чужаюсь их, — насмешливо произнёс Веронов. — Мне показалось, вы делаете знаки кому-то другому, не мне. Я не достоин вашего внимания.

— Напротив, среди этой комариной толкотни, этих жужжащих литературных мошек вы один заслужили мой интерес. Я Лариса Лебедь. — Она протянула ему смуглую руку с тонким запястьем, на котором блестела золотая цепочка.

— Аркадий Веронов.

— Вам не нужно представляться. Весь интернет полон ваших изображений. Вы строчите из пулемёта, пугаете бедных правозащитников иконой Сталина, танцуете нагишом перед Патриархом Всея Руси.

— Положим, это был всего лишь архиепископ. Но всё равно, мне неловко за мои нелепые шалости.

— Напротив, вы ими можете гордиться. Я ненавижу этих добродетельных пошляков, которые мнят себя добропорядочными членами общества. Мне хочется их оскорбить, сорвать с них личину, облить всех зелёнкой. Именно этим вы занимаетесь: обливаете всех зелёнкой.

— У меня и теперь с собой флакон зелёнки. — Веронов хлопнул себя по карману, кивая на клубящийся с винными бокалами люд.

— Представляю, какое наслаждение вы испытываете, когда видите изумлённые, выпученные от страха глаза! Это наслаждение — видеть в глазах обывателя вызванный вами страх!

— А чем вы пугаете обывателей?

— Быстрой автомобильной ездой. Жму на педаль, смотрю, как стрелка приближается к трёмстам километрам в час, как отскакивают от меня автомобили-черепахи, как сыплются горохом пешеходы, как воеет бессильно сирена патрульной машины, и лечу по Москве, которая кажется размытой акварелью.

— Как бы я мечтал оказаться с вами в одной машине! — Веронов вдруг жадно захотел поцеловать её сиреневые губы, сжать их так, чтобы она застонала от боли, и он почувствовал солоноватый вкус её крови.

— Хотите прокатиться?

— Хочу.

— Пойдёмте.

Они вышли из редакции. Была тёплая московская ночь, когда накалённые камни, железные крыши и чугунные ограды источали накопленный за день жар. Пахло клумбами, духами и табаком от прохожих. На стоянке Лариса Лебедь подвела его к красной “Альфа Ромео”, которая казалась дельфином, застывшим на гребне волны. Тихо хрустнул замок, брызнули фары.

— Садитесь, — она пригласила Веронова, и тот погрузился в мягкую глубину машины, окружённый запахами кожи, сладких лаков и едва ощутимых благоуханий, которые оставляет в машине молодая прелестная женщина.

— Пристегните ремень, — сказала Лариса. Осторожно, бесшумно вывела машину со стоянки, а потом резко, с рёвом кинула её на проезжую часть. Вильнула, обходя тяжеловесный вседорожник, с грохотом, как стартующая ракета, ринулась по бульварам.

Веронов ужаснулся дикому старту. “Альфа” врезалась в узкие зазоры, обгоняя попутные машины, задевала их зеркалами, казалось, толкала своими красными бёдрами. Как игла, пронзала тесное пространство у чугунной решётки, и Веронову чудилось, что сейчас хрустнет металл, и какой-нибудь крюк наматает на себя красный рулон жести.

— Нравится? — крикнула сквозь грохот Лариса Лебедь, успевая шарахнуть от злого рассерженного “Мерседеса”.

Бульвар запрудили машины, она истошно сигналила, а потом чудодейственным скачком перемахнула ограду и помчалась среди деревьев, озаряя фарами шарахающихся людей, лихо избегая скамеек, и что-то мягкое шлепнуло по стеклу, то ли слетевшая с головы шляпа, то ли вырванная ветром из рук газета.

— Нравится? — снова крикнула она, когда они вернулись на проезжую часть и с бульвара, на красный свет, проскрежетав тормозами, свернули на Маросейку.

Веронов, сжатый, втиснутый в кресло, смотрел на неё, и она казалась ему сумасшедшей. Яростные глаза. Открытый, жарко дышащий рот. Среди сиреневых губ — красный влажный язык. Руки быют по рулю.

Это было безумное упоение, ожиданье удара, смертельное хруста, последняя вспышка. Веронов боялся её окликнуть, не смел останавливать, ибо это могло привести к сбою чудовищного ритма, грозило крушением. Он только смотрел остекленелыми глазами, как мелькают фасады, валятся назад колокольни, проносятся красные огни светофоров. Навстречу шёл троллейбус, и она мчалась ему в лоб, желая врезаться, протаранить, польхая фарами. И только в последний момент отвернула, подрезала испуганную машину.

Они грохотали теперь по Садовой. Алая и пленительная, как губы красавицы, “Альфа Ромео” превратилась в свирепого хищника, который с ужасающим рыком рвал пространство, терзал другие машины, вылетал на встречную полосу, слепил огнями, предупреждал устрашающим рёвом, непрерывным надсадным гудком. Веронов видел, как стрелка спидометра пересекает красную риску. В женщине рядом с ним горела смертельная страсть, дышала ярость, которую она переливала машине, и та была готова убить себя, расплывшись в раскалённую красную кляксу.

Мимо, как миражи, пронеслись фасады, озарённые светом высотное здание, витрины, рекламные, брызгающие бриллиантами гирлянды, лунно-голубые колонны. Следом за ними уже были патрульные сирены, истошно мигали фиолетовые вспышки. Они ускользали от погони. Лариса Лебедь оглядывалась

на Веронова с безумным счастьем, с хохочущим оскалом зубов. Полицейская машина пристроилась сбоку, и металлический голос приказывал остановиться. Но “Альфа” обошла машину, и было слышно, как что-то лягнуло, заскрипело сзади, и голос умолк, прерванный ударом. Веронов вдруг ощутил счастли- вый провал в груди, упоение смертельными скоростями, приближение гибели. Слом всех запретов — они рассыпались в прах, уступая безумной воле к смер- ти, воле к небытию, которая открывалась в душе, как заветная бездна.

Они свернули с Садовой у Самотёки, метнулись к театру Российской Ар- мии, нырнули в пустынную улицу с чахоточными клиниками. Памятник Досто- евскому мелькнул, озарённый светом, похожий на горящую свечу. Скользнули в тёмные переулки, под шлагбаум. Остановились у дома с фонарём, похожим на люстру. Лариса Лебедь небрежно бросила машину. Пошла, не оглядываясь на Веронова, к подъезду. Он шёл следом, слыша, как тихо стонет сзади маши- на. За Ларисой Лебедь воздух светился, как ночное море, по которому про- шёл катер.

Они поднялись на лифте. Она отомкнула дверь, вошла в тёмную квар- тирку и по мере того, как шла по комнатам, зажигая свет, она сбрасывала туфли, куртку, стягивала майку, роняла юбку, переступала через разбросан- ную одежду, голая, глянцевиная от пота. Направилась в ванную, и там, не прикрыв дверь, стояла под душем среди блестящего кафеля, и Веронов видел её поднятые локти, сильную грудь, блестящую спину, по которой бе- жала вода.

В постели она была душистая, влажная. Не давала обнять себя. Изви- валась, как змея. Во время поцелуев больно кусала его. Нависала над ним и мчалась, как наездница, с криком, хохотом, без устали, закрыв глаза, словно продолжала недавнюю гонку, куда-то желая прорваться, испелить плоть, превратиться в слепящую бестелесность. С последним вскриком, му- чительным стоном ослабела, упала рядом и лежала, как мёртвая, неловко вывернув руку. Веронов смотрел на её близкое плечо с красно-синим цвет- ком татуировки.

— Они там все манекены. Из глины, из папье-маше, — тихо произнес- ла она.

— Кто манекены? — переспросил он.

— Все европейцы превратились в манекены. Пустые и смешные. Их хо- чется толкнуть и разбить.

— Но ты выбрала Европу. Ты там живёшь, тебе нравится.

— Мне нравится, когда арабы в чёрных масках с “Калашниковыми” врываются в синагоги и ночные клубы и опустошают там все обоймы. Мне нравится, когда выходец из Сенегала с фиолетовым лицом и кровавыми бел- ками садится за руль грузовика и давит толпу манекенов в Ницце.

— Тебе нравятся террористы?

— А разве ты не террорист? Ты приходишь в собрание, где собрались манекены, и взрываешь их.

— Это искусство. Я художник.

— Террорист — великий художник. Он соскабливает своими взрывами и автоматными очередями пошлую обветшалую фреску и пишет другую, соч- ную, обрызганную кровью. Старое человечество, склеенное из глины и па- пье-маше, человечество неодушевлённых манекенов, исчезает среди грохота и огня, и возникает молодое человечество, орошённое живой кровью. терро- ристы делают надрез кесарева сечения, и появляется младенец, обрызган- ный кровью.

— Может быть, ты собираешься поехать в Сирию и примк- нуть к ИГИЛ?

— Зачем мне Сирия? Скоро Россия превратится в сто тысяч Сирий. Мне место здесь.

— Ты что, веришь пророчествам Кавалерова? Ждёшь новой русской ре- волюции?

— Она уже началась. Всмотрись в глаза людей. Среди тусклых, погас- ших вдруг вспыхнет взгляд, в котором ненависть и восторг. В котором рушат- ся эти мерзкие дворцы, супермаркеты, золочёные храмы. Где горят города.

Где на красных русских зорях мечутся бесчисленные стаи чёрных ворон, а в белых руках рублёвских красавиц засияет воронёный ствол автомата.

— Кем ты будешь в этой русской революции?

— Мне примером служат те женщины, что в кожаных куртках и галифе расстреливали из наганов тучных банкиров, трусливых министров, дурных офицеров.

— Мне кажется, ты вполне готова для этой роли. Сегодняшняя гонка показала, что ты готова убить людей и убить себя. Ты всегда так водишь машину? Всегда гоняешь по дорожкам скверов на скорости двести в час?

— Я хочу на этой скорости ворваться в Кремль, в Троицкие ворота, пронзить его насквозь и вылететь на Красную площадь из Спасских ворот. Хочешь, промчимся вместе?

— Нас расстреляют на подходе к воротам.

— Ты не бойся смерти. Смерть — это то, что подают в конце жизни на сладкое. Хочешь меня убить? — Она повернулась к нему и смотрела тёмными, без белков, безумными глазами, в которых Веронов угадал ту иступленную сладость, что сам испытывал, проваливаясь в смертельную бездну. — Убей меня!

Веронов слушал её, смотрел на сине-красный цветок на её плече, на близкую грудь с тёмным соском, к которому она не давала ему прикоснуться. Испытывал нарастающую едкую неприязнь, не только к ней, но и ко всем, с кем повидался на сегодняшней вечеринке. К нарциссу Цесерскому, изнурённому старческим эротизмом. К извращенке Воронежской, решившей перейти из одного народа в другой. К салонному революционеру Кавалерову, чья имитация воспета модными французскими журналами. И к этой пресыщенной дочке миллионера, которая из холёной Европы приезжает в Россию позабавиться среди обезумевших московских обывателей, как приезжают иностранцы поохотиться на экзотического русского зверя.

Все они были сверхлюди, возвышались над маленьким бранным человечком, находили в этом оправдание своим интеллектуальным бесчинствам. И Веронову хотелось взорвать это клановое превосходство, сбросить их на грязную землю, потоптаться на них измызганными подошвами. Он чувствовал, как начинает сочиться в душе мучительное наслаждение, предчувствие тёмной пропасти, куда полетит, оставляя за собой рваный провал, взрывную волну, сносящую незыблемые опоры, и он спрячется от этой волны в бездонную воронку.

— Мне надо идти, — сказал он.

— Ты не останешься?

— Нет.

— Как хочешь, — равнодушно сказала она.

Веронов стал одеваться. Застёгивал рубаху, чувствуя, как в душе слабо трепещет, сотрясается в неслыханных вибрациях незримый взрыватель:

— Ты знаешь, мне надо тебе что-то сказать. — Он застёгивал манжеты рубахи. — Я очень виноват.

— Что такое? — вяло спросила она.

— Мне было трудно с собой совладать. Ты такая прекрасная. И эта езда, эти безумные скорости.

— В чём дело?

Он набрасывал пиджак, просовывал ступни в замшевые туфли:

— Мне страшно тебе признаться. Я негодяй. Но я не мог совладать.

— Да что, в самом деле?

— Видишь ли, я должен был тебе сказать. Но какое-то безумие. Ты такая прекрасная. Я забыл обо всём.

— Перестань! Говори!

— Видишь ли, у меня СПИД. На очень скверной стадии. Прости.

— Что? — возопила она. — Что ты сказал?

— Может, ещё не поздно. Ты обратись к врачу. Может, я не успел тебя инфицировать.

— Мерзавец! Как ты мог? Ты гадюка!

— Мне очень жаль. Прости меня. — И он пошёл из комнаты к выходу,

слыша, как разрастается взрыв, как взрывная волна сметает весь модный литературный салон, и летят, перевёртываясь, смехотворный Цесерский в канареечной пиджаке, Воронежская в отвратительном камуфляже, поэт Кавалеров со своей бледной изысканной кистью, украшенной перстнем, и эта голая красавица с лиловыми губами, провожающая его истошным криком.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Он вернулся домой поздней ночью. В нём продолжали звучать рокошущие гулы, словно он крикнул в колодец, и крик гудел, отражался, из глубины раздавался чей-то незатихающий рык.

Он подошёл к окну и не увидел монастыря. Там, где обычно сияло розово-белое, с золотыми проблесками видение, сейчас была тьма. Он протёр глаза, тьма оставалась, будто на глаза легли чёрные бельма. Он испугался, что его поразила слепота. Всмотривался что есть силы в чёрную пустоту, в которой растворился монастырь, и постепенно из мрака вновь появилось нежно-золотое, бело-розовое видение. Его страх прошёл. Видимо, на время была отключена подсветка, озаряющая монастырь.

Он почувствовал лёгкое подташнивание, какой-то ком в горле. Ком казался живым. Будто он проглотил мышшь, и она шевелилась в горле.

Он пошёл в ванную и лёг в тёплую пену, желая смыть недавние ощущения, которые его тяготили. Он увидел, что змея на груди сохранилась, казалась синеватым отпечатком. Видимо, краска, которой он мазал тело перед походом к церковникам, была едкой и не сразу смывалась. Он тёр себя губкой, и змея пропала, тонула под розовой кожей.

Ночной интернет затих, кончился обмен оскорблениями, жалобами, комплиментами. Буяны блогеры спали, набираясь сил для предстоящих свирепых атак. Только изредка какой-нибудь ночной безумец вывешивал изображение голой женщины или призрачного, в мертвенном освещении здания или светящийся ночной цветок. Но Веронов чувствовал, как незримо пропитывают интернет тёмные энергии, которые он запустил в мир своей недавней выходкой. Тихая тьма змеей вползала в мировое пространство, и в горле, мешая глотать, шевелилась живая мышшь.

Утром он услышал по радио, что в одной из колоний строгого режима в Псковской области произошёл бунт заключённых. Зэки взяли в заложники несколько охранников. Последовал штурм колонии отрядом спецназа, стрельба, несколько заключённых было убито. Веронов не сомневался, что взрыв, который он произвёл, привёл к восстанию, породил отчаяние среди заключённых, заставил спецназ надавить на спусковые крючки.

Утром пришло электронное письмо от Янгеса. “Больше так не гоняйте по Москве. Мне дорога ваша жизнь. Очередной транш прошёл”.

Веронов не понимал, как Янгес мог уследить за им. Какие тайные соглядатаи расставлены им в местах, где появлялся Веронов. И он решил прекратить эти опасные опыты. Выйти из этой сатанинской игры. Заслониться от зияющей тьмы образами прошлой восхитительной жизни.

Были, были в его жизни мгновения, когда он обожал, благоговел, любил. Когда его душа возрастала, ликовала, собирала чудесную, разлитую в мире красоту. Когда он верил, что этой красотой сотворён мир. Что у мира есть Создатель, любящий, всемогущий, знающий о нём, Веронове, дарующий ему одно чудесное откровение за другим.

Его увлечение молодой аспиранткой — историком Верой Полуниной, зеленоглазой, с очаровательными светлыми локонами, которые он так любил целовать, касаясь губами душистого лица, среди снежной Москвы с оранжевыми фонарями, и она сквозь смех его останавливала: “Ну, подожди. Ну, здесь же люди. Давай уйдём в переулок”. Они гуляли по старым московским улочкам, заходили в храмы, любовались великолепными монастырями. Он говорил ей о городах будущего, о космических поселениях, в которых станут жить лучшие, прилетевшие с земли люди, образуя новое человечество. А она рассказывала ему о русских святых и праведниках, которые населяли



монастыри, и это, по её словам, и были люди русского будущего, а монастыри — космическими поселениями, которые своими алтарями, крестами и чудотворными иконами летели в небесную бесконечность.

Он сделал ей предложение. Они решили пожениться. Отложив женитьбу на осень, решили поехать в Карелию, в глушь, чтобы там, в безлюдье, среди озёр и негасимых зорь, насладиться друг другом.

Лодка колышется. Он вытягивает из озера сеть. Ячея в сверкающей слюде. Серебряные рыбы дрожат, извиваются, сбрасывают солнечные капли. Он смотрит на свою любимую сквозь сверканье сети, трепещущих рыб, и так любит её! Она явилась ему из озёрного блеска, из красных прибрежных сосняков, из синего летнего облака.

Они идут лесами. Красный сосновый жар. Пахнет смолой, муравьиным спиртом. На тропе то и дело попадаются фиолетовые от черничного сока комья медвежьего помёта. Где-то рядом, в черничниках, бродят медведи. Но им обоим не страшно, они идут, взявшись за руки, и в стволах то слева, то справа мерцают озёра. Он целует её, видя, как на стволе длинной тягучей каплей висит золотая смола, и в её волосах запутался листик черники.

Баня на берегу. Ночное озеро чёрно-синее, недвижимое. А в бане звон, плеск. Он кидает ковш воды на седые камни. Взрыв, удар раскалённого жара. Она вскрикивает, закрывает лицо. Он в тумане видит её чудесную наготу, гладит её стеклянные плечи. Взмахивает распаренным веником, чтобы её не обжечь, поднимая своими взмахами душистый березовый жар. А потом — вон из бани, по мосткам, с разбега, в тёмное студёное озеро. Она плещется, плывёт в темноте. Он видит, как, белая, она выходит из тёмной воды. И он провожает её из озера обожающим взглядом.

Они поднимаются в гору, красную от подножья к вершине, покрытую дикой клубникой. Подол её белого платья в ягодном соке. Губы сладкие, розовые от клубники. На вершине горы — разрушенная деревянная церковь, серо-серебряная, с рухнувшим куполом. Они достигают вершины, поднимаются на церковное крыльцо. И с горы открывается безбрежная даль, красные боры, синие озёра, с высокой утиной стаей, с застывшим голубым облаком, из которого летит блестящий дождь. И вдруг такой бесшумный удар света, такая любовь к ней, обожаемой, к пролетающим уткам, к дощатой разрушенной церкви, ко всей неоглядной дали, которую подарил ему Господь, и к Господу, незримому и любимому, к которому ввысь в бесконечность стремится его верящая душа, исполненная лучистого света.

Веронов сидел среди ночи в своей московской квартире и чувствовал, как по щекам текут слёзы.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Наутро Веронов проснулся свежим, с лёгким сердцем, чувствуя освобождение от бремени. Он избавился от тяжкой обузы, от пагубной страсти, избавился от кабального договора, по которому терял свободу, превращал своё изящное легкомысленное искусство в орудие чужой разрушительной воли. Эта внешняя, воздействующая на него воля была отвергнута. Бодрый, счастливый, он пользовался обрётённой свободой. Монастырь за окном в летнем солнце был нежный, женственный, весь в кружевах, как волшебный цветок, от которого исходило сияние и чудное благоухание. Веронов поклонился монастырю, молитвенно, бессловесно, мимолётно подумав о маме, о бывлой невесте Вере Полуниной, испытав тихую светлую печаль.

Он принял душ и, к своей радости, убедился, что противная змея на груди исчезла, как исчезло недавнее помрачение. Пил кофе, отложив, не читая, газеты, слушая милую Анну Васильевну с её стареющей красотой, розовыми пухлыми щеками и тонкими морщинками над верхней губой. Она казалась ему привлекательной, домашней, доброй, как и всё в этот утренний час обрётённой свободы.

— Уж вы на меня не сердитесь, Аркадий Петрович, что я вам скажу. Не будете сердиться?

— На вас невозможно сердиться, Анна Васильевна.

— Я хотела вам сказать... Аркадий Петрович, почему вы не женитесь? Вы такой видный, благородный. На вас, наверное, женщины заглядываются. Столько прекрасных одиноких женщин, которые украсили бы ваш дом. Вы состоятельный человек, вам можно содержать семью. Вам впору иметь детей, чтобы они здесь бегали, шумели. А вы всё один да один. А в одиночестве вам приходят всякие мысли, и вы, как мальчик, шалите. А если бы у вас была семья, была жена, вы бы свои силы, свой ум тратили бы совсем по-другому. На пользу семье, на пользу людям. Вам, Аркадий Петрович, в доме нужна женщина.

— Да у меня уже есть в доме женщина. Это вы, Анна Васильевна. Другой не нужно, — засмеялся Веронов, видя, как смущена Анна Васильевна и уже жалеет, что завела неделikatный разговор.

— А мой Степан Тимофеевич очень меня любил. Я с ним познакомилась, когда он был майором, а ушёл из жизни генералом. И мы всегда были вместе. Он был в Афганистане, а я детей растила. Думала, если его убьют, от него дети останутся, дальше жить будут. Очень он меня любил и не обижал никогда. — Анна Васильевна всхлинула, отвернулась, и Веронов смотрел, как она прикладывает к своим бледным синим глазам платок.

Его телефон лежал рядом на столе без звука. Иногда начинала трепетать слабая вспышка, кто-то звонил, но Веронов не откликнулся. Телефон тонкой трубочкой соединял его с внешним миром, и по этой трубочке в его умиротворенный дом мог проникнуть яд, наполнить солнечные комнаты мертвенной мглой, как затмевает солнце пепел далёкого взорвавшегося вулкана. Веронов чувствовал, что в глубине телефона существует чёрная точка. И в этой точке таится взрыв чудовищной силы. От этого взрыва разомкнётся пространство, сгорит время, разверзнется бездна, в которую упадёт его обезумевшая душа. И он старался не смотреть на телефон, не отзывался на настойчивые мерцания. Из телефона дул едва ощутимый сквознячок, словно в нём открылась малая скважина, ведущая в непомерную тьму, где дуют жуткие ветры, гуляют смертоносные вихри, грохочут камнепады. Но из скважины долетал едва ощутимый сквознячок, лизал ему лоб. Было впечатление, что чёрная точка из телефона переместилась на лоб и блуждает, как метина прицела. Он чувствовал, как в нём шевелится живое инородное тело. Он был беременным. В нём разрастался страшный эмбрион, который требовал пищи, яростно тряса, беззвучно орал. И видя, как трепещет в телефоне бледная вспышка, слыша утробный крик невидимого эмбриона, Веронов взял телефон.

— Аркадий Петрович? Это вас беспокоят из Музея Российской армии. Ваш телефон дал нам Илья Фернандович Янгес, член общественного совета.

— Что вам угодно?

— Илья Фернандович рекомендовал вас как видного общественного деятеля и замечательного оратора. Мы открываем в Подмосковье, в селе Петрищево, обновлённый музей Зои Космодемьянской. И хотели бы просить вас выступить на митинге в честь открытия музея. Сейчас, вы знаете, участились нападки определённых людей на героев Великой Отечественной войны. Вы сможете выступить на митинге?

— Дайте мне подумать, — сдавленно ответил Веронов, слыша утробный рык. — Перезвоню через десять минут.

Он испытывал вожделие. Война и Победа были лакомством, на которое желал наброситься утробный зверь. Терзать, хрипеть, поливать ядовитой слюной, слыша бесчисленные стенания, видя, как содрогаются кости в братских могилах, как обессиленно сникают ветераны, меркнет сияние военных парадов, линяет красный цвет победных знамён, поминальное шествие Бессмертного полка тает и гаснет, теряя таинственную мощь воскрешения.

У него появлялся повод сокрушить незыблемую святыню, исторгнуть из миллионов сердец стон и рыдания, вкусить несравненную сладость осквернения, которое породит разрушительный вихрь, и тот сметёт последний оплот государства. Повалятся кремлёвские башни, в ужасе разбегутся войска, и обезумевший народ начнет кромешную бойню.

Его удерживала мысль, что среди братских могил есть одна, в сталинградской степи, где лежит его дед, молодой лейтенант-пулемётчик, добровольцем ушедший на фронт. Смертью своей он продлил слабую струйку рода, текущую через его, Веронова, жизнь. В юности, когда душа была исполнена родовых мечтаний, поисков сокровенных истоков, откуда возник его род, Веронов собирался поехать в Сталинградскую степь и отыскать могилу деда. Положить на неё цветы, почитать стихи, которые хранились в тонких книжках из дедовской библиотеки, чтобы дед из своей могилы услышал вещие звуки. Но так и не поехал, всё откладывал *на потом* таинственное родовое свидание.

Теперь же ему предлагалось осквернить могилу деда. Чтобы в ужасе встрепенулись его лёгкие кости, и пуля, сразившая его, выскользнула из костей и продолжила свой полёт.

Он смотрел на телефон, и в нём раскрывалась тёмная сосущая бездна, в которую его влекло, и он был бессилён её миновать.

Взял телефон и набрал номер:

— Хорошо, я согласен. Выступлю на митинге.

Его “Бентли” мчалась по Минскому шоссе, среди сверканья встречных и попутных машин. Шоссе казалось голубым, с мелькающими тенями лесов, с внезапным озарением полей, в которых уже витал едва уловимый золотой свет близкой осени. На заднем сидении машины стоял саквояж, в который Веронов поместил сюрприз, приготовленный к выступлению в Петрицево. Его замысел был сокровенным, он не подлежал разглашению, был связан с конспирацией. Веронов, боясь, что его мысли будут угаданы, прятал их, заслонялся легковесными песенками, сумбурными мыслями. Так прячут взрывное устройство в ворох мусора, в груды палой листвы.

На восьмидесятом километре шоссе возвышался памятник Зое Космодемьянской. Высокая, как хрупкий стебель, девушка тянулась вверх, но не туда, где в то далёкое утро над ней качалась петля, а выше, в предзимнее небо, куда готова была улететь её измученная, непокорённая душа. У памятника былолюдно, у подножья лежали цветы. Стояла полицейская машина с моргающей вспышкой. Проезжавшие автомобили в знак поминовения сигналили, и Веронов, подобно остальным, нажал на сигнал, боясь, что полицейские могут разгадать его замысел.

Деревенька Петрицево, где была казнена партизанка Зоя, являла собой небольшое поселение, дома уже трудно было назвать крестьянскими избами. Они были перестроены, обшиты современными материалами, рядом с ними были гаражи, на них круглились телевизионные тарелки, и обитатели их были не крестьяне, а дачники, быть может, дальние потомки тех, кто пахал здесь и селл, а в чёрную военную зиму шёл смотреть, как немецкие солдаты вешают измученную девушку.

Кругом было многолюдно, шумно, вдоль улицы стояли машины, из репродукторов звучали военные песни — “Священная война”, “Мы не дрогнем в бою за столицу свою”, “Артиллеристы, Сталин дал приказ”. Было много молодёжи с цветами. Веронов, оставив машину у околицы, захватив саквояж, шёл в многолюдье к единственному, сохранившему вид крестьянской избы дому, тому, который собиралась поджечь Зоя и где располагалась команда немецких солдат. В этой избе всю ночь солдаты измывались над девушкой, из него на рассвете её повели на виселицу.

Перед домом в палисаднике цвели яркие золотые шары, розовели пышные мальвы. Цветы, посаженные заботливой рукой, говорили о красоте, нежности, о любви, превозмогшей смерть, о памяти, одолевшей забвение. Веронов на мгновение залюбовался цветами, испытал печаль, но тут же превратил свои переживания в жёсткую сталь затвора, который вогнал в ствол пулю. Ему предстояло сделать выстрел и поразить малую мишень, от попадания в которую содрогнутся земля и небо.

У палисадника толпились люди, немолодая женщина в платке с круглыми сорочими глазами рассказывала, должно быть, не в первый раз, пользуясь случаем оказаться в центре внимания:

— Вот отсюда её повели, прямо по снегу, босой, в одной рубахе. А солдаты над ней всю ночь насильничали. А выдал её староста, который

был кулаком, но не выслан. Когда наши пришли, конечно, его расстреляли. И две бабы, тоже из петрищевских, когда Зою вели, они на неё помои вылили. Также их расстреляли. А родня их уехала, кто куда, чтобы уйти от позора. А Зою вели вон туда, на тот конец, где уже народ согнали и виселица стояла.

И люди, слушая её, медленно тянулись туда, куда она указала, и девушка, державшая пучок красных гвоздик, положила на землю два цветка, туда, где когда-то ступила босая стопа Зои.

Музей был новый, с крыльцом, обшит нарядным тесом, пах свежей краской. У входа Веронов отыскал человека, который по телефону пригласил его принять участие в торжестве. Угадал его по георгиевской ленточке на лацкане пиджака, по оживлённым жестам распорядителя, по торжествующему лицу организатора многолюдного действия.

— Аркадий Петрович, вам будет предоставлено слово пятым по счёту. Сначала батюшка прочитает молитву. Потом глава района. Потом от министерства обороны. Потом ветеран. Потом вы. Сейчас осмотрим музей, — и он куда-то исчез, оставив Веронова у крыльца среди почётных гостей.

Священник был в фиолетовой ризе, шитой золотом, синеглазый, с добрым розовощеком лицом. Глава района, в дорогом костюме, смотрел приветливо, но подмечал, все ли видят в нём значительную властную персону. Генерал из министерства был строг, важен, с орденскими колодками, взглядывал из-под бровей жёлтыми ястребиными глазами. Старик-ветеран был с бесцветным измождённым лицом, выцветшими глазами, сутулый, согбенный, увешанный медалями и орденами, которые, казалось, своей тяжестью тянули его к земле. Веронов стоял среди них, сберегая под сердцем свой замысел, боясь выдать себя неосторожным словом или взглядом.

— Прошу в музей. Короткая экскурсия по музею, — позвал всех появившийся распорядитель. — Экскурсовод Вера Спиридоновна, очень коротенько, пожалуйста!

Молодая женщина экскурсовод, свежая, красивая, на высоких каблуках, воодушевлённая своей миссией, вела почётных гостей по музею, устремляя указку к экспонатам.

— Смотрите, вот такая ситуация сложилась к осени сорок первого года на фронте вокруг Москвы. — Указка скользила по карте, где чёрные стрелы фашистских ударов теснили кольцо красной обороны, прижимая его к Кремлю. — Вот места, где в районе Москвы действовали партизаны и отряды НКВД. — Экскурсовод перешла к соседней карте, где красными кружками среди чёрной оккупированной территории были обозначены партизанские центры. — Вот такими бутылками с зажигательной смесью была вооружена Зоя Космодемьянская, проникшая в деревню Петрищево, — экскурсовод, переступая, постукивала модными каблуками. Она волновалась, и румянец с её молодого лица окрашивал шею и перетекал за вырез платья, на открытую грудь. — Так выглядел мундир немецкого солдата сухопутных войск, которые в те дни обосновались в Петрищево, — в стеклянной витрине был выставлен грязно-зелёный мундир с нашивками и крестом. — А это личные вещи Зои Космодемьянской, платье и кофта, которые пожертвовала музею мама Зои и Саша Космодемьянских. Оба они были награждены посмертно Звёздами Героев Советского Союза.

Экскурсовод перешла к большой картине, где изображалась казнь партизанки. Горюющее крестьяне, немецкие кавалеристы, виселица с петлёй, под которой стояла Зоя в белой, испачканной кровью рубашке.

Веронов так внимательно слушал, так сочувственно кивал, так не отрывал глаз от скользящей указки, что экскурсовод, заворожённая его вниманием, обращалась только к нему, искала его глаз, его сочувствия. Веронов же почти не слышал её. Думал, на какие святыни он посягал. Куда нацелен его удар. Победа была могучим реактором, питавшем энергией огромную изменённую страну, не позволяя ей померкнуть. В этот реактор был направлен удар Веронова. Взрыв реактора выплеснет непочатую энергию, и реактор, распадаясь, испепелит огромные пространства русской истории.

Из музея направились по улице к месту казни. Здесь посреди деревьев росли высокие ели, под ними высилась стела. Почётным гостям раздали гвоздики, и они печально прошагали к подножию стелы и положили на землю цветы. Десантники в голубых беретах с автоматами готовились салютовать. Рядом со стелой стояла небольшая трибуна, темнел стебелёк микрофона.

— Дорогие односельчане, уважаемые гости, разрешите митинг, посвящённый открытию нашего музея, митинг памяти Зои Космодемьянской считать открытым. Батюшка отец Алексей прочитает молитву.

Священник сиял епитрахилью, рокотал баритоном. Прочитал литию и обратился к собравшимся с пасторским словом:

— Зоя Космодемьянская — мученица тех великих и трагических лет. Судя по её фамилии, она была из семьи священников, служивших в церкви Козьмы и Дамиана. Значит, скорее всего, она была крещёной. А если нет, то крестилась кровью, приняв муку за “друзья своя”, за Родину. И я предполагаю, что когда-нибудь наша православная церковь рассмотрит вопрос о её канонизации как мученицы, отдавшей жизнь за Христа, за Христову Победу.

Веронов вдруг испытал панику, желание убежать, но кто-то властный, мощный, поселившийся в нём, остановил его порыв, удержал на трибуне. И Веронов стоял, сжимая саквояж, слушая выступление главы района. Веронов слушал мёртвые слова чиновника, для которого открытие музея было меропрятием. Но под коростой омертвевших слов бушевал неугасимый огонь Победы, энергия таинственного реактора народной судьбы и веры. И этот реактор он собирался взорвать. Думая об этом, он чувствовал жжение в паху, словно туда приложили раскалённый шкворень.

Говорил генерал из министерства обороны, зорко оглядывал народ жёлтыми ястребиными глазами, словно выискивал несогласных. Веронов слушал его казённую речь, готовый проткнуть жестяную оболочку и своим ударом достичь негасимой, огненной плазмы, которой являлась Победа.

Ветерану, когда ему предоставили слово, стало плохо. Он что-то стал говорить, задрожал, закачался, из глаз потекли слёзы, и заботливые люди бережно свели его с трибуны, усадили на скамейку.

— А теперь слово предоставляется видному общественному деятелю, знаменитому художнику Аркадию Петровичу Веронову.

Чувствуя обморочную сладость, какая бывает, когда смотришь в пропасть, готовый рухнуть в неё, лететь в свободном падении, считая ослепительные секунды перед тем, как разбиться, Веронов шагнул к микрофону.

— У нашего народа есть ценности, которые делают нас бессмертным и неповторимым народом. У нас есть бесподобный храм Василия Блаженного, шедевр, в котором русский человек выразил своё представление о Рае, о Царствии Небесном. У нас есть священный Байкал, мировое озеро, сочетающее Россию с миром богов, которые по древнерусским верованиям обитали в реках, лесах, цветах. Байкал — бог русской природы. У нас есть Пушкин, явление космическое. Его Достоевский назвал всемирным, прижимающим к своему русскому сердцу все остальные народы. И у нас есть Победа, величайшее свершение мировой истории, сокрушившее проснувшийся ад. — Веронов чувствовал шаткие секунды, отделяющие его от падения, сосущее влечение, безумное упоение. — Герои Победы, известные и неизвестные, героиня Зоя Космодемьянская, сберегли не только Советское государство. Они сберегли и новое Государство Российское. Они святые, как сказал отец Алексей. Враги Государства Российского, наследники тех, кто желал сокрушить Советский Союз, делают всё, чтобы умалить и уничтожить Победу. Они обливают Победу грязью. Они пятнают героев. Целая кампания развёрнута против Зои Космодемьянской. Либеральные интеллигенты доказывают, что Зоя не совершила подвиг. Она была широманка, то есть страдала недугом, заставляющим человека поджигать всё, что увидит. Поэтому она и хотела поджечь дом с немцами. Они клеветуют, что Зоя была психически ненормальной, лечилась у психиатра, чем и был вызван её поступок. Что весь её подвиг есть плод советской пропаганды, которая хотела увлечь тысячи молодых людей, что сомневались в справедливости сталинского режима.

Веронов говорил, чувствуя, как что-то приближается, огромное, неуправляемое, роковое, что влечёт его в бездну, отравляет мучительной сладостью, сжигает сладострастным огнём.

— Эти исчадия рода людского хотят представить подвиг Зои Космодемьянской как уродливое проявление психической болезни, помноженной на тотальную пропаганду. Но разве это не так? — Веронов стал расстёгивать свой саквояж. — Разве может нормальный человек идти по ночным лесам, чтобы поджечь крестьянскую избу, оставив без крова своих соотечественников? Разве нормальный человек, выдержав ночные пытки, способен бесстрашно босиком стоять на снегу под виселицей и произносить сталинские фальшивые лозунги? Разве не пора положить конец этим сталинским мифам, фальсифицирующим нашу историю?

Веронов извлёк из саквояжа макет виселицы, на которой качалась матерчатая кукла. Показал собравшейся толпе. Достал пузырёк с бензином, выплил на куклу. Запалил зажигалку и поднёс к виселице. Кукла вспыхнула, загорелась, шнур, на котором она висела, лопнул, и горящая кукла упала с трибуны на землю.

Ему показалось, что по всему небу польхнула слепящая вспышка. Загудела земля, расступилась, открывая бездну. И он летел, восхищённый, самозабвенно закрыв глаза в жутком ликовании, испытывая могущество, власть над землёй и небом, несравненную сладость. Приближался к огненной сердцеvine, волшебной, как чёрный бриллиант.

Толпа ошеломлённо молчала. Веронов сошёл с трибуны и пробирался среди людей, распахивая их локтями, а когда выбрался, побежал по деревенской улице к машине, слыша за спиной рыдающий вопль, крики, гул толпы. Раздались автоматные очереди десантников, стрелявших холостыми ему вслед.

Веронов упал в машину. Погнал из деревни. Мчался по шоссе, и ему казалось, что вслед ему несётся с беззвучным криком вставший из могилы отец.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Ещё в машине он прочитал на айфоне сообщение Янгеса: “Эффект невероятный. Сейсмографы во всех районах мира зарегистрировали землетрясение. Видимо, так погибали ящеры и оставались жить теплокровные. Вы действуете естественному отбору, в результате которого выживают сильнейшие. Ваш Дарвин. Транш прошёл”.

Веронов не понимал иносказаний Янгеса. Его разум был сотрясён. Он ещё не пришёл в себя после пережитого, подобного смерти наслаждения, какое испытывает самоубийца, кидаясь на асфальт с небоскрёба. На мгновение ему открывалось упоительное знание об абсолютной смерти, в которой исчезало пространство и время, и бытие прекращалось в чёрной ослепительной вспышке. Как будто совершалось зачатие иного мироздания. Вспышка длилась мгновение, и когда гасла, начиналась тоска, мука, желание снова и снова переживать это ни с чем не сравнимое состояние — переход из светлого мира в мир абсолютной тьмы.

Он вернулся домой под вечер и стал просматривать “Фейсбук”, который орал, проклинал, рыдал, грозил ему казнью, сулил страшные болезни. С презрением он читал вопли бессмысленных, обездоленных людей, которым не суждено приблизиться к той крошечной бездне, куда он каждый раз спускается, одинокий, бесстрашный, всемогущий.

Он отправился в ванную и обнаружил, что змея на груди опять появилась. Её голова подходила к самому горлу, а хвост кончался в области паха. Она была голубоватой, словно татуировка, и кожу жгло от бесчисленных уколов иглы. Он тёр змею, но она не смывалась. Ему казалось, что в горле, в пищеводе, в желудке что-то шевелится, сжимается и разжимается, словно в нём поселилась посторонняя пульсирующая жизнь.

Монастырь за окном не пропал, но утратил свой нежный белоснежно-розовый цвет, напоминая девичий кружевной наряд. Теперь монастырь

был серо-чёрный, по нему перебегали и гасли тусклые огоньки, какие блуждают по тлеющему полюну.

В Веронове тлело жжение. Тёмная муть застилала глаза. Он прислушивался к существу, которое в нём поселилось, и это существо требовало пищи. Этой пищей было то смертельное наслаждение, которое он пережил и пережить которое снова стремился.

Он включил телевизор. Показывали какие-то фестивали песен, скабрёзости из жизни актёров, старые советские фильмы о пограничниках и колхозниках. Внезапно передачи прервались на срочное сообщение.

Пассажирский самолёт, летевший в Сирию из России, разбился над Чёрным морем. В самолёте находился хор военных певцов, которые собирались выступить перед российским контингентом, воюющим в Сирии. А также известная своим милосердием доктор, которая спасала раненых детей Донбасса, кормила бомжей на площади Трёх вокзалов, целила людей с дефектами нервной системы. В заявлении говорилось, что все пассажиры погибли. Причиной крушения была ошибка пилотов. Расследование продолжается. Спасатели ловят в море останки.

Веронов помрачёнno смотрел на экран, где журналист расспрашивал приморских жителей, свидетелей катастрофы. Представлял поющий хор военных молодцов в парадных мундирах, в фуражках с кокардами, их могучие, наполненные звуком груди, их цветущие лица, которые поглотила пучина. Представлял милое усталое лицо доктора среди обездоленных бомжей, которым она привозила прямо на площадь полевою кухню с горячим бульоном и кашей.

Нет, то была не ошибка пилота. Это он, Веронов, в Петрищеве своим чудовищным святотатством сотряс и землю, и небо, и волна разрушения покатила по миру, настигла самолёт турбулентным вихрем, швырнула к земле. В тот момент, когда тряпичная кукла горела и падала с виселицы на землю, а толпа ошеломлённо молчала, сокрушающий вихрь понёсся по миру, заматывая в свой смертельный рулон самолёт, направляя его в море.

Журналист расспрашивал жителя приморского посёлка, и тот утверждал, что видел, как с земли к летящему самолёту протянулся прозрачный волнистый след, достиг самолёта, после чего тот стал разваливаться.

Веронов был поражён неизвестным недугом. В нём поселился неведомый гость. На его теле проступали голубые трупные пятна. Он хотел избавиться от недуга. Избавиться от смертельной пагубы. Сбросить иго, которым закабалил его Янгес, таинственный лемур с глазами, из которых брызжут острые, как бритвы, лучи.

Веронов собрал всю свою волю, весь оставшийся здравый смысл, весь остаток духовного здоровья и решил сопротивляться недугу. Излечиться от пагубы.

Утром он отправился в дорогую частную клинику, где решил пройти обследование.

Его пронзали ультразвуком, и, лёжа в полутьме, чувствуя, как липкий щуп скользит по его голому животу, он видел на лунном экране свои почки, печень, предстательную железу, страшая узреть эмбрион, лобастый, пучеглазый, скрюченный. Результат жуткого зачатия. Но все внутренние органы были здоровы, без патологий.

Он настоял, чтобы ему просветили желудок, в котором чувствовал непрерывное шевеление. Давясь, борясь со спазмами, он проглотил гибкую кишку с фонариком и телевизионной камерой, которая рыскала в его утробе, но не обнаружила постороннего тела. Пищевод, желудок, кишечный тракт были здоровы.

Его просвечивали на томографе. Медленно влекли сквозь огромное магнитное кольцо, которое рассекало его тело, как рассекают на тонкие ломти колбасу. Каждый срез являл собой разноцветные круги и овалы, похожие на древесные кольца, в которых откладывались прожитые им годы.

И здесь не обнаружили патологий. Он был здоров. Голубоватая змея на груди, которую он показал врачу, была гематомой. Отпечатком предмета, о который он незаметно ударился.

Ему захотелось увидеть бывшего друга Фёдора Степанова, с кем работали в космическом институте, проектировали поселения для дальнего Космоса, искали пути в потустороннюю реальность, где царят иные физические и геометрические законы, существуют иные субстанции, с которыми придётся столкнуться человеку в дальнем Космосе. Веронов давно не виделся с другом. Они расстались, когда распалась страна и был закрыт институт, и Веронов, спасаясь от разрухи, уехал в Америку, а Степанов остался на пепелище, пропал из виду среди смуты, нищеты и бессмыслицы. Теперь же Веронов вспомнил о Степанове, об их возвышенных исканиях, восхитительных мечтаниях, надеясь в общении с другом вернуть себе былое духовное здоровье.

Телефон, который сохранился у Веронова, оказался не действителен. И он наугад отправился на Плющиху, где когда-то в старых домах жил Степанов. У жильца, входящего в подъезд, узнал, что Степанов живёт здесь по-прежнему, и уже звонил в обшарпанную дверь, на которой ножом было вырезано лучистое солнце.

Дверь открыла молодая женщина, и в неярком свете прихожей Веронову её молодость показалась увядшей, опечаленной, горестной, будто преждевременная хворь выпила её свежесть.

— Вам кого?

— Фёдора Фёдоровича. Он ведь здесь живёт?

— А что вы хотели?

— Я его старый друг, Аркадий Петрович Веронов.

— Да, я вас помню. Я дочь Фёдора Фёдоровича, Людмила. Вы к нам приходили.

В этом увядшем лице Веронов угадал прелестную, цветущую девушку, которая излучала такое обожание, светлую наивность, ожидание чудесной жизни, что Веронов, проходя к другу, обязательно хотел увидеть его дочь, её улыбающиеся нежные губы, бело-розовую свежесть лица, лучистые восхищённые глаза. Но какая-то тьма пролетела над этой девушкой, погасила лучистые глаза, выпила нежную свежесть губ. В её голосе чудились тихие всхлипы.

— А Фёдор? Я могу его увидеть?

— Проходите, — произнесла она и повела Веронова через плохо прибранную прихожую внутрь квартиры, в кабинет Степанова, который так хорошо помнил Веронов.

Из кабинета доносился монотонный металлический стук, словно птица клевала карниз. На мгновение замирала и снова принималась клевать.

В кабинете, куда ступил Веронов, было сумрачно, словно стёкла давно не мыли. Посреди кабинета стояла инвалидная коляска, и в ней сидел Степанов. Он был небрит, волосы седые, нечёсанные. На худых плечах висел поношенный пиджак, а колени накрывал клеенчатый фартук, какие раньше носили мастера — жестянички или точильщики ножей. Он зажал между колен деревянную колодку, на которую было насажено металлическое изделие из белой жести. Степанов молоточком, его заострённым уголком стучал по предмету, оставляя на жести маленькие лунки. В лунку сразу же попадал свет, и капелька света начинала мерцать, и всё изделие звенело, мерцало, трепетало под руками Степанова.

— Что ты делаешь? — спросил Веронов, не здороваясь. Степанов поднял голову, узнал Веронова и не удивился, хотя с последней их встречи прошло двадцать пять лет.

— Видишь ли, простая консервная банка таит в себе бесчисленные формы, которые нужно из неё извлечь. Я подозреваю, что мир в начале своего творения имел цилиндрическую форму. Господь Бог сотворил всё множество последующих форм, раскрывая этот первичный цилиндр. Эвклидова геометрия, геометрия Лобачевского и мир Менъковского — всё это заключено в консервной банке, и нужно научиться их извлекать.

— Ты уподобил себя Господу Богу и создаёшь мир заново?

— Я создаю миры.

Степанов отложил своё мерцающее изделие. Толкнул коляску, подкатил к стене, где стоял прислонённый шест. Поднял его и что-то потянул. Под по-



толком вспыхнули, засверкали, замерцали бесчисленными бриллиантами, серебряными разводами, дивными переливами фантастические, созданные из чеканной жести скульптуры. Конусы, спирали, лучистые звёзды, волшебные бабочки, пернатые дива, сказочные цветы. Они лучились, отражались друг в друге, издавали тихие звоны, плыли, раскачивались. Это было мироздание, которые создал Степанов, извлекая его из старых консервных банок, превращая ненужный сор в великолепие космических кораблей и небесных поселений. Его творящая мысль, мечтающее воображение совершали преобразование мёртвой материи в дивную красоту, в райские цветы, в чертоги небожителей. Он плодоносил, рождал эти одушевлённые светила, парящие сады, заоблачные города.

— Здравствуй, Аркаша, — словно очнувшись, произнёс Степанов. — Очень рад твоему приходу.

Он протянул Веронову руку, и тот пожал холодные длинные пальцы, покрытые металлической пудрой.

Веронов смотрел на друга с чувством вины и сострадания. Степанов выглядел человеком, который все эти годы сражался с недугом, не сдавался, но недуг выпивал его силы, делал бесцветным лицо, выгибал и выдавливал надбровные дуги, зажигал в глазах болезненный металлический блеск.

— Как ты жил, Федя? Твоя дочь так повзрослела.

— Жил, как в тумане, Аркаша. Институт разорили, он ещё умирал несколько лет, и я умирал вместе с ним. Жена от меня ушла — кому нужны мои копейки? Дочь вышла замуж, родила, но ребёнок умер, а муж сбежал. Теперь живём вместе. Несколько лет назад упал и сломал шейку бедра. Теперь в коляске. Называю её луноходом. Вот и вся моя жизнь, Аркаша.

— Скажи, а как сложилась судьба Философова?

В их группе он занимался русской поэзией, “серебряным веком”. Считал, что русская поэзия — световод, соединяющий Россию с Царством Небесным. В русской поэзии зарождается будущее человечества.

— Леонид не вынес разгром института. Спился. Как-то звонил мне, совершенно невменяемый. Читал стихи Мандельштама вперемежку с матом.

— А Букашка?

Коля Букашкин собирался на Северный полюс. Считал, что на Северном полюсе находится пуповина, соединяющая землю с другими мирами. Через эту пуповину можно проникнуть в иные миры, обнаружить новые законы Вселенной. Говорил, кто владеет полюсом, владеет мирозданьем. Россия владеет полюсом, а значит, владеет мирозданьем.

— Букашка, когда всё уже рухнуло, и все программы закрылись, всё-таки отправился на Северный полюс, на собственные деньги, без сопровождения, без навигации и надёжной радиосвязи. И уже не вернулся, пропал во льдах. В последней радиограмме он сообщал: “Вижу! Вижу!” А что он увидел, осталось неизвестным. Может, он улетел через пуповину в Мироздание? — горько усмехнулся Степанов.

— А Лунько?

Лунько верил, что радиация может активизировать спящие участки мозга, и разбуженный мозг преодолит существующую ограниченность разума, и человек постигнет непостижимое, объяснит необъяснимое.

— Лунько отправился в Семипалатинск, на ядерный полигон, который к тому времени был уже закрыт. У него не было надлежащих средств защиты. Он проник в штольню, в центр горы, где перед этим произошёл ядерный взрыв. Провёл там неделю, получил дозу радиации и умер от лучевой болезни. Он мне показывал снимки, которые сделал в горе. Это фантастические, разноцветные, стеклянные залы, хрустальные люстры, волшебные своды, радужные колонны. Как в сказах Бажова. Где-то фотографии у меня сохранились.

Веронов вдруг испытал слёзную печаль, нежность, обожание к тому прекрасному времени, когда все они, фантасты и мечтатели, в предчувствии небывалых открытий, чудесных преображений, ждали, что явится на земле новое молодое человечество, избавленное от пагуб, невежества, и все они, художники, мыслители, фантазёры, были предтечи этого нового человечества.

— А помнишь Памир?

На Памир они отправились, чтобы там, в горах, уловить летящую из неба частицу, которая пронзит разум и хотя бы на мгновение соединит его с мирозданием, и тогда откроются истинные законы Вселенной, образ мира, каким он был задуман в первые дни творения...

— Помню, конечно, помню, — отозвался Степанов, и его пергаментное лицо слегка порозовело, словно к нему стала возвращаться молодость. — Мы сидели на горе под звёздами.

Веронов помнил, как со Степановым они уходили из весенней долины в горы, облачившись в телогрейки и вязаные шапки. В долине розовел готовый к цветению сад, стеклянные стволы с набухшими бутонами. Горы перед заходом солнца меняли цвет, становились золотыми, изумрудными, альными. Начинали пламенеть и газлы, словно на вершинах рассаживались бестелесные духи и зажигали волшебные фонари. Сидели в ночи среди студёных ароматов невидимых горных цветов, ручьёв, ледников, над которыми горели звёзды — белые, ледяные, пылающие, — кружили над их головами медленные хороводы. И они зачарованно смотрели на звёзды, наблюдая, как пробегают по небу едва различимые радуги, словно кто-то восхитительный, невесомый шёл через звёздные миры. Им казалось, они слышат летящую из мироздания весть, мироздание откликается на их молитвы и зовы. И вдруг из тёмной глубины небес посыпались звёзды — золотые, голубые, розовые, — оставляя гаснущие следы. Это был божественный ответ на их упования. Их верящий, любящий разум сочетался с красотой и бессмертием. Под утро они спустились в долину, и сад расцвёл благоухающим пышным облаком, словно звёзды превратились в цветы.

— Боже мой, Боже мой! — тихо произнёс Веронов.

— Я был инженером, Аркаша. Был математиком, антропологом, создателем космической психологии, исследующей резервные способности мозга, парящего в открытом космосе. Но теперь я домашний чародей. Шаман в инвалидной коляске. Мне приносят с помоек консервные банки, я их отмываю, очищаю, спасаю от смерти, от уродства, и из этих искалеченных банок создаю космические города. Ты знаешь, почему мир не погиб? Потому, Аркаша, что мать испытывает нежность к своему новорождённому младенцу. Потому что старик любит цветком, который распустился на клумбе. Потому что прихожанин бросил копейку нищему перед храмом. Этих малых проявлений милосердия и добра достаточно, чтобы уравновесить мировое зло, запечатать его, удержать в чёрных катакомбах души, откуда оно рвётся в мир. Я сижу в инвалидной коляске, Аркаша, стучу молоточком в консервные банки и запечатываю зло.

— Как запечатываешь? — Веронов с состраданием смотрел на болезненную улыбку Степанова, на дрожащие в счастливом безумии глаза. — Как ты запечатываешь зло?

— Помнишь, когда злоумышленники взорвали на Байконуре ракету “Энергия” и челнок “Буран”, отсеки России от марсианского проекта, я создал этот космический цветок, и чертежи “Энергии” и “Бурана” сохранились для будущего. — Степанов воздел шест и тронул серебряное соцветие, мерцавшее под потолком драгоценными лепестками, и оно закачалось, издавая тихие звоны.

— Когда потонул “Курск”, и все кругом рыдали, и казалось, что смерть лодки означает окончательную смерть государства, которое утонуло в пучине, я создал этот поднебесный корабль, космический “Курск”, и народное отчаянье и горе сменялись стоицизмом, который впоследствии позволил России построить великие лодки “Бореи”, — Степанов коснулся шестом мерцающего дива, похожего на волшебную рыбу, от которой расходились прозрачные волны света, лилась музыка космических глубин.

— Когда случился теракт в Беслане, и сотни детских душ улетали из обугленной окровавленной школы, и вся Россия безутешно рыдала, я создал космическую птицу, на которой детские души улетели в Небесное Царство, где нет смерти и зла, а вечная жизнь и любовь. — Степанов потревожил

шестом серебряную пернатую голубицу, и она заволновалась, засветилась, окружённая серебряными нимбами.

— Так было каждый раз. Когда в Грозном погибла от гранатомётов Майкопская бригада, и началась гибельная для России война. Или когда танки стреляли по Белому Дому, и начиналась новая гражданская. Или когда толпы шли с Болотной площади на Кремль, и была готова пролиться кровь. Я стучал моим молоточком, словно шаман, бьющий в бубен, и заговаривал зло, запечатывал его, и в моём поднебесном соцветии появлялся ещё один цветок, взлетал ещё один космический корабль. Всё, что ты видишь. — Степанов указал на парящие светила, — это запечатанное зло. Ловушка, куда я заманиваю зло и запечатываю семью печатями.

— Значит, все мы обязаны тебе тем, что ещё живы? — усмехнулся Веронов, испытывая тайное раздражение. — Значит, ты нашёл ключ к управлению миром? Отсюда, из своей инвалидной коляски управляешь историей?

— После того, как мы потеряли Родину, потеряли Космос, потеряли смысл и надежду, народ умер и лёг во гроб. Но потом он очнулся, сначала открыл глаза, шевельнул плечом, встал и пошёл. И это потому, что кто-то подобрал растоптанный цветок, принял в дом сироту, не стал лжесвидетелем. Малые, незримые миру подвиги, неслышные миру молитвы расколдовали народ, подняли его из гроба. И вот вернулся Крым, восстал русский Донбасс, пошла ввысь первая лунная ракета. Одни творят зло, распечатывают тьму. Другие орошают жизнь крохотными каплями живой воды, и жизнь продолжается.

Степанов говорил дрожащими улыбающимися губами, высказывая сокровенные мысли, словно боялся, что сейчас дунет ветер и сорвёт с губ робкие слова. Веронов чувствовал, как растёт в нём раздражение, закипает едкое негодование, неприязнь к Степанову.

— Выходит, что мы с тобой противоборствуем в этом мире? Я распечатываю зло, а ты вновь навешиваешь на него печать? Я впрыскиваю в мир яды, а ты орошаешь живой водой заражённый моими ядами мир?

— Выходит, что так, Аркаша. Я слежу за твоими деяниями. Твои деяния влекут за собой катастрофы. Разбиваются поезда, падают самолёты. Ты толкаешь мир к гибели, и он погибнет, если кто-нибудь не пожертвует собой ради его сбережения.

Веронов чувствовал, как клубится вокруг тьма, шатается земля, распадаются молекулы, раскрывается в душе клокочущая бездна, куда он вот-вот провалится.

— Ты — герой помоек! Дурной жестящик! Уродливый неудачник! Ты убогий инвалид, и всё, что тебя окружает, жалкое, болезненное и ничтожное! И твои жестяные уродцы, и твоя коляска, и твоя хворая бесцветная дочь!

Веронов чувствовал, как слепая ненависть скручивает его в узел. Как грохочут вокруг невидимые барабаны. Трещат оглушительные трещотки. Это ломалась земная кора, грохотал камнепад. Он схватил шест, прислонённый к стене. Ударил им по космическим кораблям, небесным рыбам и райским птицам, осыпая их и растаптывая. С силой толкнул коляску, которая отскочила, упала набок, и Степанов болтался в ней, беспомощно тряс руками. Выскочил в коридор мимо испуганной женщины и с хриплым клёкотом, то ли со смехом, то ли с рыданием, выбежал из подъезда.

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Он гнал по Москве, а ему казалось, он летит в пустоте, оставленной взрывом. От него разбежались дома, шарахались машины, отлетали храмы. Посреди Москвы образовалась воронка, которая затягивалась, мелела, выдавливая его на поверхность из бездны, где он только что побывал.

Он пытался пролить пережитые ощущения, вызвать в душе безумную сладость, восхитительную боль, вспышку чёрного света, что ослепила его, лишила рассудка и воли, отдала во власть громадной повелевающей силе,

сделала его всемогущим, открыла неведомые миры. А потом погасла, оставив по себе изумление, чувство невыносимого одиночества, страстное желание повторить вспышку, испытать ни с чем не сравнимую боль и сладость. Но они не повторялись, сладость и боль стихали, оставляя в душе ядовитую мусть. И он гнал по Москве, желая ударить машину в каменную преграду, чтобы в смерти повторилась вспышка несказанного чёрного счастья.

Дома он кинулся к телевизору. В Петербурге в метро произошёл террористический акт. Репортёр, прижимая к губам набалдашник микрофона с надписью “Россия”, взволнованным голосом перечислял число убитых и раненых. Мелькали кадры изувеченных вагонов, залитые кровью лица, рыхлые, завалившие перрон трупы. Звучали какие-то невнятные сводки, о каком-то портфеле, каком-то киргизе, о безоболочном взрывном устройстве, о гайках и гвоздях. И снова — набалдашник с надписью “Россия”.

Веронов жадно внимал, впивал этот задыхающийся голос репортёра, эти кадры взорванных вагонов и убитых людей. Какой там киргиз! Какой там эмигрант! Это он, Веронов, своим жестоким волшебством подорвал поезд. Он, толкнув инвалидную коляску Степанова, расплющил вагоны метро, растерзал пассажиров.

Веронов записал репортаж и повторял его ещё и ещё раз, надеясь на повторение вспышки. Вспышки не было. Под черепом, стискивая мозг, раскалялся железный обруч, и эта боль было подобием той, которую он выкликал.

Ночью он спал с открытыми глазами. Существо, что в нём поселилось, не выдавало себя. Не дергалось, не билось в утробе. Но оно было внутри. Веронов чувствовал его тяжесть. Он был беременным, на сносях. И живущий в нём младенец покрылся шерстью, и на маленьких ножках выросли нежные копытца.

Утром позвонили. На сей раз по рекомендации Янгеса пригласили в общество ветеранов КГБ. Оно находилось в Замоскворечье, на берегу канала, в бело-жёлтом ампирином особняке с окнами на набережную. Здесь награждали стариков с гранёными лицами, словно их рисовали кубисты. Тяжелыми вмятинами, словно следами ударов. Суровыми лбами и тяжёлыми взглядами. На всех были застёгнутые пиджаки и тёмные галстуки. Некоторые выложили на стол костлявые пятерни, перевитые фиолетовыми венами. Длинные речи повествовали об их подвигах. Первым награждали генерал-лейтенанта Лодейникова. Веронов не верил своим ушам:

— Андрей Анатольевич выполнял ответственные задания руководства, имел дело с лучшими умами нашего общества, которые тогда именовались инакомыслящими, диссидентами, но были драгоценным достоянием государства и готовили перемены, которые были бы невозможны без нашего с вами участия. Без вашего участия, товарищ генерал. Мы знаем, как бережно вы обошлись с гением нашего времени академиком Андреем Дмитриевичем Сахаровым, спрятали его от травы, предоставив квартиру в Нижнем Новгороде. За это он был благодарен вам до самой своей смерти. Как виртуозно вы провели операцию по переброске Александра Исаевича Солженицына в Америку, где он, вдалеке от злобных недоброжелателей, мог продолжить своё великое творчество и подарил нам много замечательных произведений. За ваши заслуги перед народом, перед русской наукой и культурой, мы награждаем вас, Андрей Анатольевич, орденом “Бриллиантовая звезда”.

Следующим был генерал-майор Черных:

— Его заслуги высоко оценены руководством. Его ум и бесстрашие проявились в момент объединения обеих Германий. Вы знаете, что спецслужбы ГДР противились объединению, готовили восстание. Но благодаря выдержке Никиты Викторовича, который рисковал жизнью, удалось предотвратить восстание, и две Германии объединились без кровопролития. Честь вам, Никита Викторович!

Это были члены рабочей артели, которая без устали трудилась среди не ведающего о них разношёрстного своевольного человечества, выстраивая его в колонны, направляя маршем в историю. Чистки, расстрелы, политические процессы, устранения неудобных политиков, проникновение в секретные центры врага... Они протаптывали тропы, которые потом превращались в до-

роги, и по ним катилась история. Они были первопроходцами, и если они надрывались или сбивались с пути, то исчезали бесследно. И их исчезновение никто не оплакивал, на их месте тотчас появлялись другие.

Веронов смотрел на этих железных стариков, похожих на арматуру, на которой держалось государство.

Третьим награждали генерал-полковника Шайгенра:

— Артур Миронович выполнял самые деликатные поручения нашего руководства. С ними не справился бы никто другой. Он, если так можно выразиться, переводил состав нашего государства с одной колеи на другую, на европейскую. Его нелегальная работа в Америке. Его связи с политической элитой Израиля. Его участие в создании общественных движений и политических партий в период перестройки. Его огромные заслуги в создании Еврейского конгресса России. Его формирование Народных фронтов в Прибалтике и Закавказье. Если бы не филигранная работа Артура Мироновича, неизвестно, сколько катастроф и аварий претерпел бы состав нашего государства, переходя на новый путь. Вам, товарищ генерал-полковник, присуждается орден “Грозное око”. Редко кому из наших соратников выпадает подобная награда.

Все аплодировали, и в хлопках слышался сухой металлический хруст, словно хлопающие руки были железные.

— А теперь, друзья, прежде чем мы перейдём в соседнюю комнату, где нас ждёт фуршет, и мы звоном бокалов сможем ещё раз поздравить наших награждённых соратников, я хочу представить вам известного художника Аркадия Веронова, чьё искусство доступно пониманию лишь немногих. Как, впрочем, и наше. Мы с вами тоже показывали фокусы, от которых одни смеялись, а другие плакали. Прошу, Аркадий Петрович!

Веронов поставил перед собой на стол клеенчатую сумку. Ветераны смотрели недвижно, словно статуи.

— Я вас приветствую и выражаю вам моё преклонение. Вы особые люди, отлитые из чистой стали. Особая порода драгоценных самоцветов. Вы, как говорили в старые времена, “рыцари без страха и упрека”. А товарищ Сталин называл вас “Орден меченосцев”. Вы государственники, слуги Отечества, его хранители и стражи. Вашими трудами, жертвами и умениями сберегалось и сберегается государство. Вы защищали государство от врагов. Вы вдохновляли народ на труды. Вы мобилизовали учёных на создание атомного оружия, которое спасло нас от гибели. Вы лучшие из лучших. Я преклоняюсь. — Веронов поклонился. Ветераны, как каменные изваяния, молчали. Блестели на чёрных пиджаках бриллиантовая звезда, червонный крест, всевидящее око.

Веронов чувствовал, как в нём закипает таинственная буря, поднимается далёкий вихрь, начинают звучать едва различимые гулы. Каменные истуканы мертвенно взирали пустыми глазницами. Их гранёные лица, казалось, однажды застыли и больше не пробуждались, хранили окаменелое время.

— Вы лучшие из лучших. У вас горячее сердце, холодный ум и чистые руки. Этими руками вы подняли Россию на дыбу и жгли, хлестали, и она весь двадцатый век провисела на дыбе. Вы сдирали кожу с лучших людей, творцов и героев. Ставили к стенке, стреляли в затылок. Вы герои застенков, рыцари расстрельных рвов, гении доносов и клеветнических наветов. Вас ненавидит народ.

Веронов заметил, как зашевелились каменные изваяния, разлепились их синие губы, затрепетали фиолетовые жилы на костистых руках.

— Вас будут проклинать миллионы людей через миллионы лет. Вы, предатели, разрушили великую страну. Продали врагу великий народ, предали Победу. Вы объединили Германию, поправ жертвы народа и обрекая нас на новую войну, которая уже грядёт. Вы подтачивали Советский Союз, помогая его врагам, и сами были его врагами. Когда несчастная страна пала, вы набросились на её труп и стали его рвать. Вы все перешли работать в банки, пошли в услужение к тем, кого прежде выслали из страны. Вы пустили в Россию врагов и чужих разведчиков. Вы и теперь толкаете Россию в пропасть. Покайтесь, ехидны! Я принёс вам подарок! Это вам, кавалеры звезды и креста, вам кавалеры лобного ока! — Веронов расстегнул клеенчатую

сумку и с грохотом вывалил на стол окровавленные кости, которые утром купил в мясных рядах. — Это кости Мандельштама! Кости Тухачевского! Кости Вавилова! Их миллионы, и все они к вам придут. Лягут с вами в постель, лягут с вами в гроб. Будьте прокляты!

Он терял сознание, испытывал небывалую сладость, проваливался в бездонный колодец, который вёл в бесконечную тьму. Тьма сгущалась, и кто-то невидимый, восхитительный, властелин мира, ждал его к себе, обнимал сладострастной тьмой.

Слыша за спиной стариковский кашель, хриплые вопли, крики “Арестуйте его!”, Веронов выскочил из особняка. Упал в машину, продолжая хохотать, и понёсся по набережной.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

В нём ещё ревели чёрные пространства, в которых он побывал, испытывая неутолимую сладость, когда, вернувшись домой, он включил телевизор. Сюжет уголовной хроники повествовал о чудовищном убийстве, случившемся в тверской деревне. Человек из охотничьего ружья застрелил жену и двоих детей, один из которых был грудным. Отправился в соседнюю избу, где жили его тёща и тесть. Застрелил их. Убил их корову, перестрелял кур. Вернулся домой, поджёг свою избу, где сгорел сам вместе с убитыми. Камера показывала бедную деревню, покосившиеся заборы, какую-то рыдающую старуху, дымящиеся остатки избы.

Веронов понимал, что погибает. Надо было спасаться. К врачам он уже ходил. В церковь к священнику его не пускало его неверие. К загадочному колдуну Янгесу, который его закобалил, он не решался идти. Он хотел найти человека, который бы обнял его, пожалел, выслушал его горькую исповедь, одарил своим теплом, красотой. И таким человеком была его прежняя невеста Вера Полунина.

Он не знал её телефона, но в интернете нашёл фотографию, краткую справку, электронный адрес. Доктор исторических наук, множество трудов, несколько книг по истории русской исторической мысли с древности до наших дней. Он жадно гляделся в её лицо, не изменившееся, чуть пополневшее, всё с теми же зелёными глазами и мягким ртом, в котором ему чудилось утомление и печаль.

Он послал ей на электронную почту письмо:

“Если можешь, откликнись. Если не сочтёшь моё обращение слишком запоздалым и ненужным, давай встретимся. А нет, то забудь”.

Он ждал ответа, то и дело заглядывая в почту. К вечеру прозвенел тихий звонок. То был её ответ:

“Давай повидимся. Вот мой телефон”.

Они условились встретиться на другой день, в ресторане “Живаго”, что выходил окнами на Кремль. Он сидел в излюбленном месте именитой московской публики. То кивал проходившему мимо политику, который всем улыбался, надеясь, что его узнают. То отводил глаза от модного режиссёра, который был геем и ставил спектакли с мужчинами в женских ролях. Ждал её, Веру.

Она появилась в дверях, в строгом тёмно-синем костюме, светлые волосы уложены в дорогой парикмахерской. Лицо казалось родным и любимым, так что заныло, запело в груди, и на секунду свет вокруг неё задрожал, словно это был мираж.

Веронов поднялся, шагнул к ней, как будто шагнул в чудесное прошлое, когда он встречал её у подъезда дома у Самотёки, и они шли, плутали по бульвару, который благоухал палой листвой, и бронзовый памятник Толбухину, омытый дождём, был словно из чёрного стекла.

— Здравствуй, Вера.

— Здравствуй, Аркаша.

Они бегло, пугливо осматривали друг друга, словно убеждались в подлинности встречи.

Пили вино, и он смотрел на её милое, дорогое лицо, на котором лежали тени прожитых лет. Между пушистыми бровями пролегла едва заметная складка, будто она часто хмурилась брови.

— Как ты жила? Прости, это глупый вопрос. Ты замужем?

— Я не была. А ты?

— Я один.

За окном переливалась, шелестела Москва. Розовела зубчатая стена, и над ней возвышался янтарный дворец. Веронову казалось, что их столик окружён прозрачным свечением, сквозь которое не проникает ресторанный гвалт, звон посуды, мелькание официантов.

— Боже мой! — сказала она.

И как будто пахнул ветер, кольнул невидимый занавес, открывая окно в исчезнувшее драгоценное прошлое, где они целовались, и она говорила: “Голуби смотрят, не надо”, — где на сырой скамейке он целовал её шею, грудь, её дышащий живот, и такая сладость и боль, такое обожание и нежность, такая неразрывная связь навеки связывала их среди этой благоухающей осени...

Теперь, спустя столько лет, они сидели в иной жизни, в ином городе, и она своими зелёными усталыми глазами угадывала его воспоминания, сливала их со своими. Вечеринки у каких-то шальных поэтов и художников, Центральный дом литераторов, где Михалков поцеловал её руку, бесконечные улицы Москвы, по которым они ходили. Но неизбежно воспоминания приводили их к тому озеру в Карелии.

— Ты помнишь, каким было озеро? — спросила Вера. — Розовое на вечерней заре, тихое и серебряное белой ночью, бирюзовое по утрам. И над ним всё время летали гагары.

— А помнишь эту песчаную дорогу вокруг озера в сосняках? — отозвался Аркадий. — Сосновые стволы были красные, а дорога пахла рыбой, потому что по ней проехали подводы с рыбным уловом.

— А помнишь, в сенях стояла большая деревянная кадка с мочёной брусникой, и ты ночью посылал меня к этой кадке, чтобы я принесла тебе бруснику, а я так боялась спуститься с нашего чердака. Вдруг попадётся мышь.

— Хозяева уже спали в избе, а я слышал, как ты идёшь в сенях босыми ногами, как хлопает кружка, черная брусничный сок, а потом ты осторожно возвращалась с полной кружкой, и под твоими ногами тихо поскрипывала лестница.

— А помнишь, как ты с лесником сажал лес. Лесник Степан вёл под уздцы лошадь, ты шёл следом с плутом, вёл борозду, а я бросала горсти сосновых семян, видела, как на твоей спине потемнела от пота рубаха.

— Теперь там, должно быть, лес. В соснах белки, птичьи гнёзда. Под соснами грибы, медведи ходят.

Они замолчали, блаженно улыбаясь, словно видели озеро, по которому плыла лодка, оставляя стеклянный след, и в оконце на их чердаке, в сумерках появлялись маленькие паучки и учиняли таинственный танец, и всходила над лесами луна, огромная, жёлтая, оставляя на озере золотую дорогу, которая подходила к деревянным мосткам, и они кидались с мостков в это золото, и он видел, как блестят под луной её голые печи, как взлетают от её рук золотые брызги, и он обнимал её, прижимал к себе её чудное тело, а потом они шли в избу, опускались на своё шелестящее сеном ложе, в изнеможении лежали, слыша, как поднимается ветер и начинается танец ночных паучков.

— Почему ты тогда уехал? Почему меня бросил? Это было так ужасно! — горестно воскликнула она, и тёмная ложбинка между её пушистых бровей стала заметной. — Что случилось с тобой?

Был знойный слепящий день, суливший грозу. Озеро тускло блестело. Вера с мостков стирала рубахи, стелила их на траве. На зелени белые, красные и голубые, они лежали, раскинув рукава, и ему было тревожно смотреть на этот хордов танцующих на траве рубах с пустыми рукавами.

Он шёл по деревне, чувствуя, как печёт непокрытую голову. В соседней избе хозяйка с внуками собиралась в лес за черникой. Они стояли

с корзинами, укутанные в ткани, перед тем, как погрузиться в смоляной, комариный жар леса. Веронову была неприятна мысль о лесной духоте, комариных укусах, липком поте.

На дворе соседнего дома лесник Степан строил лодку. Еловый комель с выгнутым корнем был закреплён на козлах. Лесник рубанком строгал доску, снимал завитки стружек и, увлечённый работой, не ответил на приветствие Веронова. И это неприятно задело его. На обочине из песка виднелся валун, в розовом граните поблескивала слюда. У камня лежала узкая кромка тени, и вид этого камня, сухие блестящие слюды, кромка тени почему-то испугали Веронова, и он поспешил пройти мимо камня.

Поодаль, полужасыпанное песком, лежало старое тележное колесо с поломанными спицами и ржавым ободом. Седое, растресканное дерево спиц, коричневый ржавый обод породили в нём тоску, унылую безнадежность, он почувствовал бессмысленность бытия, в котором всё бrenно, тускло, обречено на исчезновение под этим серым песком.

У крайнего дома на пряслах сохла медвежья шкура. Она висела мездрой наружу, отороченная жёстким синеватым мехом. Белая мездра была в кровавых прожилках, на ней виднелась дыра от пули, сквозь которую пробивался мех. На мездре, ещё влажной, сидели большие зелёные мухи. И вид этой сохнувшей шкуры, мысль о медведе, который недавно бродил в красных борах и лакомился черникой, оставляя синие горки помета, эта мысль породила невыносимую тоску, бессилие, непонимание этой жизни. Как будто на солнце набегала тусклая мгла, и всё вокруг было никчёмно, ненужно, угнетало его. И лежащие на траве рубахи, и лицо соседки-карелки, замотанной в платок, и упрямое тупое скольжение рубанка по доске, и забытый Богом придорожный камень, и треснувшее колесо, и этот убитый зверь, которого смерть вырвала из леса, и он, покидая лес, черничники, муравейники, ревел от предсмертной боли. И Вера, эта женщина, с которой он обещал соединить свою жизнь, была чужой, неинтересной, ненужной, обрекающей его на изнурительные совместные годы.

Веронова посетило помрачение. Хлынула тусклая мгла. Он качался, как на качелях, готовый упасть. Сходя с ума, спасаясь от своего безумия, он кинулся по дороге, сквозь лес, прочь от деревни. Сначала бежал, потом шёл, задыхаясь, пока его не догнал допотопный автобус, и он катил среди горячего скрипа, туда, к железной дороге, чтобы больше никогда не вернуться.

В Москве случились жуткие события августа. Ломалась страна, обломки свалились ему на голову, и он, спасаясь от этих обломков, от безумия, охватившего страну, уехал в Америку. Отправил оттуда Вере письмо, в котором писал, что им не надо встречаться, они несовместимы, чужие. И забыл о ней, не получив ответа.

Но теперь он видел её милое, истрадавшееся, любимое лицо и жаловался, умолял о прощении.

— Вера, любимая, прости! Я не помнил себя! Это было безумие! Кто-то вселился в меня! Тот убитый медведь, он вселился, и с тех пор живёт во мне! Во мне живёт зверь! Мне худо, я болен, я погибаю! Прости, приголубь, исцели! Ты одна, только одна! Наше озеро! Летела гагара! Эти крохотные, звенящие о стекло паучки! Мы смотрели, как летят утки и садятся в осоку, и тот тёплый дождь, который звенел по воде, а мы на лодке ловили рыбу, ты выхватила из воды серебряную рыбку, она трепетала в воздухе, а ты не могла её поймать! Поедем в Карелию, к нашему озеру. Начнём всё сначала, с той минуты, когда всё оборвалось! Я не могу без тебя, я погибну! — Он целовал её руку, чувствовал, как бегут по лицу слёзы. Видел, какие блестящие, переполненные слезами глаза у неё.

— Да, Аркаша, да, поедем к нашему озеру! Начнём с той минуты, когда всё прервалось. Это злой дух. Мы победим злой дух! Я все эти годы любила тебя! — Она не отнимала руки, которую он целовал. — В нас ещё много сил, много жизни! У нас будет семья. Как знать, быть может, у нас родится ребёнок!

Веронов чувствовал, как из глаз бегут слёзы, как её рука скользит по его волосам. Но что-то в нём дрогнуло и сместилось. Сквозь слёзы он видел



деревенскую улицу, дрожащий жар и мелкие искры слюды на камне, трещины в разломанных спицах и этот упорный, тупой хруст рубанка.

— Я не знала твоего адреса, но писала тебе. Писала письма и не отсылала. У меня целая шкатулка написанных тебе писем!

Стеклянные пузыри жаркого воздуха налетают на него, разбиваются о грудь, о лицо. Он пытается спастись, удержаться на качелях, которые раскачивают его по дуге над провалом, в который он вот-вот упадёт.

— Нам будет с тобой прекрасно! Мы созданы друг для друга. Мы прошли испытание. Любящие люди должны проходить испытания. Ты мой милый, любимый!

Он чувствовал, как набухает в нём сердце, как сипит в горле, как ядовитый огонь вырывается из-под языка. Невидимый зверь, косматый медведь поднимается на дыбы и идёт, раскрыв косматые когтистые лапы.

— Ненавижу тебя! Никогда не любил! Ты пустая, ненужная, отвратительная! Прощай! Мы больше никогда не увидимся! И не смей меня искать! Слышишь, не смей искать! — Он вскочил из-за стола, видя её потрясённое лицо. Выхватил две красных купюры, швырнул на стол:

— Официант, вот деньги! — расталкивая люд, кинулся к дверям. Вынесся, рыдая, на площадь.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Тьма, которая вырвалась в ресторане “Живаго”, породила аварию на химическом комбинате, где были разрушены ёмкости с хлором. Ядовитые газы и жидкости хлынули по окрестным полям, попали в питьевую воду, отравили города и посёлки. Людей тысячами увозили из зоны бедствия. Веронов смотрел, как на экране орудуют солдаты в масках, катят санитарные машины, на носилках лежат недвижимые тела. Эта тьма вырвалась из чёрного рта кричащей, когда-то любимой женщины, из её потемневших от ужаса глаз, из гранитного валуна, что по-прежнему лежит на обочине в далёкой деревне, из медвежьей шкуры с кровавой дырой от пули, которая застряла где-то под сердцем Веронова.

Он звонил несколько раз к Янгесу, желая порвать с ним, сбросить это иго, эту необъяснимую колдовскую связь. Но секретарша отвечала, что Илья Фернандович уехал на несколько дней и скоро будет.

Веронов обращал свою память вспять, стараясь в прошлом отыскать тот момент, когда в него влетело ядовитое семя, оплодотворилось и стало превращаться в ненасытный плод, превращая его самого в чудовище.

Тот случай в Капли, когда он увидел медвежью шкуру с кровавой дырой и в помрачении бежал... Тогда он почувствовал приближение раскалённой тьмы, но избежал её, лишь обжёгся.

Или в метро, на “Площади Революции”, среди бронзовых солдат и матросов, он смотрел на блестящие рельсы, слышал плотный набегающий из тоннеля гул, и его неудержимо тянуло на эти рельсы, чтобы острые, как ножи, колёса резанули его, перемололи хрустящие кости, разбрызгали кровавую мякоть. Он удержался, видя, как подкатывает в лучах и блеске головной вагон. Шатаясь, ушёл из метро, мимо бронзового с винтовкой солдата.

Или позднее, в Кремле, во время Съезда художников, когда в торжественном зале были расставлены банкетные столы, звенели бокалы, люди обнимались и чокались. За парадным столом президиума академик, седой, румяный, с лицом благожелательного властелина, стоял в окружении высоких чиновников. И в Веронове возникла безумная мысль, неодолимое желание подойти и плеснуть вино в это холёное породистое лицо, услышать изумлённый вопль. Он взял бокал и пошёл к президиуму. Остановился на полпути, одолев помрачение.

Нет, не тогда его ужалила тьма, впрыснула ядовитое семя. Всё это было приближение тьмы, от которой он уклонялся.

Он был далёк от политики. Но когда вдруг, подобно ливню, обрушилась перестройка, он словно очнулся. Кругом всё валилось и падало, умирало

время, рушилась страна. Так в период каменноугольных хвощей и папоротников исчезали огромные существа, пропадали целые виды растений и животных. Распространялись эпидемии невиданных болезней, порождённых тлетворными, доселе неизвестными микробами. Вместо травоядных гигантов появлялись злые, как крысы, хищники, которые сжирали своих предшественников. И этот распад, где истлевала плоть государства, кончился рокотом танков, колоннами дивизий, вкативших в Москву и вставших на площадях.

Веронов очумело бродил по Москве. Приближался к танкам у Белого дома. Видел проституток, залезавших в люки к танкистам. Прозрачный мусор баррикады. Ждал, когда всё завершится, безумие себя израсходует и устало схлынет. И он снова вернётся к своим восхитительным формулам, космическим поселениям, в которых будет обитать “человечество будущего”, захватив в небесный чертог великие поэмы, сказания о героях, “музыку сфер”, оставив в прошлом легковесный мусор баррикад и танцующих на броне проституток.

Трое несчастных легли под гусеницы боевых машин. Асфальт был липкий от крови. Эта кровь ослепила боевого маршала, и он бежал от этих липких пятен на Садовом кольце. Вывел войска из Москвы.

Веронов помнил притихшую, омертвелую Москву, в которой не раздавалось ни голоса, ни автомобильного гудка. Казалось, жители бежали, и город дико остывал в безвоздушном пространстве. Такая тишина бывает перед землетрясением, когда подземные, готовые сорваться платформы ещё висят на последнем крючке, и всё замерло перед ударом.

Вечером он вышел из дома, и всё вокруг рокотало, шевелилось. На проезжей части толпились люди. Возбуждённые колонны шли в разных направлениях, выкрикивали призывы, размахивали трёхцветными флагами. Сходились, смешивались, проводили короткие митинги и снова шли каждая в свою сторону. Были драки, кого-то нещадно дупили. Прямо на улицах распивали водку, предлагая выпить прохожим. Какой-то бомж запрокидывал косматое лицо, хватал губами бутылку, захлёбывался в булькающем хохоте. Длинноволосый музыкант играл на саксофоне, медленно шёл по улице, а за ним тянулся хвост, и казалось, он уведёт их за край земли, опьянённо, заморожено они будут следовать за ним хоть в пучину морскую. Веронову казалось, что над городом висит гарь, то ли жгли мусор, то ли бумаги в учреждениях, или сгорало само время, превращаясь в едкий дым.

Кремль выглядел воспалённым, словно его ошпарили кипятком. Вокруг звёзд стоял туман, будто они испарялись. За стеной, среди дворцов и соборов что-то горело, и на низком небе танцевали отсветы кремлёвского пожара. Веронов пробежал мимо Кремля, и вместо обычного, с самого детства, благоговения испытывал ужас и отвращение.

Он пытался затеряться среди переулков, и в одном из них случилось страшное. Вдруг он увидел, как навстречу ему, вылетев из подворотни, несётся собака. Громадная, с косматым загривком, блестящими в оскале зубами, из которых свисает набок язык. Из пасти собаки шёл пар, хотя было по-летнему тепло и душно. Собака, хрипя, промчалась мимо, скосив на Веронова дикие, с красными белками глаза. Кинулась в подворотню, а оттуда в переулок выбежала девочка и с тонким воплем стала убежать. За ней прыжками гналась собака. Догнала, ударила тяжким туловищем, сбила и с хрипом стала рвать, рыться клыками в хрупкой мякоти, из которой раздался жалобный вскрик и смолк. Только свирепо хрипела собака, грызла беззащитное тело.

У Веронова страшно сверкнуло в глазах, и он рухнул на тротуар, под фонарь, который тут же погас.

Он долго лежал в больнице, долго укрывался в лесной клинике под наблюдением врача. Исцелился, но знал, что стал другим. Всё то же лицо и тело, тот же звук голоса, то же отражение в зеркале. Но он был другой. Из зеркала смотрело на него лицо кого-то другого, кто переступил из одной жизни в другую, из одного мира в другой. Неведомая мгла в него вселилась и дремала, ожидая часа своего пробуждения.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Позвонил Янгес:

— Дорогой Аркадий Петрович, хочу повидаться. Да вот беда, на несколько дней в Европе. Банковские дела. Банк, как корова, требует ухода. А то перестанет давать молоко. Но как вернусь, обязательно встретимся.

— Буду рад, — сухо ответил Веронов.

— Но я, собственно, почему вам звоню. Вы же знаете, что наш самолёт, который вёз в Сирию певцов и чудесную женщину-врача, этот самолёт разбился. Ужасная катастрофа. Потрясла всё общество. Стольких людей сделала несчастными.

— Это беда, — сказал Веронов.

— Ещё какая! Но среди тех, кто стал несчастным, среди овдовевших женщин, осиротевших детей, неутешных матерей и отцов есть несчастные, о которых никто не подумал.

— Это кто?

— Бомжи, за которыми ухаживала врач-милостивица. Она лечила их, кормила, пристраивала, куда могла. Эти бомжи осиротели, стали неприкаянными. Мне передали, что они приходят туда, где она их собирала, не находят её и плачут. Им надо помочь.

— При чём здесь я?

— В некотором роде, конечно, совершенно условно, вы погубили самолёт. Этого никто не докажет, но мы-то с вами знаем. И теперь мы должны хоть как-то искупить вину.

— Что вы хотите?

— Я распорядился, чтобы бомжей собрали на их обычном месте, на площади Трёх вокзалов. Туда привезут хорошую еду, горячую кашу с мясом. Я договорился с военными, они пришлют полевую кухню. Горячий кофе, печенья. Только без водки. Будет пресса, телевидение. Устроим им праздник.

— Моё участие необходимо?

— Дело добровольное, Аркадий Петрович, но я знаю, что вы совестливый человек. Просто предлагаю вам принять участие. Это не только благотворительность. Это дань памяти самоотверженной женщине и, хоть в малой степени, искупление нашей вины.

— Я приду, — сказал Веронов.

Он сидел в кабинете, глядя на осеннее золото, тёмное от дождей, среди которого монастырь дивно сиял, словно осень изошла из его бело-розовых стен, узорных палат, ажурных колоколен. Он удивлялся тому, как быстро согласился на требование Янгеса явиться на площадь Трёх вокзалов. Ибо это была не просьба, не приглашение, а требование, которому он подчинился. Тайная власть, которой обладал над ним Янгес, имела колдовскую природу.

Зависимость, которую он испытывал от банкира, гнездилась в тёмной глубине его, Веронова, сущности. В эту сущность проник Янгес и управлял ею. Теперь, после недавнего звонка Веронов силился подавить эту зависимость, освободиться от чар, которые несли ему гибель.

Шёл дождь. Площадь Трёх вокзалов шипела, кипела, липко вспыхивала. На липком асфальте собрались бомжи. Они сами казались объедками, которые выплюнула площадь, дожидаясь, когда их снова поглотит булькающее варево.

— Здорово, мужики, — бодро произнёс Веронов. — Ну что, пировать будем?

— Да мы не для этого, так, — пугливо ответил один, в стоптанных красных кроссовках, в шляпке, которая была женской, но с неё сорвали бахрому матерчатых цветов.

— Нам сказали, Лизавета Фёдоровна зовёт. Мы и пришли, — сказал другой, в синей, залитой маслом штормовке, отороченной лысым мехом. — Если нельзя, мы пойдём.

— Ты что, дурак, Ломоть! — произнёс распухшими губами третий. — Лизавета Фёдоровна на дне морском. Мозги-то нельзя пропивать.

— А чем кормить будут? Хорошо бы суп горячий, — тоскливо спросил ещё один, без шапки, с синяком под глазом.

— Может, чего горячей? — хохотнул бомж в тельняшке и офицерской фуражке. Оглядел товарищей и щёлкнул себя пальцами по шее.

— Ты чего, Майор! Елизавета Фёдоровна дала бы тебе по башке.

Появился гармонист, в русской косоворотке, в сапожках, с чубом из-под лихой кубанки. Стал играть, растягивая картинно баян, и бомжи слушали, качали головами, а один пустился было в пляс, но смущённо осёкся и спрятался за остальных.

Прибыли телекамеры. Операторы расставляли треноги, наводили окуляры на бомжей. Какая-то девица с блокнотом ходила среди бомжей, расспрашивала, а те, казалось, обнюхивали её, пахнущую духами. Засверкали вспышки фотоаппаратов.

— Вон, вроде везут харчи. Суп или что?

Подкатил военный зелёный микроавтобус. За ним тряслась полевая кухня — зелёный чан на двух колесах. Из микроавтобуса вышли женщины с пакетами, в которых лежали пластмассовые тарелки и ложки. Вынесли огромный металлический чайник, из которого шёл пар.

— Сколько вас тут ртов, орлы? — дородная румяная женщина весело оглядела бомжей, пошла на них, наступая пышной грудью. — Танцуем или кашу едим?

Гармонист тряхнул кубанским чубом, развёл меха ревущего баяна. Лихие переборы народного пляса хлынули на площадь, женщина затопотала, затанцевала, повизгивая, выманивая бомжей в круг. И те, вначале неуверенно, потом всё бесстрашнее шли к женщине, топтались своими кроссовками и ношенными туфлями. Дергали нелепо плечами, тянулись к женщине, а она от них ускользала. Если кто-то хотел её ухватить, била его по рукам.

— Орлы, натошак танцуем, а то брюхо набьёте, станет вываливаться!

Другие женщины открывали бак полевой кухни. Веронов подошёл поближе. В баке была густо сваренная гречневая каша с кусками мяса. От неё шёл пар, вкусно пахло тушёнкой. В чайнике был кофе с молоком.

Играл баян, сверкали вспышки, оператор по дуге обходил танцующих, вступал в круг, удалялся, захватывая камерой площадь, карусель машин, спешащий люд.

Веронов достал из нагрудного кармана пластмассовый флакон с раствором слабительного, которое утром купил в аптеке. Слабительное, как уверял аптекарь, было мгновенного действия. Он влил в кашу раствор, помешал черпаком, делая вид, что пробует солдатское блюдо. То же сделал с кофе. Отошёл, глядя, как женщина, танцуя, приближается к полевой кухне, маня за собой бомжей.

— Вы что-то сказать хотели? — она обратилась к Веронову, задыхаясь после танца. — Пожаляйте орлам приятного аппетита!

Веронов чувствовал нетерпение бомжей, ловивших ноздрями исходивший от каши дух:

— Елизавета Фёдоровна была исключительной женщиной, настоящей русской героиней. Она ездила в Донбасс под бомбёжки и вывозила оттуда раненых детей. Она не боялась самых страшных эпидемий и вытаскивала людей из лап смерти. Мы знаем, что Бог забирает лучших. Её нет среди нас. Но она завещала нам заботиться о малых мира сего. И сегодня мы выполняем её завет. Мы и впредь будем оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается.

Веронов отступил, приглашая бомжей к полевой кухне. Те подходили, вставали в послушную очередь. Женщины щедро накладывали в пластмассовые тарелки кашу с мясом. Наливали в стаканчики сладкий кофе. Бомжи жадно ели, запивали. Баян играл. Оператор снимал благотворительную трапезу.

Бомжи ели ещё и ещё, тяжелели от сытной пищи. На их бородах и усах налипла каша. Они блаженно улыбались, утирали рукавами рты.

Вдруг тот, что был в тельняшке и офицерской фуражке, тонко вскрикнул, схватился за живот. Беспомощно оглядываясь, попытался бежать. Согнулся,

заверещал, помчался прочь, держась за штаны. А его крутило, он верещал, как заяц, а потом сел на землю и не шевелился.

Тот, что был в красных кроссовках, стал сжимать ноги, корчил больные гримасы, сдавливал живот, подхватывал сзади штаны. Ковыляя, постанывая, волочился прочь. Третий сквернословил, харкал, показывал кулак, а потом присел тут же подле кухни, стянул штаны с тощих ягодиц.

Баян продолжал играть. Толстогрудая женщина со своими помощницами залезла в микроавтобус, и он укатил с трясущейся полевой кухней. Операторы продолжали снимать разбредаящихся, полусогнутых бомжей, издававших жалобные крики.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Мерзкое действие на площади Трёх вокзалов, как вспышка чёрного света, отражённая множеством чёрных зеркал, породило волнения в Москве. Либеральные вожди вывели своих сторонников на Тверскую. Те захватили с собой малолетних детей. Шествие протестующих заполонило центр, вместе с родителями шли дети. Одни несли разноцветные шары, флаги. Другие скакали, забирались на фонари, рисовали на стенах карикатуры на президента и мэра. На демонстрантов набрасывались национальные гвардейцы в шлемах и доспехах, с дубинками. Отрывали детей от родных, запикивали в автозаки. Веронов у телевизора ждал, что вот-вот покажут убитого, в луже крови ребёнка, и начнётся восстание.

Янгес отсутствовал. Милая секретарша обещала сообщить о его звонке, но ответного звонка не последовало.

Веронов знал, что существуют лекарства от колдовства. Средства, способные одолеть чары. Существует высшая сила, способная одолеть зверя. И он отправился в Новодевичий монастырь к отцу Макарию, который однажды при нём изгонял из людей бесов.

Было сумрачно, с деревьев летели жёлтые листья. Надгробья мокро блестя, но розы всё так же благоухали. Из низких туч тихо пели колокола. Мимо шёл молодой монах, с торчащими из-под скуфейки космами волос, узкий в талии, перетянутый ремнём, из-под которого пышно вылетала ряса. Поравнявшись с Вероновым, он, радуясь какой-то своей мысли, посмотрел на него синими глазами, собираясь пройти.

— Вы кого ждёте?

— Мне бы отца Макария.

— Вам зачем? — Монах пытливо осмотрел Веронова с ног до головы, как если бы хотел отыскать в нём признаки увечья или иных отклонений. — Батюшка отдыхает после службы.

— Я подожду.

— Подождите. Если батюшка не спит, я позову.

Веронов смиренно ждал под морозящим дождём. Московская осень принесла с собой холодные ветры, листопад, низкие тучи, среди которых купола горели, как золотые глаза. Город за стеной чуть слышно шумел. А здесь, над могилами, краснели рябиновые грозди и в деревьях перелетали дрозды.

Появился отец Макарий.

— Что надо?

— Помощь! Не могу, он меня мучит, убивает! Страсть огненная, лечу в чёрную бездну! А потом кругом катастрофы! Дети гибнут, самолёты падают! Убейте его во мне! Или меня вместе с ним!

Монах молчал, осматривал его, резко взглядывал, словно орудовал гвоздодёром.

— Не ко мне. У нас запрещено отчитывать. Поезжай в Троице-Сергиеву. Там отец Адриан. К нему иди, отчитает!

— Батюшка, не отказывайся! Вот, возьми на ремонт храма! — Веронов извлёк из кармана толстый конверт с деньгами, протянул монаху. Тот взял, сунул в куртку. Протянул к Веронову жилистую руку, сложил щепотью

персты. Не касаясь живота, перекрестил. Веронов почувствовал, как дёрнулось в нём существо, больно давило нутро, и он слабо вскрикнул.

— Вон как крест чувствуете, — сказал монах. — Приходи сегодня после вечерни. Стой здесь, меня спросишь, — и пошёл, сутулясь, опустив могучие руки, словно борец по ковру.

Веронов вернулся домой и ждал, когда за окном слабо прозвенит монастырский колокол, созывая прихожан на вечернюю службу. Стемнело, по-прежнему сыпал дождь. Веронов надел плащ, вышел в холод московского осеннего вечера, с жёлтыми окнами, с летучим проблеском автомобилей. Когда он вошёл в монастырь, служба ещё продолжалась. В храме горели оранжевые окна, слышалось негромкое пение.

Веронов редко бывал в храме — на Пасху и Рождество, чтобы полюбоваться красивой службой. Не постился, не исповедовался, не причащался. И сейчас испытывал неуверенность, желание повернуться и уйти. Но оставался, ибо это зверь понуждал его уйти.

Наконец служба кончилась, зазвенел колокол. С крыльца стали спускаться прихожане, немолодые женщины, переговаривались тихими голосами. Прошли мимо Веронова, потянулись к монастырским воротам.

Он ждал, замерзая на дожде, видя, как гаснут, темнеют оранжевые окна храма. Все погасли, только одно слабо светилось.

Он почувствовал, как вдруг стало тяжело в паху. Эта тяжесть колебалась, словно жидкий ком ртути. Веронов положил руки на пах, будто обнимал этот тяжёлый жидкий шар, не давал ему расплескаться.

Появился знакомый молодой монах:

— Батюшка ждёт, идёмте.

Они вошли в храм. Здесь стоял сумрак, только слабо светилось несколько лампад, и в подсвечнике горела свеча. Было тепло, надыхали прихожане. Казалось, в тёмных углах ещё слабо звучат песнопения.

Из алтаря вышел отец Макарий. На нём была золотая епитрахиль, висел крест.

— Ступай сюда, — приказал он Веронову, указывая на таз, полный воды. Сквозь воду виднелись эмалированные цветы.

— Крещен?

— Бабушка крестила младенцем.

— Разувайся. Снимай с себя всё до исподнего.

Веронов пугливо скинул туфли, стянул носки, совлёк с себя всю одежду, оставшись в одних трусах.

— Вставай, — отец Макарий указал на таз, и Веронов встал в холодную воду на эмалированные цветы. Почувствовал, как внутри напряглась, набухла мускулами посторонняя плоть, распирая рёбра и таз.

Отец Макарий обратил лицо к свече, перекрестился и стал читать:

— Отче наш, иже еси на небесех...

Веронов испытал страшную боль, будто рвались кишки. Кто-то в нём прорывался сквозь кишки, отталкивал печень, сердце. Пытался пролезть сквозь пах, застревая в бёдрах. Кидался вверх, стремясь вырваться из горла. Внутри всё бурлило, сворачивалось в клубки боли. Из рта пошла жижа, закипела пена. Веронов захлёбывался, выпучивал глаза, топтался в плещущей воде и кричал:

— Отпусти! Отпусти!

Священник молился:

— Да святится имя Твое, да придет Царствие Твое...

У Веронова хрустели кости. Он испытывал ужас, рычал и выл. Ему хотелось грызть зубами священника, грызть свечу, рвать на части стоящего рядом молодого монаха. Тот закрыл лицо и отвернулся.

— Да будет воля Твоя яко на небеси и на земли.

Веронов валился на бок, выпадая из таза:

— Отпусти! Отпусти!

Отец Макарий повернулся к нему, и Веронов сквозь слёзы увидел, как полыхают глаза священника. Они вращались в орбитах, словно тот взором выкручивал, вывинчивал из Веронова жуткий винт. Тянул набухшие жилами

руки, словно пытался выдрать незримое корневище. Страшная морщина пролегла по его лбу. Он поднял крест, обратил его к Веронову. Голосом, похожим на вопль, воскликнул:

— Изыди!

Веронов слышал, как с треском распадается грудь, хлещет из разорванных сосудов кровь. Наружу, выпутываясь из кишок, выскакивал кто-то огромный, волосатый, похожий на гориллу. Горилла с ненавистью на него обернулась. Он рухнул, опрокинув таз, ударился о каменный пол.

Очнулся на лежаке. Над ним на церковной стене виднелась фреска: Георгий топчет конём и колет копьём кольчатую гидру.

— На-ко, вышей кагора. — Отец Макарий поднёс ему чашу. Веронов сделал несколько глотков тёплого вина. Он был без сил, но это бессилье было сладким. Было исцелением.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Утром он лежал исцелённый в прозрачном осеннем солнце, чувствуя блаженную слабость. Не было сил, но была чудная пустота. Каждая клеточка изнурённого тела напоминала крохотный сосуд, из которого утекла ядовитая капля, и теперь он наполнялся животворной влагой. Так лист дерева после долгой ночи впитывает в себя любимый свет, растёт, блаженствует.

Веронов суеверно прислушивался к этой пустоте, боясь восполнить её чем-нибудь случайным, никчёмным. Он достал диск, на котором были записаны народные романсы из тех, что так любила напевать мама своим несильным трогательным голосом. И теперь эти романсы сочетали его с былой красотой, с драгоценным туманным прошлым, в котором витали родные лица, упоительные напевы, простые и вещице слова, и от них плакала и ликовала душа.

“Соловьём залётным юность пролетела, // голубой кафтан мой, весь он износился”. “Не шей ты мне, матушка, красный сарафан”. “Мутит душу мою // твой печальный наряд, // ах, зачем ты в него // нарядила себя”. “Помню, я ещё молодухой была, // наша армия в поход куда-то шла”. “Что ты жадно глядишь на дорогу // в стороне от весёлых подруг”.

Он слушал романсы, закрыв глаза, и ему чудились широкие степные тракты, многолюдные села, поросшие цветами обочины, конница пылит, уходя в поход, шумят ярмарки, летают качели, горят в тусклых избах лучины, и в этой таинственной мгле дышат родные лица, и его изнурённый дух вновь обретает цветущую силу.

Он снял с книжной полки Пушкина, которого, казалось, не читал с юности. И вдруг волшебство пушкинского стиха открылось ему, и он изумлялся, как это доступно — оказаться в той забытой стране, где “в багрец и золото одетые леса”, где “шум и гром, и говор балов”, где “лоскутья тех знамён победных, сиянье шапок этих медных”, где “отцы пустынноики и жены непорочны”, где “девичьи лица ярче роз”, где “вьются тучи, мчатся тучи”, где “у Лукоморья дуб зелёный”...

Теперь, когда он исцелён, он поедет на материнскую могилу, на тихое подмосковное кладбище возле деревни, где когда-то была их дача и прошло его детство. Он приобретёт на могиле, покрасит оградку, проведёт несколько светлых печальных часов в воспоминаниях, которые сделают их неразлучными. “Мама, я скоро приеду к тебе”, — думал он с нежностью.

Ему вдруг пришла счастливая детская мысль. Захотелось оказаться среди осенних деревьев, на тёмных сырых дорогах и собрать гербарий осенних листьев. Повинуясь этой детской прихоти, он отправился в Нескучный сад. Бродил по мокрым аллеям и сырым извилистым тропкам. Вдыхал пьяный дух осени, переступая жёлтые, сияющие на чёрной земле листья. Он взял в свой гербарий волнистый дубовый лист, поцеловал его, ощутив печальную горечь. Поднял зубчатый жёлто-розовый лист клёна, выбирая его из шелестящей кипы. Нашёл лапчатый ржавый лист каштана. Осиновый красный лист, в котором дрожала дождевая капля с потаённой лазурью. Он собрал из

листьев букет и нёс его по аллее, думая, как станет раскладывать коллекцию среди газет, под пресс тяжёловесных книжных томов.

Навстречу ему выбежал мальш в красном пальтишке, в вязаном синем колпачке. Протянул лист рябины:

— Дядя, вот ещё листик.

Веронов принял дар, поместил в свой букет. На глазах его появились слёзы. Он вдруг испытал такое умиление, такое обожание этого хрупкого мальчика, подарившего ему лист рябины, что не удержался, поцеловал мальчика в синий колпачок. Видя, как торопится к своему сыну молодая мать, пошёл по тропинке, не утирая слёз.

Анна Васильевна кормила его обедом:

— Вы, Аркадий Петрович, сегодня просветлённый какой-то. Может, влюбились?

— Вы моя невеста, Анна Васильевна.

— Ну, уж вы скажете! — и она смущённо отмахнулась рукой. Он уловил этот особый жест, в котором ещё оставалась милая женственность, какая бывает только у русских женщин. Подумал, как чудесно старятся русские женщины, с годами наполняясь возвышенным благородством. Анна Васильевна, красавица в молодости, и теперь, пополнившая, поседевшая, была исполнена неподвластной годам красоте, той, что сохранилась в ней до глубокой старости.

Веронов сел за компьютер и послал электронные письма другу Степанову и Вере Полуниной, близкого содержания. В них он каялся, просил прощения, ссылался на безумие, которое теперь, слава Богу, одолел. И если есть ему прощение, он будет счастлив их увидеть и, как может, искупит свою вину.

Пребывая в этом просветлённом умилении, возмечтал уехать куда-нибудь в русскую деревню и там, в одиночестве, среди голых деревьев и сирых полей, встретить Покров с первыми снегами.

Раздался звонок. Веронов испуганно, тоскливо смотрел на мерцающий телефон, слушал настойчивые звонки. Эти звонки сулили несчастья. На них каждый раз откликался поселившийся в нём урод, требовал утешения, требовал, чтобы Веронов взял трубку.

Теперь он прислушивался к себе, желая уловить в своём чреве посторонние биения, обнаружить присутствие уroda. Нутро молчало. Было пустым, освободилось от бремени. Он был исцелён. Урод был изгнан. Чёрный гость, поселившийся в нём, покинул жилище. Чтобы окончательно увериться в своём исцелении, в избавлении от незваного гостя, Веронов взял телефон.

Звонил давний приятель Пётр Макровецкий, главный редактор телекомпании “Лотос”, покровитель множества политических и культурных направлений, сделавший “Лотос” законодателем мод. Пётр Макровецкий создавал репутации. Разрушал их, если понадобится. Был вхож в Кремль. Дружил с радикальной оппозицией. Был принят в закрытых зарубежных сообществах. И, кроме того, был весельчак, завсегдагой клубов, душа богемы. Но вдруг всё это свёртывалось в тугую спираль, готовую распрямиться с жестоким свистом.

— Аркаша, поздравь меня. У меня день рождения.

— Это национальный праздник. Поздравляю, друг.

— Хочешь мне сделать подарок?

— Повезти тебя на Бали?

— Приходи ко мне сегодня в эфир.

— Так сразу? Я не готов.

— Тебе и готовиться не надо. Посидим у микрофона, поговорим о всякой всячине. О культуре, о политике. О вернисажах.

— Да я как-то отвык от вернисажей.

— Не упрямясь. Сделай другу подарок.

Веронов прислушивался к утробе, ни притаился ли там чёрный гость, не слышно ли биение чёрного сердца. Гостя не было. Веронов был избавлен от скверны. Над Вероновым, как чудесный покров, простёрлись жилистые руки отца Макария, его стальная борода, пылающий взгляд, изгоняющий зверя.



- Когда эфир?
- Часа через три.
- Приду.

Он надел свой лучший костюм. Небрежным пышным узлом завязал французский шёлковый галстук. Купил букет алых роз и отправился к Макровецкому, которому был многим обязан. Тот в трудные времена поддерживал его, создавал ему репутацию экстравагантного модного художника.

Телекомпания “Лотос” располагалась на Новом Арбате, и в её коридорах, кабинетах и студиях царил особое возбуждение, которое было свойственно интеллигентским кругам, где витали опасные слухи, мнимые страхи, едкие сплетни, горькие разочарования и мстительные планы по отношению к власти — источнику бед, терзавших Россию. Макровецкий собрал вокруг себя первоклассных аналитиков, известных политических деятелей, писателей и художников, что позволяло ему наносить удары в самые чувствительные места общественной мысли. Создавать целые направления, которые возникали на пустом месте и тут же исчезали, оставляя едва заметную, несмываемую пыльцу общественных настроений.

В гостевой комнате, где приглашённые ожидали эфира, одна из ведущих, белокурая, в голубом туалете, не стесняясь Веронова, сидела в кресте, легкомысленно обнажив ноги, отдавала себя во власть гримёрши, которая укладывала её волосы, а она рассматривала свои красивые длинные пальцы с ногтями, только что покрытыми лаком.

— Вот он, герой скандальных хроник, сеющий бурю в интернете. Букет предназначен мне?

— Букет для Макровецкого. Поцеловал бы ваши персты, да боюсь выйти в эфир с лакированным носом.

В гостевую вошёл адмирал в чёрной форме с регалиями, только что из эфира. Возбуждённый, говорил сопровождающей его ведущей:

— Вода в Средиземном море имеет цвет ваших глаз. Буду вспоминать в походе ваши глаза.

— Вам будет не до меня. Вы станете стрелять ракетами по Сирии и забудете обо всём остальном.

Адмирал удалился, и его место занял вальяжный оппозиционер с холёным лицом, занимавший когда-то высший пост в правительстве, но потом перешедший в оппозицию. Он улыбался милостивой улыбкой, полагая, что является неотразимым, статный, в дорогом костюме, с золотым перстнем на ухоженных руках. Его сопровождала лёгкая, словно порхающая ведущая с цыганскими бедовыми глазами и глубоким вырезом платья, не скрывавшим чудесный загар.

— Все, кто вас слушает, ловит не мысли, а оттенки вашего голоса. Вображаю, как вы поёте.

— Ваш баритон с упоением слушает интеллигенция и со страхом слушает Кремль.

— Мы сегодня составили с вами неплохой дуэт.

В гостевую влетел Пётр Макровецкий, как всегда, возбуждённый, пылкий, неряшливо одетый, с седыми, плохо промытыми волосами, с большими лошадиными зубами. Кинулся к Веронову:

— В студию! Минута до эфира! Уроки обольщения? — Он зыркнул на женщин глазом дрессировщика и потащил за собой Веронова.

— А букет? А шампанское?

— С собой! Всё в прямом эфире! Зачатие, рождение, смерть — всё в прямом эфире!

Веронов захватил букет роз. Они прошли в студию, и, усаживаясь у микрофона, Веронов положил рядом с собой букет, чтобы он был виден в камеру.

— Дорогие радиослушатели, начинаем нашу передачу “Понемногу обо всём”. Сегодня у нас в гостях знаменитый художник, творец необыкновенных акций, ньюсмейкер, разрушающий миф о несовместимости политики и культуры, Аркадий Веронов.

— Петрусь, пользуюсь случаем поздравить тебя с днём рождения. Этот букет роз — символ твоих бессчётных пламенных дарований. — Веронов коснулся цветов, чувствуя их свежий холодный аромат.

— У нас ещё будет время после эфира выпить за моё здоровье! А теперь к делу!

Микрофон, как маленький чёрный клубочек, был перед самым лицом Веронова. Напротив, перед таким же чёрным клубочком сидел Макровецкий. Тут же пламенел букет роз. Смотрели зрочки телекамер.

— Не кажется ли тебе, Аркадий, что власть, отгородившись от искусства, заблуждается относительно своей безопасности? Искусство обойдёт власть с тыла и саданёт финкой под лопатку.

— Не думаю, чтобы у искусства была такая задача, — сказал Веронов. — У ветра нет задачи обогнуть дом с тыла и найти в нём щель. Он дует и дует. Одни боятся ветра и конопатят стены, а другие делают ветряки и добывают из ветра электричество.

Веронов был доволен своим ответом.

— Но не кажется ли тебе, что наши политики, создавая предвыборные команды, насыщают их экономистами, политологами, социологами, разведчиками, но только не художниками? И много теряют. Художник способен силой эмоций менять мир. Сотрясать его или созидать.

Веронов ощутил беспокойство. Беспокойство вызывал букет роз, его багровые цветы, в глубине которых таилась тьма. Веронов отодвинул букет, чтобы вид цветов его не тревожил.

— Эмоцию художника вряд ли использует тот, кто не обладает эмоцией. Политики меняют мир, а художники своим творчеством фиксируют эти изменения.

— Но я читал арткритика, который следит за твоим творчеством. Он утверждает, что каждый раз вслед за твоим действием случаются аварии и катастрофы. словно ты раскачиваешь кладку мира, и из неё выпадают кирпичи.

Веронов видел, как сгущается тьма в глубине букета. Алые розы чернеют, они начинают пахнуть, как пахнут гробы, полные цветов.

— Это неправда, — сказал Веронов, отворачиваясь от букета.

— Но этот арткритик утверждает, что после твоего великолепного представления с пулемётом, когда ты расстрелял холостыми банкиров, случился грандиозный пожар на рынке, во время которого сгорело несколько пожарных.

— Это совпадение. — Веронов видел, как шевелятся цветы, и в них скрывается тёмное существо, рассматривающее его из лепестков.

— Ну, как же неправда! А после твоей блистательной выходки в обществе “Мемориал”, когда ты подsunул мученикам ГУЛага икону Сталина! Сразу после этого под Нижним Новгородом столкнулись два скоростных поезда. Было столько жертв!

— Перестань, — слабо произнёс Веронов, видя, как из букета высовывается мохнатое рыльце с розовыми мокрыми ноздрями и снова прячется. — Перестань.

— Да не скромничай, Аркаша. А твоя выходка с Зоей Космодемьянской, когда ты сжёг тряпичную куклу. После этого разбился пассажирский самолёт с военными певцами и женщиной-врачом. Свидетели утверждали, что в самолёт вонзился прозрачный фиолетовый луч. Это твоя эмоция.

Веронов молча слушал, как тоскливо замерло его утро, как мучительно, медленно оно растворяется, и в него из букета прыгает ловкий мохнатый зверёк и свёртывается в его утробе, как в норке. На Веронова надвигалось помрачение. Он боролся с ним, гнал зверька обратно в цветы, звал отца Макария, старался нырнуть под его простёртые руки, под железную бороду. Зверёк, поселившийся в нём, разрастался, ворочался, скрёб цепкими коготками. Веронов задыхался, давился, хрипел.

— Но как же ты говоришь, что случайно, — не замечал его муки Макровецкий. — А на площади Трёх вокзалов, куда собрались несчастные божки...

С хрипом и клёкотом Веронов вскочил, схватил букет и стал хлестать им по лицу Макровецкого. Бил кулаком, и телекамеры разносили по миру дикую сцену. Веронов упал на стул. Ему казалось, что мир треснул, и одна его

половина переворачивается, как подорванный крейсер, показывает киль и медленно погружается в пучину. Веронов летел в чёрную яму, издавая животный вопль.

## ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Утром после бессонной ночи, когда его крутило и подбрасывало в постели, Веронов в ванной рассматривал себя в зеркало. На него смотрело почерневшее лицо старика с трясущимися губами. Глаза с красными веками слились. Взгляд бродил, словно он хотел углядеть кого-то, кто тайлся за его отражением. Волосы свалились и напоминали шерсть. Тело было покрыто зеленоватыми пятнами, словно он превращался в тритона. Сквозь его облик проступал облик кого-то жуткого, кто в нём поселился. Было страшно коснуться лица, ибо казалось, что оно начнёт расплзаться, и сквозь разорванную кожу глянет свирепая личина чудища. Гость, которого изгнал отец Макарий, снова вернулся. Был в его доме. Был в нём.

Снаружи доносилась бравурная музыка, размытые мегафонные возгласы, будто шёл праздник. Веронов включил телевизор. Передавали репортаж из Владивостока, где радостные нарядные люди несли флаги, транспаранты, воздушные шары. Рассказывалось, как во Владивостоке отмечают День национального примирения и единства.

Веронов вспомнил, что сегодня государственный праздник, Дальний Восток его уже празднует, а Москва только собирает свои праздничные колонны, выводит на улицу демонстрантов, оркестры.

От открыл интернет и узнал, что по Москве, в центр, к Кремлю, где высятся памятник равноапостольному князю Владимиру, пойдёт несколько колонн из разных частей города. Правящая партия. Коммунисты. Русские националисты. Либеральные оппозиционеры. Все они сойдутся у памятника. На трибуну взойдут представители всех политических течений и конфессий, и под сенью руки крестителя продемонстрируют единство, солидарность, верность молодому Государству Российскому.

Ему вдруг страстно захотелось в толпу, на улицу, в осенний предзимний холод с брызгами дождя, с мокрым снегом. Но он не понимал, кто гонит его из дома. Он ли, желающий в тесных гомонящих толпах очнуться от наваждения, или тот, кто засел в нём, торопит его вон из дома, желая прогуляться среди праздничных толп.

Веронов запахнул тёплое пальто, надел широкополую шляпу и вышел в ветреную сырость, где в голых деревьях, похожий на красную гроздь рябины, сиял монастырь. По набережной от Лужников густо шёл народ, мимо имперской громады министерства обороны, вдоль ветреной реки, за которой, коричневый, безлистый, туманился Нескучный сад, крутились аттракционы Парка культуры и белела одинокая беседка с колоннами, с детства вызывавшая у него умиление.

В колонне, куда он примкнул, шли русские националисты. Это был Русский марш, которому власти города отвели маршрут по набережной, через Остоженку, Волхонку и к памятнику князю Владимиру.

Попав в многолюдье колонны, Веронов почувствовал облегчение. Он был среди своих. Кругом были лица, которые казались родными. Кольхалось множество чёрно-оранжево-белых имперских знамён. Среди них трепетали Андреевские стяги. Огромную икону Казанской Божьей Матери несли шесть дюжих молодцев. Звучали строевые марши, “Прощание славянки”, казачьи песни. Священники в облачениях с песнопениями несли хоругви. В нескольких местах виднелись портреты последнего Царя-Мученика.

Веронов шагал, не отрывая глаз от Богородицы, веря, что она укротила живущего в нём зверя, изгнала его, и теперь “дух изгнания”, не находя приюта, летает над осенними водами.

— Она, Царица Небесная, заступница русская, — произнесла шагавшая рядом с Вероновым немолодая женщина в платке и длинной юбке, похожая на паломницу. — Всегда вызволяла Россию, и теперь вызволит. Она нас ви-

дит и за каждого молится. Спаси нас, Царица Небесная. — И женщина на ходу перекрестилась, гибко согнулась в талии.

“Какое у неё чудесное, одухотворённое лицо! — подумал Веронов, — Какое счастье, что я русский”!

Вдоль колонны, то отставая, то вновь становясь во главу, перемещался руководитель. Веронов видел его где-то, быть может, на экране, на пресс-конференциях. Без шапки, с золотистыми офицерскими усиками, с эмблемой орла на груди, он приближался то к одному, то к другому, говорил несколько слов, и люди в ответ улыбались, кивали. Было видно, что он любим, что им дорожат, признают его водительство. Веронову захотелось услышать его голос, сказать, как он взволнован, как благодарен за то, что принят в их ряды, готов идти Русским маршем в победное русское будущее. Казалось, предводитель услышал его порыв, улыбнулся.

Гость, который мучил Веронова, исчез, улетучился. Не выдержал этой бодрой животворной энергии, этих молитвенных песнопений, плещущих стягов, в которых шумело русское время, русская удаль, русское возвышенное мечтание.

Колонна с набережной свернула на Остоженку, наполняя всю проезжую часть. Вышла на Волхонку к белому, как огромный сутроб, храму Христа Спасителя. Все, кто шёл в колонне, крестились на золотой купол. Ярче зазвучали песнопения. Колонна, оставляя Волхонку, вылилась к Кремлю, к Каменному мосту, к величавому князю Владимиру, который приветствовал их воздетым крестом, опустив к земле суровый меч.

Кремль, розовый, в лёгкой дымке, казался влажным, телесным. Металлическая ограда отделяла Троицкую башню от площади. За ней стояла цепь солдат. Каменный мост был пуст, мокро блестел. Но вдали трепетало, надвигалось, краснело флагами шествие коммунистов, которые двигались от Октябрьской площади, от памятника Ленину.

Колонна националистов, в которой шагал Веронов, выливалась на площадь. Веронов отстал от колонны, забрался по зелёному скользкому склону к Пашкову дому и стоял, озирая площадь сверху.

Колонна коммунистов красным языком залила мост, вязко стекла к Кремлю и начала сливаться с националистами, не смешиваясь с ними, а только тесня их. Красные флаги приблизились к имперским знамёнам. Советские песни мешались с церковными песнопениями. В красной колонне Веронов увидел большой портрет Ленина, который остановился недалеко от иконы Казанской Божьей Матери. Хоругви развевались рядом с красными флагами. И это выглядело как знак примирения.

Со стороны Манежной громогласно, мощно двигалась колонна кремлёвских сторонников с трёхцветными российскими флагами, транспарантами, с букетами цветов. Блестела медь оркестра. Грохотали барабаны в руках голоногих барабанщиц, которые маршировали в мини-юбках, невзирая на холод. Эта стоцветное толпище надвинулось на площадь, сминая собравшихся, требуя себе места, просачиваясь своими трёхцветными флагами в скопление красных и имперских знамён.

Площадь вязко колыбалась, как наполненная тестом квашня, взбухала. В ней двигались медленные протуберанцы, склеивались, проникали один в другой.

И уже подходила четвёртая колонна — с либеральными оппозиционерами. В ней виднелись триколоры, воздушные шарики и радужные полотнища, под которыми шли сексменьшинства. Впереди колонны шли саксофонисты, мерцали изогнутыми инструментами, оглашая площадь заунывными тягучими звуками.

Веронов стоял на холме под стенами Пашкова дома. Склон был полон людей, не уместившихся на площади, а народ всё прибывал.

У подножия памятника виднелась трибуна, окружённая полицейской цепью. На неё стали подниматься лидеры движений и партий. Белый монашеский клобук соседствовал с чалмой, еврейская кипа с буддийским копаком. Над всеми грозно возвышался бронзовый князь, осеняя площадь крестом, опустив к трибуне острие меча.

Веронова восторгало зрелище. В этих толпищах чудилась ему таинственная сущность империи, из которой, как магма, изливались народы, верования, учения, безумные идеи, таинственные мечтания. Причудливо смешивались, уходили вглубь, вновь появлялись, и ничто не пропадало бесследно, всё повторялось из века в век, из царства в царство. И сейчас в этом вареве возникало Государство Российское, уцелевшее после страшного падения. Оно вновь начинало своё угрюмое восхождение, как тесто, в которое Господь бросил небесные дрожжи. Кремль, как глыба розовой лавы, был свидетельством вулканического извержения, в котором извергалась загадочная имперская сущность.

Трибуна была заполнена. Каждый, на ней стоящий, имел сторонников в изумившей площади толпе. Тысячи глаз следили за своими вождями, были готовы внимать. Князь Владимир осенял их крестом, побуждал присягнуть на верность Государству Российскому.

Первым выступал мэр Москвы, представляя главенствующую партию. Веронову с холма было видно его продолговатое лицо, бледное, синеватое, с лунным оттенком. Был слышен его металлический голос, пропущенный сквозь микрофон. Мэр призывал к единству всех.

— Да здравствует Россия! — Он воздел вверх кулак, и площадь ахнула, вздохнула. По ней покатились волна, и в той её части, где стояли сторонники власти, там заколыхались трёхцветные флаги и раздались многоголосые клики: “Россия! Россия!”

Веронов вдруг ощутил толчок в сердце. словно ожила чёрная, притаившаяся под сердцем почка. Стала набухать, разрастаться. Давила на сердце, отодвигала его, теснила грудь. Он с ужасом чувствовал пробуждение зверя.

Зверь, как и Веронов, слушал выступление мэра. Улавливал фальшивые, сухие, как металлическая фольга, интонации. Не к месту, неискренне произнесённое сталинское “Братья и сестры”. Походя упомянутая держава, кровотокающая, с обрубками территорий, чудом уцелевшая после краха “красной империи”. Гость торопился вырваться из Веронова, пролететь к трибуне и вонзиться в худое тело мэра, чтобы тот заклокотал, захлебнулся, выпучил глаза, вывалил синий язык, и над площадью разнёсся бы звериный металлический рык.

Веронов не выпускал из себя зверя. Удерживал под сердцем. Боялся, что зверь замутит площадь. Раскрутит на ней чудовищный водоворот. Спасал площадь, спасал флаги, толпу, стены Кремля, цепочку солдат, мелькнувшую в кремлёвских воротах машину. Он брал зверя на себя. Вызывал зверя на себя, как делают войны, попавшие в окружение и желающие погибнуть вместе с врагом.

Говорил лидер коммунистов. Веронов видел его большое лобастое лицо, красный бант на груди. Слушал его крепкий поставленный голос, кому-то угрожавший, кого-то убеждавший.

— Москва — столица тысячелетней Державы, в том числе столица великого Советского Союза. Все святыни Москвы — это святыни русской истории. Это и гробницы царей, и мавзолей Ленина. Это могилы Пересвета и Осляби, и могила Жукову. Это храм Василия Блаженного и Университет, построенный советскими людьми. Примирение, которое мы с вами празднуем, — это признание величия Ленина и Сталина наряду с величием Петра Первого и Ивана Грозного.

Площадь колыхала красные стяги, скандировала: “Советский Союз! Советский Союз!”

Говорил лидер либеральной оппозиции. Он был молодой, яростный, на лбу чернела чёлка, маленький круглый рот, казалось, не закрывался. Он нервничал, торопился, словно боялся, что его сгонят с трибуны.

— Москва — европейский город. И мы должны соответствовать нашей европейской идентичности. В Москве должны неукоснительно соблюдаться права человека. В Москве должны развиваться демократические институты. В Москве должен существовать честно избранный парламент и находиться президент, соблюдающий принцип сменяемости власти. И, конечно, в Москве, как и во всей России, должны соблюдаться права меньшинств, в том числе и сексуальных.

Одна часть площади негодуяще загудела, зато другая восторженно гремела. Звучали саксофоны, развевались радужные флаги. Веронов обхватил живот руками, не выпускал зверя, который бился в нём, как в мешке.

Выступал лидер националистов, тот, что привёл колонну. Веронов видел его офицерские усики, золотого орла на груди. Чёрно-оранжево-белые имперские флаги заволновались, хоругви колыхнулись, Богородица обратила к трибуне свой лик.

Веронов услышал, как треснула грудь, лопнули рёбра, растворилось нутро. И в кровавую щель, где билось липкое сердце, что-то прянуло, размытое, жуткое, не очерченное. Выплеснуло за собой обрывки внутренностей. Бурлящей струей понеслось над толпой к трибуне. Ударило в говорившего оратора, погрузилось в него. Тот обомлел, умолк.

Веронов видел, как выпучились его глаза, съехал на сторону нос, рот под усами стал чёрной дырой, в которую вошла излетевшая из Веронова тьма.

— Да, я утверждаю, что мы, русские националисты, являемся ведущей и единственной силой Государства Российского! — Голос лидера националистов, секунду назад звучавший мелодично и бархатно, теперь ревел, в нём слышался надрывный хрип. — Мы требуем для русских всей полноты власти! Требуем покончить с русофобской политикой, начатой Лениным! Требуем вышвырнуть Ленина, эту гнилую куклу, из мавзолея и кинуть его тухлую кожу в овраг, на съеденье воронам и крысам! Требуем спилить с кремлёвских башен масонские звёзды, под которыми чахнет и погибает Россия! Мы добьёмся этого если не добром, так силой!

Он, повернувшись к стоящему рядом с ним коммунисту, с силой ударил его. Тот пошатнулся и ударил в ответ.

Трибуна заметалась. На ней возникла потасовка. Иерарх в клобуке, мулла в чалме, раввин в кипе, бонза в буддийском колпаке стали покидать трибуну. Драка на трибуне, как огонь, перелетала в толпу и подожгла площадь. Сначала загорелась кромка у трибуны. Огонь драки стал растекаться, проникал в невидимые щели, разделявшие коммунистов и националистов, либералов и ревнителей власти. Всё начинало клубиться, кипеть. В ход шли кулаки, древки флагов. Истошно били барабаны, ревели саксофоны, хрипели и выли голоса. Вся площадь превратилась в побоище. Взлетали руки, били ноги, катались ревущие клубки. Всплывали и тонули в гуще портрет Ленина и икона Богородицы. Крест в руках князя Владимира не останавливал побоище, а, казалось, благословлял его.

Площадь, охваченная ненавистью, не вмещала дерущихся. Толпа разбухла от ударов, смещалась к Троицкой башне. Солдаты сдерживали толпу цепью, сначала одной, потом второй, третьей. Толпа давила на заслон, как давит слепая вода на дамбу. Выгибала цепь, медленно теснила её к Кремлю. Быстро сгущались сумерки. Над дракой зажглись фонари, словно кто-то подсвечивал побоище. Веронов с холма смотрел на чёрное варёво, бурлящее от боли и ненависти. Подумал, что это он учинил бойню, он разрушил хрупкий свод, выкалывая из него камни, и теперь рушится огромный свод государства, и скоро всех погребут обломки.

Над его головой зазвенели и посыпались стекла из окон Пашкова дома. Полыхнул рыжий огонь. Дом горел, и из окон прыгали люди. Следом загорелась Публичная библиотека и дальше Манеж. Пламя вылетало из окон, будто там разливали бензин.

Драка ходила кругами, словно в чёрной воде двигалась огромная рыба.

Веронов знал, что в толпе поселился излетевший из него гость. Месит, перемешивает, перелопачивает, и уже не разглядеть, кто националист, кто коммунист, где либерал, а где исповедник власти. Каждый бился с соседом. Красный флаг хлестал другой красный флаг. Одна хоругвь разила другую. Земля дрожала, расходились платформы, Москва уходила в бездонный котлован.

Веронова трясло, ноги его топтали склон. Он танцевал на холме, среди языков огня, и вся площадь танцевала жуткий танец. В тёмное московское небо полетели жёлтые трассы, оранжевые, похожие на дыни, огни. Казалось, город обстреливают установки залпового огня. По Москве бьют крылатые ракеты. На улицах рвутся бомбы. У князя Владимира отломилась

голова, из пустого тулова валил дым. И он, безголовый, источая дым, благословлял площадь крестом.

Толпа прорвала цепь и хлынула к воротам Кремля. Оттуда, один за другим, выскользнули бэтээры, длинные, гибкие, как ящерицы. Ударили по толпе пулемёты. На каждом бэтээре трепетал и пульсировал огонь пулемёта. Тупо, упруго стучало. Пулемёты прорубали в толпе коридоры. В этих пустотах копошились, ползли упавшие люди.

Веронов видел, как очередь взрыхла склон у его ног, будто под землёй прополз крот.

Площадь быстро пустела. Толпа покидала площадь, как вода при отливе, оставляя на отмели недвижимые тела, множество шапок, растоптанные знамёна и хоругви. Полицейские в шлемах шли цепью, заслоняясь щитами, выдавливали с площади остатки толпы.

Веронов смотрел на площадь, липкую, голую, отражавшую оранжевые фонари, окружённую пожарами. Вдруг увидел, как на площадь выбежал мальчик, хрупкий, тонконогий, в красном пальтишке и синем колпачке, тот самый, что в Нескучном саду преподнёс ему лист рябины. Мальчик бежал по асфальту, а за ним гналась огромная косматая собака. Догнала, кинулась. Мальчик тоскливо вскрикнул и затих. Только слышался звериный хрип, Собака, изогнув спину, рылась клыками в маленьком тельце.

Веронову показалось, что мир вывернулся наружу жуткой начинкой, совершая “мёртвую петлю”, в которой повторял свою чудовищную неотвратимость. Веронов страшно вскрикнул и рухнул, покатился по скользкой траве.

## ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Он очнулся дома, на своей кровати. Над ним склонилось внимательное, с седоватой бородкой лицо. Человек был в белом халате, держал в руке прибор для измерения давления. За его спиной виднелось встревоженное лицо Анны Васильевны. В спальне горела люстра.

— Что со мной? — пролепетал Веронов.

— Гипертонический криз, — ответил доктор. — Спазм сосудов, мой дорогой. Обычный обморок. Всё будет хорошо.

— Что в городе? Всё сгорело? Они били из пулемётов! Очередь прошла у моих ног. Я поскользнулся и покатился с холма.

— В городе всё спокойно, никакой стрельбы. Разве что салют.

— Вы нашли меня у Пашкова дома? Вынесли из-под огня?

— Мой дорогой, никакого огня, никакого Пашкова дома. Ваша хозяйка, — доктор повернулся к Анне Васильевне, — увидела, как вы упали у окна, и вызвала “скорую”. Повторяю, всё будет у вас хорошо. Переутомились, мой дорогой, перенервничали. Я выписал вам лекарство. Вам нужно отдохнуть, куда-нибудь уехать, в какую-нибудь тишь, где нет ваших знакомых, нет раздражающих впечатлений.

— Анна Васильевна, что со мной? — спросил Веронов.

— Как вы напугали меня, Аркадий Петрович! Стояли у окна, а потом хлоп — и упали. Вот так, навзничь, — она взмахнула руками, показывая, как падает Веронов. — Я вызвала “скорую”. Как вы напугали меня!

— А вы, мой дорогой, должно быть, филолог? — спросил доктор.

— Нет, не филолог, — слабым голосом ответил Веронов.

— Не переводчик?

— Нет. Почему вы спрашиваете?

— Когда вы были без чувств, вы говорили на каком-то непонятном языке. Я знаю английский, французский, испанский. Немного тюркские, немного фарси. Но это был какой-то другой язык. Вы изучали китайский?

— Нет.

— Суахили, урду? — допытывался доктор.

— Не изучал никогда.

— Быть может, это был какой-то древний язык, из числа умерших? Вы пережили стресс, и в вас проснулась реликтовая память. Я об этом читал.

— Не знаю, — слабо ответил Веронов. А сам подумал, что это говорил поселившийся в нём гость на древнем языке, возникшем при сотворении мира.

Доктор удалился. Анна Васильевна, тихо охая, притворила дверь в спальню, и Веронов остался один.

Он верил доктору и Анне Васильевне, утверждавшим, что с ним случился обморок, и он не покидал дома, и всё, что он пережил, было бредом, кошмарным сном, жуткой иллюзией. Но он помнил свой бред в подробностях, какие отсутствуют после пробуждения. Если он оставался дома и упол у окна, в которое смотрел, слушая бравурную музыку, то из какой реальности явились эти жуткие зрелища?

Он вскочил. Слыша за собой умоляющий крик Анны Васильевны: “Аркадий Петрович, куда вы?” — выбежал из дома в сумерки московского вечера, в холод и мокрый снег. Уселся в “Бентли”.

Садовое кольцо липко блестело, автомобили тёрлись друг о друга лакированными боками, как рыбы на нерестилище. Веронов оставил машину на стоянке и вошёл в бизнес-центр. Странно, но пропуск при входе был ему заказан. Он поднялся в бесшумном лифте на этаж, где располагалась фирма “Лемур”. Стал искать медную доску с изображением пучеглазого зверька с растопыренными лапами. Не находил. Мимо сновали клерки в белых рубашках и одинаковых чёрных костюмах.

— Простите, — Веронов остановил молодого человека с папкой. — Где находится фирма “Лемур”? Я немного заблудился.

— “Лемур”? — удивился молодой человек. — Здесь нет “Лемура”, — и скрылся за прозрачной дверью.

Веронов остановил молодую женщину на высоких каблуках в короткой юбке, похожую на типичную секретаршу:

— Будьте любезны, где здесь корпорация “Лемур”?

Та посмотрела на него лучистыми глазами:

— Здесь нет и не было никакого “Лемура”, — и прошла, чуть качая бедрами.

Веронов несколько раз прошёл по коридору, рассматривая медные таблички с названиями фирм. Там, где прежде висела табличка с глазастым зверем и надписью “Лемур”, теперь висела другая табличка с наименованием фирмы: “Видеонана”. Веронов подумал, что, быть может, фирма “Лемур” сменила название. За дверью находится белоснежный кабинет, и его хозяин Илья Фернандович Янгес, седовласый банкир с выпуклыми, меняющими цвет глазами любезно встретит его.

Он вошёл в приёмную, копию той, что помнил. Та же стойка из дуба, те же компьютеры, тот же тихий стрекот клавиш, та же милая секретарша, с золотистыми волосами, скреплёнными гребнем.

— Простите, могу я видеть Илью Фернандовича? — обратился к секретарше Веронов.

— Кого, простите?

— Илью Фернандовича Янгеса.

— Но у нас нет никакого Ильи Фернандовича, — ответила секретарша.

— Но как же! Я у вас недавно был. Меня принял Илья Фернандович Янгес. Хозяин фирмы “Лемур”!

— Нет, нет, вы ошиблись. У нас не водятся лемуры, — мило пошутила секретарша и вновь обратилась к компьютеру.

Веронов покинул бизнес-центр. Постоял на Садовой. Улица сверкала машинами. Полыхали белые водянистые фары. Краснели, как рубины, хвостовые огни. Все это было мнимо. Фирма “Лемур” была мнимой. Янгес был мнимым. Недавнее побоище в центре Москвы было мнимым. Вся его жизнь была мнимой. И он сам, Веронов Аркадий Петрович, был мнимым. Его не существовало в пространстве и времени, и сделанное им открытие о собственной мнимости тоже было мнимым.

Он стоял в пустоте, не умея выбраться из этой пустоты на берег, где мог бы хоть за что-нибудь уцепиться. За то, что не было мнимым. Он никогда не рождался и поэтому никогда не умрёт. Он не умрёт, потому что никогда не рождался. Пустота, в которой он находился, подтверждается той



пустотой, что находится в первой, а первая помещается в той, которой является он сам, и все вместе они помещаются в огромную мнимость.

Веронов понимал, что сходит с ума. Хотел опереться мыслью на что-нибудь явное, несомненное, спастись от безумия.

На липкий асфальт Садовой выскочил маленький мальчик в красном пальтишке и синем колпачке. Машины остановились, значит, водители увидели мальчика. И следом за ним сейчас выскочит огромная косматая собака, и эта собака и есть Илья Фернандович Янгес.

Веронова кольхнуло, он с трудом удержался. Добрёл до машины и, боясь столкновений, добрался до дома.

Ночью он спал рваным сном. Пробуждения были похожи на выталкивания из воды, чтобы он мог сделать несколько спасительных глотков, а потом его вновь утягивало в омут, и он мучился от нехватки воздуха.

Ему начинало казаться, что кто-то ходит по дому, стучит коготками, громко нохает, словно по комнатам бродит большой ёж, подбираясь к спальне.

Вдруг начинал звучать голос, сильный, монотонный, словно читавший какой-то текст. Чтение шло на неведомом языке, тчец зачитывал из Писания то место, где говорилось о сотворении мира.

Утром Веронов проснулся растерзанным, с едким раздражением против всего, что его окружало. Больше всего его раздражал он сам. Похудевшие руки с отвисшей на локтях кожей. Провалившиеся виски, как у старой лошади. Бегающие, с пугающим золотым отблеском глаза, похожие на ягоды чёрной смородины. Нелепое тело в странных вздутиях и вмятинах.

Запахнувшись в халат, он вышел к столу. Анна Васильевна в своём аккуратном фартучке, в голубой блузке с кружевным воротничком подала ему кофе.

— Аркадий Петрович, уж простите меня. Доктор верно сказал, что вам надо отдохнуть. Лица на вас нет.

— Забудьте про доктора, — раздражённо ответил Веронов.

— Нет, Аркадий Петрович, так вы себя загубите. Вам уже Бог знает что мерещится. Вам бы отдохнуть на природе. Погулять по полям, по рошам. А то на себя не похожи.

— Я знаю, на кого я похож, — Веронов чувствовал, как в нём поднимается бешенство. — Дайте спокойно попить кофе.

— Нет, я всё-таки вам скажу.

Веронову в глаза брызнула яркая, как ртуть, ярость. Он вскочил, схватил за плечо Анну Васильевну, круто развернул, с силой ткнул головой в стол. Рывками, хрипя, задирает ей сзади юбку, сдирает одежды. Она ахала, кричала, пыталась распрямиться. Он с силой бил её в затылок, утыкая лбом в стол. Свирило, впиваясь в её полные бёдра, видя трясущиеся ягодички, насиловал её. Оттолкнул, пошёл прочь. Слышал, как Анна Васильевна всхлипывает, тонко, по-собачьи подвывает.

Оделся, мимо забывшейся в угол, растерзанной Анны Васильевны выбежал из дома.

Он гнал по Новой Риге, слепо, безумно, не ведая куда. Мимо летела слепящая ртуть. Поля, леса, луговины, окрестные посёлки — всё было покрыто ртутью, едко слепило. Шоссе лилось, как река ртути. Встречные машины налетали, словно комья ртути, плющились, разбрызгивались, и брызги оседали в полях. Эти ртутные брызги летели из его глаз, и весь мир был залит слепящей ртутью.

Наконец, он понял, куда мчит. В Холщёвики, где на деревенском кладбище была похоронена мать. Долгие годы они с матерью жили на даче в Холщёвиках, а когда мать скончалась, он захотел похоронить её там, где вместе с ней прошло его детство, чтобы жить на даче и часто посещать дорогую могилу. Дачу он продал, и могила осталась без присмотра. Он навещал её реже, чем раз в год. Теперь он хотел увидеть могилу, упасть на неё, молить, чтобы мать из другого мира протянула ему свою чудесную руку, окружила немеркнущим светом, исцелила, спасла.

Кладбище было на бутре, под берёзами, среди сухих колючих трав. Теснились оградки, крашенные бронзовой краской. Толпились кресты. На нескольких свежих могилах ярко краснели бумажные венки и чёрные ленты.

Могила матери была засыпана палой листвой, заросла сухой полынью. Из-под травы и листьев едва виднелся розовый камень с простым дубовым крестом. На камне он прочитал родное имя: “Веронова Лариса Семёновна”, и задохнулся от горькой сладости. Он сгрёб руками листья, обнажив холмик. Там, в глубине, лежали лёгкие кости той, что его родила, кормила грудью, носила в сад с цветущим жасмином, читала чудесные сказки, растила, лелеяла, дарила красоту и любовь.

“Мама, что случилось со мной? Мама, спаси меня, милая!”

Сыпал дождь. На соседней могиле дико краснели красные матерчатые цветы. Веронов взывал к могиле. Но ответа не было. Мокрая земля безмолвствовала. Мать не откликнулась.

“Мама, это я, твой сын! Мне плохо! Выйди ко мне!”

Могила молчала. Была пустой. Мать ушла из могилы. Не хотела встречаться с сыном.

“Мамочка, прости меня! Я грешник, чудовищный грешник! Я погиб! Спаси!”

Могила безмолвствовала. Всё кладбище было заставлено железными клетками. Оно было зоопарком. Но мать убежала из своей клетки, сквозь берёзы, в серые поля. Она убегала от него под дождём, не желая с ним встречаться.

Веронов испытал злое удушье, ненависть к железным решёткам, жутким цветам, к матери, которая родила его на муку, на чудовищные злодеяния и теперь не хотела помочь, убегала в поля.

“Ты этого хотела? Ты меня таким родила? Ты этому рада?”

Веронов смеялся, смотрел на жуткий красный цветок и мочился на могилу матери.

Он мчался влепеную, словно хотел укрыться от кого-то, кто настигал его в серых предзимних лесах.

Машина запрыгала на разбитом асфальте, остановилась перед оранжевым самосвалом, преградившим дорогу. Едва не ударив самосвал, Веронов встал, вышел из машины. Впереди громоздились какие-то оранжевые конструкции, что-то урчало, валил дым. Отъезжали два самосвала с кузовами в липких потёках. Несколько рабочих с азиатскими лицами в оранжевых жилетах стояли с лопатами. Из конструкций валил дым. Что-то варилось, чавкало.

Веронов приблизился. Чувствовал, что кто-то его зовёт туда, в перекрестье железных ферм, к закопченным чашам, к шумящему огню.

Он миновал рабочих, которые на него оглянулись и стали рассматривать дорогу, подкатившую к ним машину. Веронов приблизился к урчащему сооружению, увидел лестницу, ведущую наверх. Стал медленно по ней подниматься. Пахло гудроном, варом. В котле что-то булькало. Он видел чёрное блестящее варево, в котором медленно взбухал пузырь, выпучивался и лопался, словно открывался глаз. Веронов смотрел на кипящий вар, и кто-то властный, неборимо желанный звал его в эту тёмную глубину.

Рабочие снизу кричали ему. Он не слышал. Перед ним раскрывалась тёмная бездна, и в ней, желанной, неборимой, сверкал, приближался чёрный бриллиант. Тот, что сулил ему великое освобождение от мук, вечное блаженство.

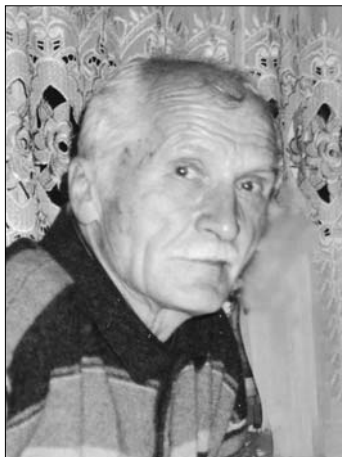
Веронов вздохнул и бросился в раскалённое варево, которое поглотило его.

Рабочие в оранжевых робах бежали, карабкались на лестницу. Смотрели в котел, где медленно наливался и лопался очередной блестящий пузырь.

А к вечеру помело, задуло, понесло в поля летучую пургу. Убелило травы, запорошило дороги, накрыло белым все деревни, просёлки, берёзы с вороньими гнёздами. Россия, молчаливая, бесконечная, легла в снега, укрывшие собой все горести, все ожидания, все русские мечтания. Стало бело и чисто. К ночи ударил мороз. Небо открылось, стало звёздно, тихо, бесконечно прекрасно.

*В саду умолкли певчие дрозды.  
Соцветья звёзд над крышами повисли.  
Деревня спит. Две синие звезды  
Несёт зима на белом коромысле...*

ЮРИЙ КЛЮЧНИКОВ



## ОГНЕННЫЕ КРЫЛЬЯ

ЧТО ОН УСПЕЛ

*Памяти Валентина Распутина*

Что он успел в своей эпохе зыбкой?  
На правде не споткнуться никогда,  
Печаль под редкой сохранить улыбкой,  
Не перейти черту меж “нет” и “да”.  
Да — Сергию, России, нет — орде,  
А посреди — упрямая Непрядва.  
Русь никогда не победит неправда  
В любой победе и в любой беде.  
Успел соблазны жизни встретить стоя,  
Отринуть перестроечную бредь,  
За подвиг получить Звезду Героя,  
Но на пиджак ни разу не надеть.  
И наконец, когда пришла пора  
Остановить движение мотора,  
Успел сказать Москве: “Прощай, Матёра!”  
Шепнуть Иркутску: “Здравствуй, Ангара”.

---

*КЛЮЧНИКОВ Юрий Михайлович родился в 1930 году в г. Лебедине Сумской области. Окончил филологический факультет Томского университета. Работал учителем русского языка и литературы, завучем и директором средней школы. В Новосибирске работал радиокорреспондентом, главным редактором радиокomiteта. С середины 80-х годов начал печататься в местных и столичных журналах и изданиях. Живет в Новосибирске.*

## К ВЫХОДУ СБОРНИКА ФРАНЦУЗСКИХ ПЕРЕВОДОВ “ОТКУДА ТЫ ПРИХОДИШЬ, КРАСОТА?”

Зачем тебе уснувшая Европа?  
Какая тайна в ней заключена?  
Она сегодня разве, кроме гроба,  
На что-нибудь ещё обречена?  
Её удел — теченье серых буден,  
Стандарты душ в размер газонных трав.  
Почти исчезли исполины-люди,  
Сменились исполнителями прав.  
Лишь рой неосязаемых видений  
В камнях, в пространстве, в чьей-нибудь душе...  
Но жизнь-то в них — не у ходячих теней,  
Безжизненных с рождения уже.  
Жива не утоляемая жажда  
По Жанне д'Арк, по Сент-Экзюпери,  
Не умирает вера, что однажды  
Зажжётся свет немеркнувшей зари.  
Пусть от героев пыли не осталось —  
Одна пыльца искусственных куртин,  
Но давит непомерная усталость  
От нынешних погибельных картин.  
В античных мифах, в амфорах дремотных,  
В кувшинах из суфийских вещей глин  
Хранится воскрешение из мёртвых,  
Как предсказал российский исполин\*.  
Он говорил о вечной перекличке  
Времён и стран, о торжестве Ума.  
А также, что от вспышки русской спички  
Закончится египетская тьма.

### СОВЕСТЬ

Её босую в неприметном платье  
нельзя приобрести, ей нет цены,  
Но можно, молчаливую, продать её  
крикливым зазывалам сатаны.

На этом свете будет всё, что надо  
Душе, предавшей Господа, но Там  
Безжалостные менеджеры ада  
Сожгут тебя, как бесполезный хлам.

### НИКА

Уж много лет, как от России мимо  
Её дорога в небо пролегла.  
И час настал — над берегами Крыма  
Она свои расправила крыла.  
Без суеты, без выстрелов, без крови  
Произнесла священные слова...  
...Ни в чём у нас нет недобора, кроме  
Твоей заботы, властная Москва.

---

\* Речь идёт о русском философе Николае Фёдорове и его учении о “воскрешении мёртвых”.

Твоих очей решительного взгляда,  
Твоей повадки мудрой и крутой.  
Ты в прошлом веке нахлебалась ада,  
Стань в нынешнем свободной и святой.  
Не над врагами торжествует наша  
Победа,

мы не рвёмся в новый бой.  
В Москве сегодня умирает “Раша”,  
Рождается победа над собой,  
Рождается свобода от бессилья.  
От денег, от торгашества и лжи.  
Расправь, о Ника, огненные крылья  
Над хмурыми потёмками души!

### ДЕРЖИСЬ, ДОНБАСС!

Ты не один в остервенелом мире,  
где, кроме денег, больше бога нет.  
Издалека, из глубины Сибири  
прими, Донбасс мой маленький сонет.  
Пускай он ляжет невесомой гирей  
на те Весы, точней которых нет...  
И груз моих советских долгих лет,  
им восемьдесят нынче и четыре...

Держись, Донбасс, отчаянно и дружно.  
Мы не одни, стоим не безоружно,  
в твоих руках — священный русский крест,

А он несокрушимей взрывов чадных,  
сильней ракет и всех станков печатных.  
Нас Бог не выдаст, доллар нас не съест!

ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ



## НА БЕРЕГУ ЛЕТЫ

РАССКАЗ

Один день Николая Рубцова

*Леониду Вересову*

...Из комнаты потихоньку прошёл в ванную, поскрёб бритвой щёки и подбородок, умылся. Мокрой пластмассовой расчёской прошёлся по волосам. “Скоро уже и не нужна будет расчёска-то...”

Слышно, как из второй комнаты кто-то прошёл в кухню. Да понятно, кто — жена этого “партийного работника”...

“Он первый начал-то вчера: “Вы снова пьяны... У нас дочь...” Да, я выпил... Имею право... Никому не мешал. Нужна мне ваша дочь... Ну, так и ответил этому борову, да и спать ушёл... Вроде бы всё, ничего больше не было...”

Громко щёлкнул задвижкой и вышел из ванной, мимо кухни прошёл, стараясь не очень торопиться, к себе — в комнатку-пенал.

Ничего вслед не сказали...

Попил холодного чая с куском батона... И курить не стал.

“Правда, может, людям неприятно, что дымом пахнет. Некурящие”.

Стрелка на брюках не вполне идеальна, да ведь и не на праздник или приём к начальству, пиджачок — в порядке. Рубашка... Ну, более-менее. Дырку на носке в ботинке не видно. Прошёлся щёткой по обуви. В настенное

---

*ЕРМАКОВ Дмитрий Анатольевич родился в 1969 году в Вологде. После школы служил в армии, занимался спортом. Рассказы, повести публиковались в журналах “Наш современник”, “Алтай”, “Подъём”, “Москва”, “Воин России” и других. Лауреат конкурса им. В. Шукшина “Светлые души”. Член Союза писателей России. Живёт в Вологде.*

маленькое зеркало глянулся, насколько мог, увидел себя на фоне розовых (противный же цвет!) обоев, раскладушки, закинутой одеялом... Ещё у него есть стул. И, между прочим, проигрыватель (купил с гонорара), и пластинки, и гармошка есть, а гитару у Клавдия Захарова оставил, всё равно здесь не поиграть...

Ну что? Что делать-то?.. “Пойду на ветер, на откос... пошевелю остатками волос”. Сам себе усмехнулся. По карману пиджака хлопнул, какая-то мелочь отозвалась...

Решил сегодня наконец-то съездить в Прилуки.

...Как сказка, вспоминались дни жизни в Прилуках. Да ведь детство — сказка и есть. Старая и неповторимая. Вся семья была ещё вместе. И жили в каком-то домике вблизи монастыря, стены и башни которого напоминали картинку из книжки “Сказка о царе Салтане”. И мягкий зелёный луг под стенами, река... Вот эта самая река. Можно просто идти-идти по берегу — и придёшь туда... В детство? Нет, в детство уж не придёшь. “Так что едем на автобусе. Какой у нас туда ходит-то?..”

Вспомнил, что ходит туда третий автобус. Самое простое — на катере через реку, а там и остановка рядом с “поплачком” — ресторанчиком, в котором хорошо бывает посидеть, когда есть деньжата (там вчера и поднабрался). Но когда переплываешь реку вечером, уже ожидающая встречи с друзьями, разговоры под красное вино — это одно. А сейчас... Не хочется сейчас на катере. Значит, или в центр идти — к спортзалу “Труд”, или же на улицу Чернышевского — к кинотеатру...

Кроме памяти детства, звал в Прилуки поэт Батюшков, похороненный в стенах Спасо-Прилуцкого монастыря. Загадочный поэт, с которым он уже пересекался не раз. В библиотеке института читал его биографию, узнал, что Константин Николаевич бывал и жил в усадьбе Олениных, в Приютине под Ленинградом, вернее, конечно, под Петербургом... Но ведь и он, Николай Рубцов, там жил! Наверняка в том самом доме, где бывал Батюшков. Дом большой, усадебный. Там жил брат Алик с семьёй. Там и для Николая место нашлось, может, в той самой комнате, в которой отдыхал Константин Николаевич...

“Может, мы с ним под одними деревьями стихи писали! Там вон какой старый парк...” — думал Николай Рубцов, шагая по берегу реки Вологды, густо заросшему внизу у воды ивовыми кустами. А наверху — тополя... Осень уже ощутима (ведь сегодня последний день лета) — тепло, солнечно, а уж листва с тополей опадает, шуршат по земле шевелимые ветром бурые листья... Ивы тоже начинают желтеть...

Впереди церковь, обнесённая забором, какой-то склад там...

Он любит постоять здесь, посмотреть на тот, более низкий берег. Штабеля брёвен, плоты на воде, речной вокзал и рядом — “поплавок”, деревянные двухэтажные дома, и дальше город со старыми и новыми домами, автобусами, людьми — всё, как на ладони.

Достал из бокового кармана пиджака пачку “Севера”, коробок. Прикурил со второй спички — ветер порывами налетает.

“Живу вблизи пустого храма...” Опять закрутилась строчка. И тут пришло её продолжение: “...на крутизне береговой... // и городская панорама // открыта вся передо мной...”

— Здравствуйте! — послышалось за спиной. — Вы поэт Рубцов?

Обернулся, сдержал раздражение в себе:

— Да. Здравствуйте.

— Петров, Василий, — протягивая руку, говорил невысокий светловолосый крепныш лет двадцати пяти (ещё и голубоглазый, и с чубом на глаза).

Пожали руки друг другу.

— Не помешал? — спросил Петров.

— Да нет...

— Прочитал я вашу “Звезду полей”, ну, и другое тоже в газетах видел...

— Ну...

— Ну... Вы как будто из прошлого века, — улыбаясь, сказал Василий Петров.

Рубцов с прищуром и усмешкой смотрел на него. Откинул окурок. И тут же достал пачку снова, протянул Петрову.

— Я не курю.

— Ты, наверное, и зарядку делаешь? — спросил Рубцов, достал папиросу, чиркнул спичку и закурил.

— Делаю и зарядку, — поняв, видно, усмешку, уже серьёзно ответил Петров и дальше без улыбки говорил. — Настроение в ваших стихах, в основном, унылое. Индивидуализм... Язык — как из другого века...

— Про другой век ты уже говорил.

— Да... Я вот работаю на “Северном коммунаре”. Скучать некогда. И стихи соответствующие...

— А я думал — ты под Есенина...

— Есенина я преодолел. Вот послушайте, что теперь пишу, — Петров расставил ноги пошире, напрягся: — И план мы даём, // и сверх плана даём! // Но каким трудом! // Чуть — и вспыхнем от накала!..

— Ты смотри не вспыхни... Василий тебя звать-то?..

— Да... Вот так пишу, в общем, потому что за мной коллектив...

— А передо мной... Церковь вот... Река... Небо... Ты знаешь, что это за церковь?

— Нет.

— А я узнал — Андрея Первозванного... Он, между прочим, рыбаком был, Андрей-то... И его первого Христос позвал, и он пошёл...

Василий Петров смотрел на Рубцова растерянно. Опять выдавил из себя:

— Я и говорю — из другого века...

— Из вечности, юноша... Я вот тебе тоже прочитаю:

*Есть наслаждение и в дикости лесов,  
Есть радость... на каком-то... берегу,  
И есть гармония в сём говоре валов,  
Дробящихся в пустынном беге.  
Я ближнего люблю, но ты, природа-мать,  
Для сердца ты всего дороже!..*

— Ну, и так далее, юноша.

— Это вы написали?

— Это поэт Батюшков написал. И я хочу сегодня побыть с ним. До свидания. — Отвернулся и пошёл тропкой мимо храма...

Василий Петров смотрел ему вслед, кажется, хотел что-то ещё сказать вдогонку... Но передумал, тоже развернулся и энергично пошагал в сторону завода “Северный коммунар”...

Рубцов вслед за тропкой сбежал под берег. В прогале между кустами, у самой воды, стоял с удочкой в руках мальчишка — в кепке, в свитерке, коротковатых штанах, внимательно смотрел на поплавок, рядом на камне стояла тарка, в ней, наверное, уже был какой-то улов — кошачья радость. Не стал отвлекать мальчишку, прошёл мимо. Только запомнил его или вспомнил себя такого же, на берегу другой реки... Тропка снова поднялась на берег, нырнула под пролёт моста и выпрыгнула на широкую набережную, мощённую булыжником, — асфальт сюда ещё не добрался.

И не было в нём, Николае Рубцове, уже никакого раздражения от ненужного разговора, а была уже почему-то радость от встречи, которая ещё не случилась, но будет, будет...

У другого берега лодочная станция: длинные мостки, к которым прицеплены лодки “казанки” и ещё какие-то, катера даже... Мужик на правом плече несёт мотор, а в левой — канистра... Рядом — мальчишка... А выше на берегу — шатёр цирка.

Цирк... Два раза он всего и бывал-то в цирке. Первый, когда их траулер разгружался в Мурманске... Трое суток стояли там. С Вовкой Девятым ходили на представление. Вовка потом, когда возвращались по ночному городу в порт, всё гимнасток нахваливал и такое говорил про них, что у Коли (он сам чувствовал) в темноте уши горели, но он лишь похохатывал



в ответ и стеснялся говорить о том, что ему понравились клоун и дрессированный медведь... Потом ещё раз был в цирке уже после службы, в Ленинграде. Какую-то Олю или Галю водил. С Валей Горшковым пригласили двух подружек с завода...

Он удивлялся этому свойству памяти (“Только у меня или у всех так?” — думал он) — уноситься мгновенно в такую даль, а и всего-то увидел на противоположном берегу у моста шатёр цирка. “Надо будет Гету с Ленкой сводить обязательно! Вроде собирались приехать...”

Проносились по реке с моторным гулом лодки, оставляя за собой треугольный волнистый след. Впереди, за мостами, на том берегу, возносил в небо купола Софийский собор, а рядом, ещё выше — золотое сердце Вологды, купол соборной колокольни...

Прошёл мимо двухэтажных деревянных домов, мимо церкви, в которой сейчас валеночная фабрика, мимо пешеходного моста, мимо старых кирпичных домишек и ещё одной церкви, обнесённой лесами реставраторов, вышел к большому Октябрьскому мосту. На другой стороне улицы Чернышевского — старинное каменное здание в три этажа — военный госпиталь. Не стал переходить улицу, повернул и вскоре был на остановке автобуса, что напротив кинотеатра “Родина”. На афише — “Бриллиантовая рука”. Говорят, что смешной фильм...

Подъехал автобус третьего маршрута, встал, накренившись набок, со скрипом раскрылись двери.

Он вошёл в почти пустой автобус и замешкался с оплатой. Женщина-кондуктор взглянула так, будто сказала: “Ну!..” Пожилая, с тяжёлой кожаной сумкой на шее... “Почему она, вот такая уже немолодая, работает кондуктором? Почему с утра уже уставшая?..” — невольно возникли вопросы. Вспомнилась сразу и та архангельская кондукторша, что орала на него, требуя “платить или слазить”... А он не знал, как добраться до “толкучки”, ему сказали до конечной ехать, он сел и поехал...

*Назвала хулиганом,  
Назвала меня фруктом...  
Ах, как это погано,  
Ах, кондуктор, кондуктор...*

Хорошо — заплатила тогда за него какая-то женщина, похожая на мать...

— Есть у меня, есть... — достал из кармана пиджака пятак, подал.

“Что ж у меня, на лбу, что ли, написано: “Денег нет”?..” Прошёл в почти пустой салон, сел у окна...

Да, тогда, в Архангельске, без копейки был, и сейчас не густо в кармане. Но есть... Гонорар-то неплохой был за “Звезду полей”... Да что “неплохой” — большие деньги... Но вот как-то уже и... рассосались...

Проезжали мимо тюрьмы: забор с колючей проволокой поверху, потом ещё кирпичная стена, а за ней уж и здание с зарешёнными окнами... “И там люди живут... Везде люди... Как там в частушке-то?..”

*Из тюремного окошка  
Вижу город Вологду.  
Принеси, сударка, хлеба,  
Умираю с голоду.*

Почему в Николе пели такую частушку? Значит, бывал кто-то в этой тюрьме...”

Впрочем, за окном давно уже была не тюрьма — двухэтажные оштукатуренные дома, какие-то сараи, совсем уже избы... Река за домами и кустами проблёскивает. На берег выехали — за рекой большие деревья парка Мира, впереди, по ходу движения, — железнодорожный суставчатый мост, а за ним — башни и стены монастыря. Прилуки...

Автобус встал перед пламбаумом... Долго грохотал товарный поезд с северной стороны. Потом, после минуты тишины, с другой стороны — от Вологды в сторону Архангельска пролетел пассажирский поезд... “Прекрасно небо голубое, // прекрасен поезд голубой...” Да, большой кусок жизни в поездах прошёл. Но теперь, кажется, всё, всё — осел в Вологде всерьёз и надолго. А небо, действительно, голубое... Но даже и в небе, чистом и голубом, есть что-то осеннее, неотвратимое.

Автобус перевалял железнодорожные пути, проехал под монастырской стеной и тяжело, будто устал, остановился на конечной. Скрипнули двери. Вышла женщина, вышел старик... Вышел и Рубцов. С последней ступеньки он обернулся и сказал: “Спасибо”.

Кондукторша, будто очнувшись от сна или каких-то своих мыслей, вскинулась:

— Да пожалуйста... — и вдруг улыбнулась.

— Счастливым билет-то, — пояснил Рубцов, тоже улыбнулся и не выкинул бумажку, а сунул в карман брюк.

Сразу закурил, что-то вспоминал и не мог вспомнить. Рядом с ним курил шофёр — водитель автобуса, седоголовый, плотный мужчина.

— Здравствуйте, — обратился к нему Рубцов. — Вы не знаете, автобусы давно сюда ходят? В сороковом году ходили?

Шофёр кивнул, задумался...

— В сороковом?.. Да. Самый первый маршрут в городе и был от вокзала — сюда, через весь город. В тридцатых где-то появился... Даже точно скажу — в тридцать восьмом. Тридцать лет назад... Вот какие мы старые! — покачал головой, улыбаясь. — Я ездил... Такие были фанерные сарайчики на колёсах.

— Ну, значит, и я ездил! — сказал Рубцов.

— Ну, счастливо, тогда, — сказал шофёр и полез в кабину автобуса.

— И вам счастливо!

Скрипнули снова двери, человека два или три сели в автобус, и он, качнувшись, чихнув мотором, отъехал от остановки.

Николай осмотрелся — вон вдоль дороги ряд изб, и старый дом с каменным низом и деревянным вторым этажом, — наверное, бывший купеческий... “В каком же доме мы-то жили? Не в двухэтажном, точно. В избе какой-то...” Получалось, что почти в любом доме на этой улице могли жить, и на соседней улице тоже... “Нет, ближе к реке, но не на самом берегу... Монастырь было видно... А с другой стороны церковь была... Точно! Не в монастыре, а рядом — церковь каменная”. Он осмотрелся и сразу же увидел купол и шпиль без креста, по улице правее монастыря. Туда и пошёл. От старых, накрепко закрытых сейчас монастырских ворот дорога как раз к церкви и выводит. И домишки вдоль дороги всё такие же — избы деревенские, а вот опять высокий дом, красивый — весь в резьбе... Нет, они в простеньком доме жили... У калитки одного из домов увидел старика.

— Здравствуйте...

— Здорово... — старик со впалыми, в седой щетине щеками, в кепке-шестиклинке, туго натянутой на голову, посмотрел с любопытством на него. — Чего-то не помню...

— А я давно здесь и не был... Почти тридцать лет.

— Тутешний родом-то?

— Нет, мы приезжие, недолго тут жили, не помню только, где... — Рубцов достал папиросную пачку, встряхнул и досадливо поморщился — кончились папиросы.

— Так на-ка, парень, я тебя угощу, — старик достал тоже “Север”, сам взял папиросу и протянул пачку Николаю. А тот, взяв папиросу, чиркнул спичкой и держал огонёк в ладонях, пока старик прикуривал, потом и сам прикурил, огарок спички сунул под днище коробка...

— Вот не помню, в каком доме жили, — повторил Рубцов, — а где-то здесь...

— Не знаю уж, парень...

— А как церковь называется? — зачем-то спросил Рубцов.

— Никольский храм. Святого Николая Чудотворца на Валухе. Ручеёк там есть — раньше речка была — Валуха. Там рядом и старая дорога на Архангельск шла, и мост на Вологду там был, сваи ещё остались от моста...

— Вот там дорога на Архангельск была? — переспросил Николай.

— Да. А в ту сторону — на Кириллов, через Кубенское, через Новленское...

— Новленское? Я там бывал, — вспомнил Рубцов недавнюю поездку к бабушке Серёге Чухина в какую-то деревеньку близ большого села Новленского...

— Да. Там, в Новленском-то, говорят, старообрядцы жили...

Николай понял, что старику хочется поговорить, и его память тоже далеко заносит:

— А в монастыре что? — перебил.

— Военные... А ведь тюрьма была тут, — понизив голос, стал говорить старик. — До войны всё тут пересылка была. В тридцатом-то году, слышь, что тут творилось — кулаченных гнали через нас на север. Ой, сколько же их тут было, всё больше украинцы... Умирали... Слышь, парень, нас тут местных поряжали возить их... Ну, трупы-то... Я возил... В Чашникове — это недалеко, вверх по реке, в лесочке, говорят, зарывали, я-то возил только... Зимой, на санях... А там уж другие... Там сейчас всё поля — совхоз “Красная Звезда”... Ох, много их тут... И за что страдали люди...

Николай сразу вспомнил об украинском колхозе неподалёку от Николы в Тотемском районе — высланные украинцы в лесу выстроили бараки, вырубали лес, распахали пустоши. И в голодные военные годы уже в богатый украинский колхоз ходили местные бабы выменивать одежду на хлеб. И с детства помнил те уважительные слова: “Умеют работать украинцы”. В пятидесятые украинцы вернулись на родину. Видимо, здесь, в монастыре была одна из остановок на их крестном пути... Колхоз-то в лесу строили уже те, кто выжил...

— Тюрьма, значит, была?

— Да, пересылка.

Вспомнился опять странный эпизод с убежавшим человеком, которого задержал отец. Он уже записал тот случай в рассказике “Дикий лук”...

— Так у тебя как фамилия-то? — спохватился старик.

— Рубцов.

— Нет, не помню таких...

— Да мы недолго и жили тут...

— Не помню, — будто бы виновато ответил старик. — Ты возьми ещё курева-то, — протянул пачку.

— Нет, отец, спасибо, я куплю. Где магазин-то у вас?

— Так в доме у остановки, ты мимо проходил...

— А-а, ну, спасибо. До свидания, дедушка.

— До свидания, — кивнул старик и добавил: — Внушек...

Николай дошёл сначала до церкви — полуразрушенной, обросшей кустами, крапивой... Вышел на берег и здесь увидел вымощенную камнем старую дорогу от реки на север... Ту самую — старую Архангельскую... Сколько же старых дорог на Руси! В Николу он тоже по старой дороге ходит от парома у села Красного. И Серёга Чухин говорил, когда ехали в автобусе в Новленское, что есть старая Кирилловская дорога вдоль озера...

Старые дороги, вечные дороги, вдоль них-то и стоят до сих пор деревушки и церкви — памятники былой веры и мученичества, — по ним уходили мужики на войну... “А вот по этой, может, сам Ломоносов в Москву шёл... А по какой же ещё-то!” — решил вдруг для себя Рубцов и даже с уважением посмотрел на булыжники мостовой.

По берегу вернулся к монастырю... Где-то вот здесь, на этом лужке между монастырской стеной и рекой, и отдыхали тогда. Они с Аликом искали дикий лук, отец купался, мать с Борей на травке сидели...

По тропке под могучими древними стенами шёл, заглянул в бойницу и увидел, что толщина стены метра два... Покачал головой.

А посреди реки качалась лодка, мужик в ней сидел, поднимался и опускался “паук”, и каждый раз несколько рыбин бултыхались в сетке. Ну, это не рыболовецкий трал — точно уж... А на том берегу, в лугу, у кустов дымит костерок...

Он обошёл вокруг монастыря и подошёл ко вторым воротам, выходящим на дорогу из города. Машина выехала — военный грузовик. И ворота закрылись. В воротах калитка сделана...

“Не пустят ведь. Военная часть...” — подумал Николай.

За калиткой была будка, в которой сидела, опершись на стол, бабуся в очках и, наверное, что-то вязала — сразу опустила руки под стол...

— Здравствуйте, можно мне пройти?

— Не положено, — строго ответила бабулька.

— Я писатель, — достал корочки писательского билета.

Строгая бабушка в корочки не посмотрела, а крикнула куда-то в сторону:

— Товарищ лейтенант, тут вот лезет какой-то...

К калитке подошёл лейтенант в портупее, фуражке, сияющих сапогах, с кобурой на боку — серьёзный... Мальчишка почти.

— Что вы хотите?

— Здравствуйте, товарищ лейтенант. Я писатель, я в газете работаю... — снова показал удостоверение. — Здесь, в монастыре, могила поэта Батюшкова, мне нужно посмотреть...

— А какая газета?

— “Вологодский комсомолец”...

— А фамилия ваша? — заинтересовался лейтенант.

И Рубцов ещё раз достал из кармана и раскрыл удостоверение:

— Рубцов. Николай Рубцов...

— Вы — Николай Рубцов?

— Да...

— Здравствуйте... Я читал. У меня жена здесь в библиотеке работает, недавно ваша книжка поступила...

— Эта? — спросил Николай и достал из внутреннего кармана “Звезду полей”.

— Да. Знаете, мне очень понравилось, а жена вообще... Знаете, я проведу... Пойдёмте.

— А не попадёт тебе, лейтенант? — тихо спросил Рубцов.

— Да тут никаких секретов нет... — махнул рукой лейтенант и улыбнулся.

— Но охрана у вас серьёзная, — оглянулся Рубцов на бабульку, которая уже, не обращая на них внимания, вязала, кажется, носок.

Лейтенант опять улыбнулся.

Они вошли во двор монастыря, он тоже был вымощен камнем. Посреди — огромный, обшарпанный, но величественный собор, от него переход в другое большое квадратное здание...

— Мне жена рассказывала, вот это — трапезная палата, в ней поляки (они монастырь захватили) сожгли монахов, пятьдесят человек... Знаете... А могилы вот там... Там и Батюшков есть, точно...

Из церковного подвала солдаты вытаскивали и забрасывали в кузов какие-то мешки...

Они прошли на площадку за храмом, где в беспорядке стояли надгробные памятники — мраморные, гранитные тумбы с отбитыми крестами, с неразличимыми почти надписями...

— Конечно, не на могилах стоят, так уж поставили, чтобы не валялись, — пояснил лейтенант. Тихо добавил: — Знаете, скоро мы отсюда уедем. Музей, говорят, будет, так всё на места поставят...

— Не знаю, — Рубцова стал раздражать это постоянное “знаете”... — А где Батюшков-то?

— Вон... Знаете... — лейтенант споткнулся на слове, поправил портупею, идеально сидящую на нём.

— Ну, пойдём, лейтенант, пойдём, — мягче сказал Рубцов и подошёл к ограде, в которой стояло надгробие белого мрамора. — А его могила?..

— Точно не знаю, но ограда и памятник были здесь, на этом месте уже давно...

Сверху на памятнике был небольшой металлический шар и крест. На бронзовом медальоне посреди тумбы знакомый по рисункам Пушкина и автопортретам профиль, под ним: “Константинъ Николаевичъ Батюшковъ родился в Вологде...”

— Тоже офицер, три войны прошёл, — кивнув на памятник сказал Рубцов. И спросил: — Знаешь что-нибудь из его стихов?

— Специально брал в библиотеке сборник... Такое у него есть длинное, где всех высмеивал, чего-то — на берегу...

— “Видения на берегу Леты”, — вспомнил Николай.

— Да-да... — закивал лейтенант. — Ну, вот эти у него ещё стихи, самые известные “О, память сердца...”

— “...ты сильней // рассудка памяти печальной”, — закончил Рубцов. — А ты знаешь, Пушкин, разбирая его стихи, эти две строчки отчеркнул и подписал: “Плохо!” — а дальше про всё стихотворение, которое никто и не помнит, написал, что, мол, великолепно или как-то так... Странно, да?..

Лейтенант пожал плечами:

— Ну, знаете, мог и Пушкин ошибиться...

— Нет, — резко оборвал Рубцов. — Пушкин не мог ошибиться. Просто мы ещё не всё понимаем... А знаешь... — остановился, усмехнулся тому, что перенял невольно словцо у лейтенанта. — Хорошо было тут лежать, когда монахи жили, в колокола звонили, пели в храме... — Он обернулся к храму... — Представляешь?.. Колокола, небо, молитва... Мы все живём вблизи пустого храма... Потому и не знаем, где могилы наших поэтов... и матерей... Вблизи пустого храма... Ну, спасибо, пошли.

Вернулись к воротам.

— Как тебя зовут-то, лейтенант?

— Игорь...

— Игорь — это, между прочим, Георгий. Хорошее имя для офицера.

— Почему?

— Ну — Георгий Победоносец...

— А... — лейтенант, видимо, не совсем понял Рубцова. Он о своём думал: — Николай...

— Михайлович, но можно и без этого, — отозвался Рубцов.

— Николай Михайлович, а вы бы не могли в библиотеку зайти? Это здесь, в Прилуках, недалеко, жена бы так обрадовалась...

— Спасибо, Игорь... Знаешь... Не сегодня. Я ещё приду сюда, вернусь. А пока вот что... — он достал из внутреннего кармана книжку. Раскрыл. — Ручка есть у вас?

— Есть... Ольга Павловна, — обратился лейтенант к вахтёрше, — у вас ручка есть?

— А как же, — бабулька отложила вязание, выдвинула ящик стола, подала лейтенанту чернильную ручку, тот подал Рубцову.

— Как жену зовут? — спросил Рубцов.

— Вера.

“Игорю (Георгию) и Вере — на долгую счастливую жизнь дарю эту книжку в Прилуцком монастыре, где лежит Батюшков... А мы ещё проживём! Счастья вам, ребята! Николай Рубцов. — Задумался и не поставил дату, а написал: — На берегу Леты”.

Вернул лейтенанту ручку, подал книжку. Пожал руку.

— Спасибо, товарищ лейтенант. Счастливо и вам, Ольга Павловна, — и добавил, когда понял, что ответа не будет: — Хорошей службы...

— Спасибо, — откликнулась вдруг и Ольга Павловна.

Вышел за стены монастыря. Пошёл к остановке, к магазину — надо было купить папирос. Да пора уже было и пообедать...

В магазине купил пачку папирос, четвертинку чёрного, два сырца “Дружба”. Подумал и взял бутылку портвейна.

Снова на берег пошёл, под монастырскую стену, примял траву, сел... И не стал открывать бутылку. И есть не стал. Курил... Думал... Или вспоминал что-то...

Мужик в лодке опускал и поднимал “паук” у самого берега, метрах в трёх всего. Николай будто решил что-то для себя, резко поднялся с травы, откинул пустой мундштук выкуренной папиросы к кромке воды, спустился (берег тут был мокрый, вязкий, и он почувствовал, что в ботинок попала вода).

— Здравствуйтесь, — громко сказал. Он понимал, что это глупо — здороваться с берега, но и как по-другому заговорить — не знал. — Здравствуйтесь, — ещё раз, громче, сказал, видя, что его не слышат.

Мужик, вытащил и бросил на дно лодки трёх лещей, обернулся, кивнул:

— Здравствуйтесь.

— Вы не могли бы меня перевезти? Очень надо...

— Конечно, перевезу, — ответил мужчина, тут же взялся за вёсла и в два гребка подогнал дюралевую лодку с заданным мотором к берегу. Лодка, приминая водяную траву, мягко уткнулась носом в берег. — Залезай.

Николай, ухватившись рукой на носовой крюк с цепью, высоко задрал левую ногу, при этом почувствовал, как затекает вода и в правый ботинок... И завис на мгновение в этом неудобном дурацком положении. Да ещё бутылка, сунутая в карман пиджака, оттягивала полу. Рыбак тут же поднялся, ухватил за левую руку и помог влезть в лодку.

— Садись...

— Вот это и называется — одной ногой на берегу, другой на корабле. — И протянул на этот раз правую руку. — Николай. Рубцов.

— Толя, — просто ответил мужик. (Рубцов понял, что его фамилия Толя ничего не говорит). — Черпанул? — кивнул Толя на ботинки. — У нас там костерок, высушим...

Толя в чёрно-белой, изрядно захватанной кепке, в брезентовой курточке, и клетчатой застиранной рубахе под ней, в брезентовых же, затёртых на бёдрах штанах, в литых резиновых сапогах. Лицо обветренное, чисто выбритое, с резкими морщинами от крыльев носа к губам.

Рыбины на дне лодки лежали, беззвучно раскрывая рты, или уже уснувшие, и вдруг выгибались, подпрыгивали, стучали хвостами. Одну Толя придавил сапогом ко дну лодки...

— А я работал когда-то на траулере, в море рыбу ловил... Как из траля на палубу вывалят — кипит прямо...

— Ну, у нас не море, — спокойно ответил рыбак, короткими сильными гребками направляя лодку через реку. “Паук”, как большой сетчатый мешок, болтается, поднятый лебёдкой над кормой лодки. — Нам и этого хватит, — спокойно говорит Толя. — Эту домой возьму, а ушица уже сварена. Сейчас и похлебаем...

Лодка снова ткнулась в берег, Толя первым вышагнул, за цепь подтянул лодку повыше, и Николай на этот раз выпрыгнул сразу на сухое.

Толя пошёл выше на берег, на травянистый открытый дуг.

— А рыба? — окликнул его Николай.

— Пусть там остаётся, ничего с ней не будет, — махнул рукой Толя.

Николай поспешил за ним по примятой высокой траве... Выскочила вдруг узкомордая чёрно-белая собака с загнутым в баранку хвостом, с привизгом ткнулась в ноги рыбаку и тут же заурчала на Николая.

— Фу, Пыж, нельзя, свои, — резко сказал Толя, и пёс тут же развернулся и скрылся в траве. — Иди, не бойся, — сказал рыбак Николаю.

Тянул вкусный дымком... У костерка сидели двое парней лет по четырнадцать и жарили, наколол на ветки, куски хлеба...

— Привет, ребята! — первым Рубцов сказал. — О, хлебушек на костере — это вещь!

— Здравьсте, — буркнули парни в ответ.

— Ну чего, вы похлебали? — спросил Толя.

— Да, — аппетитно жуя горячий пахучий хлеб, ответил лопоухий, похожий на Толю мальчишка.

— Тёзка твой, — сказал Толя Николаю, кивнув на мальчишку.

Парнишка дожевал хлеб, схватил лежавший тут же самодельный лук с тетивой из капроновой нити. Вставил стрелу, свистнул. Пыж тут же вылетел из травы, будто ждал, когда позовут. Стрела резко взлетела, и, дав дугу,

упала куда-то за луг, в кусты. Пыж, не дожидаясь команды, бросился в том направлении, только видно было, как шевелится, обозначая его след, трава. И вскоре пёс вернулся, неся стрелу, положил к ногам хозяина.

— Дай, Колька, мне! — второй мальчишка, с хитроватыми шустрыми глазами, выхватил лук. Колька хотел уж отбирать у него оружие, но тут Рубцов голос подал:

— А можно мне попробовать?

Мальчишка с видимым недовольством отдал ему лук, а Толя подал стрелу:

— На, попробуй...

— Только сильно не натягивайте, — Колька сказал.

Рубцов выстрелил, и зачарованно смотрел вслед стреле... А пёс уже нёс стрелу обратно...

— Теперь я! — второй парень схватил стрелу. Рубцов отдал ему лук:

— Ну, у вас собака натренирована, как в цирке... — покачал головой.

— Рабочая лайка! — с гордостью Толя ответил.

— А-а...

— Вы, давайте-ка, вон там постреляйте, дайте нам похлебасть, — сказал Толя парням, и они убежали, позвав за собой и собаку, и было слышно, как они смеялись и кричали что-то, и стрела то и дело взлетала к небу...

— Твой? — Николай спросил.

— Колька мой, а Лёнька — дружок его... Ещё у меня есть Володька. Не поехал с нами, в техникум завтра первый день, готовится, а эти в восьмой побегут... Садись вон на коряжку да давай ботинки-то, посушим.

Николай сел на корягу, приспособленную под скамью, стянул ботинки. Толя тем временем срезал на ближайшем кусте ивы пару виц, воткнул их у костерка, на них и нацепил ботинки Рубцова.

Николаю чего-то так хорошо стало, что даже дырки на пятке носка не стеснялся он, вытянул ноги ближе огню. А чего, Толи стесняться, что ли? Простой мужик...

— Прямо уж из котелка похлебаем, — сказал Толя, ставя на траву закоптелый котелок. Ложкой сдвинул крышку, и запах наваристой ухи будто опьянил.

А Николай только сейчас вспомнил:

— Анатолий, давай-ка кружки-то, — достал бутылку и сразу же лихо пробку сорвал. Достал ещё хлеб и сырки из кармана.

Толя приподнялся, поглядел в сторону, где бегали мальчишки.

— Ну, давай. — Подал Рубцову деревянную ложку, выставил и две железные зелёные кружки.

Николай разлил.

— За знакомство. — Выпили, заели ухой.

Рубцов сидел у костерка, перед ним и вокруг него был разнотравный луг, впереди — река, и на том уже берегу — стены и башни монастыря, церковные купола за стенами, небо, облака...

Ещё выпили.

— Ты где живёшь? — спросил Николай.

— В Ковырине, на Гончарной.

— А-а... Это Октябрьский посёлок?..

— Да.

— У меня там... родственники...

— Не вологодский, что ли, сам-то? — спросил Толя.

— Вологодский... Долго не здесь жил...

— А где?

— А где я только и не жил, Толя. “Как центростремительная сила, // жизнь меня по всей земле носила...”

— Это ты стихи, что ли, сейчас?..

— Да, это мои... Давай!

Выпили.

— А я вот тоже сочинил, — сказал Толя: — “Ходить по родной земле босиком — это большое счастье...” А мне сказали, что это Яшин...

— Да, это Яшин, Александр Яковлевич... А ты, видно, где-то прочитал и забыл, потом, как свои, вспомнил. Так бывает.

— А ты чего, поэт, что ли?

— Да. Я поэт. Жаль, книжки нет с собой...

— Ты так прочитай... Давай-ка, — Толя разлил. Выпили. Рубцов на мгновение задумался, огляделся кругом и начал:

*Доволен я буквально всем,  
На берегу сижу и ем ушницу,  
Вкусную ушницу...  
Стреляют угольки в огне,  
А я валяюсь на спине,  
Внимаю жалобному крику  
Болотной птицы,  
Надо мной  
Между берёзой и сосной...*

— Нет берёз и сосен здесь нету... Нечего и врать... — махнул Рубцов рукой и коротко хохотнул.

— Это ты прямо сейчас сочинил, что ли?

— Да... Ерунда это, Толя, баловство... А ушница хороша. Ох, и хороша. Давай по последней. — Разлил остатки. Выпили. Закурил, протянул пачку и Анатолию.

— Бросил, давно уже.

— А я вот не смог, а теперь уж чего...

— Ну, никогда не поздно, тебе чего, сорок, поди-ка...

— Тридцать три будет... Возраст Христа... Ты веришь в Христа?

Толя пожал плечами.

— А надо верить, надо...

Рубцов курил, приятное несильное опьянение кружило голову, будто пыльки снова в лодке...

— Вот такие вы... поэты... А тут живёшь... — как-то грустно сказал Толя.

— Плохо, что ли, живёшь?

— Да нет, не плохо, жена, два сына... А чего-то... Вот как в песне-то: “Дай мне такое дело, // чтобы сердце пело!” А такого-то дела и нет...

— Ну, дел много... А вообще, понимаю тебя... Вот поэтому-то и надо верить. Пойду-ка я... Тут ведь церковь-то недалеко.

— Да, за парком Мира, вон по дороге иди, дак и придёшь.

— Вот и схожу. У меня ведь и отец там похоронен.

— А-а...

Рубцов натянул ботинки. Поднялся, отряхнул брюки.

— Ну, счастливо... Удачи и вам, ребята, — сказал ещё подбегавшим парням.

— До свидания!

Он вышел на тропу, по которой вскоре попал в парк Мира — тут была аллея тополей вдоль берега, вглубь парка уходили дорожки, обсаженные берёзами. Он свернул на такую дорожку и вышел на пустую поляну со сценой и скамейками перед ней, какие-то плакаты стояли по краям поляны... Чуть дальше, за кустами акаций — спортивная площадка: турник, пирамида из двух наклонных лестниц, подобие гимнастических брусьев... Послышались голоса, шаги, на площадку с другой стороны вбежала группа парней, человек восемь. Николай присел на скамейке перед сценой, закурил, смотрел на спортсменов. Они все в одинаковых спортивных штанах и майках с эмблемой общества “Динамо”. Один постарше, видимо, тренер, командует: “На пары... Подходы... Резче!.. Плотнее захват!.. Поменялись!” Парни по очереди обхватывали и подбрасывали друг друга, имитировали приёмы вольной борьбы... или классической. В этом Николай плохо разбирался. Хотя бороться, между прочим, когда-то любил и на том самодеятельном уровне боролся неплохо... Это ещё в Тотьме было, в лесном техникуме, вскоре после школы. Любили



там они поборются — кто кого повалит и на лопатки положит. Никто не учил, конечно, сами кто что знает и придумает... Обхватывались за пояс и давай: или вверх вырвать, или в пояснице переломить, или, прихватив руку и голову, разворачиваться спиной и, падая, увлечь за собой противника. Боролись без подножек и захватов ног. И ведь он, Колька, не уступал и более крупным ребятам — жилистый был, вертлявый, не прихватишь его, а он резко вплотную подходил, обхватывал и сбивал на землю... Бывало, что и в драку борьба переходила... А потом ещё в Кировске в техникуме у них тоже на физкультуре “самооборона” была, там уже физрук и подножки показывал, и “через спину”. И у него, Кольки Рубцова, между прочим, пятёрка была за “самооборону”. А работа кочегаром на траулере и потом, уже в Кировском техникуме, разгрузка вагонов с картошкой и силёнку кой-какую дали — в учебке флотской подтягивался раз пятнадцать...

Вспоминал, покуривал, смотрел на здоровую молодость... По команде тренера парни стали кто подтягиваться на перекладине, кто отжиматься на брусьях. И убежали — как и не было их.

Рубцов поднялся, прошёл на спортивную площадку. Под турником встал, подпрыгнул, ухватился за перекладину, с усилием подтянулся два раза и спрыгнул... Усмехнулся сам себе криво. “Молодость уходит из-под ног... Всё, ушла уже... Свои сто гениальных стихов я уже написал... Ну, ещё сколько-то напишу... Прозу буду писать! Да!”

Оглянулся, представил себя — лысоватого, в пиджаке, в брюках с задравшимися штанинами, в ботинках грязных висящего на турнике. И засмеялся даже...

Хмель уже выветрился... И, что хорошо, — не хотелось поддать ещё, пока не хотелось, да и где тут...

— Мама, грибок! — услышал голос и вздрогнул, так похож был он на голос дочери. В стороне, за деревьями гуляли девочка и её мама...

“Гета хотела приехать, Ленку привезти... В цирк обязательно сходим!..”

Шёл сейчас по дорожке, обсаженной яблонями... Яблоки мелкие. И горькие.

А вот и кладбищенская ограда, вон и церковь.

Ворота ещё старые — с кирпичными столбами, с кованой калиткой, с крестом сверху... Прошёл. У церкви, у самого входа стоял нищий. Кажется, он и на похоронах отца тут стоял. Или другой это уже, но в такой же рванине, заросший, с гноящимися глазами и чёрной ладошкой, которую выставил перед собой. “Откуда берутся они, эти нищие? Нигде их больше в городе не видно... Где живут, ночуют, что едят?” В детстве он ещё видел нищих, но те были не такие, тех называли странниками — они куда-то шли через их Николу... Были ещё после войны инвалиды на вокзалах, безногие, на тележках... Куда-то потом все разом пропали. И не стало никаких нищих. Только вот тут, у церкви.

— Подай Христа ради, добрый человек.

— А я добрый? — сузив глаза, резко спросил Рубцов.

— Конечно, добрый, — ответил нищий и даже улыбнулся.

Усмехнулся, качнув головой, и Рубцов, монету из кармана в ладонь чёрную сунул.

— Храни тебя Господь.

Подумал и не пошёл сразу в церковь, решил зайти на обратном пути. По тропе попал в дальний конец кладбища, помнил, что у самой ограды хоронили. Да вот и могила в деревянной оградке, и скамейка, и столик... “Бывают, присматривают...” — подумал про Евгению, жену отца и её сыновей. Присел.

Вот тут бы и выпить, и поговорить бы с отцом... Узнать бы, в кого же это у него, да, похоже, и у братьев Алика и Бори судьба такая — бродяжья... Галя, сестра, рассказывала, что отец и мама из деревни уехали в Вологду, потом в Емецке жили, там-то он, Николай, и родился, потом ещё Няндомы была... А он помнит уже вот Придуки, потом тот страшный барак в Вологде... “Что носило тебя, отец, по земле? Судьба или своя воля?... Не ответишь... Знаешь, отец, я не обижаюсь на тебя. Была обида, прошла.

А до того обидато была — знал, что жив, а говорил, что погиб. А что было говорить-то?.. Ну, хоть увиделись... Я тоже мотаюсь... Внучка у тебя, отец, растёт... Я, папа, поэтом стал, книжки у меня есть, всё хорошо... Всё хо-ро-шо”. И оборвал этот “разговор”. Встал и пошёл от могилы.

На церковной двери уже висел замок, и не было ни нищего, никого...

Пошёл по тихой, сжатой деревьями и двухэтажными деревянными домами улице, мимо обнесённого железным забором, со сбитыми крестами, перестроенного, и всё-таки храма... Автобаза в нём какая-то... А по правую руку — тоже церковь, и тоже какой-то склад там... “Живём вблизи пустого храма... Вот потому и живём так, и не держит ничто, ни дом, ни дети, ничто...”

Так думая, вышел на высокий берег, здесь, на пяточке асфальта — памятник 800-летия Вологды... Вот отсюда в 1147 году начинался город... Впереди, на Соборной горке (так зовут это место все вологжане) — стены вологодского кремля, Софийский собор и колокольня...

Прошёл и под стенами Софийского собора. На самом высоком месте Соборной горки, над береговым обрывом, между собором и ещё одной церковью (тоже пустой, зимой в ней лыжи напрокат выдают — сам видел!) — стеклянный куб — выставка достижений местного хозяйства...

Он встал на самом откосе, посмотрел вверх и вниз по реке: на каждом её изгибе — церкви...

— Гуляешь, Коля? — окликнули сзади.

Оглянулся: журналист одной из районных газет, низкорослый и пухлый весельчак Булыгин, широко улыбался и протягивал руку.

— Ты как тут? — спросил Рубцов.

— Да меня редактор вместо себя на областное совещание отправил, вот... Ну, и ладно, я чего: мне сказали — я поехал... — Он говорил безостановочно. — Да, тебе же гонорарий у нас положен... Мы ж три стиха твои дали... Да... Ты ж у нас прямо как классик идёшь...

— И где я могу получить свои деньги? — оборвал его Рубцов.

— На почте, Коля, на почте! Переводик будет, переводик... Но в счёт будущего можно и сегодня, — щёлкнул пальцем по горлу и кивнул в сторону скверика, где сидела на скамейке тёплая компания районных редакторов и журналистов. И все смотрели на них. И не подойти вроде нельзя — зазнался, подумают. А и подходить не хочется... Рубцов натянуто улыбнулся и помахал компании рукой.

— Коля, давай к нам, — крикнул кто-то.

— Пошли, Коля, — позвал и Булыгин.

— Нет, ребята, спасибо, не могу, — твёрдо сказал Рубцов, пожал пухлую руку Булыгина и пошагал по береговой тропке вдоль берега — ближе к дому... Вон уже за мостами и храм видно, у которого стоял утром... И пошёл туда, домой, перешёл по мосту на свой берег.

Целое путешествие сегодня совершил по обоим берегам реки Вологды...

И снова стоял на береговой крутизне, смотрел на реку, на город.

Уже вечерело...

Зашёл ещё в продовольственный магазин в соседнем доме. Взял хлеба, вина...

“Не ужиться мне с этими партийными... А как-то же надо жить...” — думал, подходя к дому. Своим ключом открыл дверь, и сразу в свою комнату, закрылся, сел за стол... Ещё раз вспомнил весь этот день — реку, город, Прилуки, Батюшкова, рыбака Толпо, отца...

Взял ручку, заправил чернилами из банки. Проверил на куске газеты, чтобы не пачкала... В записную книжку вписал без исправлений:

### **ВОЛОГОДСКИЙ ПЕЙЗАЖ**

*Живу вблизи пустого храма,*

*На крутизне береговой,*

*И городская панорама*

*Открыта вся передо мной.*

*Пейзаж, меняющий обличье,*

*Мне виден весь со стороны  
Во всём таинственном величье  
Своей глубокой старины.*

*Там, за рекою, свалка брёвен,  
Подъёмный кран, гора песка,  
И торопливо — час не ровен! —  
Полощут женщины с мостка  
Своё бельё — полны до края  
Корзины этого добра,  
А мимо, волны нагоняя,  
Летят и воют катера.*

*Сады. Желтеющие зданья  
Меж зеленеющих садов,  
И тёмный, будто из преданья,  
Квартал дряхлеющих дворов,  
Архитектурный чей-то опус  
Среди квартала... Дым густой...  
И третий, кажется, автобус  
Бежит по линии шестой.*

*Где строят мост, где роют яму,  
Везде при этом крик ворон,  
И обрывает панораму  
Невозмутимый небосклон.  
Кончаясь лишь на этом склоне,  
Видны повсюду тополя,  
И там, светясь, в тумане тонет  
Глава безмолвного кремля...*

Написал, подул ещё, чтобы чернила высохли, закрыл книжку, отложил ручку. Открыл банку кильки в томате, бутылку вина, отрезал хлеба. Выпил, поел... И лёг спать.

И спал он на берегу реки вечности...

НИКОЛАЙ КОНОВСКОЙ



## ХОЛОД ЖИВОТВОРЯЩИЙ

БЕРЕЗОВЫЙ ЛЕТУЧИЙ ДЫМ...

Берёзовый летучий дым,  
Растёкшийся над нивой белой,  
Померкнул, чуя, как под ним  
Сгустился воздух повлажнелый.

Крадётся, подступает мгла...  
Но отразился с быстротою  
Блеск молнии — иль плеск крыла? —  
Над потаённую водою.

Как гул — иль на ветру леса? —  
Как чей-то отголосок думы,  
Неразличимы голоса  
Вселенского земного шума.

.....  
Отдохновение глуши.  
Путь зажигающийся Млечный...  
Сокройся, слейся, стой... Дыши  
Одним дыханием с Предвечным.

---

*КОНОВСКОЙ Николай Иванович родился в селе Варваровка Алексеевского района Белгородской области. Окончил Литературный институт имени Горького. Автор книг "Равнина", "Твердь", "Зрак", "Врата вечности", подборок в периодической печати. Член Союза писателей России. Живёт в Москве.*

## УТРО ЯБЛОЧНОГО СПАСА

Томят минувшего руины.  
Молчат полночные равнины,  
Но лишь затеплится восход,  
Удержанное горней дланью,  
Горé — незримое создание  
Над жизнью брэнною поёт...

Пророчествует и вещает?  
Вглядеться хорошо мешает,  
Слепит случайная слеза.  
Благой, а не земною страстью —  
Непререкаемую властью —  
Тебя возносит в небеса.

.....

Крошатся дни. Мелеют реки.  
Но верую: в грядущем веке  
Предстанет — дивным бликом — мне  
Спас яблочный: встаёт из праха  
Россия; солнечная птаха  
Звенит в небесной вышине!

## КРОВНОЕ, ТАЙНО-РОДНОЕ

Как будто со сна зароптали древесные главы,  
И мир поднебесный накрыло шумящею лавой,

И в недра подземные, не обретая свободы,  
Рванулось неистовство — линией громоотвода!

Был мела белее, метавшийся криво и косо,  
Во тьме березняка, обезумевший и безголосый.

Слепя, приближалось, гремело — то ниже, то выше,  
И было готово сорвать уже старую крышу.

Я дверь отворил и почуял во мраке горящем,  
Как грудь окатило вдруг холодом животворящим!

И слушал, застывший, как рушится ливень стеною,  
Как медленно близится кровное, тайно-родное...

А твердь содрогалась, и длился неумолчный хаос!..  
И счастье забытое мёртвого сердца касалось...

## ОГОНЬ

Зимы хоронят живьём...  
Плохо с тобой мы живём,  
Каясь и тяжело греша,  
Близкая сердцу душа.

Сердце сквозь стужу неся,  
Вижу: озябла ты вся  
В лютой пурге забытья,  
Смертная радость моя...

Боль мою с сердца сними;  
На вот, с ладони возьми  
Этот к тебе на ладонь  
Перелетевший огонь!..

## СТАНЦИЯ ЛИСКИ, СТАНЦИЯ РОССОШЬ...

Столичной неважною птицею  
В сторону юга  
Порой проезжаешь:  
Вот сзади остался Воронеж;  
Вот станцию Лиски  
В скопление товарных составов  
Проследовал поезд;  
Уж Дон с величавым теченьем  
Остался под нами;  
Вот справа уже Дивногорье  
Застыло, незримое, где-то с его меловыми  
Трудами ветров изваянными “дивами”;  
Кельи,  
Руками монахов в горах иссечённые;  
Лики  
Икон богородичных чтимых,  
Особо — “Расстрельной”,  
Слезами кровавыми плачущей;  
И “Сицилийской” —  
Помощницы скорой в напастях, скорбях и болезнях.  
Хоть не был давно там, и всё же как благословенье  
Тот ответ святыни беру я в дорогу с собой...

Вот так и смотрел бы, смотрел бы всю жизнь неотрывно  
На эти поля, рассечённые рвами; низины,  
Заросшие вербой; на дальний полёт ястребиный;  
Вершины холмов, где живое всё выжжено солнцем...

Поклон мой тебе, долгожданная станция Россошь,  
Что в детстве далёком казалась тогда из села,  
Лежащего в часе каком-то езды от тебя,  
Огромного мира, всей русской земли средоточьем;  
А ныне, напротив, души и судьбы средоточьем,  
И русского мира я старое вижу село,  
От станции Россошь лежащее в часе езды,  
Куда возвращает больная немолчная память,  
Где близких могилы,  
Где всё разметала беда,  
Где воздух дрожащий пропах чабрецом и полынью,  
А если б случилось вдруг как-нибудь встретиться с той,  
Что летнего утра свежее была и прекрасней,  
Скорее всего, не узнали б мы с нею друг друга...

Там воды неслышные Чёрной моей Калитвы  
Видением сонным, мелея, уносятся в Лету...

...Куда возвращает больная немолчная память,  
И раненой птицей в своём безрассудном старенье  
Отчаянно бьётся в закрытые двери былого....

И близок-то локоть, — подметили мудрые люди, —  
А как ни пытайся — его все равно не укусишь...

## КАЛЕНДАРЬ

...Сначала — усладой забытых услад  
Был тихий, как снящийся сон, листопад.  
Срывались с деревьев, ложились листья  
На землю, на давние чьи-то следы.

Затем, заметая дворы и дома,  
Дохнула холодным дыханьем зима,  
И призраком диким — до неба возрос  
В пространстве мятущемся снежный хаос.

А после морозов, ясна и красна,  
Явилась завидная дева-весна:  
Вода забурлила, запахла синель,  
И мир огласила полночная трель  
Певца, что умрёт от восторга вот-вот...  
Потом долгожданное лето придёт,  
Как счастье — из горя, как солнце — из тьмы...

А после — с тобою расстанемся мы...

## НА ДНЕ СОЗНАНИЯ...

Бегут года, то разрывая вены,  
То лишь чадя, как догоревший трут.  
Но жизнью цепкой и неубиенной  
На дне сознания странного живут  
И свет воды, и пенье трав, и рощи  
Сквозящая божественная сень...

Сколь ни тяжёл подобьем плит налегший  
Остановившийся жестокосердный день,  
Как в темноте — зарницы ночи летней,  
Неуследимо, как горящий сон,  
Свергаясь в Зев, угрюмо и бесследно  
Пройдёт и он...

ВАДИМ АРЕФЬЕВ



## НА ТРОИЦУ У ПАТРИАРХА

ИЗ ДНЕВНИКОВ ПИСАТЕЛЯ

В начале этого века на Троицу приехал я в Сергиев Посад. Там в этот день, в городской библиотеке проходила читательская конференция. Я и привёз туда на своих издававших виды “Жигулях” небольшую группу московских писателей. А пока добирался — у меня сильно разболелась голова. Прямо-таки до ломоты в висках. Припарковал я машину, высадил писательский десант, а сам пошёл прогуляться — голову проветрить.

Иду по городу, а везде праздник. Колокола со всех сторон звонят-заливаются. И тут вижу, что сам Патриарх Московский и всея Руси Алексей II по площади возле Лавры идёт. Правда, пройти к нему, вижу, непросто — милицейское оцепление выставлено. Ладно, думаю, хотя бы посмотрю на торжественную процессию. Пошёл я и как-то незаметно миновал оцепление. Никто меня не остановил. Только потом уж я понял, что в камуфляже был, — вот меня “за своего” и приняли. Так же стремительно подошёл я и к приветственной шеренге детишек и прихожан с берёзовыми веточками и сквозь этот строй протянул руки. Алексей лишь на миг коснулся моих ладоней...

А вскоре я понял, что голова у меня уже не болит. Патриарх лежит теперь в Елоховском соборе в Москве, а я, всякий раз подходя к его надгробию, чувствую исцеляющую силу, исходящую от белого мрамора этой святой гробницы.

---

*АРЕФЬЕВ Вадим Александрович родился в 1957 году в городе Губахе Пермской области. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое училище и Военно-политическую академию в Москве. Служил в морской пехоте Тихоокеанского флота. Работал главным редактором журнала “Морской пехотинец”. Полковник запаса. Автор многих сборников прозы, книги публицистики “Вокруг света на “Крузенштерне”. Награждён медалью “За труды в военной литературе”. Член Союза писателей России.*



## РОДИТЕЛЬСКИЙ БИДОН

Тогда ещё были живы и папа, и мама. И я в тот свой приезд, как обычно, наводил дома порядок. Мне казалось, что у родителей скопилось очень много старых и ненужных вещей. Вот я периодически и разбирался.

— Ну, скажи, зачем тебе, мама, этот бидон? — говорил я тогда. — Ты посмотри, у него же дно-то почти вывалилось. Его и не припаяешь уже. А он лежит у тебя на батарее и столько места занимает. У тебя же есть целых два новых бидона.

— Да, да, конечно, — соглашалась мама. — Можно выбросить. Только ты-то, наверное, не помнишь, а я вместе с тобой с этим бидоном за молоком в очередь ходила. На Нижней Губахе мы тогда жили, помнишь? Ты тогда ещё говорил мне: “Мама, пойдём вместе в очеру...”

Я тогда ещё и думать не думал, что когда-то родителей не станет. Даже и представить себе не мог. И — странное дело! — их нет, а бидон вот остался.

## УЖЕ БЫ ОТМУЧИЛАСЬ!

Всякий раз, как доводится бывать мне у себя на родине, радуюсь я жизнелюбивой уральской речи. Вот сижу на лавочке возле дома и слышу, как одна соседка рассказывает другой о походе в больницу. И той, и другой под восемьдесят.

— Чего только они у меня не нашли, — весело говорит тётя Валя. — И сердце, и печень, и шум в лёгких. Всё, сказали, лечить надо. Рецептов дали целую кучу. Это ж всю пенсию на одни лекарства отдать! А с чего бы? Я ж всю жизнь не курила, не пила? Может, надо было тогда и пить, и курить?

— Может, и надо было, — так же весело отвечает ей тётя Люба. — Давно бы уже отмучилась!

## НА ПАТРИАРШИХ. ЖИЗНЬ ПРОШЛА

Несколько лет я преподавал журналистику в Военном университете. Кафедра находилась на Садовом кольце рядом с Патриаршими прудами. Именно там в тёплое время года я любил погулять или посидеть на лавочке. Случалось так, что у меня были занятия в начале и в конце учебного дня, а середина оставалась свободной. Вот там — у Прудов — я и проводил эти часы. Время пролетало быстро. Было на кого посмотреть, чем полюбоваться. Много раз я встречал там известных артистов, политиков, людей шоу-бизнеса. Были там и свои завсегдатаи: бабульки из соседних домов, ветераны войны и труда. В общем, заслуженные и, я бы сказал, маститые люди. Рядом с одним из таких ветеранов, внешне похожим на баснописца Крылова, я однажды присел на лавочку.

— Не помешаю? — спросил я его.

— Не беспокойтесь, — ответил он. — Мне уже никто помешать не может. Жить осталось — полтора понедельника.

— Ну, что уж вы так грустно, — попытался я возразить. — Смотрите, какая красота вокруг. Надо жить и радоваться.

— Это вам надо! А моя жизнь — в прошлом. Другая страна. Люди другие. Что толку? Вот у меня пятьдесят пять государственных наград, — со значением сказал он. — А жизнь-то прошла...

Не раз и потом я проводил время на Патриарших прудах, но этого ветерана там более не встречал.

## НЕ НУЖЕН...

Только приехал я в родной свой город, как тут же и узнал, что не стало моего одноклассника Юры. Он жил рядом — в доме напротив. И я подумал, что вот ведь уже почти половина мальчишек из нашего класса ушли в мир иной.

— А что случилось с Юрой? — спросил я у его соседа. Он как раз курил на лавочке возле подъезда.  
— Да известно что, — сказал он. — По пьянке сам себя и порешил.  
— И как же это случилось?  
— Ну, как, как? Просто жить не хотел. Напился — и сам специально грохнулся затылком на бетонную лестницу.  
— Как специально?! Зачем?!  
— Ну, как — зачем? Работы — нет. Денег — нет. Кому он такой нужен? Вот и грохнулся...

## НАГРАДА

Тогда был ещё Советский Союз. И я поступил на учёбу в Военно-политическую академию. Поступал заочно, а поступил очно. Так получилось. И после этого надо было лететь на Дальний Восток, чтобы перевезти семью в Москву. Уже был куплен билет, и я в форме майора морской пехоты ходил по аэропорту Домодедово в ожидании регистрации и посадки в самолёт.

Поступить было очень непросто. И потому чувство личной победы усиливалось. Я знал, что вместе со мной радуются мои родные — родители, брат, жена, дочь. Начинался какой-то новый, ещё не ведомый период в нашей жизни. После многих лет службы на Тихом океане для нас открывалась столица. И всё это наполняло меня ощущением праздника. И хотя виду я старался не показывать, но в душе всё ликовало. И хотелось этой радостью с кем-нибудь поделиться.

Я стоял в курилке перед входом в аэровокзал и счастливо смотрел на окружающих. И совершенно неожиданно один из пожилых пассажиров — то ли грузин, то ли армянин, — словно прочитав мои мысли, вдруг подошёл и сказал: “Молодец! Ты достойный сын русского народа!” И пожал мне руку.

Прошло много лет. А я помню этот момент очень ярко. Словно получил тогда самую главную награду в своей жизни.

## ЧУДО БОЖИЕЙ МАТЕРИ

После операции моего отца поместили в реанимацию. Он был без сознания, на искусственной вентиляции лёгких. Так прошёл день, два, прошли неделя, вторая. Меня пускали к нему. Я сидел возле его кровати и молился. Несколько раз его пытались перевести на самостоятельное дыхание, но ничего не получалось — останавливалось сердце. Таких попыток предпринималось десятка два. И всякий раз было страшно от того, что сердце моего папы переставало работать, а потом вновь начинало. Он словно бы слышал, что я мысленно просил его жить и жить.

На исходе второй недели в реанимацию пришла лечащий врач моего отца и извинительно сказала, что более шансов на выздоровление папы нет.

— Можно лишь сделать почти безнадежную операцию, — сказала она, — врезать отцу дыхательную трубку снаружи прямо в горло. Но вряд ли это поможет. Только намучаем его...

Она спросила меня, согласен ли я на это. Ответ надо было дать уже на следующий день утром.

Я вышел из поликлиники и, словно пьяный, от дерева к дереву побрёл куда глаза глядят. Через некоторое время я оказался возле городской церкви. Там я на коленях молился у иконы Владимирской Божией Матери, просил Богородицу сотворить чудо — спасти отца.

Как прошла ночь, я не помню. Помню лишь, что утром раздался телефонный звонок. Звонили из реанимации.

— Приходите, — радостно сообщили мне. — Ваш отец очнулся! В сознании! Сам дышит!

Мой папа прожил ещё двенадцать лет. Целых двенадцать лет! Пресвятая Богородице, моли Бога о нас!

## СЧАСТЬЕ

Давным-давно, в курсантскую ещё пору, один мой товарищ попросил меня помочь ему в сборе материалов для курсовой работы. Попросил не случайно. Мы вместе с ним занимались в философском кружке. И вот там этот мой друг и товарищ взял тему, ни больше ни меньше, как о человеческом счастье. В общем, он решил максимально полно изучить разные представления людей о том, что такое счастье в жизни человека, как быть счастливым и что для этого нужно. В итоге, он начал собирать разного рода высказывания известных людей по этому поводу. Были среди них хорошо известные выражения, такие, например, как: “Счастье — это борьба!” или “Счастье — это когда тебя понимают!”

Короче говоря, много было собрано им разных учёных и обычных представлений об этом предмете жизни. Все их он записывал на карточки, группировал, систематизировал, раскладывал у себя в тумбочке, словно колоды карт. Вот и меня он попросил для пополнения этих “запасов”, мол, будешь в отпуске, спроси кого-нибудь из окружающих, из друзей, близких, родственников, что же такое в их представлении счастье?

Честно сказать, в том зимнем коротком отпуске я благополучно забыл о его просьбе. Да и до того ли мне было? И когда? Понятно же — встречи с одноклассниками, с роднёй, разговоры, застолья. Отпуск пролетел в один миг. И уж когда он почти совсем истёк, я вдруг неожиданно вспомнил о той самой просьбе. Я как раз тогда вышел в коридор покурить. В это самое время по лестнице поднимался наш сосед сверху — дядя Дима. Он был плотником, человеком очень смирным, тихо пошивавшим почти ежедневно и спокойно, как мне казалось, сносившим многие невзгоды семейной жизни. Ему крепко доставалось от жены. Она умело снимала с него стружку. При этом вид у дяди Димы был почти всегда жизнерадостный. Он никогда не огрызался.

Мы покурили, постояли с ним, поговорили о погоде, о моём скором отъезде.

— Дядя Дима, — обратился я к нему, — а вот что такое, в вашем представлении, счастье?

— Что? — удивлённо переспросил дядя Дима. — Счастье? Серьёзно? Хм-м... Работай, трудись, дело делай. Ну и... я вот, лично, к примеру, если выпью маленько — так вот оно и есть счастье.

С тех пор прошло много лет. Более тридцати. Почти сорок. В позапрошлом году я вновь встретил в подъезде дядю Диму. Мы, как и прежде, постояли на лестничной клетке, немного поговорили о жизни. Дядя Дима сильно сдал. Ему было за восемьдесят. Он недавно овдовел, жил под приглядом дочери.

— Как здоровье? — спросил я его.

— Да-а, — махнул он рукой. — Плохо.

— Может, чем помочь?

— Нет, — ответил дядя Дима. — Ничего не надо. И деньги есть, а выпить не могу. Не идёт. Нет счастья...

Вскоре я узнал, что он вслед за женой мирно отошёл ко Господу.

## РУКА МАСТЕРА

Однажды в Союзе писателей России я повстречал одного из моих любимых писателей — Василия Ивановича Белова. Я в ту пору работал там консультантом и решил взять у него автограф, благо его книга продавалась в писательском ларьке. Вскоре с этой книгой и авторучкой наготове я подошёл к Василию Ивановичу.

— Не могли бы вы мне подписать вашу книгу, — обратился я к нему.

— А что же я могу вам написать? — посмотрел на меня Василий Иванович. — Что же?

В эти мгновения я подумал, что Василий Иванович просто готовит какую-нибудь привычную фразу, которую он обычно оставляет читателям в таком случае. Что-нибудь эдакое нейтрально-выразительное.

— Как вас зовут? — спросил Василий Иванович.

Я представился.

— Хорошо, — сказал Василий Иванович, — и стремительно написал: “Вадиму. Белов”.

“Как точно!” — не раз потом думал я об этом автографе. Ни одного лишнего слова, никаких красотостей или водянистых сантиментов. Всё очень точно и лаконично. Вот она — во всём рука мастера!

## КНИГА ЖИВЁТ ДОЛГО

В ту невероятно теперь уже далёкую пору ходил я по школе с весёлым пионерским галстуком. Какой же это был класс? Третий, четвёртый, пятый? Да так ли это важно... Именно в тот день на урок истории или обществоведения пришёл к нам самый обыкновенный, как тогда казалось, дедушка. Строгий костюм, небольшая борода, галстук в горошек, как у Ленина на портретах, виски седые. В общем, типичный интеллигент провинциального городка.

Пришёл, понятно, не случайно. Целый час рассказывал он об истории нашего родного края, о его природе, названиях рек, гор, самого города, о промышленности и ещё о многом другом. Дедушка тот входил в совет ветеранов, был активным сотрудником местного музея. Всё как обычно. Не раз на занятия к нам приходили и другие фронтовики, почётные гости — бабушки и дедушки.

Однако тот старичок-краевед принёс с собой небольшую книжицу об истории нашего города. Отпечатана она была на серой бумаге, в местной типографии, небольшим тиражом, под скрепку. Тонкая такая брошюрка.

Именно за ней на перемене я и подошёл к нашему гостю: “Где можно её почитать?”

— А я вам подарю, — сказал дедок. — У меня есть ещё один экземпляр. Пожалуйста, давайте я вам подпишу. Как вас зовут?

— Вадик, — представился я.

— А отчество? — спросил старичок.

— Зачем отчество? — удивился я.

— Ну, как, зачем, — развёл руками дедок. — Это сейчас вы Вадик, а пройдут годы, будут у вас дети, внуки... Книга-то живёт долго.

## РУССКИЕ БАБУШКИ

В вагоне метро на скрипке играла старушка. Седая, маленькая, она сидела на последней скамейке и, несмотря на шум-гам, старательно выводила мелодию: “Во поле берёзонька стояла...” Рядом с ней лежал футляр от скрипки. В него пассажиры бросали деньги, в основном, мелочь. Однако старушка почти не обращала внимания на свою “кассу”. Она играла вдохновенно и отрешённо. Лишь раз она оторвалась, чтобы поблагодарить девочку, которая принесла ей десятирублёвую купюру.

— Спасибо! — сказала старушка. — Вы знаете, девочка, я ведь не только музыкант, но ещё и художник-портретист. У меня была выставка в Ленинграде...

...Как-то раз мама в последний год своей работы на тяговой подстанции сказала: “Смотри, вот отсюда огородик виден бабы Мани. Пустой весь. Ограбили. Сама-то ведь она едва жива. И помочь некому. Один сын помер от пьянки. Другой сидит где-то. Пенсия-то у неё малёхонькая. На огород, на картошку вся надежда-то была. А вот кто-то ночью, говорят, всё до последнего у неё выгреб. Одну ботву оставил”.

Давно это было. Лет, наверное, десять назад. А ведь не забуду никак... Потом уж, правда, через год ли, два ли приехал я в отпуск. Сели за стол. Мама пельменей настряпала-наварила. Отец новую рубаху надел. Всё как положено. А я за праздничным обедом ни с того ни с сего взял да и спросил, а как, дескать, та баба Маня-то, что картошки под зиму лишилась? Жива ли? Мол, ведь и белка, как известно, если дупло её с припасами осенними разворуют, жизнь-то прекращает.

— Жива, говорят. Зимы-то перебилась Христа ради. Так, подаянием. А весной неонечной вновь огород посадила...

## ПОДСНЕЖНИКИ

Как-то совсем недавно позвонил я домой, на Урал, родителям.

— А у нас подснежники, — услышал я в трубке мамин голос. — Ходили с отцом в лес. Принесли.

И я живо представил, как стоят в большой комнате на столе в вазочке белоснежные первоцветы. Представил наши лесные, меж елей и берёз, поляны, на которых уже давно, бесовски давно не бывал.

И стало мне грустно-прегрустно. Прямо-таки тоска зелёная, да и только. Вот ведь, подумалось, отчего же так происходит в жизни-то, вечно крутит нас какое-то колесо напрочь ненужных забот да хлопот; встречаешься с кем попало, болтаешь о чём угодно... А в это самое время в родной моей сторонешке цветут себе, тянутся к майскому солнышку разлюбленные моему сердцу подснежники. Плунуть бы на всё, махнуть рукой, вскочить на подножку поезда и через сутки, всего-то через день да ночь...

— Эхе-хе-хе-хе, — только и выдохнул я. Который ведь год так.

“И зачем, за что мне всё это? — спросил я у себя. И сам же ответил: — Ничего, не в этот, так, значит, в другой раз. Сейчас-то вон ведь сколько проблем вокруг. Дочь учится. Деньги нужны. Машину надо отремонтировать. Встречи есть важные. Пообещал же. Договорился. Так что “дал слово — сдержи”, “принял обязательства — выполни”. А подснежники? Ну, что теперь... Другая весна будет. А пока где-нибудь у метро... Продают же. Вот завтра же и куплю, и нанюхаюсь допьяну”.

Стоп. Я вдруг почувствовал, точнее, ощутил, что всё совсем не так. Обманываю себя, кручу-верчу, наворачиваю.

— Спокойно, — сказал я себе. — Не так всё и печально. Ведь если разобратся, то вроде бы всё уже и есть у меня. Они же всегда со мной, эти цветики-цветочки. Даже к метро ходить не надо. Просто — всё рядом. И раньше так бывало. Где бы ни был, а лишь вспомню дом родной — и вижу его ярко-ярко. Доведись мне, к примеру, улетать куда-нибудь, в запредельно-невозвратное, космическое, скажем, бытие, и всё равно главное всегда со мной. Есть у меня такой заветный тревожный чемоданчик. А там — всё самое дорогое. Там багряные и розовые закаты и восходы над родной моей Камой-рекой, там буйно полыхает черёмуха, там гудят паровозы и пароходы, там ждёт на берегу моя лодка, там лица друзей и близких, голоса отца и матери. И всё это всегда со мной. Совсем рядышком. Вот, оказывается, как всё просто.

И уже через мгновение мчался я на поезде, пил за столиком чай и смотрел в окно. Я курил в тамбуре ленинградский, фабрики Урицкого, “Беломор”, выходил на станциях и покупал горячую картошку, воблу, “Жигулёвское” пиво. А вскоре, всего-то день да ночь, на перроне меня встречали помолодевшие лет на двадцать мама, отец и братец Андрияша. А с ними и сестрица моя двоюродная, Валюха, прибежала и кричит издали: “Ага, вот он где! Брат приехал! Это вам не шухры-мухры. Брат! Офицер!”

А через мгновение иду я в шахтёрских сапогах по родным моим полянам, где журчат-переливаются ручьи, снег ещё местами лежит в хвойной осыпи, птицы чвикают-пересвистываются. И всюду, ковром прямо-таки белоснежным, — подснежники, подснежники, подснежники.

И все мы вместе, все счастливы. Вся жизнь у нас впереди. И весна с нами. Настоящая, родная весна-то. Не просто так. А какая же весна без подснежников?

## ШУМ АЛЫЙ

Всякий раз, как случается мне бывать в родных моих уральских местах, отправляюсь я обычно погулять по своим тропинкам-дорожкам, что бегут и бегут по старым, густо поросшим осинником, елью и березняком горам да

пригоркам. Находишься, нагуляешься так по синим чудо-далям, и невольно ноги сами приведут к знакомому с детства родничку. Тихо бьёт он и бьёт хрустальной струйкой в распадке двух гор — Шумихи и Алёны. Присяду возле родника и долго так сижу, всматриваюсь. Много раз бывал я здесь. По грибы, по землянику бегал, случалось, и рыбу ловил в речке нашей Косьве. Есть, о чём вспомнить и подумать. Но как бы ни связывала, ни переплелась память моя с родничком, ярче иных картин видится мне первый мой поход за грибами с бабушкой. Тогда-то я и узнал, что называется родничок тот Шум Альий.

— И почему это такое название у него? — спросил я у бабушки.

— А вот попей воды из него, я тебе и расскажу. Вкусная водичка, ледяная, свежая. Журчит, переливается ручеёк.

— Давно это было, — говорит бабушка. — В ту пору и людей-то ещё не было. Одни только горы на земле нарождались. Густые леса покрывали их, звери да птицы в них жили. И не было более никого.

— Никого-никого? — переспрашиваю я.

— Говорю же, совсем никого. И горы тогда были живыми. Вот видишь, большая гора, вся в ёлочках — это гора Шум—Шумиха. Послушай, как она шумит.

Я вслушиваюсь. Тонко шумит ельник. У-у-у как.

— А напротив — Алёнина гора. Берёзки на ней, слышишь, листвою шелестят. В бане тебя веником парим. С этой вот горы веник-то. Помнишь, какой ласковый?

— Помню—помню, — отвечаю я. — Только, почему эту гору Алёниной зовут?

— А потому, что восход над ней алый-алый бывает, — говорит бабушка. — Потому и прозвали. Если утром долго спать не будешь, придём как-нибудь — сам увидишь. А родничок этот, из которого ты воды попил, Шум Алым называется. Понял почему?

— Почему?

— Да потому, что две горы вместе сошлись и родился у них вот этот ключик волшебный — сын-родничок.

— Да разве горы сходятся?

— А как же? Хоть и говорят в народе — гора с горой не сходятся, а эти вот сошлись...

— И как же это получилось-то?

— А вот так. Увидели они друг друга и полюбили. А меж ними поле было тогда огромное и много всяких непреодолимых препятствий. Но не испугались они, а пошли навстречу друг другу. Долго шли, трудно. Но вот встретились и живут теперь вместе. Грибами-ягодами нас угощают, водой ключевой поят. А вода эта силу нам даёт. Потому что от любви она. От родной сторонки. Вот ты водички этой попил — теперь расти будешь. И много-много разных дорог в жизни пройдёшь. Походишь-походишь, а всё потом к родничку придёшь. Он тебе новой силы даст и детям твоим, и внукам.

— А ты со мной тоже придёшь? — спрашиваю я.

— Может, и приду, а может, и облаком прилечу, — говорит бабушка и гладит меня по голове.

Много дней и дорог пронеслось-пробежало с тех пор. Нет-нет да и присяду я возле родничка Шум Алого. Шумит, журчит и торопится к речке светозарная живая его вода, плывут в небе белые, пушистые облака...

## БОГ ХРАНИТ

Приехал я как-то к своему другу поговорить-повидаться: что, мол, да как, то да сё. Он — о своём житье-бытье. Я — о своём. Долгонько не видались-то. Чай попиваем, курим — на душе хорошо. Говорим, говорим, а я возьми да и вспомни:

— Чудом, — говорю, — недавно в живых остался.

— Ну-у?!

— Да, — говорю, — на ровном месте споткнулся.

— ???

— Не выспался раз. С женой разругались — денег ей всё мало! — вот и уснуть не могу. Утром сел за баранку, набомблю, думаю, в тот день побольше, приеду вечером и брошу ей на стол — на, дескать, подавись.

А был выходной. Утро такое всё ясное, солнечное. Только выехал, глядь, пассажир рукой машет. О, думаю, клёв хороший. Отвези, говорит, на рынок. Цену называет приличную. Чего не отвезти-то? Едем. Бензина у меня, правда, маловато было.

— Давай, — говорю, — на пару минут на заправку заскочим. Видишь, лампочка горит, — на уровень топлива показываю. А там стрелка по нулю бьёт.

— Конечно, — говорит он, — надо коня-то накормить. Сытая лошадь, она и бежит веселей.

Заехали. Недалёко АЗСка-то. Всё как обычно. Подъезжаю к колонке, машину заглушил, пистолет заправочный в горловину бензобака вставил. Пошёл к кассе за горючку рассчитаться. Подхожу ближе и — на тебе! — объявлянице: “Извините, у нас перерыв на тридцать минут”.

Я ещё в окошечко заглянул.

— Давно перерыв-то? — спрашиваю.

— Только что, — отвечают.

Ну, думаю, ладно. До рынка дотяну, а там недалече ещё одна заправка есть. Доедем. Вернулся к машине. Прыг за баранку и вперёд. И в тот же миг чувствую щелчок лёгкий: “П-цух”. Пассажир-то мой ещё:

— Ой-ёй, — говорит, — наехали, что ли, на что?

— Да, похоже, — отвечаю, — чуть бордюр зацепили. Не страшно.

Иду себе на разворот, на выезд с заправочной станции и тут в зеркало заднего вида ловлю взглядом, как какой-то мужик что есть мочи бежит мне во след и кричит что-то.

Скорость снизил. Окошко приоткрыл. Слышу:

— Стой! Пистолет! Стой! Пистолет!

И тут меня прямо-таки жаром всего обдало. Пистолет-то я из бензобака не вынул!

Остановился. Выскочил. Точно: пистолет так и торчит в горловине. Из шланга его вырвал.

Мужик подбегает бледный:

— Ну, ты, паря, даёшь, — только и бормочет. — А если бы искра? А?

Вынул он пистолет и, ни слова больше не говоря, пошёл обратно. Да... Такие вот дела...

Вскоре доехали мы с клиентом моим до места. Недалёко было-то. С километр, наверное, может, чуть больше. Остановились. А он сидит — не выходит.

— Слушай, — говорит, — чё-то ноги не идут. Давай перекурим.

Покурили.

— Да-а, — говорит мне пассажир-то мой, — а если бы точно искра? Улетели бы мы с тобой высоко-высоко. А? И заправка бы под нами долго дымилась.

Да как зарядёт! Потом подскочил и — бегом из машины. Даже не рассчитался. Вот такие дела, — подытожил я свой рассказ.

Смотрю на друга своего. А он как-то спокойно на меня смотрит. И даже слегка в усы улыбается. Чего, думаю, у него-то улыбка? Он-то уж вроде бы всё понимает. Друг всё-таки.

А он словно прочитал мой вопрос.

— Не могло быть искры, — говорит. — Много дел тебе ещё надо сделать. Вот потому-то тебя Бог и хранит. Понятно? А вообще, и с женой, и за рулём — аккуратнее. Дорога-то — дело серьёзное.

## КЛАВКА

В дежурке у Клавки холодно, электробатарей греют неважно, и ветер всё гудит, гудит в щелях под крышей. Близится конец навигации, и химпричал принимает последние суда, загружает в них остатки медной руды, ещё лежащей кучами, чуть присыпанными снегом, но скоро зачистка, пройдёт

неделя — и всё замрёт, замолчит здесь до весны, только метель, шальная и простудная, будет вертеть свою пляску.

Работает Клавка в третью смену, ночью тут поспокойнее, несуетно, раза три по телефону начальник смены спросит, как идут дела, и она отвечает, сколько трюмов насыпано и были ли перебои на транспорте.

Но сегодня с погрузкой тянут, всё ждут приподнявшийся с низовьев “Волго-Дон”, и время у Клавки тянется медленно: она то пытается читать, то, оставив книгу, поднимается со стула, приплясывает, чтобы отогнать сон и согреться. Одевается она легко, понаряднее, всё будто ждёт кого-то, всё кажется ей, что тот единственный человек вот-вот явится, заговорит с ней ласково и добро, как уж давно с ней никто не разговаривал.

Родом Клавка из деревни, и, может, никогда не оказалась бы она в городе, если б не умер от язвы желудка прошлой осенью отец, и не осталось при матери, постаревшей сразу, двое младших Клавкиных братьев.

Отец её работал шкипером, подолгу разъезжал, сопровождая продовольственные грузы, часто без меры пил с мужиками, отчего и погубил себя, не дожив до сорока пяти и осиротив детей. Но всё ж память об отце осталась у Клавды светлой: был он добряк и балагур, привозивший постоянно из рейсов подарки и любивший порассказать, где был и что видел.

Так вот и устроилась Клавка работать у реки, встречать и провожать суда, как некогда встречала и провожала отца. Найти место можно было и в деревне, но зарплата там меньше. А тут и при месте, и учиться заочно в сельхозтехникуме.

Сегодня Клавке грустно — кончается навигация, приближается зима. Всё бы ничего, будь она дома, но в общежитии как-то не находилось близких людей: девчата все модницы, старше неё, постоянно смеются над ней, “девчухой-деревухой” кличут...

Клавка глядит на белый пластмассовый телефон, и так ей хочется, чтобы пришёл поскорее этот запропавший “Волго-Дон”; верится, что зайдёт в её дежурку погреться какой-нибудь моторяга, с которым можно будет поговорить о том о сём, послушать его рассказы, а потом проводить за порог и долго ещё смотреть в темноту, ощущая дыхание замерзающей реки, слыша лёгкое потрескивание льда в заводях...

К концу смены Клавка одиноко выходит на край причала, подняв воротник лёгонького пальто.

Ночи длинные, осенние. Клавка вздыхает и говорит чуть слышно: “Ну, ничего... в другой раз, значит...”, — а сама всё смотрит вдаль, надеясь увидеть едва приметный блеск гакабортного или топовых огней “Волга-Дона”, которого всё нет и нет.

Она замерзает, вновь возвращается в дежурку, стоит, прислонившись к батарее, глядит в тёмное окно. А смена кончается, Клавка делает записи в журналах учёта, складывает их стопкой. Растворяется дверь, входит сменщик, одноногий старик Халилов. Он стучит своим деревянным протезом и с акцентом спрашивает:

— Ну, как, дэфка?.. Ничэго?.. Не замэрзла? — От него припахивает сивушным душком, он непомерно весел с утра, хватает Клавку за плечи и кричит ей в самое ухо:

— Эх-хэ-хэ-э!.. Годков бы трыдцать мнэ назад, я б погрэл тэбя, дэфка. Хэ-хэ-хэ-э!

В город Клавка добирается электричкой, и, когда входит в общежитие, на улице уже светает. Она заходит в комнату, раздевается торопливо и, не позавтракав, ложится в кровать. Думается ей о доме, о матери и двух братишках, которых она давно не видела, вспоминается родная деревенька... С тем и засыпает она, свернувшись калачиком и спрятав голову под одеяло.

## ОТКРЫТКА

Редко я писал своей бабушке, очень редко. Поздравлял, может быть, с очередным Новым годом да Всемирным женским днём. И вот недавно, взяв по привычке четыре мартовские открытки, разложил их на столе и только тут понял, что одну из них отправить не придётся...



Долго я сидел над ней, вспоминая свои детские годы, и было мне одиноко и грустно. Отец мой никогда не ездил к своей матери, скорее всего, потому, что рано оторвался от дома и воспитывался у дядьёв и тёток, а мать его, потеряв в тридцатые первого мужа, вышла замуж вторично, и у неё была новая семья.

Я заканчивал второй класс и, узнав про то, что у меня где-то есть бабушка, так запросился к ней, что родители уступили и отправили меня со знакомыми, ехавшими в том же направлении. Помню ночь, когда высадили меня из поезда на перрон, и тут же, среди огней, туалетного запаха железной дороги, среди вагонного скрипа и лязга, всевозможных теней и незнакомых лиц, услышал я хриплый, но мощный голос:

— Внука у меня не видели?! Вадиком звать. Маленький он. В костюмчике синеньком. Ва-адик! Ва-адик!

Это и была моя бабка — толстая и шумная. Помню утро следующего дня. Должно быть, совсем недавно открылись магазины, а бабка уже вернулась домой с большой банкой сока, полной сеткой лимонада и бутылкой коньяка. А было мне тогда девять лет.

Помню застолье и маленькие свежие огурцы, которые бабка ещё незрелыми сорвала в парнике. На стуле я сидел важно и в тот день впервые поднял рюмку наравне со старшими.

Ночью того же дня долго я не мог заснуть, потому что думал о том, как пойду на обещанную мне новым дедушкой рыбалку, всё слушал, как стучат и стучат настенные ходики, и вдруг услышал в соседней комнате разговор:

— Ты что? Последние деньги издержала? На какие шиши будем месяц доживать?

— Да ничего, как-нибудь. Внук ведь приехал, внук.

Вскоре я отгостился и уже не приезжал больше. Много раз приходилось мне позже бывать в гостях у разных людей, многим меня щедро угощали, но вот помнится отчего-то именно та застольная бесшабашность бабки моей, и всё звучит её голос: “Да ничего, как-нибудь. Внук ведь приехал, внук”.

И не стало бабки... Но всякий раз, как случится мне ехать поездом — в отпуск ли, по делам ли службы, — всякий раз ловлю себя на мысли, что ищу меж провожающих лицо бабки моей, ищу и не нахожу. А так хочется, чтобы кто-нибудь прокричал на всю вокзальную ширь вдогонку тронувшемуся поезду: “Привет им передавай! Отцу привет, матери привет! И приезжай, ведь жду я, жду...”

И ещё что-то кричала мне бабка, но я уж не слышал; всё быстрее и всё дальше уносил меня от неё поезд — не догнать, не расслышать. Не слышу и сейчас, только сижу вот возле окна и посматриваю то в ночную темень, то на оставшуюся открытку. Всё смотрю и смотрю...

## МУШНИ ЛАСУРИА



### “ДРУГ БЕЗ ДРУГА НАС ПРОСТО НЕТ...”

#### БАЛЛАДА О БЛУДНОМ СЫНЕ

Его никто не ждал: ни дети, ни жена.  
Зачем ему семья? Обузою она  
Является тому, кто милый кров оставил.  
Сегодня он обут, а завтра он разут.  
Он — блудный сын, и что ему семейный суд,  
Когда он пренебрѣг всем сводом кровных правил.

Но вышло так, что вдруг его печальный путь  
Внезапно повернул к родимому порогу...  
Друзья? Нет, не о них болит и ноет грудь...  
Зачем идти домой?  
Иди куда-нибудь!  
Но вдруг пустился он в обратную дорогу.

Две мысли жили в нём. Две грани. Две души.  
А проще говоря, в одном — два человека.  
Когда страдал один,  
Другой кричал: глуши  
Ненужную тоску и в новый край спеши,  
Ищи случайный кров для нового ночлега!

---

*ЛАСУРИА Мушни Таевич родился в 1938 году, известный абхазский поэт, учившийся в России. Автор нескольких сборников, переведённых на русский язык в 1960–1980 годы.*

Что было позади? Моря и корабли...  
Машины, поезда, мечты и сновиденья...  
Дорога в Никуда... На самый край земли!  
Так вот куда его порывы завели,  
В которых видел он свет вешего прозренья!

Что было позади? Солёный вкус слезы.  
Что было позади? Души невнятный ропот,  
Туманный дым надежд да юности следы,  
Да горькие плоды сердечной пустоты,  
Да прожитых годов почти ненужный опыт.

Он одиноко шёл, по-своему смотря  
На небеса, на мир, торжественный и чудный...  
Не холод и не зной, а горечь бытия —  
Вот всё, что ощущало блудное дитя...  
И пробил час — домой сын воротился блудный.

Все рады. Он один почувствовал печаль.  
Уже он вне себя.  
Уже глядит на двери.  
Его опять зовёт неведомая даль...  
Неужто до утра жить в этом доме? Жаль!  
И снова он влюблён во все свои потери!

*Перевёл Ст. Куняев*

## РАЗГОВОР С МОРЕМ

Море шепчет:  
— О чём грустишь,  
К берегам моим тихо выйдя,  
И задумчиво так стоишь,  
И глядишь, ничего не видя!

— Что с тобою? — звенит волна. —  
Что случилось с твоей душою?  
Или та, на весь мир одна,  
Стала вдруг для тебя чужою?

Или много в твоей судьбе  
Тех, кто с дружбой спешил легковесной?  
Или стало трудно тебе  
По строке вынашивать песню?

Или так очевидна тщета  
Дней твоих под сенью небесной,  
Или так недоступна мечта,  
Та, которую звал с надеждой?

Дай плечо мне —  
Тоску отпущу,  
Дай свой взор —  
Очарую бездной.  
Дай огонь твой —  
В пожар превращу,  
Сердце дай —  
Переполню песней!

Прикипай  
К моим парусам,  
Синевою моей напейся,  
Видишь —  
Небо послушно нам!  
Будь со мной.  
На меня надейся.

Друг без друга нас просто нет,  
Стихнет в сердце и звон, и пенье.  
Я — не море, ты — не поэт,  
Если мы прекратим наступленье!

*Перевёл А. Передреев*

\* \* \*

Горы Абхазии,  
Вы словно груди  
Древней моей страны!  
Вьются речушек  
Молочные струи  
Из голубизны.

Дикие козы,  
Как по тревоге,  
Выскочили на склон.  
Но у охотника  
Крепкие ноги,  
Смел и опытен он!

Где бы я ни был,  
Гордый Эрца́ху,  
Я у тебя в плену,  
Ты, воспитавший  
Нашу отвагу, —  
Дай на тебя взгляну!

За перевалом  
Взглядом окину  
Острый пик Гуара́п.  
Надо взобратъся мне  
На вершину  
За птицей акап-ка́п.

Горы Абхазии,  
Вы словно груди  
Древней моей страны!  
Вьются речушек  
Молочные струи  
Из голубизны!

*Перевёл Ст. Куняев*

.....

*Поздравляем выдающегося поэта Абхазии, друга Николая Рубцова, Анатолия Передреева и Вадима Кожинова, преданного друга России, с восьмидесятилетием! Вся его творческая жизнь — это укрепление дружбы между народами Советского Союза и государствами, возникшими после его рукотворного распада. Мушни Ласуриа известен как поэт, который перевёл Руставели “Витязь в тигровой шкуре” на абхазский язык, а совсем недавно он закончил и издал для абхазского читателя перевод пушкинского романа “Евгений Онегин”. Честь и хвала тебе, великий труженик!*

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

## “ДНЕВНИК ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ”

\* \* \*

6 апреля 2013 года юрист Барщевский в передаче Владимира Соловьёва весьма своеобразно заступился за думцев, которые держат деньги в офшорах: “При таких наездах на них в Думе не останется интеллигентов, – задумчиво произнёс Барщевский и добавил: – А на их место придут кухаркины дети”.

Одна весьма интеллигентная вдова писателя, живущая в одном доме со мной, желая угодить мне, сказала при встрече о моём старшем внуке: “Хороший мальчик, сразу видно, что не слесарев сын”.

Профессор и преподаватель МГИМО Юрий Пивоваров в телевизионном поединке “Суд времени”, будучи членом команды телевизионщика Млечина, заявил: “Советский человек – это антропологическая катастрофа”.

Я исхожу из того, что “кухаркины дети” – это выходцы из простонародья, и вот что думаю по поводу всего сказанного. Конечно, этот советский “антропологический недоносок” совершил непростительное преступление, позволив “антропологически совершенным” арийским особям одержать победу над “унтерменшами”. Конечно, в этом виноваты дети сапожников Сталин и Жуков, дети крестьян Твардовский и Конёнков, дети рабочих Косыгин и Кожедуб. Не менее страстно, чем Барщевский и Пивоваров, их презирал знаменитый поэт советской эпохи, вышедший из среды “антропологически совершенных” профессиональных революционеров-аристократов, который даже сочинил стишок о советских “недочеловеках”:

*Кухарку приставили как-то к рулю,  
она ухватилась, паскуда.  
И толпы забегали по кораблю,  
надеясь на скорое чудо.*

*Кухарка, конечно, не знала о том,  
что с ними в грядущем случится.  
Она и читать-то умела с трудом,  
ей некогда было учиться.*

*Кухарка схоронена возле Кремля,  
в отставке кухаркины дети.  
Кухаркины внуки снуют у руля,  
и мы не случайно в ответе.*

Конечно, отпрыск революционеров-аристократов Булат Шалвович Окуджава, чей близкий родственник с той же фамилией приехал в Россию в апреле 1917 года в запломбированном вагоне, имел полное право смотреть свысока на эту простонародную чернь вроде Шолохова, Есенина, Георгия Свиридова, Ивана Конева, Юрия Гагарина, Валерия Чкалова, Николая Рубцова...

Такой вот “аристократический” социальный расизм образовался в нашем обществе за последние четверть века! Люди забыли о том, что до революции почти половина населения России не умела читать и писать. Что ликбез, на занятиях которого моя крестьянская бабушка Дарья Захарьевна по слогам повторяла: “Мы не рабы – рабы не мы”, – не выдумка большевистского агитпропа, а реальность. Что избы-читальни, лампочки Ильича, чёрные тарелки радио на свежих телеграфных столбах в деревнях России были не мифом вроде нынешнего Сколково, а настоящим национальным проектом, после осуществления которого появилась надежда, что страна создаст из “кухаркиных детей” многомиллионные армии учителей, врачей, агрономов, строителей городов, лётчиков, геологов, железнодорожников, писателей, актёров...

Эти простые, но великие истины хорошо понимал один из талантливейших “кухаркиных детей” – поэт Ярослав Смеляков, написавший после войны стихотворение о советской женщине двадцатых годов:

*Сносились мужские ботинки,  
армейское вышло бельё,  
но красное пламя косынки  
всегда освещало её.*

*Любила она, как отвагу,  
как средство от всех неудач,  
кусочек октябрьского флага —  
осеннего вихря кумач.*

*В нём было бессмертное что-то:  
останется угол платка,  
как красный колпак санюлота  
и чёрный веноч моряка.*

*Когда в тишину кабинетов  
её увлекали дела —  
сама революция это  
по каменным лестницам шла.*

*Такие на резких плакатах  
печатались в наши года:  
прямые черты делегатов,  
молчащие лица труда.*

Такое лицо было у моей матери и у её старших сестер – тёти Поли и тёти Дуси, то есть у трёх дочерей моей бабушки Дарьи Захарьевны, калужской крестьянки, которая, споря с моей матушкой, острой на язык и часто ругавшей советскую власть, говорила ей:

– Ты, Шурка, советскую власть не ругай, я вот неграмотная, а ты при этой власти два института кончила...

\* \* \*

Посмотрел по телящику фильм “Белый тигр”, поставленный Кареном Шахназаровым, о поединке советского танкиста Петрова, почти сгоревшего в танке, но каким-то мистическим чудом выжившего, чтобы объявить охоту на

таинственный немецкий танк “Белый тигр”, которая может закончиться лишь окончательной гибелью одной из сторон.

“Белый тигр” неуловим. На него организуют облавы из целых танковых частей, но он появляется на поле боя всегда неожиданно и всегда с самой неуязвимой для себя стороны, расстреливает советские “тридцатьчетвёрки” и уходит, как невидимка, чтобы появиться там, где его не ждут.

В последней дуэли один на один Петров выследил – таки врага, выстрелил первым и подбил башню “Белого тигра”. Казалось бы, конец, башня закинута, но тут орудие “тридцатьчетвёрки” разрывается от последнего залпа, и подбитый зверь войны уползает в туман. Фильм заканчивается клятвой нашего танкиста в том, что окончательная победа над мировым злом будет одержана после того, как будет сожжён этот бессмертный символ зла.

Однако в нескольких последних кадрах из тьмы выплывает фигура человека с чёлкой на лбу, в профиль похожего на Адольфа Гитлера, с печалью произносящего в пространство монолог о том, что он должен был выиграть эту войну: “Мы нашли мужество осуществить то, о чём мечтала Европа... Разве мы не осуществили мечту каждого европейского обывателя... Они всегда не любили евреев... Всю свою жизнь они боялись этой страны на востоке... этого кентавра... России. Разве мы придумали что-то новое?... Мы просто внесли ясность в то, где все хотели ясности... Теперь же немецкий народ сделают виновником всего...”

Так почему же он проиграл эту схватку с “азиатско-русскими варварами”, на которую получил благословение всей цивилизованной и объединённой его волей Европы? Вскоре после просмотра фильма я раскрыл книгу Василия Белова “Час шестой”, вручённую мне к моему семидесятилетию с дарственной надписью: “Дорогие Галя и Стасик! Я вроде бы дарил вам этот “кирпич”. История его (такого издания) – почти детективная история. Если будете читать, это заметите. Ах, не зря говорится, что кого Господь решит наказать, того Он лишит памяти... Только читать надо внимательно. Может, у вас уже имеется эта книга? Пусть будет и эта в честь твоего, Стасик, юбилея! До свидания. Белов. 15 июля 2003 г.”

Я взял толстенный (950 страниц!) том в руки, и он вдруг раскрылся на титульной странице второй части, озаглавленной “Год великого перелома. Хроника начала 30-х годов”. На обороте страницы в центре стояла колонка текста, прочитав который я понял, почему Белов просил читать внимательно и почему он написал уже для всех нас о том, что “кого Господь решит наказать, того Он лишает памяти”...

Это была цитата из Энгельса, чей профиль навсегда впечатался в мою память с детских лет, когда на первомайских послевоенных демонстрациях он был впаян на знаменах в один ряд с Марксом, Лениным и Сталиным. Немец, еврей, грузин и Ленин – “четверо евангелистов”, написавших, по убеждению Белова, теорию революции и практику коллективизации. Текст Энгельса, выделенный Беловым в центр страницы, гласил:

“Всеобщая война, которая разразится, раздробит славянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые национальности вплоть до их имени включительно. Да, ближайшая всемирная война сотрёт с лица земли не только реакционные классы и династии, но и целые реакционные народы, и это также будет прогрессом.

Мы знаем теперь, где сосредоточены враги революции: в России и в славянских землях Австрии... Мы знаем, что нам делать: истребительная война и безудержный террор. Фр. Энгельс”.

Страшные слова и мысли, которые почти буквально и не раз повторил Адольф Гитлер на страницах зловещей книги “Майн кампф”.

Борьба белой цивилизованной Европы со славянством, с азиатством, с восточным варварством, с “реакционными народами” и “мелкими тупоголовыми национальностями”... Вот какова была программа Европы и при Наполеоне, и при Меттернихе, и при Бисмарке, и при Энгельсе, и при Гитлере... Недаром Вадим Кожинов писал о том, что Восточная Европа, в сущности, является кладбищем многих славянских этносов, перемолотых немецко-тевтонской силой.

Так чем же взгляды марксиста Энгельса отличаются от взглядов национал-социалиста Адольфа Шикльгрубера или Йозефа Геббельса, называвших всех без исключения славян “варварами”, “татарами”, “азиатами”? Означает

ли это, что германский менталитет сильнее мировоззренческих, идеологических, политических, партийных и даже религиозных разногласий? Неужели знаменитые слова Сталина о том, что “гитлеры приходят и уходят, а германский народ остаётся”, мы поняли неправильно, решив, что сущность “дранг нах Остен” заключается в гитлерах, а на самом деле она заключается и в ангельсах, и, может быть, в самой генетике, страшно сказать, немецкого народа?

Как бы там ни было, но Белов создавал свою последнюю книгу о трагедии русского крестьянства, думая об этом. И переключка его мыслей с монологом Гитлера из фильма “Белый тигр” не случайное совпадение...

То, что пронизательный историк Иосиф Сталин догадывался об этой извечной европейско-германской мечте, изложено в воспоминаниях югославского политика Милована Джиласа, который встречался со Сталиным незадолго до окончания Второй мировой войны: “Он без подробных обоснований изложил суть своей панславистской политики:

– Если славяне будут объединены и солидарны, никто в будущем пальцем не шевельнёт. Пальцем не шевельнёт! – повторил он, резко рассекая воздух указательным пальцем.

Кто-то высказал мысль, что немцы не оправятся в течение последующих 50 лет, но Сталин придерживался другого мнения:

– Нет, оправятся они, и очень скоро. Это высокоразвитая промышленная страна с очень квалифицированным и многочисленным рабочим классом и технической интеллигенцией, лет через двенадцать-пятнадцать они снова будут на ногах. И поэтому нужно единство славян. И вообще, если славяне будут едины, никто пальцем не шевельнёт”.

Пророческие слова, но нет пророка в своём Отечестве... И памятник Фридриху Энгельсу гордо высится напротив храма Христа Спасителя.

\* \* \*

27 ноября 2002 года, в день, когда мне исполнилось 70 лет, я затемно проснулся, быстро оделся и открыл входную дверь. Но за спиной раздался голос жены:

– Ты куда?

– Я за газетами. Надо посмотреть, что они пишут о моём юбилее. Прочитаешь и наконец поймёшь, с кем живёшь всю жизнь, – пошутил я и побежал вниз по лестнице.

На улице сеял мелкий снег. Было холодно и сыро. Но дышалось легко. В рассветной полутьме возле газетного киоска толпилась очередь. Подойдя к окошку, я спросил газету “Завтра”, в которой должна была выйти беседа со мной. В ярко освещённом кубе киоска, как рыбы в аквариуме, плавали две продавщицы. Одна из них деловито и холодно ответила мне:

– Этой националистической газетой мы не торгуем.

– Тогда дайте “Советскую Россию”! – Но ответ был неутешительный:

– Коммунистической прессы у нас нет!

Я схватился, как за соломинку, за “Комсомолку”, вспомнив, что в ней должны быть опубликованы мои стихи.

– Было четыре экземпляра – все продали!

Спиной я почувствовал, что очередь людей, жаждущих схватить в киоске какое-нибудь чтиво и нырнуть в метро, начинает ненавидеть меня, и в отчаянии прокричал киоскершам:

– Ну, дайте хоть “Литературку” или “Труд”! – В них, как мне помнилось, что-то должно было появиться о моём юбилее.

– Нет ни того, ни другого! – последовал ответ не на шутку разгневанной киоскёрши.

Я взбеленился:

– А что же у вас есть?!

– Только “Московский комсомолец”!

– Ах, вы только жёлтой прессой торгуете? Да взорвать бы ваш киоск!

И это было роковой ошибкой с моей стороны, поскольку незадолго до того в Москве прогремел взрыв в одном из подземных переходов. Обе киоскёрши – крепкие, розовощёкие, наглые – в ярости высунули свои мордочки в окошко:



– Отойди от киоска, старый козёл!

Униженный и оскорблённый, я повернулся спиной к этим ведьмам и побрёл домой без единой газетки. Ноги мои вдруг потеряли упругость и стали шаркать по мокрому асфальту.

– Ну, где твоя хваленая пресса? – спросила меня жена.

Я развёл руками и рассказал ей про своё унижение.

– Не огорчайся! – утешила меня Галя. – Сейчас приедешь на работу, тебя сотрудники поздравят, цветы преподнесут, ты сразу и помолодеешь!

Позавтракав, я вновь пошёл к метро, спустился в его чрево, пройдя мимо мерзкого киоска, дошёл до турникета и стал искать в карманах “Карточку москвича”, дающую право на бесплатный проезд, но быстро понял, что забыл её дома. Женщина в форме, стоявшая возле турникета, естественно, преградила мне дорогу.

– Дорогая! Пропусти, ради Бога! Карточку я забыл, а подниматься по лестнице за билетом неохота!

Но женщина в форме была сурова не менее, чем киоскёрши:

– Не теряйте времени на разговоры, подымитесь и купите билет!

Я взмолился:

– У меня сегодня день рожденья, мне семьдесят лет исполнилось, вот, поглядите мой паспорт!

Я протянул блюстительнице порядка свою “краснокожую паспортину”, но она оскорблённо отстранила мою дрожащую руку и холодным казённым голосом отчеканила:

– Не издевайтесь надо мною, молодой человек!

Вот так вот в течение получаса мне удалось побывать и “старым козлом”, и “молодым человеком”... Весёлая вещь – юбилей!

\* \* \*

Василию Гроссману на фасаде дома № 23 по улице Красноармейской усилиями фонда “Холокост” и его руководительницы Аллы Гербер повешена мемориальная доска, гласящая, что автор здесь жил и творил свои бессмертные произведения.

Многие старожилы кооператива “Советский писатель” были против этого, резонно доказывая, что Гроссман здесь бывал, приходил к друзьям в гости, но законным жильцом никогда не был.

Ну, а если и так? Неужели лауреат романа “За правое дело” не может быть увековечен памятной доской, не за то, что он жил или не жил, а просто так, за великие идеи и мысли, которые до сих пор живут на страницах его книг? Ну, давайте вспомним, с каким пафосом Василий Семёнович прославлял Сталина, советский народ и советскую эпоху.

В романе “За правое дело” он рисует образ Сталина, произносящего с мавзолея свою знаменитую речь 7 ноября 1941 года, а в его очерке “Треблинский ад” еврейские подростки перед дверьми газовых камер кричат в лицо гитлеровским палачам: “Русские отомстят!”, “Сталин отомстит!” – и поют песню “Широка страна моя родная!” Он, конечно, заслужил мемориальную доску на фасаде писательского дома.

Правда, через несколько десятилетий Гроссман в повести “Всё течёт” называет Россию “рабой”, но эти превращения произойдут с ним, видимо, после близкого знакомства с Аллой Гербер: только женщина могла подействовать на мужчину столь сильно, что он изменил своим прежним убеждениям.

\* \* \*

29 июля 2015 года. “Эхо Москвы”

Сванидзе яростно спорит с Яровой:

“Сталин и КПСС отняли победу у народа... Кончилась победа салютом и “белым кителем”, и скромной похвалой народу”.

Яровая возражает историку – вспоминает великие кинофильмы о войне: “Летят журавли”, “Баллада о солдате”, “Сын полка”. Всё это наследие, если такие, как Сванидзе, придут к власти, будет запрещено. Война и Победа – един-

ственное, что ещё объединяет наш народ, спасая от поражения в 90-е годы.

Сванидзе негодует:

*“Из кремлёвской стены нужно выселить всё руководство. Там захоронены кровавые монстры, расстрелявшие тысячи людей!”*

И такой болтун-журналист ещё смеет называть себя историком! Ну, тогда и Петра Великого надо выбрасывать из Петропавловской крепости, и Ивана Грозного изымать из его кремлёвской гробницы.

*“Ленин – это Древний Египет, гробница фараонов!”* – визжит Сванидзе.

Ну, и что? Сванидзе забыл, что тысячелетиями к гробницам фараонов “текут людские толпы”, испытывая священный восторг перед величественными картинами минувшей истории человечества, и никому нет никакого дела, сколько тысяч египтян было положено в основание пирамиды Хеопса...

\* \* \*

Слово, произнесённое в Калуге во время присвоения мне звания “Почётный гражданин Калужской области”.

“Я очень волнуюсь, и я по-настоящему счастлив. Я благодарю за оказанную мне честь писателей, журналистов, общественных деятелей, которые выступили с инициативой о присвоении мне почётного звания.

Я благодарю вас, законодатели области, поверившие своей интеллигенции.

Моя сердечная признательность Виктору Михайловичу Колесникову и Валерию Васильевичу Сударенкову, благословившим и утвердившим ваше решение. Эта награда для меня дороже всех других наград, полученных мной.

Русская пословица гласит: “Где родился – там и сгодился”. Я родился, учился, издал свою первую книгу и написал все остальные в родных стенах на калужской земле.

Я сын своей малой родины, в земле которой лежат мои предки, мои родные и близкие, в книгах памяти которой записаны имена мужчин из нашей некогда большой семьи.

Обещаю вам и впредь, насколько хватит сил, помогать моим землякам – политикам-патриотам, учителям, библиотекарям, писателям, журналистам – возрождать нашу землю и созидать на ней жизнь, достойную русских людей.

Но заботясь о малой родине, не будем забывать о всей России. Она вступила в роковой и опасный период истории, когда жизнь заставляет нас отбросить политический бред о прозрачных границах, о суверенитете, который каждый из субъектов федерации может проглотить столько, сколько в него влезет, о розовой утопии федерального устройства по образцу США. Их страна ограждена от всех агрессивных ветров двумя океанами, в то время как Россия целое тысячелетие выдерживает напор истории то с Запада, то с Юга, то с Востока. И если она до сих пор устояла на ногах, то лишь потому, что обладала мощной объединительной общенародной и общегосударственной волей... Пришла пора вспомнить об этом. Отдельно друг от друга, поодиночке мы не спасёмся. Сплочение, единство, собранность – вот наша надежда.

Ещё раз благодарю всех вас. Низкий поклон Калужской земле. Да здравствует Россия!”

\* \* \*

Россия – литературоцентристская страна.

Вот почему Православие наше стало утверждаться в сознании народа с послания митрополита Илариона “О Законе и Благодати” и с летописи “Повести временных лет”, созданной в Киево-Печерской лавре.

Вот почему наши Пушкин и Есенин – своеобразные *святые русской жизни*. Вот почему часть народа нашего поверила Солженицину, что при советской власти было уничтожено от 40 до 60 миллионов граждан. Поверила потому, что Солженицин был не историк, не политик, а писатель. А отсюда уже всё пошло-поехало.

В современном музее “сталинских репрессий” уже как о непреложной истине объявляют о 700 тысячах расстрелянных в 1937–1938 годах, на самом же деле множество самых честных источников определили, что от 650 до 700 тысяч смертных приговоров (не расстрелов!) было вынесено при советской власти не за два года (1937–1938), а за 29 лет сталинского правления – с 1924-го по 1953 год.

Поистине, вспомнишь Геббельса: “Ложь, чтобы ей поверили, должна быть чудовищной”.

Знаменитый по временам холодной войны на Тихом океане контр-адмирал Анатолий Тихонович Штыров после выхода в отставку несколько лет изучал архивы колымского лагеря Дальстрой, в котором, по утверждениям А. Солженицына и скульптора Эрнста Неизвестного, погибло несколько миллионов заключённых, в основном политических. Но Штыров, тщательно изучив документы Дальстроя, установил, что концлагерь функционировал 14 лет – с 1939 по 1953 год; что заключённых туда перевозили на единственном транспортном судне “Джурма”; что это судно брало на борт не более 2 тысяч человек; что за один навигационный сезон оно совершало не более 12 рейсов и доставляло с материка не более 30 тысяч пассажиров, в числе которых, кроме осуждённых, были и “вольняшки” – “геологи, строители, лётный состав, врачи и, наконец, охранные войска”.

Следовательно, итожит Штыров, за 14 лет “бесперебойного функционирования из бухты Нагаево на Колыму” было перевезено не более “400 тысяч заключённых”.

“Из статистики, – добавляет Штыров, – кроме того, известно, что до 1940 года из доставленных на Колыму заключённых составляли: “политические” – до 5%, “бытовики” – до 50%, уголовники – до 45%. В период 1944–1952 годов статистика изменилась: “политические” – до 1%, “бытовики” (растратчики, спекулянты, аферисты и пр.) – до 25%, ошмётки войны (бандеровцы, власовцы, “зелёные братья”) – до 30%, уголовники (бандиты, воры, насильники) – до 40% <...> “совесть эпохи” Александр Исаевич соврал ни много ни мало, а в 15 раз”...

Особенно важны эти документальные изыскания контр-адмирала А. Т. Штырова сейчас, когда 2018 год объявлен “годом Солженицына” в связи со столетием рождения автора “Архипелага...”

(Анатолий Штыров. “Приказано соблюдать радиомолчание”. “Русский мир”. М., 2017. С. 89–90).

\* \* \*

Надо спросить у духовника власовской армии отца Александра Киселёва, пока он жив: “Кто олицетворял русскую историческую правду – Власов или Жуков?”

Желание власовцев смерти советской системе совпадало с желанием американской элиты. Но сейчас, после 1993 года, они, эти старики, носители последних клочков белой патриотической идеи “о великой и неделимой”, что они чувствуют, глядя на обглоданную карту великой империи, на вырванный, словно из окровавленной туши грудь, контур Украины, на отрезанное подбрюшье Средней Азии, на отвалившийся Кавказ? Мучаются ли они угрызениями совести в тайных глубинах души, льют ли *невидимые миру слёзы* по “великой и неделимой”?

\* \* \*

Весь склад русской души и весь ход русской истории был или враждебен рынку, или равнодушен к нему.

Россия при всех её неисчислимых природных богатствах никогда не жила богато. То, что она кормила хлебом всю Европу, – это легенда.

При урожаях от 5 до 10 центнеров с гектара это было невозможно. Дай Бог, если у среднерусского крестьянина хлеба хватало до Пасхи.

Помнится, как в какой-то статье начала 80-х годов прошлого века я саркастически издевался над западными идеологами рынка, которые лепили на

свои товары “Мону Лизу”, “Сикстинскую мадонну”, “Тайную вечерю”. Я само-надеянно думал, что у нас такое невозможно. Вся великая небесная рать русских духовных витязей этого не допустит. У нас ведь Пушкин проклял в “Скупом рыцаре” и в “Пиковой даме” власть злата, у нас Настасья Филипповна царственным жестом бросает в камин пачку денег, у нас Александр Блок ненавидит буржуа и шепчет: “Отойди от меня, сатана”, — у нас Есенин с грустной улыбкой шутит по поводу своего бессребренничества: “Да! Богат я, богат с излишком. // Был цилиндр, а теперь его нет. // Лишь осталась одна ма-нишка // с модной парой избитых штиблет.” А его идейный враг Маяковский подаёт Есенину руку, как брату: “Мне и рубля не накопили строчки”... И Цветаева — нищая изгнанница — окликает их обоих из тьмы “европейской ночи” и пророчесствует, обращаясь к самодовольным людям Запада: “Вас положат на обеденный, а меня на письменный”.

\* \* \*

Нас обвиняют в поражениях и потерях в начале войны якобы потому, что в армии были чистки высшего комсостава, потому что Сталин разоблачал всяческие заговоры, потому что все герои испанской войны были расстреляны, потому что разведка не помогла точно определить время нападения немцев на нас.

Но как бы то ни было, а к декабрю стало ясно, что “блицкриг” не удался. И ещё возникает такой вопрос: почему польская армия была разгромлена за две недели, а французская — за четыре, в то время как с комсоставом там было всё в порядке, никаких чисток, никаких заговоров военных ни во Франции, ни в Польше не было, никакой коллективизации, якобы “подорвавшей сельское хозяйство”, в этих странах не проводилось, никаких голодных годов, связанных с созданием колхозов, там не было... Всё в этих государствах — польском и французском — было в полном порядке: и армия, и военная промышленность, и политическая цельность власти. И не было у них бандеровцев, крымских татар или всякого рода прибалтийских “лесных братьев” — и всё равно немецкие солдаты смели одно государство с его шляхетской военной элитой за две недели, а другое, с превосходной военной линией Мажино, — за четыре.

\* \* \*

В одном из своих стихотворений Юрий Кузнецов написал: “Духом высоко Средневековье”.

В какой-то степени он был прав. Высота духа в Средневековье была. Но рано или поздно этот аскетический, инквизиторский, фанатический — если вспомнить о Крестовых походах — дух должен был выродиться. И это “вырождение” было названо “Возрождением”. Возродилась якобы некая античность, бывшая и процветавшая в дохристианское время. Но западному обществу пришлось, оглядываясь на античность и на “права человека” в античном мире, возрождать одновременно с “человечностью” и все пороки, и все ветхозаветные нравы человечества, описанные Апулеем, узаконенные на горе Олимп и острове Лесбос, воспетые Аристофаном и Катуллом.

Именно потому нравы, царившие при дворе Цезаря, были продолжением жизни, которую исповедовали царь Ирод и его окружение... Ну, как после этого не появиться Телемскому аббатству, “Декамерону”, маркизу де Саду, “Орлеанской девственнице” Вольтера, “Войне богов” Парни...

\* \* \*

Когда Мао Цзэдун впервые встретился со Сталиным, один из первых его вопросов к Иосифу Виссарионовичу был о том, как управлять народом.

Сталин без особых раздумий ответил, что “народ должен работать”. Но в этом было отличие Сталина от социалистов-утопистов, мечтавших, что при коммунизме всю чёрную работу будут выполнять машины, а люди будут

заниматься искусствами, путешествиями, развлечениями и прочей красивой жизнью.

Эта концепция исходила из того, что “труд – это проклятье”, но каким-то образом одновременно утописты пели хором, что “владыкой мира будет труд”.

Но и те, и другие при этом забывали об основной библейской заповеди: “В поте лица своего будешь есть хлеб. . .” Но что же происходит сейчас, на наших с вами глазах? Люди из правящего слоя земной жизни действительно живут согласно представлениям утопистов.

Мужчины из этого слоя разучились работать лопатой, топором, пилой, молотком, стамеской и прочими ручными инструментами, женщины разучились шить, стирать, варить пищу, ухаживать за скотиной и за детьми, топить печку. Люди отучились считать, забыли таблицу умножения, читать ещё могут, но уже не книги, а уличные вывески.

Это ли не конец света? Не об этом ли писал современник Пушкина Евгений Боратынский в стихотворении “Последняя смерть”, в котором он, на мой взгляд, предсказал вырождение человечества, узаконившего от безделья однополые браки:

*И в полное владение своё  
Фантазия взяла их бытиё,  
И умственной природе уступила  
Телесная природа между них:  
Их в эмпирей и в хаос уносила  
Живая мысль на крыльях своих;  
Но по земле с трудом они ступали,  
И браки их бесплодны пребывали.*

\* \* \*

Силы зла и разрушения получили в эпоху свободного рынка неограниченные возможности.

Рынок оружия после распада Советского Союза вырос безмерно. То же самое произошло с рынком наркотиков. Более того, возник рынок работорговли, появился рынок фальшивых лекарств, фальшивых дипломов и аттестатов, рынок любых фальшивых документов, я уж не говорю о рынке фальшивых спиртных напитков и пищевых продуктов. А если вспомнить о внезапно возникшем рынке государственных должностей или о рынке порнографических изданий. . .

А скольких людей оставил несчастными рынок мошеннических ценных бумаг (Мавроди, Н. Б. Траст, “Селенга”, “Инкомбанк” – несть им числа!).

А рынок обманутых дольщиков. . . И все эти рынки возникли, как необходимое условие для сокрушения плановой экономики, о которой наш президент Медведев на съезде бизнесменов в Красноярске с презрением сказал, что “мы ею нахлебались за 70 лет!”

Но всё равно плановая экономика будет существовать. Владыки мира всё равно будут планировать – численность какого народа надо сократить и насколько, какое количество наркотиков надо будет произвести для потребления в той или иной стране, какую валюту мира надо будет опустить, а какую – возвысить.

Так что плановая экономика производства зла и потребления “продуктов зла” бессмертна, и никакой президент с ней ничего не сумеет сделать.

\* \* \*

“Быдло” – так называли шляхтичи украинцев и белорусов. А в крайнем раздражении говорили о них “пся крев” – то есть собачья кровь. Европейцы исторически всегда были расистами по отношению ко всему третьему миру, но до уровня польского расизма они всё-таки не опускались.

Зная эту польскую слабость, Геббельс говорил Гитлеру: “Фюрер! Поляки поймут нашу расовую теорию – они судят людей по крови”. Розанов

размышлял о “копытных” и “хищных” народах. Копытные – это миролюбивый скот, быдло. Хищники бродят вокруг, но их мало. Однако копытным приходится становиться вкруговую и, защищая своих телят, угрожать “хищникам” рогами и копытами. Поляки (а скорее “шляхта”) – хищники. Польский (шляхетский) характер – тщеславный, экзальтированный, самонадеянный, хвастливый – был всегда причиной того, что любое польское движение заканчивалось в истории крахом.

В 1612 году крах произошёл от недооценки поляками русских “варваров”, русского “быдла”.

В 1812 году – потому, что они, сломя голову, поверили Наполеону, который купил поляков несколькими фразами об их храбрости и романом с Вавельской.

В 1830 году они проиграли потому, что программа восстания была написана поэтессой Ильницкой.

В 1863 году – потому, что польская шляхта восстала против отмены крепостного права императором Александром II, царём-освободителем в ихней вотчине Польше.

В 1941 году поляки поскользнулись в Едвабне на еврейской крови... Вся история Польши складывается согласно русской поговорке “бодливой корове Бог рог не даёт”...

Я перечитал все размышления русских классиков о поляках и Польше. Самые великие из них были полонофобами: Пушкин (“кичливый лях”), Достоевский (“полячишки”), Гоголь (читайте “Тараса Бульбу”), Тютчев – читайте его политическую поэзию, Константин Леонтьев – читайте его дневники, Александр Блок: “Здесь всё, что было, всё, что есть, надуту мстительной химерой” (сказано о Варшаве).

А полонофилами были второстепенные писатели – Вяземский, Печорин, Булгарин и, к сожалению, даже Александр Герцен, не говоря уже о советских полонофилах – Давиде Самойлове, Борисе Слуцком, Евгении Евтушенко и т. д.

\* \* \*

Разговаривал с близким мне человеком Александром Константиновичем Смолкой. Он создал две документальные кинокартины – “Союзники” и “Погибли за Францию”.

Первая – о нашей общей борьбе с германским расизмом, а вторая – о русском экспедиционном корпусе, сражавшемся против немцев в Первой мировой войне в составе французской армии.

Смолко приехал из Парижа, где демонстрировал свои работы в российском посольстве.

– Ну, как там потомки первой русской эмиграции отозвались о Ваших фильмах? – спросил я.

– Да они отказались прийти на просмотр, – с досадой сказал Смолко. – “Пока вы, русские, не заклейте окончательно своё советское прошлое, пока своего Ленина и своего Сталина не осудите до конца и не вынесете с Красной площади, ноги нашей не будет в российском посольстве...”

...А я слушаю его и вспоминаю 1948–1951 годы. Мы – старшеклассники 9-й средней калужской школы, у нас есть и школа танцев, в актовом зале мы танцуем щемящий душу вальс “На сопках Маньчжурии”, голос певца переполняет волнением наши юношеские души: “За павших героев мы отомстим // и справим кровавую тризну”.

Но кто отомстил, кто справил “кровавую тризну”? Конечно, тот, кто после победы над Японией сказал:

*“Много лет мы, русские люди старшего поколения, мечтали о том, чтобы смыть позор поражения, который Россия навлекла на себя в русско-японскую войну 1905 года”.*

Вальс “На сопках Маньчжурии” был написан в 1907 году. Отмщение пришло в 1945-м. Отомстил великий Советский Союз, вождём которого был Иосиф Сталин.

Так поблагодарите же, потомки Юсуповых, Шереметьевых, Голицыных и прочих знатных фамилий, этого человека. Приходите в российское посольство

9 мая и 3 сентября, когда мы празднуем Победу над Германией и Японией. Вы не сумели отомстить за павших в Маньчжурии в 1905 году, это сделали наши отцы и старшие братья. Человек вашего поколения сочинил прекрасный и печальный вальс и предсказал, что рано или поздно Россия отомстит за маньчжурский позор. И это было сделано через 40 лет солдатами и офицерами Сталина, могилу которого вы так не хотите видеть на Красной площади.

\* \* \*

ИГИЛ возник на почве мировой истории, щедро удобренной за прошедшие эпохи кровью и плотью чернокожих и краснокожих рабов. Мы ужасаемся, глядя, как современные варвары разрушают христианские и буддийские храмы. А сколько древностей разрушили американские солдаты в Ираке? А испанцы в Южной и Центральной Америке? Целые цивилизации истребили. Помню из детства свой альбом с марками — марки африканских стран “Золотой Берег”, “Марокко”, “Берег Слоновой Кости”, “Мадагаскар”, “Родезия”... Неопишущей красоты марки на самом деле означали не государства, а колонии с рабами, которых колониальная администрация удерживала в покорности при помощи иностранных легионов и террора. Эпоха Великих географических открытий была эпохой мирового терроризма, эпохой уничтожения великих культур народов майя, инков, аборигенов Австралии и Индонезии, племён Индокитая. Помню, как я зачитывался “Песней о Гайавате”, записанной Лонгфелло и переведённой на русский язык Иваном Буниным.

Но Боже мой, какое разочарование я испытал, побывав в индейском штате Оклахома, увидев дома-временки, слепленные из досок и картонных коробок, пыльную улицу, по которой ветер катал пустые банки из-под пива!

Конечно, ИГИЛ — это варвары. Но разве римляне, разрушившие Карфаген, не были варварами?

Разве крестоносцы, разрушавшие города Ближнего Востока и Византии, не были варварами? Разве не были варварами немецкие орды, взрывавшие церкви Киева, Пскова и Нижнего Новгорода, Нового Иерусалима и Гатчинские дворцы?

А англосаксы, разбомбившие Дрезден? Да на их фоне маршал Конев, приказавший брать древнюю польскую столицу Краков без поддержки бомбардировщиков и тяжёлой артиллерии, — это гуманист высочайшей культуры!

Народам нужна устойчивая, осёдлая, укоренённая в землю, в воздух, в леса и воды жизнь.

Лишь тогда они застрахованы от вируса миграции, от бегства в поисках лучшей участи, от того состояния, которое называется “перекати-поле”. “Где родился — там и сошёлся”. Лучше не скажешь.

Просвещённая Европа породила “иностранцы легионы” — наёмников, “диких гусей”, “псов войны”, которые всю первую половину XX века держали в повиновении беззащитную чёрную Африку.

Общество потребления зубами и когтями будем драться за свой уровень жизни, добытый за несколько столетий колониального владычества.

“Хлеба и зрелищ!” И неужели вы думаете, что голодные орды будут долго терпеть, чтобы 60 семейств человечества владели 90 процентами всех земных богатств?..

Я был в Дамаске, в Кербале, в Йемене, в Тунисе, в Алжире. В Багдаде смотрел, как опрятные, умные, развитые студенты университета в белых рубашках и чёрных костюмах играли на сцене для русских гостей “Женитьбу” Гоголя.

Бродил по Вавилону и посещал удивительную багдадскую государственную библиотеку. Жизнь кипела ключом там, где сегодня всюду запахи смерти. Пушкин в стихах “Подражание Корану” восторгался Востоком, а об Америке писал: “С изумлением увидели демократию в её отвратительном цинизме, в её нестерпимом тиранстве. Всё благородное, бескорыстное, всё возвышающее душу человеческую подавлено неумолимым эгоизмом и страстью к довольству”.

Смею предположить, что когда Путин, выступая на последней сессии ООН, сказал им всем в лицо: “Вы сами-то понимаете, что вы натворили?” —

он имел в виду не просто положение в Сирии, но итог всей колониальной эпохи, прожитой западным человечеством.

Конечно, такой колониально-беспощадный путь развития Европа выбрала лишь потому, что все её вожди и пророки посчитали, что белая раса — это подлинные и вечные господа и владыки третьего мира. Белый расизм стал мировоззрением и идеологией европейской и американской элиты. И теперешним европейским интеллектуалам, которые считают, что Россия тоже не без греха, что она “покорила” несколько десятков народов, я брошу в лицо слова русского человека с немецкой по рождению кровью, прожившего вторую половину жизни в Европе и похороненного в знаменитой Ницце: “Мы выше зоологической щепетильности и совершенно безразличны к вопросу о расовой чистоте, что не мешает нам быть вполне славянами. Мы очень довольны, что в наших жилах есть финская и монгольская кровь; это ставит нас в родственные и братские отношения с теми расами-париями, о которых гуманная демократия Европы не может говорить иначе, как тоном оскорбительного презрения” (А. И. Герцен).

\* \* \*

По послевоенной Калуге ещё ходили точильщики, на плечах у них были деревянные станки с колесом, с ремнём на колесе и круглым точилом, которое вращалось от нажима педали, похожей на ножную педаль швейной машинки.

— Точу ножи, ножницы! — кричали они, и жители нашего двора выползали из дверей, кто с ножом, кто с ножницами, кто с коньками “снегурочками” или даже с довоенными длинноносыми “норвежками”. И старьёвщик проезжал по улице на телеге, и кричал: “Старьё берём!”

А из окон квартиры тёти Нюры с шипением вылетали звуки песни, видимо, залетевшей к нам в Калугу в нэповское время:

*А обманешь, то знай, у креолки  
Ногти острые, словно иголки,  
И расправа моя будет краткой —  
Пусть креолку целует другой.*

А под окном на лавочке сидели два брата, два сына тёти Нюры, которая крутила ручку патефона и ставила пластинку за пластинкой.

“Цыганский табор покидая” в исполнении Вадима Козина, “Здесь, под небом чужим, я как гость нежеланный” Петра Лещенко, “В запылённой связке старых писем” Клавдии Шульженко.

В нэповское время, когда в Калуге ещё не было водопроводных колонок, воду возили в бочках на лошадях. Видимо, отсюда у моей матери выработалась одна привычка. Когда её по поводу моего обучения или поведения в школе вызывали к класному руководителю или к директору, она осуждающе глядела на меня и говорила: “Ну, учиться не хочешь — воду возить будешь!”

\* \* \*

9 Мая 2015 года

Мавзолей — шедевр работы великого Щусева — закрыт трёхцветным полотнищем, чтобы не было видно слово “Ленин”. Но оно там есть, и все знают, что там лежит основатель государства. Остался при всех лаврах, при всём почёте, при всех музеях, ему посвящённых.

Мимо обесчещенного мавзолея, мимо руководителей страны и гостей, сидящих на лавках (как бы они смотрелись на мавзолею...), глядя, как, чекая шаг, идут курсанты, суворовцы, слушатели военных академий, вэдэвэшники, идут под музыку бессмертных маршей: “Три танкиста, три весёлых друга, // экипаж машины боевой”; “Расцветали яблони и груши” — тоже маршевая музыка, как и “Броня крепка, и танки наши быстры”, где главная строчка:



“Когда нас в бой пошлёт товарищ Сталин // и первый маршал в бой нас поведёт”... И слова, и музыка маршей написаны при Сталине. Мавзолей можно закрыть, но бессмертные слова и бессмертную музыку не закроешь. А наш сводный оркестр добавляет жару, и мы в душе подпеваем:

“Артиллеристы – Сталин дал приказ...”

Проходит какое-то авиационное училище – и, конечно, организаторы шествия к этой колонне подобрали:

*Всё выше, и выше, и выше  
Стремим мы полёт наших птиц,  
И в каждом пропеллере дышит  
Спокойствие наших границ.*

На площадь с грохотом вползают ракеты С-400, ракетный комплекс “Ярс”, тёмно-зелёные, похожие на гигантских китов тупорылые ракеты, не известные мне.

Как все эти нагрузки выдерживают торцы Красной площади, как все эти нагрузки выдерживает наш народ!?

А свод военных оркестров, желая ослабить нагрузку на наши души от предыдущих колонн и сопровождающей их техники, уже наяряивает что-то легкомысленное:

*Чтоб с тоскою, друзья, не встречаться,  
Вспоминая про ласковый взгляд,  
Мы решили, друзья, не влюбляться  
Даже в самых красивых девчат.*

И под этот легкомысленный марш в небе над Красной площадью с рёвом проносятся истребители СУ-37 и штурмовики СУ-25... Жаль, высоковато летят, а то бы воздушной волной – да сорвать трёхцветное полотнище с красного мавзолея...

\* \* \*

Тела своих убитых родных и земляков цхинвальские осетины увезли хоронить в Северную Осетию.

Уничтожение кладбищ в Цхинвале грузинскими оккупантами есть особенно коварный приём геноцида.

Это осквернение сакрального обычая патриархальных общин, уничтожение праха предков, осквернение земли, в которой они лежат. Это поистине создание “выжженной земли”, операция “чистое поле”. То же самое совершали албанцы в Косово. Те, кто планирует уничтожение “моногородов” с переселением жителей в другие места, а значит, с забвением кладбищ, недалеко ушли от грузинских осквернителей праха.

О том, как тяжело расставаться с родными могилами, лучше всех написал Валентин Распутин в повести “Прощание с Матёрой”. А Кремлёвская стена – тоже кладбище. И мавзолей – тоже могила. На этих сакральных камнях покоится вся наша история.

\* \* \*

*Два чувства дивно близки нам,  
В них обретает сердце пищу:  
Любовь к родному пепелищу,  
Любовь к отеческим гробам.*

Эта мысль Пушкина никогда не покидала меня. Недаром много десятилетий тому назад, в молодости, в стихотворении “Родная земля” я написал об уезжающих за границу моих друзьях-евреях, решивших сменить родину:

*И нас без вас, и вас без нас убудет,  
Но, отвергая всех сомнений рать,  
Я так скажу, что быть должно — да будет,  
Вам есть где жить, а нам — где умирать.*

Я отдал это стихотворение Глебу Горышину, возглавлявшему в те годы журнал “Аврора”, и невольно подвёл его: вёрстка журнала каким-то образом попала на глаза первому секретарю Ленинградского обкома КПСС Григорию Романову, и он разгневался: “Как так — эти эмигранты едут на Запад жить, а нам здесь остаётся умирать”... Стихи, конечно, были сняты из журнала, помнится, что и Горышин был освобождён от своей должности...

Но по существу я был прав: посмертная судьба эмигрантов почти всегда печальна. “Темна твоя дорога, странник”, — писала Ахматова. Вспомним, как долго не могли найти место упокоения для праха уехавших в Америку Иосифа Бродского, Александра Межирова, актёра Бубы Касторского (Сичкина), чей прах годами стоял в урне в углу гаража. И прах Бродского тоже не сразу нашёл для себя последнее пристанище. Нет, Ахматова была права, когда в стихотворении “Родная земля” писала:

*Но ложимся в неё и становимся ею,  
Оттого и зовём так свободно — своею.*

Недаром Юрий Кузнецов в поэме о Христе долго и тщательно обдумывал и писал главу об Агасфере, о его встрече с Христом, о его вынужденном бессмертии и невозможности обрести могильный покой.

*Медленно в гору Он шёл, как согбенная вера,  
Остановился, услышав смехок Агасфера...  
— Дай Мне напиться, — запёкимся ртом произнёс.  
— Если докажешь, что ты настоящий Христос,  
Я утолю твою жажду, когда ты вернёшься.  
Поторопись! Ты сейчас всё равно не напьёшься.  
— Я не спешу с возвращеньем, — ответил Христос.  
— Я подожду... может быть, — Агасфер произнёс.  
И разглядел Агасфера Христос, и прощенья  
Не дал ему:  
— Ну, так жди Моего возвращенья!..*

*Золото мира заплачет в убогой нужде:  
— Плачьте, народы, рыдайте о Вечном Жиде!*

\* \* \*

“Красота спасёт мир” — какая соблазнительная мысль, но красота бывает роковой, опасной, зловещей, лживой, холодной, бездушной, ревнивой и т. д.

Пушкин это понимал глубже многих своих современников, когда писал о своих кумирах — греческих статуях в Царском Селе: “Бездушный идол, лживый, но прекрасный”. Он думал о такого рода красоте, когда писал “Египетские ночи”... А какой красотой смерти и крови наполнены страницы “Тараса Бульбы”, где запорожцы сражаются с лядами...

*А если это так, то что есть красота  
И почему её обожествляют люди?  
Сосуд она, в котором пустота,  
Или огонь, мерцающий в сосуде?*

Бои гладиаторов, как и бои быков, полны “кровавой красоты”. И потому не красота спасёт мир — мир может спасти только совесть.

\* \* \*

Идеология стран и народов перед войной не успевала за бешеным ходом истории.

*Он с гением расы воочью  
Беседует бешеной ночью, —*

писал поэт Даниил Андреев об Адольфе Гитлере.

Качели сил исторических раскачивались, и было не известно, кому Гитлер бросит вызов: еврейско-протестантской Британии или русско-еврейскому многонациональному социалистическому миру. Качели качались, и с них слетали многие, не выдерживая крутой раскачки, — Троцкий, Долорес Ибаррури, Эрнст Тельман, Георгий Димитров.

Эпоха антифашизма заканчивалась на глазах. Она была бессильна против “гения расы”. Фашистские партии были во всех странах Европы, и были они много сильнее социалистических.

К концу 30-х годов нам нужно было перемолоть идеологию “пролетарского интернационализма”, постепенно терявшего на фоне фашизма свою силу. Ставка делалась лишь на патриотизм — единственный, свой собственный, потому и появляются фильмы “Суворов”, “Нахимов”, “Адмирал Ушаков”, “Минин и Пожарский”.

Даже Осип Мандельштам в это время пишет искренний цикл стихов, оправдывающий Сталина.

\* \* \*

Песни в России живут по странным и не всегда понятным законам. До сих пор в народной памяти крутятся нэповские “приблатнённые” песни — “Мурка”, “Постой, паровоз, не стучите, колёса...”, “Кирпичики”. Целый век прошёл, а многие романсы на слова Александра Вертинского ещё не умерли... Живы, как это ни странно, цыганские песни из репертуара Вадима Козина. Живы многие песни из кинофильмов 30–40-х годов — “Как за Чёрный ерик...”, “Крутитесь, вертится шар голубой...”, “Тучи над городом встали...”, “Жили два друга в нашем полку...”, “В степи под Херсоном высокие травы...” Живёт полнокровной жизнью большинство песен Отечественной войны — “Вставай, страна огромная...”, “С берёз неслышен, невесом...”, “Синенький скромный платочек...”, “Тёмная ночь...”, “Прощайте, скалистые горы...”, “Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...”. Ни у кого из союзников по антигитлеровской коалиции таких незабываемых, почти бессмертных песен рождено не было.

Я думал об этом, когда слушал в июле 2014 года концерт из Юрмалы, куда съехались многие наши “звёзды”. Пугачёва была в ударе — пела хорошо, выразительно. Зал приветствовал её стоя. Тем более, что праздник вёл Галкин. Но... “Жил-был художник один...” “А ты такой холодный, // как айсберг в океане...”, “Женщина, которая поёт”, “Арлекино”...

Несколько песен из репертуара Клавдии Шульженко после неё живут уже полвека, как и песни Леонида Утёсова: “Как много девушек хороших...”, “Есть город, который я вижу во сне...”, “Московские окна”. Даже песни Марка Бернеса нет-нет, да вспоминаются. А о Лидии Руслановой и говорить нечего! А песни Пугачёвой на слова Ильи Резника — будут ли жить после неё? Не знаю, не знаю...

\* \* \*

Главными песнями советской эпохи были гимны и марши: “Интернационал” — партийный гимн, “Союз нерушимый” — советский гражданский гимн, “Широка страна моя родная” — гимн, написанный в честь Конституции, ставший почти народной песней.

Недаром в его текст были вмонтированы чуть ли не буквально статьи основного закона страны: “Человек всегда имеет право // на ученье, отдых и на

труд”, – а также была узаконена статья о равенстве всех народов: “Нет у нас ни чёрных, ни цветных”, – и ещё одна статья – о защите социалистического Отечества: “Но сурово брови мы нахмурим, // если враг захочет нас сломать”. И даже слова “Молодым везде у нас дорога, // старикам везде у нас почёт” тоже звучали как своеобразная гарантия “прав человека” при социализме. А строка “По заслугам каждый награждён” подтверждалась возникновением в нашей элите людей из простонародья – Алексея Стаханова, Паши Ангелиной, Максима Кривоноса, Валерия Чкалова, Ивана Папанина, пограничника Карацупы и многих других героев сталинских пятилеток, чьи имена навсегда вошли в историю страны.

Чудеса советской песенной стихии заключаются в том, что песни, написанные буквально на злобу дня, обслуживавшие прагматические интересы государства, созданные по заказу времени, зажили своей жизнью и живут в душах чуть ли не трёх поколений, не теряя своей жизнеспособности.

Их слова не забываются, их мелодии в любое время могут быть подхвачены людскими массами, наверное, потому, что в них жила правда истории. Иначе они бы умерли своей смертью после смерти Сталина.

Вот какие мысли пришли мне в голову на Красной площади в тот день, когда перед мавзолеем, закрытым трёхцветным полотнищем, зазвучали песни государства, созданного скрытым от народа Лениным и перезахороненным Сталиным.

Нужен был стране уголь, и словно по мановению волшебной палочки рождалось кино “Большая жизнь”, и над страной взлетала песня “Спят курганы тёмные...” Нужно было возвеличить и сделать перед войной почётной пограничную службу, и, как по заказу, взлетала в небо бессмертная, ставшая известной всему миру “Катюша”. И на экраны выходил фильм о Карацупе и Джульбарсе. Не хватало на производстве мужских рук, понадобились женские, и тут же зазвучала песня “А ну-ка, девушки, а ну, красавицы”, а следом за ней “Если ранили друга, // сумеет подруга // врагам отомстить за него”. Нужно было после жесточайшей коллективизации оправдать и прославить колхозы – и сразу же снималось кино “Трактористы”, издавалась поэма “Страна Муравия”, и на всю страну из чёрных репродукторов неслось: “Будьте здоровы, живите богато, а мы уезжаем до дома, до хаты”. Осложнялась мировая обстановка, приближалась война, угадывались в будущей войне главные противники – Германия и Япония, – и словно сами собой в предвоенный воздух взлетали песни: “Если завтра война, если завтра поход, // если тёмные силы нагрянут...” и “Три танкиста, три весёлых друга – экипаж машины боевой”. А киномеханики по всей стране крутили фильмы “Александр Невский”, “Суворов” и “Минин и Пожарский”. Вспыхнула война в Испании, и наши добровольцы отправились на Пиренеи под песню “В далёкий край товарищ улетает...”

Нужно было воспитать и вырастить к будущей войне здоровую молодёжь, и, словно по заказу, был создан кинофильм “Вратарь” с не умирающей до сих пор песней, под которую можно было шагать по Красной площади: “Эй, вратарь, готовься к бою, // часовым ты поставлен у ворот...” Надо было добавить оптимизма в трудную довоенную жизнь, и вся страна запела: “А ну-ка, песню нам пропой, весёлый ветер...” И неважно, что эта песня звучала в фильме по роману Жюль Верна.

В ту эпоху всё шло в дело. Попробовали японцы затеять с нами схватку на озере Хасан, и на другой день после нашей победы народ запел: “Мчались танки, ветер поднимаемая, // наступала грозная броня, // и летели наземь самураи // под напором стали и огня”.

И никакой конъюнктуры в этом не было, была необходимость, которая диктовалась не решениями партии и правительства, а инстинктом общества, его здравым смыслом и талантом наших поэтов, киношников и композиторов.

А как самозабвенно и расчётливо работало советское песенное искусство на армию! Нужна была песня или марш для танкистов – и он возникал сразу: “Броня крепка, и танки наши быстры...”

Нужно было вдохновить словом и песней лётчиков – и трое великих артистов Крючков, Меркурьев и Чирков в фильме “Воздушный извозчик” так исполнили песню “Пора в путь-дорогу, // в дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём...”, что она живёт до сих пор.

Нужно было поддержать бойцов, оторванных войной от своих любимых, вселить веру в победу и в радостную встречу после войны – и появляется бессмертная песня “Тёмная ночь...” из фильма “Два бойца”.

Из песни слова не выкинешь, и песню не выкинешь из истории.

Мобилизация той эпохи была предельной. Страна жила по закону – всё для будущей войны. Токарные станки назывались ДИП, то есть “догнать и перегнать”.

Помню почтовую марку – подросток-юноша, склонённый над “дипом”, на другой, зелёной марке – красноармеец, на третьей, синей – лётчик в шлеме. Почти те же самые фигуры были на денежных знаках. Всякую катастрофу, всякое крушение какого-либо проекта советская эпоха превращала в победу. Застраля во льдах “Челюскин”, надо спасать экипаж – это сделали несколько лётчиков, которые все стали героями Советского Союза. Начался подлинный культ авиации, из поражения вышла победа так же, как из крушения самолёта Осипенко, Расковой и Гризодубовой. И девушки после этого пошли в авиацию.

Даже драма Павлика Морозова помогла подъёму советского патриотизма у деревенских ребят, а трагедия Корчагина, обернувшаяся книгой “Как закалялась сталь”, вообще стала феноменальным примером для предвоенной молодёжи.

Культ не Ленина, не Сталина, не Дзержинского, а именно людей из народа – Стаханова, Чкалова, Морозова, Корчагина, – высшей воли и высшей силы, называемой историей народа, словно бы говорил людям того поколения: хотите сохранить родину и выжить в мировой борьбе за жизнь под солнцем – поступайте так, как до вас поступали эти сыновья и дочери России.

Я пишу эти строки, гуляя в парке с озером около Фёдоровской глазной больницы. Смотрю – ялики плывут по озеру, узбеки жарят шашлыки, дети бегают, и вспоминаю стихи Осипа Мандельштама: “Вся Москва на яликах плывёт”, “Могучий некрещёный позвончик, с которым проживём не век, не два!”, стихи середины 30-х годов, когда Сталин уже сказал: “Мы отстали от передовых стран на 100–150 лет. За 15 лет нам надо наверстать отставание, или нас сомнут”. Он был прав, он слышал “бешеный голос гения расы”. Сталин понимал, что “европейское единство” – миф, последняя иллюзия спасения Европы была развеяна в Испании.

\* \* \*

Артист Георгий Жжёнов, побывавший при Сталине на Колыме и обаятельно игравший образы советских генералов, во время моего разговора с ним в храме Христа Спасителя сказал, как отрезал:

– Ненавижу ваших Ленина и Сталина!

То же самое теми же словами сказала мне сестра моей бабки тётя Маша, жившая в Калуге на кухне у дочери, немощная, с сухоткой в спине. Как сейчас помню её, закутанную в старую цветную шаль, с изработанными руками, с впалыми щеками, с чёрными, не тронутыми сединой волосами:

– Ненавижу ваших Ленина и Сталина!

Ну, что было тогда мне ей ответить, первокурснику МГУ, поступившему в 1952 году на филологический факультет? Что если бы не Сталин, то тогда ей пришлось бы доживать жизнь при Гитлере? Она же не знала, что если бы не колхозы, если бы не непосильные налоги, если бы ещё одно, другое, десятое, то мы ни за что бы не победили в войне...

Вот она, незаживающая рана истории: и у раскулаченных казаков, и у раскулаченных крестьян, и у Стеньки Разина, и у Емельки Пугачёва была своя правда.

Почему трагедия является высшим жанром литературы? Потому что в ней сталкиваются две правды, одна из которых должна погибнуть, чтобы человечество вечно жалело о её гибели.

\* \* \*

Наши футболисты через год после окончания войны разгромили на родине футбола в Англии несколько лучших английских команд с общим счётом 19:9. Ура! Мы в Калуге торжествуем. Я ведь тоже играю в футбол за молодёжную команду, вот только бутсов мне по ноге не нашли.

Привели на стадионе в каптёрку – там горада бутсов: выбирай! Я выбрал какие-то покрашенные серебряной краской. “Это бутсы Подковинского!” – с восторгом сказал мне тренер. А Подковинский до войны был в Калуге лучшим нападающим! Погиб на фронте. Я меряю бутсы – они 40-го размера, всё равно мне велики, но я их беру: бутсы Подковинского!

На другой день выхожу на поле, но сначала обуваю синие резиновые тапочки, а потом на них – знаменитые бутсы. Чтоб нога не болталась. Тяжело вато бегать, но можно! Забиваю первый гол в этих легендарных бутсах, но на второй тайм от усталости не выхожу.

Спорт был нашей стихией. Вместе со своими друзьями я стал гимнастом, потом – пловцом, даже первенство города выиграл, потом – шахматистом, получил первый разряд; а в волейбол в парке культуры мы играли до изнеможения на первенство города среди школьников.

А эстафета по городу? Меня ставили на самый трудный этап – бежать по Берзுவескому оврагу и выбегать в горку, на его крутой берег. Кроссы! Призы! Аплодисменты!

И никакого коммерческого соблазна, разве что кормёжка на областных соревнованиях да спортивный костюм в качестве приза. “Чтобы тело и душа были молоды...”

\* \* \*

Мною во всех моих дерзких и неосторожных с точки зрения здравого смысла поступках двигало одно чувство – поиск истины. А силу и решимость мне всегда давало сознание своей правоты.

Когда оно приходило ко мне, меня невозможно было остановить, отговорить, запугать. Мои идейные недруги часто распускали слухи, что за мной во время такого рода поступков, нарушающих всяческие “табу”, стоят некие силы: националистические, партийные, кагэбэшные... Глупцы. Я всегда действовал в одиночку, отвечая лишь за самого себя, создавал себя абсолютно независимым в своих поступках. Даже когда я шёл на дискуссию “Классика и мы”, я никому не показывал своего выступления, ни с кем не советовался. Даже с Кожинным. Побеждать в одиночку – задача тяжёлая, но крайне увлекательная. А потому, на мой взгляд, никакого “русского ордена” в ЦК КПСС не было. По крайней мере, я о нём ничего не знал и ни на кого не надеялся, кроме как на самого себя. Я знал, что во время всех своих “выходок” я успею сказать столь важные вещи, после которых хоть что-то, но должно измениться.

Конечно, синяков, шишек, выволочек, притеснений после этого я получал немало.

Но на душе всегда после таких напряжённых и рискованных авантур у меня становилось легко и светло от сознания своей моральной победы и чувства исполненного долга. Перед кем? Перед русской жизнью, перед русской историей, перед своей совестью... А на все сопутствующие этому чувству неприятности житейские мне было наплевать.

\* \* \*

Мы с сыном понимали, что наша работа в 90-е годы над книгой о Есенине, в сущности, есть работа по осмыслению истории России XX века, русской идеи, русского будущего. Мы понимали, что работаем в страшное для России время и что именно сейчас разгадка судьбы и творчества Есенина для России – словно бы последняя роковая ставка, которая поможет выиграть борьбу за историческое будущее. В процессе работы нам становилось всё очевиднее, что разгадать тайну Есенина – значит разгадать тайну и причины русской трагедии XX века. Без этой разгадки будущее России неясно.

Гоголь как-то заметил, что Пушкин – это идеальный тип русского человека, который во всей полноте открывается для нас лет через двести. Есенин боготворил Пушкина, но вся закавыка в том, что сам он не был человеком пушкинского склада и что не пушкинский тип (“человек меры”), а есенинский

(“человек без предела”) определил ход русской истории в XX веке и характер русской революции.

Люди есенинского склада, о которых Достоевский говорил, что их “сузить бы надо” (“широк русский человек!”), определили в нашем столетии размах и стиль основных российских событий. Люди есенинского склада были главной силой у большевиков и у белогвардейцев, у анархистов и у донских казаков, у антоновцев и продармейцев. Разве Григорий Мелехов – не человек есенинской складки? Эти люди во взаимной самоубийственной борьбе за правду не могли удержаться от соблазна “перевеситься через край”, оттого русская революция и стала такой глубокой, такой великой, такой кровавой и такой героической. Главные черты людей этого типа – безмерная одарённость, духовный фанатизм, отсутствие чёткой границы между злом и добром, совершенно непонятное западным людям богоборчество, замешанное на религиозном чувстве, способность прожить за одну жизнь как без несколько жизней, пренебрежение к чужой судьбе и к собственной жизни...

Всё это, вместе взятое, и есть то, что мы порой называем “русскость”. Аполлон Григорьев как-то сказал, что “Пушкин – наше всё”. В XX веке “наше всё” – это Есенин.

\* \* \*

Геологический посёлок Поморье, в котором я не был несколько лет, за это время (1989–1992) был разрушен до конца какими-то то ли чеченцами, то ли таджиками, выкупившими его за копейки у геологической экспедиции.

Гусеницы от тракторов, как мёртвые змеи, лежали, вмёрзшие в жёлтый ледяной песок, кругом извивались изуродованные тросы, торчали коробки скоростей, ржавые радиаторы, автокраны со сломанными стрелами. Кусок плаката: “Приглашаем на танцы”, – и танцующие фигурки медведя с лисой. Рисунок выцветший, словно на гробницах египетских пирамид. Декорации для фильмов о конце света.

*Пока не будет похоронен последний солдат – война не окончена.* Пока не будет возрождено Поморье – с клубом, с танцами, с детсадом, с теплицами, с попыхвающими из труб буржуйками, с общественной баней, с поликлиникой, с гостиницей, – мы не завершим победу над разрушителями – Гайдаром и Чубайсом. Пока не похоронили их.

Чубайс недавно выступил: “При государстве мочой пахло в подъездах”. Сводить бы его в эти подъезды, где пахнет смертью. Средний срок жизни при “моче в подъездах” у нас был 72 года, сейчас – 58.

Ежегодно мы подрастали на 800 тысяч человек, сегодня “усыхаем” на ту же цифру, посёлок Поморье – сейчас это Дрезден и Хиросима после бомбёжки.

Везде валяются вывески полузатоптанные – “Поморье”, “С Новым годом!”, “Осторожно – злая собака”, “Улица имени В. Ф. Фомина”, “Общежитие”, “Опасная зона”.

Кругом расчлнённые вездеходы, словно подбитые танки на Прохоровском поле 1943 года.

Парники, теплицы со сварными печками с трубами, обложенными стекловатой... Общежитие с заколоченными окнами, – видимо, хотели уберечь и вернуться. В центре этой помойки стоят две новые рубленые бани – на продажу их срубили бомжи, здесь уютящиеся в деревянном вагончике.

В двух-трёх бараках – замки на дверях. Кругом измятые цистерны, искалеченные моторы, телеграфные столбы с оборванными проводами. На развалинах бродят собаки, пятнистый бультерьер с печальными глазами. Очеловечился. Ни одной женщины. Нет ни детей, ни сохнувшего белья на верёвках. Детская коляска стоит вверх колёсами возле цветочной клумбы. Женщины в такой разрухе не живут.

Двухэтажный щитовой дом с провалившейся кровлей, рухнувшими перекрытиями... Всё дерево – серое, серебристое – перемежается с горами ржавого железа.

Но есть штабеля пятиметровых брёвен – выпилен даже подтоварник. Автокран грузит эту древесину на прицеп, прицеп уходит на Запад – идёт открытое воровство леса.

Телевизионная тарелка висит над всей этой разрухой.

\* \* \*

Наслаждаюсь русскими пословицами и поговорками. Иногда, словно пушкинский Скупой рыцарь, я перебираю их в подвалах своей памяти и, словно золотые монеты или драгоценные камни, пересыпаю в ладонях.

“Помирать собрался, а рожь сей”, “Жизнь прожить – не поле перейти”, “По одежке протягивай ножки”, “Не было бы счастья, да несчастье помогло”, “На миру и смерть красна”. Что значит “красна”? “Прекрасна”? “Желанна”? “Не страшна”? “Привлекательна”? А скорее всего – всё сразу.

“Нет худа без добра” – какая глубокая мысль, о которой Гегель по-своему, по-немецки думал и писал всю жизнь, исследуя диалектику бытия.

А “С волками жить – по-волчьи выть”? Каков смысл этой пословицы? Что она означает – злость? Отчаяние? Покорность?

А сколько афоризмов из Священного Писания русское “пословичное” море забрало в свои глубины, сделало “своими”: “Мне отмщение, Аз воздам”, “Блаженны нищие духом”, “Око за око”, “Не судите, да не судимы будете”, “Ищите и обряцете”, “Имеющий уши, да слышит”, “Много званых, да мало избранных”, “Кесарю кесарево, а Богу Богово”, “Да минует Меня чаша сия”, “Умываю руки”, “Имя им легион”, “Соль земли”, “Не мечите бисер перед свиньями”, “Ныне отпускаеши”, “Не хлебом единым жив человек”, “Не ведают, что творят”, “Для Бога мёртвых нет”, “В начале было Слово”, “Глас вопиющего в пустыне”...

Поистине, то, что наш язык впитал в себя как нечто родное и естественное – истины из Священного Писания, превратив их в свои пословицы и поговорки, – есть одно из важнейших соображений, что выбор веры Святым Владимиром был единственно верным и безошибочным.

\* \* \*

История России складывается не столько по “уложениям”, “конституциям”, “уголовным кодексам”, царским и советским указам, сколько по пословицам и поговоркам:

“Не до жиру – быть бы живу”, “Нет худа без добра”, “На миру и смерть красна”, “Моя хата с краю”, “Помирать собрался, а рожь сей”, “Под лежачий камень вода не течёт”, “От добра добра не ищут”, “С сильным не борись, с богатым не судись”... Это, видимо, и есть жизнь не “по закону”, а “по понятиям”, выработанным народной душой в течение тысячелетий. Пословицы и поговорки много древнее русских былин, народных песен и, наверное, даже древнее сказок. Они – осколки нашего “пра-сознания”, каким-то чудом дожившие до нашего времени и сохранившие всю свою мудрую свежесть. В них нет ничего архаичного. Они не стареют.

\* \* \*

Когда в конце 20-х годов идеология советской страны отказалась от мировой революции и выбрала единственно возможный в тех условиях путь – построение социализма в одной отдельно взятой стране, – то сразу изменились суть и характер советских песен.

От воспевавших героическую торжественность “Смело мы в бой пойдём // за власть Советов, // и как один умрём // в борьбе за это...”, “Вдруг боец молодой // вниз поник головой – // комсомольское сердце пробито...”, “Мы сами копали могилу себе, // готова глубокая яма...” поэты и композиторы дружно присягнули на верность социальному оптимизму: “Здравствуй, страна героев, // страна мечтателей, страна учёных!”, “Ну-ка, солнце, ярче брызни, // золотыми лучами обжигай! // Эй, товарищ! Больше жизни! // Поспевай, не задерживай, шагай!”, “Нас утро встречает прохладой, // нас ветром встречает река, // кудрявая, что ж ты не рада // весёлому пенью гудка?”...

И эта песенная стихия широко развивалась до конца 30-х, когда её стали вытеснять песни, готовящие народ к более страшной и судьбоносной войне.



\* \* \*

Не зря дореволюционная песня “Раскинулось море широко...” была столь популярна в России, — по крайней мере, несколько десятилетий. Главный её герой — кочегар, вечный труженик, человек долга, рядовой солдат русской истории — был понятен и близок народу. В нём люди долга и тяжёлого труда узнавали самих себя. Это человек, близкий капитану Тушину из “Войны и мира”, или герою песни Исаковского “Враги сожгли родную хату...”, или Ивану Африкановичу из повести Василия Белова “Привычное дело”. Герои песен “Тучи над городом встали...” или “Спят курганы тёмные...” — его родные братья. Они все из одной многолюдной народной семьи. Сейчас новому времени такой герой не нужен, и великая песня “Раскинулось море широко...” забыта, как “Кирпичики”, как “Спят курганы тёмные...”.

\* \* \*

В конце восьмидесятых годов все популярные экономисты (Шаталин, Шмелёв, Абалкин, Гайдар) вбивали в головы советских обывателей две догмы.

Первая: “Чем больше в нашей стране будет богатых людей, тем богаче будет всё общество”. “Огонёк”, “Литературная газета”, “Аргументы и факты” просто слюни роняли от умиления и восторга, проповедуя эту истину.

И второе, что постоянно несло из уст экономистов-реформаторов: “Да не надо бояться жить в долг, МВФ и западные банки готовы помочь нам, берите! Весь мир живёт в долг. И ничего. Не рухнет!..”

И вот наступают времена, когда по закону о “разделе продукции” ежегодно половину заработанных богатств мы вынуждены отдавать за долги. Поэтому у нас начнут вымерзать и вымирать вслед за Приморьем и Забайкалье, и Восточная Сибирь, и Северо-Западные земли.

Долги не страшны богатым странам, а потому они были не страшны и Советскому Союзу, население которого совершенно не ощущало на себе их тяжести.

Сегодня взяли в долг для удобства, перехватились, завтра отдали — и никакого потрясения.

А для стран бедных долги — это петля на шее. Причём вечная. Вот так-то, господин писатель Николай Шмелёв. Английский аристократ Ким Филби, работавший на нашу разведку, когда был вынужден бежать от преследования английских спецслужб, поселился в СССР и сел за книгу воспоминаний, в которой восхищался тем, что советские люди, в отличие от англичан, не живут в долг, не берут в банках деньги под проценты, и потому страна не знает ни банковских крахов, ни финансовой паники, когда вкладчики толпами бегут в банки, чтобы спасти свои сбережения.

\* \* \*

Футболисты получают миллионы.

Теннисисты получают миллионы.

Кинозвёзды получают миллионы.

Автогонщики “Формулы-один” получают миллионы.

Я уж не говорю о банкирах, о владельцах крупных компаний, частных и полугосударственных.

Слишком много в современном мире лишних денег, лишних бездельников, лишних мошенников, лишних *продавцов воздуха*. Необходим всемирный дефолт, который произойдёт либо после Третьей мировой войны, либо во время Страшного Суда.

\* \* \*

Я вошёл в метро с двумя сумками в руках. Свободных мест не было. Оглядев вагон, наполовину заполненный стоящими людьми, я вдруг встретился взглядом с молодым смуглым человеком. “Гастарбайтер”, — подумал я. Он

перехватил мой взгляд и сделал жест рукою: “Мол, идите сюда, я Вам уступлю место”.

Я хотя и нахожусь в преклонных годах, но иногда горжусь своей способностью чувствовать себя моложе своих лет. Поэтому я улыбнулся, покачал головой: “Мол, не надо, сиди!” — и тоже рукой махнул, как бы показывая, что мне нетрудно постоять.

Через остановку большинство народа вышло из вагона, и возле моего гас-тарбайтера освободилось место. Я сел рядом с ним и дружелюбно спросил его:

— Ты откуда?

— Я из Таджикистана, — ответил он.

— А из какого места?

— Из Курган-Тюбе!

— Да ну! А я там в молодости геологом работал, в маршруты ходил!

Мы разговорились и расстались через несколько остановок как друзья.

И когда сейчас я слышу о засилье мигрантов, об этнической преступности, я верю, что так оно и есть, но всегда вспоминаю жест молодого смуглого парня, желавшего уступить мне место в переполненном вагоне.

\* \* \*

Долгие зимы, глубокое промерзание почвы, скудость пахотных земель — всё это на русском беломорском Севере порождало склад человека терпеливого, аскетического, ответственного за каждый свой шаг, умеющего разумно беречь и расходовать и средства, и время, и силы.

Я вспоминаю, что писала в своих книгах Инесса Арманд, да и другие революционеры, жившие в ссылках в Вологодской и Архангельской областях, их жалобы на пассивность народа, на его нежелание участвовать в революционных переменах, помню их жалобы на “дикость”, “забитость” аборигенов. Недомёк им, этим инессам, было, что только терпенье и постоянные труды способствовали “нарастанию” на северной почве “жизненной плёнки”, ранимой, как белый мох ягель.

Это всё рассказано до революции писателем-путешественником Сергеем Максимовым, а потом — Николаем Ключевым, Фёдором Абрамовым, Алексеем Ганиным, Николаем Рубцовым, Василием Беловым.

Помню, какое впечатление на меня произвела книга Василия Белова “Лад”. Прочитав её, я понял, почему в северном крестьянском хозяйстве ничего не выбрасывают, всё донашивают — валенки, тулупы, посуда служили нескольким поколениям. Всё шло в дело. Великий инстинкт бережливости и уважения к предметам труда человеческого, забытый ныне мерзким обществом потребления, к которому нас приучают, был спасителем для России, прижатой к Ледовитому океану, с её заморозками и засухами. Помнится, как Николай Ключев писал: “Свить сенный воз мудрее, чем создать “Войну и мир” иль Шиллера балладу”.

Алексей Ганин вспоминал, что своего хлеба им хватало лишь до Михайлова дня, Николай Рубцов восхищался празднично-трудовой картиной колхозной жизни:

*Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность?*

*И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,*

*И требовал выпить за доблесть в труде и за честность,*

*И лучшую жницу, как знамя, в руках пронесил!*

Но в этих северных деревнях не принято жить праздно, не положено тратить время на пустые разговоры, на безделье и развлечения, столь обычные для городской жизни.

*Есть у нас старики по сёлам,  
Что утратили будто речь:  
Ты с рассказом к нему весёлым —  
Он без звука к себе на печь.*

Это — тоже Николай Рубцов.

Либералы и русофобы заклеили нашу страну клеймом “дураки и дороги”. А Николай Рубцов в стихотворении “Старая дорога” открыл для себя великую поэтическую сущность Родины.

Нет “дураков и дорог”, есть нестеровский отрок и сказочное чудесное бездорожье, по которому он бредёт и говорит сам себе: “Как царь любил богатые чертоги, // так полюбил я древние дороги // и голубые вечности глаза”. Он, этот отрок, полюбил всё, что видит вокруг: и “полусгнивший овин”, и “хуторок с позеленевшей крышей” – все останки, все руины сказочного земного царства. “То по холмам, как три богатыря, // ещё порой проскачут верховые...” Всё принимает, всем любит его душа – и “росистыми лесами”, и мягкой тёплой дорожной пылью, и “июльскими деньками в нетленной синенькой рубашке”, и белоголовыми ромашками, качающимися по сторонам дороги... Мир, изображённый Рубцовым в стихотворении, таков, как будто он только вчера сотворён по Божьему велению.

В этом мире нет зла, нет мертвящей человеческой цивилизации. “Здесь каждый славен – мёртвый и живой!”, в нём “душа звенит, переключаясь // со всей звенящей солнечной листвой”. Здесь душа переключается с “духом России”, здесь время застыло, здесь дорога, “заросшая травой”, не втоптана, не изуродована, и над всем этим девственным миром, только что сотворённым, “плывут, плывут, как мысли, облака”.

Кто-то сказал мне, ну, об этом и Бродский писал в стихотворении “Пилигримы”, – у Рубцова ведь тоже “мгновенны и незримы, // идут по ней, как прежде, пилигримы”.

Увы! Стихотворение Бродского – это не благоговение перед Божьим миром, а протестантский вызов этому миру – материальному, жестокому, пошлomu. Его пилигримы идут не среди “холмов” и “ромашек”, а по комфортабельным дорогам, мимо “автозаправок” и “роскошных баров”, идут с жутким предчувствием, что этот мир Содомы и Гоморры рано или поздно провалится в тартарары, в отличие от рубцовского райского мира, от рубцовской травянистой дороги, по которой идёт то ли Иванушка-дурачок, то ли добрый Филя.

В рубцовской нетленной сказке время остановлено, но “здесь русский дух в веках произошёл, // и больше ничего не происходит”.

А больше ничего и не должно происходить, ибо проходит облик мира сего. “Но этот дух пройдёт через века”, потому что “дух дышит, где хочет”.

Франция была глубоким фашистским тылом. Полтора миллиона французских пленных солдат работали в немецком плену на фашистскую Германию.

Француженки, спавшие с немцами, были острижены своими соплеменниками после освобождения страны. Но их соплеменники-мужчины сами отдали своих женщин на растерзание врагу, а отыгались на женщинах.

Слабые безвольные мужчины, позорно предавшие своих женщин. Французские шансонье – Ив Монтан, Эдит Пиаф и многие другие – услаждали в парижских кабаре и ресторанах слух немецких офицеров, приехавших на отдых, в том числе и с Восточного фронта.

Восемь тысяч французоз, сотрудничавших с немцами, после победы союзников были приговорены кто к смерти, кто к тюрьме. Но в 1953 году последние коллаборационисты были освобождены, и де Голль свернул их преследование, чтобы объединить нацию. В недавнее время миллион французоз вышел на улицу под лозунгом “Мы – Шарли”, и это несравнимо с гитлеровским завоеванием Франции. В пору немецкой оккупации несколько десятков тысяч французских евреев при помощи французских полицейских и французских обывателей были отправлены в Майданек и Освенцим. Так что французы могут быть, в зависимости от обстоятельств, и коллаборационистами, и патриотами, и юдофилами, и антисемитами. Очень гибкая нация. И никакими несколькими десятками лётчиков из эскадрильи “Нормандия-Неман” этой обывательской потребительской слабости французского этноса не испугать.

\* \* \*

Навестил я свои языческие мегорские капища, Господи. Поглядел – ислевшее железо, пепелища, бутылки; вышел на берег, посмотрел на север – золотая полоса, на запад посмотрел – чёрный поток Мегры. На восток – зубчатая кромка леса. Услышал стаи лебедей, хорканье вальдшнепов, шум водяных струй и сказал коленопреклонённо:

– Спасибо за всё, Господи, за всю нерукотворную красу Твоего земного мира, который Ты дал мне увидеть в срок жизни моей.

Хотел было хвалу свою вложить в речь человеческую, да испугался: скажу первое слово, и ангел мой наложит печать на уста мои.

\* \* \*

Февраль 2014 года.

Впервые, наверное (американцам-то не привыкать!), в российской средней школе ученик одного из старших классов внёс в класс закутанное в куртку ружьё (металлоискатель не сработал) и расстрелял сначала учителя географии, а потом несколько своих одноклассников.

В 50-е годы прошлого века у нас была такая безопасная жизнь, что охотничьи ружья, патроны, порох и дробь мы покупали свободно.

Домашние адреса и телефоны любого жителя Москвы и других крупных городов можно было получить за какие-то копейки в любом справочном бюро, то есть в киоске, стоявшем на улице.

Я, например, так узнавал, где живут нужные мне писатели, один раз даже узнал, где живет знаменитый тенор Иван Семёнович Козловский, – мне поручили пригласить его на выступление к филологам в МГУ.

Когда я несколько сезонов проработал в геологической партии, то узнал, что при взрывных работах невозможно было украсть или утаить ни одного грамма аммонала. А сейчас откуда берутся взрывчатые вещества для всякого рода взрывов домов, автомашин, поясов шахида?

Я уж молчу о полной безопасности детей, ходивших в школу! И в голову никому не приходило провожать или встречать их. Только лишь за то, что мы утратили эту простейшую безопасность, имена всех, кто затеял смену общественного строя в 1991–1993 годах, должны стоять на самых позорных страницах истории России, а совершившие этот государственный переворот, конечно, должны сесть на скамью подсудимых. Мы настаиваем, что в Киеве должен рано или поздно состояться процесс над Порошенко, Аваковым, Ярошем. Но разве наши Ельцин, Гайдар, Чубайс – лучше?

\* \* \*

2 августа 2014 года.

Смотрел фильм, посвящённый Мариэтте Чудаковой, нашей чуть ли не главной специалистке по Булгакову. “Консультантше”, как он бы сказал.

Действительно, она знает, о чём надо говорить, вспоминая судьбу Булгакова, а о чём надо молчать. Конечно, вспомнила о репрессиях 1937 года, но умолчала о том, что Булгаков радовался, – как писала его жена, – когда арестовали литераторов, травивших его в прессе: Авербаха, Киршона, Литовского, Блюма.

А когда её собеседница в фильме спросила Чудакову, почему никто не донёс властям о том, что у Булгакова есть роман “Мастер и Маргарита”, Чудакова, выпучив глаза, закричала: “Да потому, что вокруг все были порядочные люди, интеллигенты!” Ну, смех, да и только! Киршон, Авербах, Блюм, Сосновский – порядочные люди!

Осип Мандельштам прочитал своё стихотворение “Мы живём, под собою не чуя страны...” в кругу “интеллигентов” и “порядочных людей”, но каким-то образом на другой день НКВД стало известно и о стихотворении, и о том, кто его написал, и о том, кто его слушал в авторском исполнении. Словом, “вокруг все были порядочные люди”...

\* \* \*

Недавно нашёл в подъезде на подоконнике, – видно, рука не поднялась у владельцев выкинуть на помойку – книгу Александра Неверова “Ташкент – город хлебный”. Я её знаю с отрочества. Это почти наше семейное предание о том, как моя бабушка после смерти деда от тифа вместе со своей подругой Софронихой ездили, как герой книги Неверова, в далёкий Ташкент обменивать нитки, иголки и какое-то барахло на крупу и муку. Как уж они, две неграмотные сорокалетние женщины, добирались до *хлебного города*, – не знаю, подробно не расспросил, дурак. Девоч своих оставляли в деревне, а сами – в “Ташкент – город хлебный”. Забытая литература о мученьях русского народа в гражданскую войну. Сюда же впишем забытую книгу “Школа” Гайдара, “Разгром” Фадеева, “Железный поток” Серафимовича, “Республика Шкид” Пантелеева и Черных, “Шёл солдат с фронта” Валентина Катаева, “Река Потудань” Андрея Платонова. Неужели всё это богатство обречено сегодня, чтобы его выносили на лестницу или в помойку?

*Умри, мой стих! Умри, как рядовой,  
Как безымянные на штурмах мёрли наши...*

Это – у Маяковского.

*Я строил окопы и доты,  
Железо и камень тесал...*

*Мамонты пятилеток сбили свои клыки...*

Это – у Смелякова.

А что сказал Олег Васильевич Волков, когда узрел одичание народа после первых лет перестройки?

“Я отсидел и был лишён в правах. Но я ещё бы отсидел 25 лет, лишь бы всего этого не случилось”.

“Рабочий и колхозница” Мухиной, бронзовые скульптуры станции метро “Площадь революции” – их не забудешь, как и книгу “Ташкент – город хлебный”. Пока я собираю эти книги, стыдливо выложенные на ступеньки лестницы, пока я помню всё, что в них написано, я ощущаю себя “удерживающим” нить времён и последнюю память о них.

“В курганах книг, // похоронивших стих, // железки слов случайно обнаруживая, // мы с уважением ощупываем их, // как старое, но грозное оружие”...

\* \* \*

13 февраля 2012 года.

От передозировки наркотиков умерла популярная американская певица Уитни Хьюстон. И сразу же наша тусовка – Андрей Малахов, Дмитрий Маликов, какая-то сочинительница женских романов Устинова, какой-то Владимир Ленский из Америки организовали на Первом канале на всю страну гражданскую панихиду. Чего только не наслушался наш доверчивый зритель во время этого шабаша. “Дочь Уитни тоже употребляет”, а сама Уитни, оказывается, не раз заявляла: “Иисус любит меня – я это знаю”. Устинова: “Она не пела. Она почти молилась”. Какой-то наш шоумен бородатый внёс свою слезу в общее море рыданий: “Дочь её находилась на грани суицида”. В разговор вмешиваются наши тусовщицы: “Уитни нуждалась в любви”. Какое-то существо с северного Урала делится с миллионной аудиторией своими бесценным опытом – как она завязала с наркотой.

Конечно, Уитни Хьюстон – не Майкл Джексон. Смерть того несчастного весь “тусовочный мир” обсуждал целый год, а Уитни продержалась на ТВ всего лишь недели две.

Но какой почёт, какое внимание наркоманам – мир восхищается их геройской гибелью, как будто они чуть ли не христианские мученики, отдавшие свои жизни во искупление грехов человечества.

Почти в одно и то же время умерла от тех же наркотических причин английская певица Эмми Вайн Хауз – 27 лет отроду, популярная в кругу фанатов не менее, чем Уитни Хьюстон. Её называли “символом Британии”. После её смерти продажа дисков Эмми увеличилась в 64 раза... Наше ТВ обсуждало её кончину с не меньшим азартом, нежели смерть Уитни.

На этом фоне вспоминаю, что Россия не узнала или почти ничего не узнала в те же дни от наших телешоуменов о смерти своих великих сыновей – Леонида Бородина, Юрия Кузнецова, Вадима Кожина, Василия Белова.

Ещё бы! Куда им до американских и английских наркоманов и наркоманок! А Виктора Астафьева, когда он умер, радио “Россия” окрестило “Астаховым”...

\* \* \*

В январе 2001 года я записал отрывок из телевизионного выступления И. Кириенко. Вот что он, в частности, сказал:

“Я не хочу уезжать из России, мой сын – тоже, но надо создать условия, чтобы те, кто не хочет уезжать из России, жили, как в Европе, как в Австралии, и зарабатывали на жизнь не по одной-две тысячи долларов в месяц, а по несколько тысяч”.

В это время в Сибири стояли 50-градусные морозы, от которых лопались рельсы, разрывались трубы, земля промерзала на двухметровую глубину. Во всех механизмах, работавших на открытом воздухе, до предела сгущались моторные и смазочные масла. Запускать такие моторы было сущей мукой. Десятки километров закопанных в землю металлических труб после нынешней зимы на Дальнем Востоке, в Якутии выходили из строя, а “рыночники” вроде Кириенко талдычили о том, что мы должны быть конкурентоспособны в транспортном деле, на птицеводческих фабриках, в производстве зерна и овощей, в строительном бизнесе.

Большевики, искореняя в эпоху военного коммунизма и в посленэповское время частную инициативу, конечно, перегибали палку, но нынешние авантюристы, заявляющие, что мы можем жить, как в обогреваемой Гольфстримом Европе или как в Австралии, пошли ещё дальше. Они в упор не видят России, по просторам которой “Мороз-воевода дозором // обходит владенья свои”.

Жить, как в Австралии, – это означает собирать три урожая в год, строить дома без фундаментов, ходить круглый год в бейсболках и рубашках с короткими рукавами, собирать на своих земельных участках, где стоят дома, лимоны и апельсины.

Я знал, что Кириенко, при котором свершился дефолт 1998 года, мягко говоря, недальновидный экономист. Но что настолько – об этом я не подозревал.

\* \* \*

Ни одна страна в мире не вела таких грандиозных войн, какие вела Россия. Несколько войн русского народа с оккупантами народ вообще называл не войнами, а “нашествиями”. Татаро-монгольское нашествие многих азиатских племён, объединённых в армию Батыя, польско-шведско-литовское нашествие 1612 года, нашествие Наполеона, его “дванадцати языков”, нашествие англо-французско-итальянских войск на Крым и Севастополь в 1854–1855 годах, нашествие Антанты в 1918–1922 годах, состоящей из нескольких государств, включая США, на обессиленную Россию и, наконец, нашествие всей гитлеровской Европы в 1941-м. Однако Россия всегда выходила из этих “нашествий” не просто победительницей, но духовно обновлённой, обретшей особую уверенность в своих силах и веру в свою историческую судьбу, о чём замечательно написал после 1812 года поэт В. А. Жуковский:

*“1812 год был для нас важен не одними победами, он открыл нам в самих нас такие силы, которых, может быть, прежде мы не подозревали. Всего важнее для народа – уважение к себе: теперь мы приобрели его”.*

Так что все попытки врагов России обессилить её, умалить её значение в мировой истории приводили к обратному: Россия в результате “нашествий”

укреплялась и расширялась. “Окрепла Русь. Так тяжкий млат, // дробя стекло, куёт булат”, – писал об этой тайне России Пушкин.

\* \* \*

Вся западная пресса много лет подряд проклинала “берлинскую стену”, потому что за несколько десятилетий при попытках преодолеть её с гэдэзровской стороны и попасть в Западный Берлин было застрелено восточногерманскими пограничниками то ли тридцать, то ли сорок граждан ГДР. Но ведь примерно в то же время, всего лишь за 10 лет, как пишет русскоязычная американская газета “FORUM”, с 1998 по 2008 год, при нелегальном переходе жителей Мексики через границу в США было убито американскими пограничниками более 4000 мужчин, женщин и детей, пожелавших найти лучшую жизнь в Северной Америке. Их расстреливали, как животных, как бродячих собак. Ни одно европейское правительство не решилось на такое бесчеловечное убийство мигрантов даже в самые острые дни кризиса 2014–2016 годов, когда сотни тысяч жителей Ближнего Востока, спасаясь от ИГИЛа, бросались в Европу, ломая пограничные столбы и разрывая колючую проволоку.

\* \* \*

Наша великая война и легендарная Победа достались нам немислимо дорогой ценой в том числе и потому, что во главе Третьего рейха стояли не какие-то мелкие карьеристы, мошенники и шизофреники, но незаурядные люди действия, волевые, циничные политики, коварные дипломаты и пропагандисты, пронизательные руководители спецслужб, образованные и опытные генералы, талантливые изобретатели и конструкторы, гениальные администраторы и фанатичные идеологи. Но у них был один недостаток – они служили мировому злу.

Руководил всей этой элитой Адольф Гитлер. Фюрер. По-русски – вождь. Пропаганда Советского Союза, да и вся пропаганда демократического мира, к которому каким-то боком в 1991 году примкнула Россия, приложила немало усилий, чтобы он остался в мировой истории безумцем, неудачником, тщеславным демагогом, мелким авантюристом. Однако ничтожества никогда не восходили на вершины власти, особенно в истории великих народов. Поэтому бесполезно нам, победившим не просто Германию, но всю коричневую европейскую империю Гитлера, задуматься над некоторыми размышлениями, которые были записаны им на бумаге ещё не вождём, не фюрером, а всего лишь навсего недавним ефрейтором кайзеровской армии, начинающим публичным оратором, сидевшим в 1924 году в баварской тюрьме за игрушечный “пивной путч” и написавшим в недолгой неволе книгу “Моя борьба”, которая была в несколько последующих лет переведена на многие языки мира и напечатана в количестве десяти миллионов экземпляров. Только лишь прочитав эту книгу, можно понять, почему этот человек сначала был вознесён судьбой на вершину власти, славы и почитания, а потом низвергнут в пучину катастрофы и позора вместе со своим великим народом. То, что он не был глупцом, – об этом свидетельствуют его слова о Сталине, сказанные им в тесном кругу соратников 22 июля 1942 года в разгар боёв под Сталинградом:

*“И чем больше мы узнаём, что происходит в России при Советах, тем больше радуемся, что вовремя нанесли решающий удар. Ведь за ближайшие десять лет в СССР возникло бы множество промышленных центров, которые постоянно становились бы всё более неприступными, и даже представить себе невозможно, каким вооружением обладали бы Советы, а Европа в то же самое время окончательно деградировала. . .*

*И было бы глупо высмеивать стахановское движение. Вооружение Красной армии – наилучшее доказательство того, что с помощью этого движения удалось добиться необычайно больших успехов в деле воспитания русских рабочих с их особым складом ума и души.*

*И к Сталину, безусловно, тоже нужно относиться с должным уважением. В своём роде он просто гениальный тип. . . А его планы развития экономики*

настолько масштабны, что превзойти их могут лишь четырёхлетние (немецкие. — **Авт.**) планы. Сила русского народа состоит не в его численности или организованности, а в его способности порождать личности масштаба Сталина. По своим политическим и военным качествам Сталин намного превосходит и Черчилля, и Рузвельта. Это единственный мировой политик, достойный уважения. Наша задача — раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина больше не появлялись”.

А Сталин, узнав о самоубийстве Гитлера, сказал лишь два слова, объяснявшие суть и причину его гибели и гибели его дела: “Доигрался, подлец!” — наконец-то гениальному игроку не повезло — вот суть сталинского приговора.

Но коричневые семена в европейской почве ждали своего часа. В Европе, прошедшей через гитлеровские расовые соблазны, как было не появиться выросшему благодаря ювенальной юстиции в приёмной семье ангелу мщения Брейвику, возмужавшему одновременно с палачами из армии всемирного Халифата.

Крот истории роет почву медленно, но рано или поздно вылезает на её поверхность.

\* \* \*

Великие русские писатели, начиная с Пушкина, все давали клятву верно-сти русскому языку с не меньшей страстью, с какой врачи всех времён давали клятву Гиппократу.

Николай Заболоцкий:

*Тот, кто жизнью живёт настоящей,  
Кто к поэзии с детства привык,  
Вечно верует в животворящий  
Полный разума русский язык.*

Ярослав Смеляков:

*Владыки, и те исчезали  
Мгновенно и наверняка,  
Когда невзначай посягали  
На русскую суть языка.*

Анна Ахматова:

*Не страшно под пулями мёртвыми лечь,  
Не страшно остаться без крова,  
Но мы сохраним тебя, русская речь,  
Великое русское слово.*

В. Маяковский — в стихах на смерть Есенина:

*У народа, у языкотворца  
Умер звонкий забулдыга-подмастерье.*

А. Твардовский:

*Вот стихи, и всё понятно,  
Всё на русском языке.*

Но как тяжело выживать сегодня русскому языку, когда я читаю в городе Лесосибирске, что в Красноярском крае, название закуской “Оклахома”.

Да, мы поступали в 20–30-е годы с молодой дерзостью, когда переименовывали Петроград в Ленинград, Царицын в Сталинград, Екатеринбург в Свердловск, но эти названия соответствовали гигантским сдвигам в нашей и героической, и трагической истории.



И даже деяния наших колхозников и всяческих мастеровых в сибирском городке Тайшете, куда я полвека тому назад приехал работать, были зарубками на теле нашей русско-советской истории: “Красный партизан”, “Красный кустарь”... Смешно? Наивно? Может быть, главное, что на нашем языке сказано: “Я русский бы выучил только за то, // что им разговаривал Ленин”, – и это было не просто эффектной фразой, это было фактом мировой истории. Даже колхоз “Красный партизан” и сапожная мастерская в Тайшете “Красный кустарь” – это наша русско-советская отметина времени.

Смешно? Трогательно? Но всё равно гораздо хуже и смешнее сегодняшние дела, когда на “Евровидение” Д. Билан или Д. Колдун “биланят” и “колдуют” на ломаном английском. Одна в этом печальная радость – что они оскверняют не русский, а английский язык. Однако язык – это гораздо более серьёзное дело, нежели вывески и рекламная болтовня. Хуже другое: они живут не в Оклахоме, а в России.

Президент Медведев поздравляет с юбилеем Гребенщикова, приезжает к нему на дом.

Не к Распутину, не к Белову, не к Кожинуву – к Гребенщикову. Тинэйджер, у которого Л. Долина – председатель комитета по культуре. У них нет России, у них есть “Оклахома”.

Мы, русские писатели, оттеснены на периферию культуры громадными деньгами, которые вкладываются в сериалы, в развлекаловку, в “бытовуху”, в программы Малахова, Диброва, Галкина, в “Евровидение”, где Билан и Колдун якобы представляют Россию. Но на “Евровидении” македонка поёт по-македонски, белоруска – по-белорусски, немцы – по-немецки. И лишь наши биланы и колдуны поют на “инглише”. В Европу хотят. “Оклахома” проклятая!

Однажды я встретился с немецким профессором-славистом, и разговор у нас зашёл о народных песнях. Профессор заговорил о странностях русских народных песен.

– Ну, подумайте! В популярной песне вашей “Бродяга к Байкалу подходит, рыбацкую лодку берёт...” Но ведь лодка эта – чужая собственность! Как так можно! А вы поёте, восхищаетесь. А дальше: “Навстречу родимая мать: // “Ах, здравствуй, мамаша, а живы ль // отец мой и брат?” – и мать отвечает ему: “Отец твой давно уж в могиле, // землю сырою зарыт, // а брат твой в далёкой Сибири // давно кандалами звенит”. Зачем петь такую песню – ведь семья-то криминальная!

Ничего не понял немец в нашей жизни – ни её глубины, ни поэзии, ни великой истории... Он сути языка не знает.

10 июля 1994 года французский парламент, борющийся с американским влиянием, принял закон о языке, в котором были такие слова: “Французский язык является главным историческим культурным наследием Франции”... Не Лувр, не Шартрский собор, не Нотр-Дам де Пари, не Центр Помпиду, а язык! Неужели мы никогда не впишем в свой закон о русском языке подобные золотые слова! Ну, в крайнем случае, возьмём их себе в качестве контрибуции за нашествие Бонапарта на Россию. “И назовёт меня всяк сущий в ней язык”, – писал Пушкин о своей русской судьбе. А потому день русского языка можно будет считать праздником всего русского народа.

\* \* \*

Пушкинская формула патриотизма может нам объяснить многое в разговоре о русской и русскоязычной литературе...

Невозможность для русского писателя “переменить отечество” и отказаться от родной истории – это фундаментальная основа его судьбы.

Язык – это ещё не всё. И на родном языке можно проклинать родину, что делал первый диссидент пушкинской эпохи Владимир Печорин. И на родном языке можно было блистательному публицисту Александру Герцену измываться в “Колоколе” над русской историей так, что Достоевский вынужден был заметить, что автор эпопеи “Былое и думы” не стал эмигрантом, но им родился...

В раннее советское время подлинно русскими писателями и поэтами безо всяких оговорок становились сыновья престонародья: Сергей Есенин, Николай Заболоцкий, Павел Васильев, Николай Клюев, Михаил Шолохов, Андрей Платонов...

Маяковский, сложившийся и проведший юность и молодость в Грузии, а остаток жизни – в бриковском салоне, был стопроцентно советским поэтом с юдофильскими и чекистскими, а заодно и с земшарными комплексами...

То же разделение осталось в литературе военного поколения. Проза Виктора Астафьева и Константина Воробьёва, поэзия Александра Твардовского и Фёдора Сухова были куда более народными и национальными, и русскими, нежели книги Василия Гроссмана, мемуары Ильи Эренбурга или стихи Давида Самойлова, самая ключевая и яркая строчка из поэзии которого, хотя и написана на русском языке, но выражает абсолютно не свойственное русской душе чувство: *“Я хочу быть маркитантом // при огромном свежем войске”*.

И в поколении “оттепели” это деление на русских и русскоязычных осталось.

С одной стороны, Николай Рубцов, Юрий Кузнецов, Глеб Горбовский, Василий Белов, Валентин Распутин, Вадим Кожинов, с другой – Евтушенко, Аксёнов, Войнович и прочие “маркитанты” калибром поменьше, вплоть до Ерофеева.

\* \* \*

Россия – страна слова, страна песни, страна литературы. Русский человек свою родную историю знает не по учебникам, не по историческим исследованиям, а по художественным книгам.

Свою раннюю сказочную историю мы знаем по былинам, своё Средневековье – по “Слову о полку Игореве”, своё Смутное время – по “Борису Годунову”, свои отношения с Украиной и петровскую эпоху – по “Полтаве”, пугачёвщину – по “Капитанской дочке”, наполеоновское нашествие – по толстовскому роману “Война и мир” и лермонтовскому “Бородино”, завоевание Кавказа – по “Казакам” Толстого и “Валерику” Лермонтова, революцию и гражданскую войну знаем по “Тихому Дону” и по стихам Есенина, Великую Отечественную – по “Василию Тёркину” и по многим другим стихам и романам. Литература – это наша вторая религия, и потому гонения на неё равносильны былым гонениям на Церковь. Недаром у нас в каждом городе есть улицы Пушкина, Толстого, Достоевского, Есенина. В Москве стоят несколько десятков памятников русским писателям – больше, нежели учёным, политикам, полководцам, вместе взятым.

Спроси любого человека: кто из русских писателей является Нобелевским лауреатом? Многие вспомнят Бунина, Пастернака, Шолохова, а кое-кто и Бродского с Солженицыным. А ведь у нас много Нобелевских лауреатов и в науке, но кто их помнит? Разве только люди из научной среды.

Недаром Путин во время президентской кампании 2008 года в одной из встреч с народом в Лужниках быстрым шагом взлетел на трибуну, читая на весь зал стихотворение Есенина:

*Если крикнет рать святая:  
“Кинь ты Русь, живи в раю!”  
Я скажу: “Не надо рая,  
Дайте Родину мою!”*

Путин знал, что эта поэтическая минута прибавит ему многие тысячи голосов.

А можно ли себе представить Обаму и Джорджа Буша или Хиллари Клинтон и Трампа, читающих в подобной же ситуации стихи Уолта Уитмена либо Фроста, которых все американцы, постоянно пополняющие электорат, или забыли, или вообще не знали никогда...

Можно ли себе представить, что Ангела Меркель помогла себе во время избирательной кампании стихами Рильке или Фридриха Шиллера?

\* \* \*

Каждый террорист, совершающий террористический акт, особенно если он одиночка, в сущности, приносит в жертву и самого себя, а это значит, что он человек с убеждениями, поскольку его “самоубийственное жертвоприношение”

не приносит победу над врагом – оно всего лишь сигнал для подъёма на борьбу людей сдавшихся, опустивших руки, потерявших волю к сопротивлению.

Таким был сербский студент Гаврила Принцип, убивший австрийского эрцгерцога Фердинанда, таким был полковник Штауффенберг, совершивший неудачное покушение на Гитлера, таким был норвежец Андерс Брейвик, расстрелявший около сотни своих молодых соплеменников из “партии власти”, допустившей такую иммиграционную политику, которая привела к тому, что доля некоренного (“мусульманского”) населения в Норвегии достигла двадцати пяти процентов.

Брейвик совершил свой теракт в июле 2011 года, мусульманские террористы ответили ему через 4 года, утертвив около двухсот человек во Франции и Бельгии.

Брейвик пытался разбудить инстинкт самосохранения у европейцев и получил 16 лет тюрьмы, но одновременно заработал лавры “героя белой расы” в среде правых националистов многих европейских стран. Одновременно с этим многие интеллектуалы Европы сравнили его манифест “2083...” с сочинением Адольфа Гитлера “Моя борьба”.

Кто прав, кто виноват в оценке *белокурой норвежской бестии*, покажет история. Но сущность происшедшего глубже всех нынешних комментаторов выразил сто с лишним лет тому назад наш Василий Иванович Розанов, похороненный в 1920 году в Черниговском скиту недалеко от Сергиева Посада:

**“Механизм гибели европейской цивилизации, – писал он, – будет заключаться в параличе против всякого зла, всякого негодяйства, всякого злодеяния; и в конце времён злодеи разорвут мир”.**

\* \* \*

Совершено ещё одно сакральное убийство.

Убит Борис Немцов. Я называю такого рода убийства “сакральными” потому, что, во-первых, они совершаются для того, чтобы эхо убийственных выстрелов поворачивало ход истории, а во-вторых, потому что такого рода смерти подтверждают страшную закономерность, гласящую, что “революция пожирает своих детей”.

“Дети” не виноваты ни в чём, кроме того, что создали такую эпоху, в которой возник спрос на заказные убийства, когда появились шальные деньги для оплаты киллеров, покупки оружия, для приобретения билетов на самолёты, перебрасывающие их в считанные часы с места преступления на Кипр, в Америку, в общем, к чёрту на кулички...

“Дело прочно, когда под ним струится кровь...”

Как радовались ельцинские прихвостни, узнав, что 20 августа трое молодых ребят, имена которых сейчас не помнит никто, кроме родных, свалились под гусеницы танков, уходящих из Москвы 21 августа 1991 года.

Всем троим, нелепо погибшим, было присвоено Ельцинским звание Героев Советского Союза. И смех, и грех, и кровь, и слёзы, как будто они погибли в борьбе за советскую власть – сакральные жертвы... Лиха беда начало. Сакральными жертвами вслед за ними один за другим стали маршал Ахромеев, министр МВД Пуго, заведомо ЦК КПСС Кручина, выброшенный из окна 10-го этажа, после них – “врагов революции” – в список сакральных жертв попали Листьев, Старовойтова, Политковская, Звиад Гамсахурдиа и многие, многие другие...

Сакральными жертвами в истории России были Столыпин и Андруша Ющинский (дело Бейлиса), Киров и Березовский, Литвиненко и генерал Рохлин. В Советском Союзе в 70–80-е годы совершалось десять тысяч убийств в год, в годы Великой криминальной революции в России (не в СССР!) эта цифра выросла втрое... Так чего рыдать по поводу ещё одного жертвоприношения на Москворецком мосту? Ну, застрелен очередной симпатичный плейбой, вокруг которого, пока он несколько дней лежал в морге, началась похоронная свистопляска. Все его дети, жёны, любовницы выстроились в очередь к Андрею Малахову в программу “Пусть говорят” и заговорили.

“Боги жаждут” – писал Анатолий Франс о судьбе якобинцев.

А ваш бог – золотой телец – никогда не утолит своей жажды. Бешеные деньги, выпущенные из государственной клетки, гуляют по белому свету, как

в нэповские времена, в эпоху Соньки Золотой Ручки, Лёньки Пантелеева, Миши Япончика и миллионера Корейки. Этот разгул длился до тех пор, пока Сталин не понял, что право на убийство должно принадлежать лишь государству, и более никому... Но даже при нём во время войны и в послевоенные годы, когда у государства не хватало сил для борьбы с преступным хаосом, разом расплодилось “чёрные кошки” — от Москвы до самых до окраин... Я помню то время, помню грабежи, убийства, воровство, мошенничество послевоенного времени, помню многих моих сверстников, соблазнённых блатной жизнью, загремевших в колонии для несовершеннолетних и в настоящие лагеря.

Впереди было “холодное лето 1953-го” — ворошиловская амнистия, фильм “Место встречи изменить нельзя”...

Сакральные жертвы, как правило, воспринимаются не как злонамеренные убийства или отмщение за что-то, а скорее — как жертвы во имя победы новых идей, во имя утверждения порядка жизни в государстве или мирового порядка, во имя своеобразной справедливости. Чаще всего они совершаются в переломные эпохи, во времена революций, контрреволюций, народных восстаний, общественных тектонических сдвигов.

Это и убийство царевича Алексея, и казнь стрельцов на Красной площади. Расстрел Бонапартом бунтовщиков в предместье Сен-Жермен, расстрел декабристского восстания на Сенатской площади, расстрел Парижской коммуны в 1870 году, расстрел народного шествия 9 января 1905 года в Петербурге, расстрел китайских студентов на площади Тяньаньмэнь, это, наконец, расстрел нашего Белого дома в октябре 1993 года... Во время таких “сакральных жертв” силы, осуществившие их, как правило, остаются безнаказанными и неподсудными, потому что они якобы исполняют волю истории. Исключения крайне редки, потому что победителей не судят. Но они, эти исключения, есть. В гитлеровском плане “Барбаросса” были слова о том, что “все народы азиатского типа подлежат уничтожению”, а в своём обращении к солдатам от 1941 года фюрер добавил: *“Вы должны растоптать и уничтожить всё, на чём стоит Азия, и тогда — и только тогда! — мы сможем вздохнуть спокойно... Только на останках народов Азии может зиждиться Великий Рейх”*.

Наверное, и Андерс Брейвик, расстрелявший в июле 2011 года 90 своих соотечественников как предателей белой расы, сдающих Европу и его родную Норвегию азиатам-мусульманам, верил, что выполняет волю истории.

Целых девять лет он писал свой манифест о вырождении Европы и о том, что скандинавы — это тоже племя арийской белой расы, племя, которому надо напомнить своим поступком об этом.

Книга “Майн кампф” в своё время призвала Европу освободиться от евреев, а брейвиковский манифест и, самое главное, — его расстрел опустившихся соотечественников должны были стать началом освобождения Европы от мусульман.

Бунт Брейвика на острове Утейя стал сродни “пивному” мюнхенскому “путчу” Гитлера. Оба после таких своих восстаний попали в тюрьму, осуждённые и законами своих отечеств, и общественным мнением.

“Великое переселение народов”, возмущившее Брейвика, стало сродни великому переселению, разрушившему Римскую империю. Римская чернь, разучившаяся воевать, наслаждалась боями гладиаторов, а сегодняшняя Европа — “боями без правил”. В Риме эпохи упадка педерастия стала нормой жизни, как однополые браки в Европе XXI века. И варвары, жившие здоровой звериной жизнью, и варвары ИГИЛа поняли, что наконец-то у них хватит сил разрушить такой Рим и такую Европу.

\* \* \*

В послевоенной Калуге было немало очагов, в которых тлела мирная обывательская жизнь со всеми её прелестями. По дороге из дома в школу я проходил мимо пивной с названием “Голубой Дунай”.

Там слепой инвалид войны играл на трофейном аккордеоне, который рыдал в его руках:

*Аникуша, Аникуша,  
Очи чёрные горят, как угольки.*

*Аникуша, Аникуша,  
Если б знала ты страдания мои.*

Ему подносили кружку пива с шипящей пеной, чистили воблу и просили “что-нибудь из Лещенко”. Он растягивал тело аккордеона и выдыхал охрипшим голосом слова щемящей душу песни:

*Упали косы душистые, густые,  
Свою головку ты склонила мне на грудь.*

Я задерживался на минуту в дверях пивной, чтобы услышать: “Татьяна, помнишь дни золотые...” — и бежал дальше, чтобы успеть в школу к первому звонку.

А если слепой аккордеонист исполнял “Здесь под небом чужим // я, как гость нежеланный, // слышу крик журавлей, // улетающих вдаль...”, то я приходил в школу ко второму уроку.

... На рынке азартные мошенники охмуряли наивный народ играми в напёрсток, в верёвочку, в три карты: “Вытащишь туз — денег картуз”... Моя бабка Дарья Захарьевна однажды пошла на рынок продать буханку хлеба, а вернулась с пачкой денег, но когда мы развернули пачку, то увидели в середине резаную газетную бумагу, обложенную двумя пятирублёвками с одной и с другой стороны. Это называлось “куклой”. В инфекционном бараке, куда я попал, заболев корью, пожилая санитарка развлекала нас жестокими романами:

*В зелёньком садочке на берегу реки  
Стоял красивый домик, там жили рыбаки.  
Один любил крестьянку, другой любил княжну,  
А третий молодую охотника жену.*

Но одновременно в калужском небе над Окой кружились и другие мелодии, и другие слова: вальс “На сопках Маньчжурии”, “Прощание славянки”, “Летят перелётные птицы...” И вся эта песенная стихия волновала мою душу, глубоко западала в неё и, засыпая под мерный шум самопрялки, на которой бабка пряла овечью шерсть, — волну, как говорила она, — превращая её в нитку, я про себя повторял слова:

*Желанья свои и надежды  
Связал я навеки с тобой —  
С твоею суровой и ясной,  
С твоею завидной судьбой.*

\* \* \*

Сколько в фильме о судьбе Варлама Шаламова неправды, исторической и киношной!

Сам Шаламов говорил о своей судьбе, что его посадили еврейские чекисты — Черток и, в первую очередь, Яков Агранов. А в фильме всё лагерное начальство состоит из русских садистов. “Я — Бог”, — говорит русский охранник-садист и бьёт священника сапогом в лицо. Начальник лагеря Иван Петрович Бондаренко — тоже садист, русские охранники (волгоградский конвой) стреляют в затылки больных и ослабевших эзков. Виталий Костин — инспектор, приехавший в лагерь, — приказывает второй раз арестовать Варлама Шаламова. Приехавший из центра Лупилов — офицер НКВД — тоже садист и тоже русский.

Сценарий фильма писал человек по фамилии Арабов, сделавший самым лучшим эзком в лагере еврея, бухгалтера Оксмана. А лучший в человеческом смысле администратор — латыш Эдуард Берзин (в Вишерском концлагере).

И всё это происходит в годы, когда начальником ГУЛага был М. Берман, а его заместителями — Раппопорт, Плиннер и Кацнельсон.

А в ноябрьской газете “Правда” от 1935 года, когда Шаламов сидел в лагере, был опубликован список награждённых из сорока комиссаров госбезо-

пасности I, II и III ранга, 20 человек из списка – еврейские фамилии. Остальные – латыши, грузины, поляки, русские. Яков Агранов, посадивший Шаламова, был в числе двадцати. Я имею право рассуждать об этом и потому, что был знаком с Шаламовым и в моей библиотеке есть две его книги с дарственными надписями.

\* \* \*

“И мой народ меня благословляет”, – написал Виктор Боков в одном из последних стихотворений.

На переделкинском кладбище похоронили прах Александра Межирова, привезённый из Америки. Межиров понимал, что ему, как Бокову, нельзя сказать о себе: “И мой народ меня благословляет”. Поэтому его прах хоронили люди его семьи, его касты.

Могут ли Ахмадуллина, Евтушенко, Битов сказать с наивной боковской улыбкой о себе: “И мой народ...”? Нет, не могут, не осмелятся. Я ведь тоже не смогу произнести о себе “И мой народ...”, и Юрий Кузнецов тоже не решился бы.

Одному Рубцову было дано такое естественное право сказать “мой народ”, но он сказал это по-другому: “И заживу в своём народе...”

\* \* \*

Бесмыслен спор о том, подлинны или фальшивы “Протоколы сионских мудрецов”. Не всё ли равно, кто их сочинял, на какие источники опирались их тексты? Не всё ли равно, откуда брались идеи и формулировки – из французского ли памфлета времён Наполеона III, из сочинений ли Макиавелли или из “Бесов” Достоевского?

Просто наступала эпоха, когда существование великих империй – Российской, Британской, Германской, Японской, Австро-Венгерской, Оттоманской – стало костью в горле финансового и банковского капитала, жаждавшего власти над миром. “Всё моё”, – сказало злато...”

Надо было сломать религиозные, экономические, геополитические, бытовые, семейные, патриархальные, культурные формы жизни древних народов, превратить их в население, установить везде однообразные парламентарные институты, унифицировать при помощи рыночной идеологии их облик, сломать всяческие авторитарные самодостаточные системы русской, немецкой, сербской, японской, турецкой жизни...

“Протоколы...”, в сущности, жестокая, прагматическая программа мировой денационализированной элиты в борьбе с авторитарными национальными обществами. Это компиляция из самых разных источников руководства для будущего мирового господства. Этот “демократический манифест”, занявший место манифеста коммунистического, – вызов идеологов ещё не окрепшего всемирного финансового олигархата всему древнему, многоликому, богатому красками и формами миру...

Возможно, что их таинственное обнародование было запрограммировано создателями как вызов новой могучей воли, долженствующей стать широко известной.

“Иду на вы!” – возвестили “Протоколы...” всем мировым религиям, всем великим империям, цивилизациям и культурам, родившимся в незапамятные времена.

И какое в этом случае имеет значение, кто их автор, фальшивые они либо нет, коль в таком контексте слово “фальшивые” теряет свой смысл? Да все эти “Протоколы...” можно было сочинить и написать, изучив речи и диалоги Верховенского и Ставрогина, Кириллова и Шатова, Версилова и Ивана Карамазова... Недаром же великий пророк Достоевский был религиозным врагом любой демократии, считая её системой, рано или поздно рождающей диктатуру Антихриста или Великого Инквизитора. “Скоро сильных держав не будет, будут разрушены демократией. Останется Россия” (“Дневник писателя” 1876. С. 493).

Однако у истории человечества ещё хватило воли взбрыкнуть и ответить на первую попытку создания мировой демократии после крушения великих империй появлением на их пепелищах социализма, фашизма, а также пробуждением исламского мира. Племенные, родовые, патриархальные зёрна традиционных обществ перезимовали и дали могучие всходы, но совсем не те, на которые рассчитывали творцы “Протоколов...” И тогда ради осуществления планов мировой демократии пришлось спровоцировать Вторую мировую войну, а в наше время – и Третью под прикрытием планов образования всемирного халифата.

\* \* \*

Книга о Робинзоне Крузо, написанная Даниэлем Дефо, была для нас, мальчишек-подростков, “очищенной” от многих подробностей оригинала, адаптированной к пониманию жизни Робинзона и Пятницы молодёжью советской эпохи.

На самом же деле, если её издать без редактуры и сокращений, она произвела бы на нас отвратительное впечатление.

Во-первых, сам Робинзон Крузо был работником, перевозившим живой чёрный человеческий товар из Африки в Новый Свет и в Бразилию, где у него были плантации сахарного тростника, на которых работали рабы. Да, он отучил Пятницу от людоедства, потому что рабы должны быть живыми... В английской книге о Робинзоне, где не было сокращений, он возвращается в Англию, подсчитывая в уме, какие долги будет выколачивать из своих должников, подсчитывая, какие проценты наросли у него за то время, пока он 28 лет жил на необитаемом острове с Пятницей...

Он радуется, что его ждёт на родине богатство, и чувствует себя счастливым человеком... Словом, жизнь удалась, и никаких христианских чувств ни к Пятнице, ни к своим английским друзьям, ни к родным людям, ни к самому Спасителю он не испытывает... Вот что такое гражданин Англии 17-го века – вершины колониального рабства!

\* \* \*

30 октября 1996 года.

Опять российское радио врёт о том, что у России остались “коммунистические долги” Западу в размере 120 миллиардов долларов. Враньё. Их было не более 60-ти миллиардов. Остальные долги нахватили демократы с 1992 года.

Наш премьер отдаёт Франции даже царские долги! Да они давно отданы хотя бы тем, что русский экспедиционный корпус в 1916 году пошёл, спасая французов, в очередное наступление, закрыв прорванную немцами линию фронта. Мало им этой русской крови? Погибли за Францию... Как торжественно звучит, но при чём здесь какие-то долги столетней давности?

Ну, коли считается, тогда почему нам не получить с Франции компенсацию за пожар и разграбление Москвы французами в 1812 году, за разграбленные сокровища Кремля наполеоновскими мародёрами? А с немцев, требующих “возвращения культурных ценностей”, надо потребовать восстановления Нового Иерусалима и новгородских храмов, взорванных ими во время бегства из Великого Новгорода.

\* \* \*

Всего за последние годы в мире вышло более сорока книг о Бродском. В том числе две книги – в серии ЖЗЛ (Л. Лосева и В. Бондаренко), “Диалоги о Бродском” (Соломона Волкова), “Солженицын и Бродский” (Лев Лосев), “Рыцарь и смерть” (Яков Гордин), “Иосиф Бродский глазами современников” (3 книги Валентины Полухиной), “Мир Иосифа Бродского. Путеводитель”, “Как работает стихотворение Бродского” (из исследований славистов на Западе), “Словарь рифм Иосифа Бродского”, “Милош и Бродский” (Ирена Гросс) и т. д., все книги перечислять не буду.

Добавим к этому списку песни “Памяти Бродского” Андрея Макаревича, песни на стихи Бродского К. Меладзе, Е. Клячкина, П. Мамонова и других шоуменов.

“Вот как надо чествовать имена великих поэтов!” — это я говорю чиновникам из краснодарской губернской администрации, к которым я обратился с письмом об издании книги Юрия Кузнецова к его 75-летию. Они отказали мне в этом.

Оказывается, для посмертной жизни поэта гораздо выгоднее родиться в семье еврейского фотографа, нежели в семье капитана Советской армии, павшего в Крыму при штурме Сапун-горы — его имя есть там, в списке павших.

И гораздо выгоднее покинуть Родину и быть похороненным в Венеции, а не на русском московском Троекуровском кладбище, где лежит Юрий Поликарпович Кузнецов.

\* \* \*

Что-то много у меня стихотворений, где встречается слово “кровь”.

“Ежели кто на крови поскользнулся”, “А наша кровь густая, молодая, // свернулась, извернулась, запеклась”, “Как будто природа сама // твердит нам устами любви, // о том, что сиянье и тьма // повенчаны узами крови. . .” И так далее. Но не один я об этом задумывался.

Вот и у Рубцова:

*С каждой избою и тучею,  
С громом, готовым упасть,  
Чувствую самую жгучую,  
Самую смертную связь.*

А разве не о кровном родстве думал Давид Самойлов, когда писал:

*Всё на свете рождается в муке:  
И деревья, и люди, и звуки.*

Без страдания, освящённого кровью, нет в этом мире ни истории народов, ни людских судеб, ни привязанности родства. . . Разорванная ткань любви всегда кровоточит. Недаром же Лукинична, мать Григория Мелехова, ночью выходит на крыльцо и, глядя в русскую бесконечную даль, где пропал её сын, шепчет: “Гришенька, кровиночка моя!”

Всё, сросшееся при помощи крови, — неразрывно. Без неё, без этой солёной влаги ничего слепить, сотворить, спаять в человеческой жизни невозможно.

*Я люблю эту кровную участь,  
От которой сжимается грудь,  
Даже здесь бессловесностью мучусь,  
А не то чтобы там, где-нибудь...  
Синий холод осеннего неба  
Столько раз растворялся в крови,  
Не оставил в ней места для гнева,  
Лишь для горечи и для любви...*

Наконец-то к концу жизни я начал понимать, почему Георгий Свиридов любил именно эти строчки. . .

\* \* \*

Зашёл в Калуге к старому другу детства Володе Калгалихину. Он недоволен жизнью, ругается, покупает какие-то разрекламированные лекарства — “Нестарит”, “Черника-форте”, — пьёт, а здоровье и зрение не улучшаются:



– Как видел, так и вижу! Черника форте! А стоит 38 рублей. У меня сейчас, Стась, три костюма, шестеро брюк, двадцать рубах. Гараж этим летом одному бизнесмену строил. Брат у него на Север уехал – и пропал. Так он мне евонный костюм твидовый за работу пожаловал... Материал – во! На всю жизнь хватит.

Лицо у Калгана опухшее, зубов нет, еле ходит. И ноги опухли – водянка.

– Кое-как подлечили меня, Стась, семь кило потерял, водой вышли. УЗИ сделали. Печень у меня отличная, селезёнка в порядке, лёгкие подпорчены. Вверху рубцы. Врач говорит: нужна операция, а то загниют. А я по строительному разумению думаю: как вверху загниёт? Загнить внизу может, куда всякая дрянь сваливается. А вообще, Стась, я тебе так скажу: еврей к врачам идёт за год до болезни, а русский – за неделю до смерти.

... Через две недели друг моего детства Володя Калгалихин умер.

\* \* \*

“Вихрем песка ночного // будку не занесёт, // юноша мягкой тряпкой // поршни не оботрёт” – волшебные строки из стихотворения Ярослава Смелякова “Кладбище паровозов”, выработавших свои жизненные силы на строительстве социализма.

Локомотив. Ночь. Стыки рельсов гремят. Громадная молодая страна просыпается. Машинисты Андрея Платонова из рассказа “Фро” хватаются за поручни и поднимаются в свои паровозные будки. Это не просто труд. Это вера, это служение, это религия новой эпохи.

*Больше не раскалятся ваши колосники.  
Мамонты пятилеток сбили свои клыки.*

В рассказах из книжки “Река Потудань” Андрей Платонов свою предельно оригинальную, но нарочито глумливую манеру “Чевенгура” и “Котлована” преодолел и впал, как “в ересь, // в неслыханную простоту”. Он преобразил естественное тепло, идущее от железа, очеловечил его, смешав с теплом от чёрных рук машиниста, и склонил свою гордыню перед людьми из простонародья, верующими в социализм и смиренно строящими его.

\* \* \*

В 1960-1963 годах в комнате отдела поэзии журнала “Знамя” происходили всяческие забавные встречи и разговоры.

Юзик Алешковский откуда-нибудь из глубины комнаты с дивана просто-душно и весело заводил разговор о своём недавнем лагерном прошлом, забавлялся, что благодаря песне “Товарищ Сталин, Вы большой учёный” его считают жертвой политических репрессий.

– Да я служил в Сибири, пошёл в увольнение с корешами, зашли в кабак, выпили... Глядим – не успеваем в часть к сроку вернуться. А тут “газик” стоит открытый – и ключи в замке. Ну, вскочили и угнали. А за рулём был я. В часть успели, но схлопотали срок...

Забавный народ в лагере. Как-то в бараке зашёл разговор о евреях. Стали их ругать на чём свет стоит. Я слушал, слушал и говорю: “Ну, что вы языки распустили, вот я – еврей!”

Мои уголовники шары выкатили, не верят. “Ну, какой ты еврей! – И хочут: “Разыгрываешь нас!..”

Эту историю в те времена Юзик приводил в доказательство того, что русскому простому человеку по его наивности и добродушию антисемитом быть невозможно, поскольку он еврея от русского отличить не может.

Частенько заглядывал к нам в “Знамя” в те времена входивший в моду писатель Юлиан Семёнов.

Сын Семёна Ляндреса, бывшего в 30-е годы секретарём Николая Бухарина, он делал свою литературную карьеру на удивление уверенно и успешно. Один за другим эффектные политические детективы выходили из-под его пера и публиковались громадными тиражами. Немыслимые по тем временам

даже для самых известных писателей и журналистов, его поездки то в закрытую для советских людей франкистскую Испанию, то на ошестинившийся против континентального Китая и потому находившийся на особом положении Тайвань, то на чреватый близкими еврейско-арабскими войнами Ближний Восток возбуждали слухи и разговоры о его теснейших связях с Лубянкой. Иные литераторы клялись и заверяли, что он имеет по этому ведомству чуть ли не генеральские погоны, что по сравнению с ним какой-нибудь Генрих Боровик всего лишь навсего средний или даже младший офицер грозного ведомства, простая апээновская шестёрка... А тут ещё каплю масла в костёр слухов и сплетен вокруг Юлика добавила его женитьба на дочке Михалкова и Кончаловской. Три клана объединились. Чувствуя свою, как на дрожжах, растущую значимость, Юлиан стал “косить” под советского Хемингуэя, отпустил хотя и неопрятную, клочковатую, но всё-таки бороду, приобрёл редкий по тем временам ЗИМ, начал носить хемингуэевское кепи и даже краги, а его коктейбельские кутежи по богемному размаху стали напоминать времяпрепровождение Эрнста и его друзей в послевоенной Европе 20-х годов, описанное американцами в книгах “Ночь нежна” и “Праздник, который всегда с тобой”.

Естественно, что в качестве хобби Юлиан выбрал для себя охоту на самых крупных российских зверей – лося, кабана, медведя. Но поскольку вся эта нарочитая судьба была отмечена печатями туфты и показухи, то вся хемингуэевщина должна была окончиться каким-то нелепым образом. Чувствовалось, что однажды, говоря блатным языком, сынок Семёна Ляндреса и зять Михалкова должен был “фраернуться”. Что и произошло. Году в 1962-м где-то в Подмосковье на престижной охоте Юлик по неопытности во время загона, думая, что стреляет по зверю, выстрелил то ли на шелест в ельнике, то ли на хруст веток и влепил заряд картечи в загонщика, который вскоре скончался. Дело было “мокрое”, но у нашего “Хемингуэя” за спиной стоял клан Михалковых и органы. Всё было замято, наказание Юлику дали условное, семья погибшего мужика получила хорошие отступные, и карьера Семёнова-Ляндреса стала успешно развиваться дальше.

\* \* \*

Кончается эпоха книги, начинается эпоха мусора. Книги выбрасывают в мусорные баки, кто посовестливее – выкладывают в подъезде. Выбросить – рука не поднимается.

Утром большинство людей в московских дворах просыпаются от грохота мусоровозов, опрокидывающих мусорные контейнеры в свои кузова. Горы мусора рассыпаны по Подмосковью... А сколько в наших магазинах и гипермаркетах лежит на полках бесполезных и почти никому не нужных товаров, которые вскоре станут мусором.

В эпоху моего детства по калужским улицам проезжала телега, запряжённая лошадей. На телеге сидел человек и монотонно кричал: “Старьё берём!” Бабы выходили из подъездов, несли к его телеге изношенное тряпье, подшивки старых газет, вдрызг разбитую обувь.

...Я вспомнил об этом, когда вышел из глазной больницы прогуляться, зашёл вглубь квартала и увидел смуглого восточного человека в оранжевом жилете с сумкой, который нырял в кусты и выныривал оттуда с пустыми бутылками из-под пива. А в углу двора толстая женщина с сыном принимает от такого же узкоглазого мигранта такие же пустые бутылки... И протягивает ему какую-то мелочь. Я остановил смуглого собирателя мусора, который шёл к своеобразному приёмному пункту стеклотары.

- Ты откуда?
- Я из Душанбе.

Мы разговорились, я вспомнил свои молодые скитания по Таджикистану с геологической вольницей.

- А в Душанбе зелёный базар знаешь?
- Как не знать! – дружелюбно ответил мне таджик.
- А что ты в Москве собираешь бутылки? Что, в Душанбе работы нет?
- Нет! Я агрономом был в колхозе. Колхоз развалился. А сын учится – каждый месяц я ему из Москвы 20 тысяч посылаю... Дворником здесь рабо-

таю. Бутылки собираю, сдаю.

... Я вспомнил бескрайние хлопковые поля Таджикистана, чистые ручьи, текущие с гор в арыки. Вспомнил посёлок индейцев в американском штате Оклахома, звенящие пустые банки из-под пива, гонимые ветром по пыльной дороге.

Там – вырождающиеся потомки Гайаваты, здесь – цивилизованные дети Фирдоуси. А сегодняшняя жизнь – цивилизация мусора: помоечного, бытового, интеллектуального, эстрадного, политического и т. д.

\* \* \*

Русские разбойничьи и “каторжные” песни, получив в XX веке “прививку” от городских жестоких романсов, постепенно заменились в бытовом обиходе советскими блатными песнями. Благо жизнь способствовала их появлению. Ну, разве не похожие чувства живут в старинной народной “По диким степям Забайкалья...” и советской лагерной “По тундре, по железной дороге, // где мчится скорый “Воркута-Ленинград”?

О жизни “блатного сословия” в советскую эпоху писали стихи и прозу многие известные литераторы. Вспомним “Республику ШКИД” В. Черных и Л. Пантелеева, “Очерки преступного мира” Варлама Шаламова, “Факультет ненужных вещей” Юрия Домбровского, “Погружение в бездну” Олега Васильевича Волкова, книгу о строительстве Беломорканала, написанную целым коллективом советских писателей. А ещё можно вспомнить книги Антона Макаренки, Михаила Дёмина, Бориса Ширяева. А поэтов, не понаслышке знавших, что такое лагерная жизнь, не перечислить: Анатолий Жигулин, Виктор Боков, Борис Ручьёв, Алексей Прасолов, Владимир Болохов и т. д.

Отношение в этих книгах к блатному миру было разным: кто-то ненавидел его, как Юрий Домбровский и Варлам Шаламов, кто-то с удовлетворением писал, как исправляются эти люди, кто-то им сочувствовал, но никогда никто не поэтизировал этот мир и не восхищался им. Вспомним, как писал об этом мире Николай Заболоцкий, проведший в лагерях более 8-ми лет:

*От солдат, от их лужёных глоток,  
От бандитской шайки воровской  
Здесь спасали только околоток  
Да наряды в город за мукой.*

Первым, кто рискнул написать о блатном мире с восхищением и до предела поэтизировать его, был Владимир Высоцкий, из песен которого, как из ведра, полилось и посыпалось: “За восемь бед один ответ – // в тюрьме есть тоже лазарет...”, “Рыжая шалава”, “На большом Каретном”, “Мы вместе грабили одну и ту же хату...”, “За меня невеста // отгрыдает честно...”, “У тебя глаза, как нож...”, “В меня влюблялася вся улица...” и т. д.

Высоцкий приподнял силой своего актёрского таланта и темперамента блатной мир на невиданную высоту. Мало того, после нескольких поездок в 70-х годах в центр золотодобычи Сибири Бодайбо и после нескольких выступлений перед бывшими уголовниками, ставшими после выхода на волю старателями-золотодобытчиками, он решил написать совместно с одним из них, Леонидом Мончинским, прозаическую книгу о лагерной жизни этих людей. Книга вышла в 1996 году под названием “Чёрная свеча” (тираж 26 000 экз.).

Вот что писал Леонид Мончинский в предисловии к книге: “Идея написания книги принадлежит Володе. Он настаивал на сценарии, по которому мечтал поставить фильм в США и сыграть в нём главную роль. Мне удалось его уговорить: “Вначале будет роман”. Совместно работали урывками, иногда ночью, иногда в день, многое согласовывали по телефону. Володя ушёл, когда первая часть романа “Побег” была практически готова. Зэки, отбывавшие наказание на Колыме, перед ним предстали как создатели, люди слова и дела, не могущие творить зло”.

Увлечённость “блатным миром”, выраженная в песнях Высоцкого и в романе, частично написанном им, была столь страстной, что публицист и философ Кара-Мурза однажды написал:

“Какие песни сделали Высоцкого кумиром интеллигенции? Те, которые подняли на пьедестал вора и убийцу. Преступник стал положительным героем в поэзии. Высоцкий, конечно, не знал, какой удар он наносил по обществу, он не резал людей, он “только дал язык, нашёл слово” – таков был социальный заказ элиты культурного слоя. Как бы мы ни любили самого Высоцкого, этого нельзя не признать”.

И не случайно Владимир Высоцкий стал соавтором романтически-уголовной книги о лагерной жизни даже не политических заключённых, а “благородных” воров в законе, бесстрашно воюющих в лагерях со всякого рода “ссучившимися” зэками.

Слава Богу, что не осуществилась его мечта поставить в Голливуде фильм об этой жизни и сыграть в нём главную роль.

\* \* \*

Еврейские элиты Америки, представленные неоконнами, которых иногда называют “неотроцкистами” (Киссинджер, Нуланд, Чейни, Олбрайт), встали стеной против исламского антисемитизма в истории с парижским еженедельником “Шарли” и вытолкнули на улицы и площади Европы миллион сограждан, сказавших “нет!” попыткам еврейского погрома на улицах и в торговых центрах Франции. Но одновременно они и тайно, и явно благословили пещерный антисемитизм украинских майданов, ибо он разрушал все основы нравственного бытия украинского общества, смыкался с животной русофобией военизированной черни, отвергал все устои новозаветного христианства, все устои “гражданского общества” и порождал условия “управляемого хаоса”, столь необходимые истеблишменту США и Европы для создания “санитарного кордона” прибалтийских и восточнославянских территорий вдоль западной границы России... “Что позволено Юпитеру, то не позволено быку” – что необходимо американским, французским, германским элитам (подавление антисемитизма у себя дома), то вполне допустимо на просторах “дикого Гуляйполя”, где гуляют батальоны Яроша и где законы устанавливает Сашко Билый.

\* \* \*

“Проездом из Киева в Иркутск посетили меня земляки мои Волконский и Малюга. Они едут в звании медиков заслуживать казнь за воспитание. Какая нелепость – посылать молодых медиков в такую даль от центра просвещения! Где средства на будущее развитие? Варварство!” (Из дневника Т. Шевченко от 18 февраля 1858 года.)

Вот разница между русским и украинским подходом к жизни. Ни одному русскому мыслящему человеку не могло прийти в голову, что нельзя посылать молодых специалистов на окраины империи, “в такую даль от центра просвещения”!

Мои дед с бабкой, получив высшее медицинское образование в Петербурге, сначала были посланы работать врачами в саратовскую деревню, а потом по семейным обстоятельствам их перевели в деревню новгородскую. И это считалось и было нормальным и правильным распределением молодых специалистов в царской России.

И эту практику унаследовала Россия в советское время, когда моя матушка была распределена в 1940 году в эстонскую деревню Губаницы, а я через 20 с лишним лет – в маленький сибирский городок Тайшет.

Это был имперский порядок, непонятный сыну хуторской Украины Тарасу.

\* \* \*

Когда в популярной программе “Голос” многие талантливые конкурсанты исполняют иностранные песни на английском языке, желая понравиться жюри и публике, я вспоминаю концерт Хворостовского, который прошёл 9 мая 2010 года на российском телевидении.

Опытный певец, популярный во всём мире, начал свой концерт вальсом “На сопках Маньчжурии”, потом спел “Катюшу”, потом — “Одинокую гармонь”... Зрители и слушатели были в восторге, аплодисментам не было конца, а тут ещё и “Тёмная ночь...”, и гамзатовские “Журавли”. Советская стихия наплывала на Красную площадь, обволакивала её, отвоёвывала потерянное страной пространство, возвращала, казалось бы, навеки утраченное время. Русское скуластое лицо Хворостовского, его широкая мужская улыбка, его достоинство, с которым он исполнял бессмертные песни на родном языке, — всё это вызывало у слушателей и восторг, и благодарные слёзы. “Офицерский вальс” на слова Долматовского, песни на слова невеликих поэтов Ошанина (“Эх, дороги...”), Матусовского (“На безымянной высоте...”), Михаила Львовского (“Вот солдаты идут...”) воспринимались народом как заветные и сокровенные. Ветер Победы подхватывал их и вместе с баритоном Хворостовского разносил над Москвой-рекой.

Вся история страны и Победы проплывала в то время в душе народа, стоявшего на Красной площади.

В своей стране, когда тебя слушает свой народ, надо петь песни на своём языке и забыть обо всех законах “Евровидения”... Инстинктом великого артиста Хворостовский понял это без лишних слов и раздумий... Да разве можно перевести на “инглиш” и спеть:

*Выльем за тех, кто командовал ротами,  
Кто умирал на снегу,  
Кто в Ленинград пробивался болотами,  
Горло ломая врагу?..*

\* \* \*

Жестокость революции. Жестокость Ленина, Троцкого, Сталина... Но — каков народ, такова и власть.

Вспомним “Тихий Дон”, сцену, как казаки собираются у куреня Мелиховых, потому что отец Пантелея Прокофьевича привёз из похода жену турчанку, которая вроде бы навела порчу на хуторскую скотину, и казаки решили расправиться с этой ведьмой. Когда одни держали деда Гришки Мелехова за руки, другие выволокли на крыльцо его беременную турчанку... .

Она закричала, и её муж вырвался из цепких рук своих хуторян, схватил со стены горницы боевую шашку и с криком: “Зарублю!” — вырвался на двор, откуда вся толпа, пришедшая поглядеть, как убивают ведьму, разбежалась кто куда.

А сцена у мельницы, когда казаки с иногородними не поделили очередь — кому сначала молотить зерно на муку, — и когда из-за этой ссоры началась кровавая драка, в которой в ход пошли и колья, и оглобли, и всё, что попадалось под руку?..

А как расправляются с Подтёлковым и его соратниками мужики и бабы Гришкиного хутора? Как Гришка Мелехов рубит матросов, как он избивает до полусмерти сына помещика Листницкого?

А какие песни в то время могли петь и красные, и белые:

*Как за Чёрный ерик, как за Чёрный ерик  
Ехали казаки — сорок тысяч лошадей,  
И покрылся берег, и покрылся берег  
Сотнями порубанных, пострелянных людей...*

И вдруг после этого:

*Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить...*

Да... При таком народе революция не могла быть никакой другой. Конечно, свой вклад в “жестокость революции” внесли местечковые революционеры и чекисты. Но и жестокость, живущая в дохристианской славянской сущности, наложила свою печать на 30-е годы с НКВД, с Соловками, с Колымой, с “тройками” и ГУЛАгом.

И лишь война, как наказание Божие, остановила этот разгул государственной и народной стихии... “Любо, братцы, любо, любо, братцы, жить...”

\* \* \*

Когда наши историки и публицисты размышляют о сталинских реформах предвоенного десятилетия (1929–1939), то вспоминают, как правило, лишь коллективизацию и индустриализацию. Но в эту эпоху реформировалась вся жизнь, изменялось строение всего общества.

Население, несмотря на голодные годы коллективизации, за это десятилетие увеличилось со 154,3 миллиона человек до 170,4 миллиона.

Количество индустриальных рабочих возросло с 8,3 млн до 23,9 млн – то есть в четыре раза.

Также почти в четыре раза (с 8,7 млн до 23,9 млн) увеличилось число так называемых служащих.

В три раза – с 11,6 млн и до 35,5 млн – возросло количество школьников. А число студентов со 169 тысяч в 1929 году в 1939-м достигло 812 тысяч – выросло в пять раз. Количество работающих женщин возросло в 4 раза: в 1929 году их было 2,7 млн, а в 1939 году стало 13,2 млн.

Вот какими были сталинские реформы, превратившие за 10 лет полуграмотную и неспособную выдержать историческую конкуренцию с развитыми европейскими государствами Россию в стремительно развивающееся общество и государство.

Вот так реализовалась сталинская мечта о том, чтобы Россия, отставшая от передовых капиталистических стран на 100–150 лет, преодолела это отставание всего лишь за одно десятилетие. Но без жесточайших законов, а часто и незаконных репрессий совершить такие преобразования в такие ничтожно короткие сроки было невозможно.

\* \* \*

Знаменитый тост, который Сталин произнёс в честь русского народа в июне 1945 года, часто цитируется и вспоминается. Но, оказывается, Сталин и в других своих выступлениях не раз подчёркивал роль русского народа в истории:

“Самые большие уступки русскому национальному сознанию, – пишет историк А. И. Вдовин в книге “Российская нация”, – были сделаны в критический для страны 1942–1943 год (сражения под Сталинградом и Курском), ставший переломным не только в войне, но и в идеологической работе, в установках партийной пропаганды.

Именно тогда получило широкую известность беспрецедентное сталинское суждение о национальном вопросе и смысле войны. “Необходимо, – говорил он, – опять заняться проклятым вопросом, которым я занимался всю жизнь, но не могу сказать, что мы всегда его правильно решаем... Это проклятый национальный вопрос...”

Некоторые товарищи ещё недопонимают, что главная сила в нашей стране – великая великорусская нация, а это надо понимать! Далее в адрес некоторых недопонимающих товарищей было сказано: “Некоторые товарищи еврейского происхождения думают, что эта война ведётся за спасение еврейской нации. Эти товарищи ошибаются. Великая Отечественная война ведётся за спасение нашей Родины во главе с великим русским народом” (Вдовин А. И. “Российская нация”. С. 130).

\* \* \*

“Пусси райот” – это гормональная болезнь, пришедшая из нижней, “кошачьей” части организма в мозг.

Поражает только женщин, в редких случаях – мужчин, женоподобных геев. Эти гормоны выбрасывают женщины в политику, которая обретает истери-

ческие черты и формирует женщин вроде Новодворской, Хакамады, Розалии Землячки, Соньки Золотой Ручки, Мариэтты Чудаковой...

Болезнь эта связана с сексуальными комплексами, с гормональной сублимацией.

В Средневековье таких сублимированных “и в монастырь ссылали, // и на кострах высоких жгли” (А. Ахматова).

В гуманное советское время их лечили в психушках, а в наше толерантное и гуманное время приглашают на TV (Дом-2).

\* \* \*

12 ноября 2010 года.

Идёт передача о Распутине, исторические хроники Сванидзе, который, глядя на фотографию царской семьи, вещает: “Их убьёт русский народ...” Но их убьют Свердлов, Юровский, Войков и добровольцы из австро-венгерских пленных со странными фамилиями. Если весь этот сброд Сванидзе называет русским народом, то и сам Сванидзе самый что ни на есть “подлинный русский”.

*(Продолжение следует)*

АНДРЕЙ ТАРАСОВ

## ПОЭТ ШЁЛ ЗА ХЛЕБОМ

*Реквием по друзьям, постигшим безграничность души*

Год назад, прошлой осенью из туркменского города Ашхабада телефонный голос осторожно предупредил: “Не знаю, как сказать тебе про Вадима...” Дальше можно было не говорить. Значит, и Вадим. Вадим Зубарев. Вадим Иванович, шестьдесят три года, могучий, рассудительный, уравновешенный человек и тончайший поэт. Русский поэт, потерявший родину. Повторяемость этих слов с начала века метрономом озвучивает вехи российской истории. Поэт, не знаменитый за чертой своей республики, где прожил жизнь, хотя в ортодоксальные времена, в сентябре 83-го, наша “Литературка” поздравила его с 50-летием, да ещё “с портретиком”, что считалось тогда “цыганочкой с выходом”. “Вы родились в Касимовском районе Рязанской области. Но Туркмения стала для Вас второй родиной. И, естественно, необычный пейзаж Каракумов, славные дела и судьбы тружеников республики...” “Какая музыка звучала!...” Только не надо думать, что этот стандартный комплимент отражал удобство, с которым поэт устроился в существовавшем тогда мире. Нет и нет, потому и надо сказать об этой жизни и смерти, об этой поэзии с общим их единым знаком: неприспособившийся.

Что да как! В голове и сердечный приступ, и insult какой-нибудь, и куча непонятных болезней или приступ отчаяния. И вдруг самое банальное и самое предсказуемое, что только может быть: шёл через дорогу за хлебом и был сбит насмерть машиной. В статистике автодорожных происшествий – что в Каракумах песчинка. Но опять-таки в нашем знаковом мире этот поход за хлебом означает судьбу и рок.

А ещё то, что весьма легкомысленно и по-пижонски недооценил я лет тридцать назад простенькое с виду стихотворение своего старшего, но, как потом оказалось, далеко ещё не старого, а совсем молодого товарища по русскопишущему цеху. О средней полосе, о том, что “**потянуло снегом с Онег, с Ладог**”, и этот полузабытый нами в туркестанской жаре “**русский снег – сладок!**”. И смысл концентрировался в лаконизме трёх строчек:

*Где на колесе,  
где на полозу —  
доползу.*

Зачем драматизм-то такой? – удивлялся я поэтическому перебору, будучи прозаиком и реалистом. Мир (внутрисоветский, естественно) давно един и монолитен, как бетонная плита. Сел в самолёт – и через пять часов в своём Касимове Рязанской области, без всяких полозьев.



Мало тогда я задумывался о пробуксовке исторических витков и о поэтическом предчувствии, которое тогда могло быть лишь скрытым даром, так как явным и ценным, то есть поощряемым и насаждаемым, был дар восхваления. Из него-то Вадим и выпадал, это пошлое “славься, Отечество наше прекрасное” нельзя было из него вытащить клещами. **“Я рад и хлебу, и железу // России – матери своей; // а льстить не льщу, в глаза не лезу, // в любви не объясняюсь ей”**. Может быть, это больше впечатляет как кредо, но особенно трогал его негромкий голос:

*Мало ли что  
молва и печать —  
можно о Родине и молчать,  
думать где-нибудь в Бородине  
с полем, с полуднем наедине.*

О Родине — не кричать, а молчать. Когда потом о шестидесятничестве стали кричать, то забыли, что оно было наиболее сильно сопротивлением негромкого, но честного и искреннего голоса. Вадим в него вписался с Литинститута, где тогда учились ещё фронтовики — Ваншенкин, Винокуров, Исаев, — но забродил и евшушковский хмель. Вадим тогда не зацепился ни за метрополию, ни за эстрадную известность, хотя, как ни странно теперь, стал даже лауреатом поэтического конкурса на Варшавском фестивале молодёжи. Он вернулся на окраину, туда, где его родители учительствовали в детдоме. Чтобы стать тем, кем ему уже по этому признаку было на роду написано: русским интеллигентом на просторах Евразии.

Теперь-то я знаю, где она, эта самая Евразия, о которой нам плешь проели. Именно там, в россыпях Каракумов и предгорьях Копетдага, где царил совершенно необыкновенный дух всеобщности мировых судеб. Я знал и русских так называемых образованцев, называвших между собой туркмен и узбеков “чурками”, “чучмеками” и даже “зверьями”. В этом понимании Вадим Зубарев — знак не только глубокой порядочности и чуткой деликатности ко всем особенностям другого народа, но и мудрого проникновения в душу другой, “параллельной” цивилизации. Вообще надо быть немного “со стороны”, чтобы оценить и понять какую-нибудь сложную структуру, поэтому ему, скупому на внешнюю выразительность, это удавалось больше, чем даже умнейшим коренным философам и поэтам. От простодушного **“садам и лейкам садам алейкум”** до пронизательного и диалектичного:

*Кроме ясности,  
есть неясности,  
кроме яств — ещё яды Азии...*

Когда мы хотели “спрямить” Азию (как, впрочем, и Россию) до одномерной чиновно-сырьевой равнины с квадратно-гнездовыми трудовыми поселениями исполнительных и усреднённых граждан, лишённых вместе с “феодално-байскими предрассудками” тонкостей особенного характера, именно такие, как Вадим, чувствовали вину за эту ломовую бестактность пришельцев. Можно сказать, этот воспитательный лом и обесценил действительно цивилизующие, хоть и капиллярно-неброские усилия многих бескорыстных и самоотверженных людей русского происхождения — учителей, агрономов, инженеров, врачей... Как ни грустно, они потерпели поражение там как раз потому, что феодализм местный очень удачно сомкнулся с феодализмом партийно-советским, кремлёвским. И ворон ворону глаз не выклевал.

Ещё надо сказать, что это была группа тех русских интеллигентов, которая поразила меня своей непровинциальностью. Что-то такое рождал этот стык эпох и цивилизаций, смешанный воздух снегов и пустынь. Такой начитанности, такой ориентированности в широтах мировой культуры и глубинах истории я потом не встречал среди столичных университетских знакомых. Видимо, сам отрыв от столичного центра, не считая отрыва от всеобщего культурного сообщества, заставлял компенсировать дальность и глухость большой внутренней работой. “И я, быть может, не прочь... увидеть Флоренцию”, — задумчиво говаривал, бывало, старейшина этой писательской группы, сам из

железнодорожных служащих, Александр Иванович Аборский, сухой, поджарый, чуть насмешливый старик в мощных толстостенных очках, похожий на Паустовского, знаток каждого километра и каждого изгиба Каракумского канала, друг Юрия Олеши и Артёма Весёлого, Твардовского и Дудина, приведённый в Москве в Лаврушинском к Пастернаку, чтобы рассказать об ашхабадском землетрясении 48-го года и сказавший: “Три минуты наедине с Богом, а потом... как обычно”. Флоренция была далеко, пустыня и жара близко, но центр мира был у них там, где находились они. Хоть на чабанской стоянке, хоть в маленькой местной редакции. Был среди них поэт Юра Рябинин, лучезарный поистине парень, погибший, как в бою, когда его вместе с другом Курбаном Эзизовым и московским гостем Василием Шабановым застрелил на ночной дороге в машине придурок-дезертир. Был журналист Эдуард Скляр, прозванный туркменами “рыжебородый пророк” за бесподобное, никакими образованиями не прививаемое знание всех диалектов и всех племенных оттенков туркменского языка. Цитируя на память любую страницу мировой литературы, от антики и Кальдерона до Сартра и Хлебникова, письма Тургенева Фету, переписку Тютчева с канцлером Горчаковым, Языкова — со славянофилами, дневники Лоуренса Аравийского и записки Вамбери, они могли переноситься в любую эпоху и на любое расстояние без виз, билетов и партийных характеристик.

Но ведь это не самоцель, а вот кто ценил это общение, так это наши туркменские друзья, которые собрались вокруг моих друзей в талантливый и просвещённый круг. Притом не только литераторы и художники, а часто знакомые мелиораторы, колхозники, учёные. Куда ни приедешь, на берег Каспия или Амударьи, они тут как тут, и я был уверен, что эта цепная реакция интеллигентности, не знающая национальных и сословных границ, неостановима. И это тогда сглаживало дурь казенной идеологизации.

Вадим же, кстати, довольно одинокий и малокомпанейский и в этом кругу, редко замеченный в застольях и творческих странствиях, был похож скорей на ту снежную вершину, которую так пронзительно увидел глазами пропесоченного и прокалённого жителя пустыни:

*Прерванный близ половины  
путь, обнадёжь  
и продлись.  
Мутные реки равнины  
в снежных горах  
родились.*

Земля кругла — и старик с чабанским посохом ощущает это не хуже гарвардского профессора, если всерьёз.

*Не дали кануть слезами  
в пересыпь злого песка.  
Персия перед глазами.  
Индия не далека.*

“Гин бол” — будь широким. Ответ мудрого туркмена на те нелепости жизни, которые ему не подвластны. И уж совсем наивное удовольствие от общения с проезжающими умниками, думающими, что мы тут ничего не знаем...

*Поздний чаёк попивает,  
глядя на свой материк.  
“Белых ночей  
не бывает”, —  
думает чёрный старик.*

Тонкие люди лучше поймут друг друга, чем грубые, и это великий смысл поэзии. Но им и труднее во все времена. Вадим среди нас был главным фанатиком работы над словом и шлифовки рифмы. Они у него безупречней, чем у многих шумных классиков современности. Поэтому стихи копились медленно, за всю жизнь не набралось на десяток тощих книжек, вряд ли кормивших поэта. И что не получалось — это служба.

Предельная органическая честность делала его неуклюжим в карьерных коридорах и лишала малейшего шанса на привилегию. Помню попытку вступления в партию, куда его пристраивали даже начальники, нуждаясь в грамотном специалисте. Интеллигенту-служащему, да ещё русскому, это всегда в нацреспублике сложнее, чем известному верблюду с известным игольным ушком. Но были сделаны все нужные звонки в ЦК из Союза писателей, уломали, главное, его самого, всегда равнодушного к “корочкам”, и вот парткомиссия, предваряющая (кто помнит) бюро райкома. Сидят в ряд грозные старики, участники гражданской, до сих пор выявляющие врагов. Несколько прожжённых бюрократов. Впериваются подозрительными взорами в простодушное, приветливое, умное лицо, задают первый вопрос о политике партии. Вадим чуть задумывается и вполне дружески поправляет инквизиторов: “Вопрос, собственно, поставлен неправильно...” Что?! Дальше и говорить не пришлось. Идите, вы свободны. Такие нам не нужны.

Не нужен там, не нужен здесь. Дело даже не в личных отношениях – Вадима многие любили и уж уважали предельно. Но заборы между суверенными странами, разбившие освоенное пространство, скудная пенсия с невозможностью передвигаться, как прежде, талонный социализм феодального розлива, когда секретари ЦК сбросили маски и стали тем, кем всегда хотели быть, а народ с шести утра встал в очередь за хлебом, который не привозят третий день... Но и это не главное. Главная боль – крах тех попыток сроднить русскую душу с душой Востока, которым отдана жизнь. Потому что душа – она везде душа, она есть или её нет. Душа Вадима искала такую же душу – нашла и потеряла. Потеряла ли? Ещё неизвестно, я думаю. И вообще, всё сделанное, передуманное и перечувствованное не может “кануть слезами в пересыпь злого песка”. Рано или поздно вырастет новое крепкое дерево, политое этим источником снежных вершин поверх тупоголового торга. Это я себя утешаю. Вадим этого не узнает.

Поэт шёл за хлебом. А мы теперь читаем его провидческие строчки, которые превратили этот хлеб, буханку суточной нормы, в символ выживания и нового апокалипсиса. Почему, казалось всю жизнь, под обликом добродушия, благожелательности, неторопливой воспитанности такая глубина тревоги и печали? Потому, может, что видел, на какой тонкой ниточке душевного мира всё это держится, готовое сорваться. И как эту ниточку старался беречь, и как за неё боялся! **“События подталкивать негоже, но – чувствовать их близость всюю кожей”**. 70-е годы, когда мы ещё сладко спали.

СЕРГЕЙ КАРА-МУРЗА

## РУССКИЕ: ДВА НАРОДА

Внимание ведущих политических сил сегодня обращено к проблеме сплочения русского народа и российской нации. Я считаю, что на эту проблему надо посмотреть с особой точки зрения, взглянуть на причины, разделившие нас. Почему люди отдаляются друг от друга? Почему народ, который в недавнем прошлом был цельным социальным организмом, производит впечатление бесформенной инертной массы?

Скорее всего, потому, что его умело раскололи в двух сферах – социальной и национальной, то есть в тех, в которых содержатся главные связи, соединяющие людей в народы. Связи общего хозяйства, общей культуры, общей памяти. Для России обе эти сферы всегда были одинаково важны, и, казалось, неразрывны. Болезни социальные всегда принимали у нас национальную окраску, и наоборот. Однако в обеих сферах за последние двадцать лет произошли изменения, больше похожие на потрясения.

Сегодня самым глубоким расколом население России считает разделение между богатыми и бедными. Это установили социологи. Да и без социологов этот раскол очевиден. Поэтому разговор о нём – необходимая тема в национальной повестке дня русских.

Тему разговора следует сформулировать, идя к ней от проблемы человека. Проблемы, от которой уходят политики. Суть её такова: по достижении критического порога в разделении общества на богатых и бедных (в расслоении социальном) это разделение трансформируется в разделение на русских и нерусских. Расслоение социальное становится расслоением на разные народы. И тогда образуется пропасть, через которую очень трудно навести мосты.

Речь идёт о том, что одним народом ощущают себя люди, ведущие понятный всем образ жизни. Иными словами, социальное расслоение народа не может быть слишком глубоким. Когда оно достигает опасной черты, разделённые социально общности начинают расходиться по разным дорогам и приобретают черты разных народов.

Этнизация социальных групп – важная сторона политических процессов. Сходство материального уровня жизни ведёт к сродству культуры и мировоззрения, отношения к людям и государству, моральных норм. Напротив, возникновение резкого отличия какой-то группы по материальному положению, по образу жизни отделяет её от тела народа, делает членов этой группы отщепенцами или изгоями.

### **“Новые” русские инородцы**

В России социальный раскол в XIX веке “рассёк народ на части” вплоть до гражданской войны, начавшейся с крестьянских волнений 1902 года. Крестьяне воевали со своими помещиками как с иным, враждебным народом. Они сравнивали помещиков с французами 1812 года. Так, сход крестьян деревни Куниловой Тверской губернии писал в наказе 1906 года: “Если Государственная дума не облегчит нас от злых врагов-помещиков, то придётся нам, крестьянам,

все земледельческие орудия перековать на военные штыки и на другие военные орудия и напомним 1812 год, в котором наши предки защищали свою родину от врагов французов, а мы — от злых кровопийных помещиков”.

Произошло это потому, что отделяться от русских начала элита, богатое меньшинство. Богатые тяготеют к тому, чтобы стать “иным народом” — по-особому одеваются и говорят, учатся в особых школах, иногда в общении между собой даже переходят на чужой язык (как русские дворяне, говорившие по-французски).

А. С. Грибоедов писал: “Если бы каким-нибудь случаем сюда занесён был иностранец, который бы не знал русской истории за целое столетие, он, конечно, заключил бы из резкой противоположности нравов, что у нас господа и крестьяне происходят от двух различных племён, которые ещё не успели перемешаться обычаями и нравами”.

В начале XX века социальный раскол усугубил раскол мировоззренческий. Такие расколы возникают, когда какая-то часть народа резко меняет важную установку мировоззрения так, что остальные не могут с этим примириться. Расколы, возникающие как будто из экономического интереса, тоже связаны с изменением мировоззрения, что вызывает ответную ненависть. Одно из таких изменений связано с представлением о человеке.

Христианство определило, что люди равны как дети Божьи, “братья во Христе”. Отсюда “человек человеку брат” — как отрицание языческого (римского) “человек человеку волк”. Православие твёрдо стоит на этом, но социальный интерес богатых породил целую идеологию, согласно которой человеческий род не един, а разделён, как у животных, на виды. Из расизма, который изобрели, чтобы оправдать обращение в рабство и ограбление “цветных”, в социальную философию Запада перенесли понятия “раса бедных” и “раса богатых”. Рабочие тоже считались особой расой. Отцы политэкономии учили, что первая функция рынка — через зарплату регулировать численность этой расы. Возник социальный расизм. Потом подоспел дарвинизм, и эту идеологию украсили научными словечками (это “социал-дарвинизм”). Русская культура отвергла социал-дарвинизм категорически, тут единым фронтом выступали наука и Церковь. Но когда крестьяне в начале XX века стали настойчиво требовать вернуть им землю и наметилась их смычка с рабочими, русское либеральное дворянство и буржуазия качнулись от “народопклонства” к “народоненавистничеству”. Будучи западниками, они получили оттуда готовую идеологию и вдруг заговорили на языке социал-дарвинизма. Большая часть элиты впала в социальный расизм. Рабочие и крестьяне стали для неё низшей расой.

### **Белая кость и “внутренние немцы”**

Группа московских миллионеров, выступив в 1906 году в поддержку Столыпинской реформы, заявила в журнале “Экономист России”: “Мы почти все за закон 9 ноября... Дифференциации мы нисколько не боимся. Из 100 полугодных будет 20 хороших хозяев, а 80 батраков. Мы сентиментальностью не страдаем. Наши идеалы — англосаксонские. Помогать, в первую очередь, нужно сильным людям. А слабеньких да нытиков мы жалеть не умеем”.

Либеральная интеллигенция примкнула к буржуазии и потеряла возможность служить культурным мостиком между частями общества, в которых назревала взаимная ненависть. Социальный расизм стал характерен даже для умеренно левых философов. Например, Н. А. Бердяев излагал явно расистские представления. Он писал: “Культура существует в нашей крови. Культура — дело расы и расового подбора... “Просветительное” и “революционное” сознание затемнило для научного познания значение расы. Но объективная незаинтересованная наука должна признать, что в мире существует дворянство не только как социальный класс с определёнными интересами, но как качественный душевный и физический тип, как тысячелетняя культура души и тела. Существование “белой кости” есть не только сословный предрассудок, это есть неопровержимый и неистребимый антропологический факт”.

Две части русского народа стали расходиться на две враждебные расы. Это отразилось уже в книге “Вехи” (1906). Основная идея этой книги ясно была выражена М. О. Гершензоном, который писал: “Каковы мы есть, нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом — бояться мы его должны пуще

всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами ещё ограждает нас от ярости народной”.

Тогда же Лев Толстой сделал очень тяжёлый вывод: “Вольтер говорил, что если бы возможно было, пожав шишечку в Париже, этим пожатием убить мандарина в Китае, то редкий парижанин лишил бы себя этого удовольствия. Отчего же не говорить правду? Если бы, пожавши пуговку в Москве или Петербурге, этим пожатием можно было бы убить мужика в Царевококшайском уезде, и никто бы не узнал про это, я думаю, что нашлось бы мало людей из нашего сословия, которые воздержались бы от пожатия пуговки, если бы это могло им доставить хоть малейшее удовольствие. И это не предположение только. Подтверждением этого служит вся русская жизнь, всё то, что, не переставая, происходит по всей России. Разве теперь, когда люди, как говорят, мрут от голода... богачи не сидят с своими запасами хлеба, ожидая ещё больших повышений цен, разве фабриканты не сбивают цен с работы?”

Основная масса народа долго не могла поверить в расизм элиты, считала его проявлением сословного эгоизма. Ответный расизм “трудового народа” возник только к концу Первой мировой войны, а проявился в социальной практике уже после февраля 1917 года, летом. После 1916 года буржуазию и помещиков в обыденных разговорах стали называть “внутренними немцами” — народом-врагом. Вся революция в России пошла не по Марксу: боролись не классы, а части расколотого народа, как будто разные народы. Но к этому привели те, кто считал себя “белой костью”. Они стали отщепенцами. Надо бы из их опыта извлечь урок, но сегодня “белая кость” с помощью телевидения сумела обратить гнев сытых как раз на тех крестьян и рабочих, а не на элиту, впадшую в расизм. Видно, на чужих уроках учиться мы ещё не научились.

### **На краю пропасти**

История сегодня повторяется в худшем варианте. В годы перестройки социал-дарвинизм стал почти официальной идеологией, она внедрялась в умы всей силой СМИ. Многие ей поддались, тем более что она подкреплялась шансами поживиться за счёт “низшей расы”. Этот резкий разрыв с традиционным русским и православным представлением о человеке проложил важнейшую линию раскола.

В отличие от начала XX века, часть тех, кто возомнил себя “белой костью”, а остальных — “быдлом”, количественно довольно велика, больше и её агрессивность. Достаточно почитать в интернете рассуждения этой “расы”, чтобы оценить, как далеко она откатилась и от русской культуры, и даже от современного Запада. Мы имеем дело с социальным расизмом без всяких украшений.

Богатые стали осознавать себя особым, “новым” народом и называть себя “новыми русскими”. Но “этнизация” социальных групп, то есть их самоосознание как особых народов, происходит не только сверху, но и снизу. Совместное проживание людей в условиях бедности порождает самосознание, близкое к этническому. Крайняя бедность изолирует людей от общества, и они объединяются этой бедой. В периоды длительного социального бедствия даже возникают кочующие общности бедняков, прямо называющие себя “народами”, даже получившие собственное имя.

Сегодняшняя социальная политика делит наш народ на две части, живущие в разных цивилизациях и как будто в разных странах, на богатых и бедных. И они расходятся на два враждебных народа. Этот раскол ещё не произошёл окончательно, но мы уже на краю пропасти.

От тела народа “внизу” отщепляется общность людей, живущих в крайней бедности. В результате реформ в России образовалось “социальное дно”, составляющее около 10% городского населения, или 11 млн человек. В состав его входят нищие, бездомные, беспризорные дети. Большинство нищих и бездомных имеют среднее и среднее специальное образование, а 6% — высшее. Такого “дна” не бывало нигде за всю историю человечества.

### **Народ разрывается. Власть безмолвствует**

Отверженные выброшены из общества с демонстративной жестокостью. О них не говорят, их проблемами занимается лишь МВД, их жизнь не изучает наука, в их защиту не проводятся демонстрации и пикеты. Их не считают

ближними. Им отказано в праве на медицинскую помощь. И никто не обращается в Конституционный суд, хотя речь идёт именно о конституционном праве, записанном в ст. 41 Конституции Российской Федерации. При этом практически все бездомные больны, их надо лечить. Больны и 70% беспризорников — дети граждан России и сами будущие граждане. Где в приоритетном национальном проекте в области медицины раздел о лечении этих детей? Им не нужны томографы за миллионы долларов, им нужна тёплая постель, заботливый врач и антибиотики отечественного производства, но именно этих простых вещей им не даёт нынешнее русское общество со всей его духовностью и выкупленными у Гарварда колоколами. А ведь колокола продали когда-то для того, чтобы вылечить тогдашних беспризорников. Так кто больше христианин — Наркомздрав 20-х годов или добрый Вексельберг?

Половина бездомных — бывшие заключенные и беженцы. Что им делать? Они никак не могут легализоваться, нарушают правила регистрации и выпадают из общества. Сейчас в России официально более 3-х миллионов бездомных. Большинство из них в прошлом были рабочими. Теперь среди бездомных наблюдается увеличение доли бывших служащих. 9% бездомных России имеют высшее образование.

Государственная помощь столь ничтожна по масштабам, что стала символом отношения к бедным. Депутат Н. А. Нарочницкая недавно сказала: “Мы должны из народонаселения стать нацией — единым организмом, в котором возобладает ощущение общности над всеми частными разногласиями”. Вот вам частное разногласие: к концу 2003 года в Москве действовало 2 “социальных гостиницы” и 6 “домов ночного пребывания”, всего на 1600 мест — при наличии 30 тысяч бездомных. Зимой того же года только в столице замёрзло более 800 человек. Не успело в них возобладать ощущение общности.

И вот выводы социологов: “Всплеск бездомности — прямое следствие разгула рыночной стихии, “дикого” капитализма. Ряды бездомных пополняются за счёт снижения уровня жизни большей части населения и хронической нехватки средств для оплаты коммунальных услуг... Бездомность как социальная болезнь приобретает характер хронической. Процент не имеющих жилья по всем показателям из года в год остаётся практически неизменным, а потому позволяет говорить о формировании в России своеобразного “класса” людей, не имеющих крыши над головой и жизненных перспектив. Основной “возможностью” для прекращения бездомного существования становится, как правило, смерть или убийство”.

Сложился и слой “придонья”, в который входят примерно 5% населения (7 млн человек). Принадлежащие к этому слою люди ещё в обществе, но с отчаянием видят, что им в нём не удержаться. Вывод социологов в главном журнале Российской Академии наук “Социологические исследования” таков: “В обществе действует эффективный механизм “всасывания” людей на “дно”, главными составляющими которого являются методы проведения нынешних экономических реформ, безудержная деятельность криминальных структур и неспособность государства защитить своих граждан”.

Это пропасть, отделяющая от русского народа общность изгоев в размере около 18 миллионов человек — целый народ большой страны. При этом и благополучное большинство в главном перестает быть русскими, потому что признать бедственное положение своих братьев и сограждан как приемлемую норму жизни — значит порвать с русской культурой.

И разделение народа произошло вовсе не потому, что бедные завидуют богатым и хотели бы отнять у них кошелёк. Народным достоинством завладела часть общества, лишённая созидательного инстинкта. А человек труда, который обустроивал и содержал страну, втоптан в нищету и бесправие. Вот в чём национальная трагедия. Дело в том, что нищета честных трудящихся людей, часто высокой квалификации, есть нестерпимое надругательство над разумом и совестью. Такое состояние разрушает народ. На этом пути нефтедоллары — временная передышка. Они даны нам свыше для проверки — задумаемся ли мы, сможем ли разумно истратить эти шальные деньги?

Есть ли возможность воссоединить две части разорванного народа? Мы считаем, что такая возможность ещё есть. Эти части социально разделены, но они ещё не стали враждебными расами (классами). Половина богатых сознаёт, что это их богатство — плод уродливых социальных условий. Эти люди ещё смогут работать на восстановление страны, если общество найдёт разумное решение, приемлемое для подавляющего большинства населения.

СЕРГЕЙ БУЗМАКОВ

## ЗАПИСКИ УЧИТЕЛЯ ИСТОРИИ

Почти четверть века тому назад мне, недавнему выпускнику исторического факультета Барнаульского педагогического института, имевшему свободное распределение, силою обстоятельств довелось оказаться в школе. Ещё в советской школе.

За плечами у меня был месяц работы в госархиве края. Но должность заведующего читальным залом показалась мне отчаянно скучной, и три следующих месяца я провёл “на договоре” в краевой молодёжной газете, в которой, ещё будучи студентом, организовал “со товарищи” литературное приложение с модно-актуальным тогда, в конце восьмидесятых, словом “альтернатива”.

А ещё моя прытко начавшаяся “одиссея” трудоустройств вместила в себя и участие в строительстве МЖК (молодёжного жилищного кооператива) на заводе крупнопанельного домостроения (ЗКПД-1), где из всей нашей бригады формовщиков было аж два вольных человека: я да бригадир Серж из экс-прапорщиков.

Остальные являлись пациентами лечебно-трудового профилактория. Пациенты-формовщики были людьми двужильными. Пиво, добываемое им “связниками” с воли, они за алкогольный напиток не считали. Пары десятилитровых канистр на пятерых перед началом смены и в течение оной им явно не хватало. И они увлечённо обсуждали в перекуры, чем будут скрашивать свой вечерний элтэпэшный досуг: “Тройным”, “Шипром” или, на худой конец, “Нитхинольчиком”. Словом, выдержав пару месяцев этого реального абсурда, наслушавшись разговоров, что через полтора года никакого кооператива не будет построено, я решил отложить решение “квартирного” вопроса до лучших времён.

Кто-то знал, что через полтора года не будет не только кооператива жилищного, но и не станет вскоре, благодаря предательству “элитных прорабов”, и могущественного межнационального имперского кооператива под названием Советский Союз.

А на плечах у меня – двухлетняя дочка Машенька. Её надо кормить. На одну учительскую зарплату жены не проживёшь. Потому я охотно откликнулся на удачно подвернувшуюся вакансию учителя истории и обществоведения в школе № 48 города Барнаула.

То были славные год и девять месяцев! Школа меня приняла, и я принял школу. Я был полон новых впечатлений, новых знакомств, и я чувствовал: да, школа – это живое, это настоящее.

Но пришёл август 1991 года. Пришла радость 19 августа, сменившаяся недоумением 20-го и обречённым отчаянием 21-го. Наступил новый учебный год, а моя взбудораженность обиды от недавней победы потребителей и словоблудов не только не думала проходить, а наоборот – усиливалась. 21 сентября я принёс заявление директору, мудрому человеку, с сорокалетним учительским стажем, Виктору Романовичу Рудакову – светлая ему память... Директор искренне огорчился, а успокоившись, спросил:



- И куда, если не секрет?
- Попробую вернуться в “Молодёжь Алтая”.
- Может, всё же вам часов десять оставить? Как там у вас сложится... – печалился Виктор Романович.

Но я был настроен решительно.

Прорвёмся во вражье окружение. А там попартизаним! На своей земле – чего нам бояться!

И закутила, закутила почти на двадцать лет журналистика. Хотя с полгода шли мои материалы чаще в корзину редактора “Молодёжки”, нежели в набор. И клеймили их бывшие, кристально чистые комсомольские функционеры примерно так: “с душком советского патриотизма” и – повторить даже страшно! – “с частым упоминанием слова “русские””.

Но голодной и отчаянной весной 1992 года мой учитель в литературе и в жизни, прекрасный русский поэт Владимир Башунов пригласил работать в краевую писательскую газету “Прямая речь”, которую Владимир Мефодьевич возглавлял. Газета неумело – а откуда ж умению-то взяться? – сопротивлялась финансовому рыночному беспределу до середины 1993 года... А пусть и маленькую, но зарплату получал я в краевой сельскохозяйственной газете “Земляки”, куда устроился опять-таки благодаря Владимиру Мефодьевичу. “Земляков” тоже не пощадил прожорливый гайдаровский “рынок”...

Потом полтора десятка лет работы на краевом государственном радио. Конвейер информационно-аналитических передач, где, помимо чрезвычайно словоохотливых политиков и чиновников от власти, находилось место и для рассказов о людях труда: механизаторах и доярках, врачах и учителях, токарях шестого разряда – “уходящих натурах” – и строителях, место для репортажей с посевных и уборочных полей... Увлёк и новый проект “Радиорегион”, в прямом эфире которого участвовали пять сибирских территорий. В шесть утра ты уже в студии, настраиваешься... Ах! Это было здорово! А помимо этого, я готовил и еженедельные поэтические выпуски, и ежемесячные часовые литературные передачи, в которых поперебывали желанными гостями – чем я горжусь! – многие и многие писатели края. Случалось, звонили после передачи слушатели и говорили: “А мы уже думали, что его (называлось имя поэта или прозаика) в живых нет... Нигде не слышно, не видно...”

Да, крутила, крутила вечными хлопотами журналистика...

Но иногда... Пусть редко, очень редко, но случалось... Мне снилось, что я вернулся в школу. Какая-то предшествующая этому череда нелепостей, недоразумений, случайностей – и вот один и тот же отчётливый сюжет. Я захожу в класс к пятиклассникам, да, именно почему-то к пятиклассникам, только к пятиклассникам... Начинаю урок... И вдруг с ужасом понимаю: я ничего не помню! Не знаю, что говорить. Вообще, как говорить, как вести себя перед этими любопытствующими гражданами с пытливо-озорными глазёнками?... Граждане, мужская их часть, почему-то одеты в школьную форму, которую носили мы в семидесятые: синие курточки с накладными карманами, с шершавыми, алюминиевого цвета пуговицами и погончиками, с эмблемой-книжкой на рукаве, красные пионерские галстуки... Галстуки-то откуда?!

Просыпался встревоженно... Приснится же... И зачем? К чему? Я никому не рассказывал об этих снах. Это была моя тайна. Но она стала явью.

На педагогическом совете школы, состоявшемся в конце августа 2013 года, мы, новички, были представлены коллективу. “Мы” – нет-нет, не подумайте о зародившейся у меня императорской мании величия! Просто рядом со мною была новая учительница английского языка, она же – моя любимая женщина, она же – моя жена.

Школа – трёхэтажное, густо побеленное известью кирпичное здание, расположенное “покоем”, с высоким крыльцом и двускатной крышей, покрытой потемневшим от времени шифером. Вокруг школы – горделивые пирамидальные тополя, основательные задумчивые дубы и раскидистые акации. У нас в Сибири акация – это кустарник, и сколько же в детстве сорвано стручков для быстрого изготовления неприхотливой свистульки! А на юге, куда мы переехали из Барнаула, деревья акации – в пять этажей и выше! Те самые, воспетые в романсе “гроздь душистые”, летом становящиеся стручками зелёного цвета, поздней осенью, первой нашей кубанской осенью, были поначалу приняты мной за донельзя почерневшие шкурки от бананов. Будете смеяться, но, гуляя по скверу, я дивился и даже со всюю силою чалдонскою

негодовал: кто же так постарался намусорить, что за бананоеды такие нена сытно-неряшливые?

В погожую, не знойную пору, когда ветер южный или юго-западный, здешний окраинный воздух буквально пьёшь и не можешь напиться – настолько он вкусен! С южной стороны школьного здания, буквально в ста метрах, не дальше, несёт свои быстрые, мутные воды река Кубань. Истоками реки, как известно, служат ледники Эльбруса, и детство реки по-горски своенравно, громко-гортанно, а выбравшись на равнину, река пусть и успокаивается внешне, но не изменяет своего изгибистого и петлистого характера. Что, впрочем, не отпугивает от неё более четырнадцати тысяч больших и малых притоков. Наоборот, Кубань-река радушно принимает их в свою водную гостиную и ненавязчиво убеждает их продолжить совместное приятное путешествие вплоть до Азовского моря. Как рассказывают книги, посвящённые этой бурной реке, местами Кубань настолько петляет по долине, что путь по руслу становится в два раза дольше, чем расстояние по прямой.

Одно из таких мест и находится прямо напротив школы. Вот он, кажется, совсем рядом – краснодарский микрорайон “Юбилейный”, с главной его улицей, объясняющей название, – 70-летия Октября. Прямоиком – десять минут ходу, не больше, но на самом же деле, если вы решитесь совершить такое прямохождение, то вам надо будет обладать отменными навыками пловца, поскольку на этом пути вам придётся дважды преодолеть совсем не мелкую и не ленивую реку. Впрочем, можно совершить и привал на таком пути и понежиться на песчаном берегу пойменного озера, расположенного внутри здешней речной петли. Между школьной оградой и обрывистым берегом, увы, захламлённым до чрезвычайности, разместились вездесущие гаражи.

Строилась школа, равно как и детский сад, и поликлиника, и стадион, в пору формирования четырёх- и пятиэтажными зданиями посёлка рубероидного завода в западной части Краснодара. Несколько зданий в те же шестидесяти годы прошлого века построены для сотрудников некогда процветавшего Северокавказского НИИ фитопатологии, с 1992 переименованного во Всероссийский НИИ биологической защиты растений. С помощью институтского сайта можно узнать о многочисленных вакансиях. Вот красноречивое приглашение: “Требуется ведущий научный сотрудник лаборатории интегрированной защиты растений. . . Квалификационные требования: учёная степень доктора наук, в исключительных случаях – кандидата наук со стажем научной работы после присвоения учёной степени не менее 5 лет. Зарплата: от 14700 рублей/месяц” . . .

Некогда процветал и рубероидный завод, будучи крупнейшим на юге Советского Союза и скукожившийся в свободной демократической России до небольшого цеха.

А рядомшком, через Елизаветинское шоссе, что устремляется ровной дорогой до Славянска-на-Кубани, а там и до Темрюка, – расположились два десятка пяти-трёхэтажных домов 1-го отделения учебного хозяйства Кубанского аграрного университета. Сие уютное поселение, входящее в состав града Краснодара, называют коротко и понятно: “Учхоз”.

Побродив по окрестностям, вернёмся в школу. Открылась она 1 сентября 1964 года. Потому обращаюсь я к ней панибратски: “Привет, ровесница!”

В школе когда-то обучалось более тысячи человек. На первое же сентября 2013 года списочный состав включает 456 учащихся. Притом, что учатся в ней дети не только с Рубероидного посёлка, официально, впрочем, называемого микрорайоном имени учёного Вавилова, но и из Учхоза, и даже приезжают со станции Елизаветинской.

Занятия, при таком количестве учеников, в одну смену. Внешне всё в школе простенько, незатейливо. Несколько удивила учительская комната. Маленькая, тесненькая, вмещающая всего один стол, два креслица, “видавших виды”, да десяток стульев по периметру. В небольшой нише в стене – ячейка для журналов. Обилие стендов на стенах.

Погожее утро, 2 сентября 2013 года, понедельник. Идём в школу, и я по дороге продолжаю самооправдываться: поговорка “явился – не запылится”, ну, явно не про меня.

В школе один учитель истории, а нужно два. Я узнал об этом ещё в прошлом ноябре, когда мы с женою после переезда на Кубань, решив вопрос с жильём, привели устраивать нашу младшую дочь в ближайшую школу. И тогда же директор Татьяна Александровна, узнав о наших педагогических

дипломах, тотчас предложила, даже стала нас упрашивать, вот так, с ходу, с первого знакомства, пойти в её школу учительствовать. Не хватает, говорила, учителя истории, учителей по русскому языку и литературе, на следующий год появится вакансия учителя английского языка...

Предложила и предложила, и почти забылось об этом, но вот за минувшие девять месяцев кубанского жития созрел до мысли: да, я хочу попробовать свои силы в школе, в роли начинающего, пусть и седовласого учителя.

Да, школа – это вызов. Вызов, прежде всего, самому себе. Да, это желание испытать себя. И, быть может, в этом испытании испытать сильнейшее разочарование... Кто знает...

А то, что школьники (и младшенькие, и старшенькие) – это “рентген”, они “просветят” тебя и вынесут тебе “диагноз” – это точно. Это проверено по первому моему опыту учительства.

Торжественная линейка, всеобщая приподнятость, взволнованность... Первый день, первый урок. Те самые любопытствующие граждане с пытливыми глазёнками – пятые классы, сны в руку.

О Боже, какое это счастье, когда ты понимаешь, ощущаешь, что ты кому-то нужен, кто-то нуждается в твоих знаниях, да просто нуждается в тебе, рад искренне знакомству с тобою! И уже в первые дни осторожно, пугливо приближаются к тебе самые смелые и самые любознательные.

Новый учитель, да ещё к тому же мужчина...

Расспросы осторожные, смех, освобождённый – после моих шуточных ответов (“Не-а! историк не страшный!”).

И всё более смелея, открываясь своими светлыми и чистыми душами, после расспросов – уже и рассказы о самих себе... Мы тоже, Сергей Валентинович (попервости был я, как и полагается, и Владимировичем, и Васильевичем...), не льком шиты! А уж история как нам нравится! Так нравится, так нравится... Вы ещё увидите, какие мы молодцы!

Но не успела первая моя рабочая неделя закончиться, не успел познакомиться я с теми, кого буду учить и кто будет учить меня, как был призван на двухнедельные курсы повышения квалификации.

Около семидесяти взрослых женщин (молодёжи, равно как и мужчин – считанные единицы) конспектируют лекцию в большой аудитории института повышения квалификации. Конспектируют старательно – первая пара, ещё не устали. Но уже и ропот начинается.

Тема лекции: “Использование ЭОР, ЦОР, ИКТ в образовательном процессе”. Расшифрую. ЭОР – электронные образовательные ресурсы, ЦОР – цифровые образовательные ресурсы, ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.

И когда лектор произносит: “Вы на своих уроках стремитесь, чтобы каждый ученик не выпадал из информационно-образовательной среды и не выпадал у монитора”, – соседки сбоку не выдерживают, шепчут с прицелом в окрестности:

– С луны она упала, что ли?

– Ага! У нас один класс математический компьютеризирован, и всё...

– И хорошо, что всё... – шёпот услышан, одобрительно улыбаются, по-настоящему перемигиваются, коллеги. Мели, мол, Емеля.

Между тем, лектор – пожилая женщина с пышной причёской, в больших затемнённых очках, кореянка, как выясняется на второй паре, с луны вовсе не падала, а долгие годы провела за границей. В Париже, Брюсселе, Лондоне... работая по линии ЮНЕСКО.

Она искренне удивлена, более того, огорчена тем обстоятельством, что на вопрос: “Читали вы “Постижение истории” Тойнби?” – никто не кивает согласно головой и не говорит: “Да”. Несколько раз на последующих лекциях она продолжает недоумевать и сопереживать Арнольду Джозефу.

Читает, читает лекцию, вдруг остановится и, помолчав, горестно выдыхает:

– Как?! Вы не читали Тойнби?

Ту же участь, замечу, уготовили слушатели курсов и “Столкновению цивилизаций” Самюэля Хантингтона, и “Концу истории” Фрэнсиса Фукуямы. От всей этой фантастики, что каждый ученик “вооружён” на уроках истории, общественнознания, кубановедения персональным компьютером, и как будто бы в этом панацея от всех бед, все уже устали.

И лектор тоже устала от всех этих ЦОРов-ЭОРов, чувствует недовольство аудитории – взрослые люди, в основном из станиц, матёрые учителя...

Потому она, как бы между прочим сообщив, что знает восемь иностранных языков, начинает уходить от темы, уходить скромненько и со вкусом:

— Когда я говорила с международных трибун...

И пошло-поехало, как хорошо там, и как... э... нецивилизованно ещё, в известной степени, здесь.

Словом, очень, очень интересная лекторша. Жалко лишь, что часто ошибается в окончаниях слов да известный фразеологизм понимает уж слишком физиологически, и потому произносит: “Скрипя сердцем”.

В последующие лекционные дни также было много занимательного. Стремительная в словах и в движениях кандидатша исторических наук не умолкала ни на минуту, избрав интонацию эстрадной плоской острочки Клары Новиковой, фонтанировала смесью хохм и высоколобых терминов: “умом Россию не испортишь”, “дисфункциональные кризисы этноса”, “с этим надо пере-спать, в смысле обдумать”, “фишка тут в чём?”, “скоррелировать”, “проканает”, “мегапредметные компетентности”, “дрючат вас, а вы мудрейте”, “сфера высоких абстракций”... Некоторую часть своего непрерывного говорения кандидатша посвятила безудержному восхвалению известной школы Ямбурга, которую окончили такие “властители умов”, как телезвёзды Брилёв и Киселёв, где зарплата 150 тысяч и где ей посчастливилось стажироваться...

В конце своих лекций, “на выхлопе”, она и вовсе огорошила всех дерзким вопросом-связкой: “Дорогие учителя, что вы всё ноете? Кто вас держит в школе?”

Другой лектор, молодой иронист, из тех, про кого говорят: “Со школьной скамьи сразу в профессора”, — но пока, правда, доцент, из клана потомственных кубанских историков, размышлял легковесно:

— То, что надо модернизировать, — это нам всем понятно. Непонятно, каким путём, — и поучал снисходительно, оказывал, так сказать, нам услуги. — В основе, друзья, должен быть системно-деятельностный подход. То есть на уроке учитель должен быть сведён к минимуму, а ученики возведены до максимума в ролевом распределении учебного процесса. И не забывайте, пожалуйста, что, согласно ФГОСу, учитель сейчас не учит, а оказывает услуги.

Кстати, аббревиатура ФГОС (Федеральный государственный образовательный стандарт) звучит чаще всего, и меня это, честно говоря, настораживает. Пришёл вот, собравшись с духом, в школу, а тут какой-то ФГОС и прочие ИОСы, ИУМКи, ЭУКи, УУДы...

Или как вам такая фраза: “Для реализации ФГОС каждое ОУ должно разрабатывать ООП”?

Ещё один лектор напоминал нам, что учитель в свободной от насилия, схем и начётничества России работает в рамках “потребительского права”. Поэтому он не столько “ГАИшник”, сколько и “горничная”, и “официант”, и “бармен”. Вот кто, значит, сейчас учитель...

Завершалось всё формальным зачётом, к которому надо было подготовить модель урока, рабочую программу и КТП (календарно-тематическое планирование). Зачёт сдал, а через три месяца (отчего-то сей документ был не готов) заполучил свидетельство-сертификат. Из него следовало, что прослушал я столько-то часов лекций и практических занятий и, стало быть, повысил свою квалификацию. Лихо. Особенно если учесть, что, как выяснилось в разговоре с завучем сразу после возвращения с курсов, наша школа “по ФГОСу” не работает. И слава Богу!

Самое приятное в самоощущении после этих двух “фгосных” недель — я успел, оказывается, соскучиться по школе. Нагрузка у меня средняя — 25 часов в неделю. Помимо пятых классов, мне “поручены” старшенькие: десятый и одиннадцатый классы.

В десятом классе продолжаются каникулы.

Так они мне и заявили, когда я поинтересовался, отчего у них такой ровно-беззаботный настрой на учёбу. “А вот в выпускном мы начнём учиться”, — успокоили они меня.

Справедливости ради надо отметить, что несколько учеников во главе со старостой класса, серьёзным, вдумчивым Володей Ч., испытывают неловкость от такого исповедования эвдемонизма. А ещё мне помогает то, что Никита Д. — признанный лидер в классе, спортсмен, занимается русским рукопашным боем — любит историю, а особенно любит подискутировать о её “белых пятнах”,

потому никаких проблем с дисциплиной на уроках нет. Ну, просто из двадцати пяти человек примерно двадцать благодушно-ленивы.

Одиннадцатый класс так же, как и десятый, в школе один. Тут всего девятнадцать человек. Из них пять собираются сдавать ЕГЭ по истории, восемь – по обществознанию. У них поэтому особенное внимание к моей скромной персоне.

– Вы нас только не бросайте. А то у нас три историка за три года сменилось.

Наличествуют в классе и фаталисты. Их воззрения высказал староста класса Вадик:

– Короче, один мой знакомый конкретно готовился по “общаге” (таково прозвище предмета “обществознание”. – **С. Б.**), а получил на ЕГЭ 60 баллов. А другой кореш вообще не готовился, прикиньте?! И всё ништяк! Столько же набрал.

Зато у многих репетиторы, некоторые любят, этак между прочим, сообщить, что посещают курсы при университетах. Сообщают, не без тайной опять же гордости, и сколько платят за посещение...

Забегая вперёд, скажу, что из девятнадцати одиннадцатиклассников поступили в ВУЗы семнадцать. Практически все на платные отделения.

А что, любопытствуя, спросите, оставшиеся двое? Одна девочка не сдала обществознание, а Паша Л. учился на свой страх и риск, то есть без родительской помощи. Над Пашей по этому поводу любили подтрунивать. А он был уверен, что поступит.

Высокий, нескладный, уж слишком какой-то долговязый, он, тем не менее, обладал замечательной реакцией. И не только в физическом плане.

На одном из уроков истории рассказывает Паша о развитии буржуазных отношений в России в начале XX века. Вяло так отвечает, если и заглядывал в учебник, то, скорее всего, уже на уроке, голос всё тише, тише...

Но улавливаю, что Паша, среди этого своего бормотания, пару раз произносит: “Боржозия”.

Прошу повторить. Повторяет: “Боржозия”.

– Так что это слово означает? – спрашиваю.

И тут же молниеносный ответ:

– Борзеть. Оборзевшие это, короче. Типа, беспредельщики.

Редкий персонаж для 10 класса Саня Т. – готов отвечать на все вопросы и без раздумий. Руку не опускает.

– Итак, дадим характеристику кулачеству. Кто же такие кулаки?

– Козлы это! Моему дедушке его дедушка говорил. А мой дедушка мне.

Такая вот фамильная память. И тот же Саня выступил на одном из уроков в роли утописта. Спрашиваю у класса:

– Кто осуществляет исполнительную власть в Российской Федерации?

– Рабочие! Нет? Ну, тогда крестьяне!

Семьдесят семь. Именно такое количество учебников по истории России включено, оказывается, в Федеральный перечень учебников, рекомендованных для использования в школах на 2013–2014 учебный год.

Узнав об этом перед поступлением на работу, я задумался. Не мало ли? А почему бы не вдохновиться и не довести до сотни, например?

“Сотня историй России”. Звучит! Как раз для Первого канала. Потом народное смс-голосование можно провести, какая “история” лучше... Нет, какая комфортнее...

Между тем, именно в 2013 году, в феврале месяце, президент Владимир Путин заявил, что нужно разработать единые учебники истории России для средней школы, которые “будут написаны хорошо русским языком и будут лишены внутренних противоречий и двойных толкований”.

Я работал в ту пору в одном издательском доме сельскохозяйственной направленности, писал статьи, редактировал сразу три журнала, но, как и многие, наверное, внимательно следил за развитием событий после такого разумного президентского предложения.

Из Министерства образования тотчас сообщили, что преподавать историю по-новому начнут уже 1 сентября 2013 года, хотя учебник готов не будет. Для любого трезвомыслящего человека подобное заявление звучит как анекдот. Или как издевательство над здравым смыслом. Но ведь это же то самое

“крапивное семя”... А негласный устав чиновничьей службы прост и конкретен: главное – отрапортовать и заверить.

В мае месяце того же 2013-го заместитель директора Института российской истории РАН Сергей Журавлёв заявлял, что уже ведётся работа по переподготовке преподавателей на основе нового историко-культурного стандарта, но пока трудно сказать, насколько быстро новые учебники будут внедрены в систему обучения. Предполагалось, что первые варианты текстов учебников подготовят к осени.

Спустя три месяца, в августе группа российских учёных, проанализировав концепцию единого учебника истории, подготовленного Министерством образования и науки РФ, предложила разработать альтернативный вариант учебного пособия.

Вожаком этой группы – депутат Государственной Думы Владимир Бурматов – констатировал, что Министерство образования провалило исполнение поручения главы государства. По словам депутата, у представленного министерством документа нет авторов, а кроме того, он “в буквальном смысле списан с источников очень сомнительного содержания, вроде сайтов рефератов для школьников и шпаргалок по истории”.

“Такой подход к источникам не мог не сказаться на качестве текста документа, который содержит более 200 ошибок, неточностей в формулировках и датах, что вызвало резкую критику научно-педагогической общественности”, – сообщал парламентарий. Некоторые дотошные журналисты попытались узнать, что думают по поводу этих обвинений в министерстве образования и науки Российской Федерации, но тамошние чиновники отказались комментировать не только альтернативную концепцию единого учебника, но и решительно открестились от своей концепции.

И как-то всё затихло. Так прошёл год.

И вот 27 августа 2014 года на пресс-конференции тогдашний министр образования Дмитрий Ливанов сообщил, что Министерство образования и науки отказалось от идеи ввести в школах РФ единый учебник по истории.

– У нас единого учебника истории, скорее всего, не будет. У нас будет единый историко-культурный стандарт, на основе которого будут разработаны учебники истории. А ещё министр добавил, что все написанные учебники будут проходить общественную и профессиональную экспертизу.

И на том, как говорится, спасибо.

После курсов ФГОС, ближе к концу сентября мне удалось, наконец-то, составить общую картину с учебниками по истории у моих учеников. В подавляющем большинстве своём, процентов, этак, на 95, это были в одиннадцатом классе – учебник Л. Н. Алексашкиной, А. А. Данилова, Л. Г. Косулиной; в десятом – учебник М. Ю. Брандта, А. А. Данилова и Л. Г. Косулиной; в пятом классе – учебник Древнего мира авторов А. А. Вигасина, Г. И. Годера, И. С. Свенцицкой; в девятом классе, где мне также довелось преподавать историю, был учебник-монополист, его авторы: А. А. Данилов, Л. Г. Косулина, М. Ю. Брандт.

На следующий год мои пятиклассники, ставшие шестиклассниками, были вооружены следующими учебниками: А. А. Данилов “История. Россия с древнейших времён до конца 16-го века”. А. А. Данилов, Л. Г. Косулина “История России. С древнейших времён до конца 16-го века”.

Вдобавок у пары-тройки учащихся был учебник такой:

Д. Д. Данилов, А. А. Данилов, В. А. Клоков, С. В. Тырин “История России. С древнейших времён до конца 16-го века”.

А ещё на второй мой учительский год достался мне брошенный и ставший для меня любимым 7б. Я стал классным руководителем и, разумеется, вёл в 7б историю, обществознание и кубановедение.

Так вот. Выбор учебников по истории России для 7-го класса состоял, вы только не смейтесь, из двух вариантов. Первый: А. А. Данилов, Л. Г. Косулина “История России. Конец 16-18 век”. И второй: А. А. Данилов “История. Россия в 17-18 веках”.

Не сдержал своего любопытства – поинтересовался обладателем самой популярной среди авторов учебников фамилии.

Итак, Данилов Александр Анатольевич родился 19 августа 1954 года в Хабаровске, окончил местный педагогический институт, затем – аспирантуру Московского государственного педагогического института. Кандидатскую диссертацию защитил в 1985 году по теме: “Комсомол – активный помощник

КПСС в воспитании рабочей молодёжи в ходе социалистического соревнования 1966-1980 гг.” Через четыре года Александр Анатольевич стал доктором исторических наук там же, в Московском государственном педагогическом институте, защитившись и оставшись верным теме заботы о рабочей молодёжи: “Партийное руководство развитием творческой активности работающей молодёжи. 1970-1980 гг.”

Правда, в середине 90-х годов в сфере научных интересов Александра Анатольевича главенствующей стала проблема инакомыслия в СССР. Без всяких там возрастных ограничений и отношения к трудовой повинности в условиях тоталитаризма.

Узнал я и о титанической деятельности Данилова, его феноменальной работоспособности. Посты, которые он занимает или занимал, регалии и прочие чиновничьи достоинства займут, если их начать перечислять, пару-тройку страниц машинописного текста, не меньше. Александр Анатольевич активен, мобилен, всеведущ и вседесущ.

Вот он на упомянутом совещании по поводу единого учебника истории охотно рассказывает о своем видении нового учебного пособия. А видится учёному, что объём учебника должен быть минимальным.

– Нужно переходить от “учебников-просветителей” к “учебникам-навигаторам”, – авторитетно заявляет Данилов и приводит в пример один из своих учебников истории для 9 класса, в котором весь объём материала одного урока умещается на... одной странице.

А от “учебника-навигатора” можно и к “учебнику-комиксу” перейти... Я добросовестно прочитал даниловские учебники...

Подчёркивал ляпы, фактические ошибки. Их до неприличия много. Удручает и вызывает зевоту трафаретно-телеграфный стиль изложения, полное отсутствие эмоций. А без эмоций, вызывающих сопереживание, историей как школьным предметом не увлечёшь.

Простое изложение фактов? За этот подход изучения истории, кстати, ратуют многие учителя, в основном, как ни странно, молодого поколения. Учитель, заявляют они, должен дистанцироваться от того, что преподаёт. Должен преподносить ученикам только факты, а не готовые интерпретации. Только так можно быть максимально беспристрастным.

На что я опираюсь, как учитель? На свои знания. И, что, на мой взгляд, **более чем важно, на свои убеждения. Ведь без убеждений нет личности, есть лишь биомасса.** Максимально беспристрастная.

Эмоциональная логика, изложенная желательным ясным, чистым русским языком – вот что мне нужно, чтобы учебник стал для меня помощником и союзником. К слову, проблематично у Данилова и с логикой – наукой, незаслуженно забытой, в основе которой лежат причинно-следственные связи, то есть, используя модное слово, адекватное восприятие мира. Приведу характерный пример логики “по Данилову” из советского периода. Учебник для 11-го класса. Издательство “Просвещение”, 2012 год. Страница 331:

*“Не способствовали прочности советских семей и материальные условия жизни (отсутствие нормальных жилищных условий, достаточной заработной платы, необходимого ассортимента товаров и услуг в системе торговли и бытового обслуживания, элементарной бытовой техники и т. п.). В результате всего за неполных двадцать лет число разводов на каждую тысячу браков выросло втрое (в 1963 году один развод приходился на девять браков, а в 1981 г. – на три)”.*

Исходя из столь прихотливой фразы, получается, что до 1963 года в СССР материальные условия жизни были в разы лучше? И от той же “элементарной бытовой техники” деваться некуда было? Так, что ли?

Этот пример, подчёркиваю, характерный.

Вообще, советскому периоду, понятное дело, достаётся от автора учебника (прежде восхвалявшего “партийное руководство”) пуще всего. Семьдесят лет безнадёги и беспроблемности получается.

А как, спросите, с освещением периода Великой Отечественной войны? А так, сквозь зубы, с плохом скрываеваемой досадой: “Да как же эти дикари смогли выстоять?”

А ещё удивляет запредельная какая-то толерантность.

Вот лишь один пример. Учебник для 11-го класса. 38 параграф: “Человек на войне”. В первом пункте параграфа “Герои фронта” названы, через запятую, советские маршалы (лимит, видимо, выделен на трёх человек):

К. Г. Жуков, И. С. Конев, К. К. Рокоссовский, а также союзнические генералы: Б. Г. Монтгомери (Англия), Д. Д. Эйзенхауэр (США), Ш. де Голль (Франция).

А в следующем абзаце читаем написанное с пиететом: *“Известными военными деятелями стран Тройственного акта, показавшими на полях сражений новые приёмы ведения войны, зарекомендовали себя генералы Э. Роммель, Х. Гудериан, Э. Манштейн (Германия), адмирал Ямомото (Япония)”*.

В следующем 24-строчном абзаце уместилось всё и вся о советских героях: Александре Матросове, Николае Гастелло, Викторе Талалихине, 28-ми героях-панфиловцах, Алексее Маресьеве, Александре Маринеско и Александре Покрышкине.

Но тут же следом, с особой торжественностью: *“Свои герои были и в армиях агрессоров. Немецкий ас Э. Хартман, названный германской пропагандой “лучшим асом” Второй мировой войны, совершил в общей сложности 1800 боевых вылетов (в 2,5 раза больше, чем вся эскадрилья “Нормандия-Неман”), принимал участие в 825 воздушных боях, сбил 352 самолёта...”*

Браво! Высший пилотаж! Одним махом развенчиваются французские лётчики – “лентяи”. Это – раз. А во-вторых, склонные к различным сравнениям, “индексам эффективности”, нынешние молодые и практичные исследователи могут тотчас на своих телефонных калькуляторах посчитать и прийти к выводу, что по сравнению с Покрышкиным Хартман действительно “лучший ас”...

В 8а на уроке кубановедения “уболтали” меня, добры молодцы, поговорить на “свободную тему”. Последний урок в четверти, святое дело.

– Скажите, какой танк в войну был самый лучший?

– По мнению специалистов-историков, наш Т-34.

– Ага! Как бы не так!

И тут начал Иван познания свои демонстрировать. Чувствуется, что читает много о танках, увлечён самозабвенно, как и может быть увлечён мальчишка этой темой. Заспорили мы о технических характеристиках наших и “ненаших” танков.

– Стыдно, – говорю им, – эрудиты танковые, вам должно быть. Стыдно! Не знать, кто такой Дмитрий Фёдорович Лавриненко! Тем более, он наш земляк.

И рассказал им, что знал об уроженце станицы Бесстрашной, Герое Советского Союза, погибшем в декабре 1941 года в битве под Москвой. 28 кровопролитных боёв, лоб в лоб. Трижды танк горел. Ремонтировали – и снова в бой. Тяжелее время отступлений. Экипаж Лавриненко за два с половиной месяца боёв подбил 52 вражеских танка!

– А это, – говорю, – позволяет назвать Дмитрия Фёдоровича самым результативным танкистом Второй мировой войны. Но, разумеется, Данилов об этом не пишет.

Так что, возвращаясь к толерантности в освещении Великой войны и Великой победы, это не придирки мелочные, не выискивание блох.

Всё гораздо серьёзнее.

В целом учебники Данилова какие-то... шпаргалочные.

Привить же интерес к любой науке, в том числе и к истории, жанр шпаргалок не может априори. Зато подготовиться к ЕГЭшной “угадайке” вполне даже можно по таким вот “учебным пособиям”.

Однако всё познаётся в сравнении. Так вот, по степени антисоветизма и русофобии, что, впрочем, одно и то же, учебники Данилова всё же более умеренны, если их сравнивать, например, с учебниками Левандовского или Сороко-Цюпы.

Урок кубановедения – раз в неделю. 34 урока в год. Среда у меня “кубанский” день. Так как из шести уроков пять – кубановедения.

Учебники по кубановедению написаны живо, с твёрдых таких, принципиальных буржуазных позиций.

Вот, например, чуть ли не плача от восторга, автор учебника для восьмого класса рассказывает, что герой Кубани, один из основателей Екатеринодара, казачий старшина Антон Головатый – цитирую: *“...пригнал в кубанские степи из Приднестровья 15 тысяч лично ему принадлежащих лошадей, 25 тысяч голов крупного рогатого скота, 500 тысяч овец...”*

Ну, скажите, разве же такой человечище, полководец полумиллионного овечьего войска, не достоин уважения и водружения в бронзе на постамент?



Знания учеников по кубановедению (“кубашка” – так они называют предмет), за редким исключением, – нулевые. При этом узнал, мне же надо это знать, что “тройка” по кубановедению – явление, опять же, исключительно редкое. Сплошные “пятерки” и не такие частые “четверки”. Удивление высказал, при случае, директору и услышал от неё:

– Понимаете, Сергей Валентинович, существует негласная установка... И вообще, вам, наверное, известно, что если успеваемость низкая – школа недополучает финансирование... Рейтинг школы падает... Так что, сами понимаете...

Я обязал носить на уроки учебники и, уж извините, говорю, но все должны приобрести рабочие тетради. А ещё будем готовить, – писать, да писать! – ручками своими изнеженными доклады. Никаких тупых скачиваний из интернета!

Помогло, не помогло, но стали, по крайней мере, пусть не стыдиться, но и не бахвалиться тем, что не знают, кто такие Покрышкин и Бершанская и где, например, находится монумент воинам – освободителям Краснодара от фашистов. А какая дискуссия возникла в мае накануне нашего святого праздника в десятом классе после доклада Сергея П.!

Доклад был посвящён героизму и предательству в годы Великой Отечественной войны.

Почему именно в Краснодаре состоялся первый процесс над коллаборационистами (так сейчас именуют в учебниках предателей)? И почему именно в Краснодаре фашисты впервые использовали “душегубки” – семитонные крытые грузовики с дизельным двигателем? Спорили до хрипоты о предательстве и предателях, и сколько бы сейчас оказалось таковых, начнись, не дай Бог, война... Говорили, размышляли о подмене смыслов, о Красном Знамени, как символе Победы, о Георгиевской ленточке...

Как зорки они, дети, начинающие думать, мыслить...

И ворохнётся, уверен, в их чистых ещё сердцах и боль, и гордость, и ответственность, когда окажутся они на неприметной краснодарской улочке имени братьев Игнатовых. И не будут пожимать плечами в неведении, что это за улицы такие: имени Передерии или Доватора? Да, таких мгновений мало, очень мало в рутине уроков, но именно они, эти моменты истины, позволяют верить, что не всё ещё потеряно...

Задушевный, откровенный разговор учителя с учеником очень важен и очень редок. Это и оселок для тебя, и показатель доверия к тебе.

И выйти на такой разговор – труд великий, ответственность большая. Потому и редки очень такие разговоры. А кто-то и вовсе без них обходится, считает их вредными, ненужными. И оспаривать такую точку зрения я не решаюсь.

В дождливо-серый декабрьский полдень одиннадцатиклассник Петя З., безукоризненно воспитанный молодой человек и умница, из редкой породы “читающих”, подаёт мне тетрадный, в клеточку, лист. Всё это после уроков, без свидетелей. На листе выписано убористым Петиним почерком несколько афоризмов: “История – служанка идеологии”. “История – ремесло. Но ремесло собачье: или хвостом вилять, или лаять”. “История пишется сейчас. Завтра – уточняется. Потом – исправляется. Попутно разоблачаются “фальсификаторы”.

Прочитайте, говорит. И следит за моей реакцией.

Прочитал, поднимаю глаза.

Пётр смотрит необычно для себя: насупленно и требовательно.

Что я могу ответить? Но понимаю, что отвечать надо.

– Знаешь, я тоже могу, навскидку, привести несколько блестящих фраз, оценивающих историю как науку вершинную и самую нужную людям. Самую искреннюю науку. Да-да! И самую беззащитную. Но тебе ведь это не нужно сейчас. Так? Именно сейчас.

Я замолчал. Наверное, думаю, на этом и всё. Но, вспомнив наши осенние разговоры, договариваю:

– В одном ты не можешь со мной не согласиться. **Изучение истории заставляет мыслить, думать, анализировать, сравнивать.**

В самом начале октября Петру исполнилось восемнадцать лет, первому в одиннадцатом классе, и через пару недель он стал приезжать в школу, аккуратно паркуясь, на “Фольксвагене”. Отец у Пети преуспевающий юрист – машина подарок сыну на совершеннолетие. И никаких, даже мало-мальских изменений в поведении. Так же корректен, обходителен, много читает, тренер

спортивной секции уже доверяет Петру проводить занятия по тэквондо с младшей группой. Я уверен, что Пётр поступит, куда и хочет поступить, — на юридический.

Тогда же, в октябре задал Пётр мне вопрос из разряда “в лоб”: а зачем всё же “тирану и кровопийце” Сталину были нужны образованные люди?

Долго мы тогда проговорили...

Помню, в мае 1991-го выпытывали меня старшеклассники, из тех немногих, что любопытства ради заглядывали на многочисленные тогда митинги, за кого я пойду голосовать на президентских выборах?

Отвечал: “За Рыжкова Николая Ивановича, — и после паузы, досказывал. — Но сердцем голосую за Валентина Григорьевича Распутина, помните, рассказывал вам про такого писателя? На днях он по телевидению выступал. Призывал голосовать за Рыжкова. И знаете, мудрые слова говорил: смотрите на лица кандидатов, на лица отображена суть человеческая...”

И тогда, в начале девяностых, и спустя четверть века в подавляющем своём большинстве школьная молодёжь аполитична. Опять же я делюсь этим выводом, пусть и не оригинальным, но основанным на наблюдениях собственных. И ничего в этой аполитичности удивительного, ничего противоестественного не нахожу.

Какая-то неопознанная закономерность: обязательно есть школьники, интересующиеся политикой, но их очень мало. А среди “интересующихся” тоже тенденция, причём явная, прослеживается. Обязательно встретится юный гражданин, начинающий карьеру политика, уже вступивший в организацию молодёжную, как правило, пропрезидентскую, проправительственную. И на другом фланге, тоже в обязательном порядке, — начинающий диссидент, которого привлекает уже одно то, что “мы не как все, и только мы знаем правду и путь к ней...”

Зайдёт речь о политике, о событиях на Украине, на Донбассе — все ожижутся. Начинают делиться тем, кто что вычитал, высмотрел в пабликах. Кто-то из девчонок что-нибудь скажет — заухмылятся парни, ага, вот “сморозила так сморозила...” Девчонки начинают обижаться... Градус спора — повышаться...

Впору учителю вмешиваться и пытаться к истории привязать. Например: а знаете ли вы, спрашиваю, откуда произошло это выражение “сморозить глупость”? Или, пользуясь случаем, можно узнать, какие политические партии в России им известны? Называют (с разной интонацией) “Единую Россию”, “Жирика”-ЛДПР, коммунистов совсем уж мало кто вспомнит... Ну, а напоследок кто-то возьмёт, да и скажет: “А! Вспомнил! Есть ещё... зелёное яблоко!”

Все разговоры “за политику” у школьников крутятся вокруг понятия “справедливость”. И мало кто выскажется в таком духе, что, мол, всё у нас в государстве справедливо, всё по закону... Наоборот, иной раз в своих размышлениях доходят они, максималисты, до крайностей. А что остаётся молодому человеку, вышагивающему за порог школы?

А вот жажда справедливости неутолима по-прежнему для русского человека.

... Это случилось в конце ноября, 27-го, когда зарядили, чуть раньше обычного, холодные, безучастные дожди — так на Кубани начинается зима. А ты ждёшь, месяц уже ждётся снега, он вспоминается тебе тёплым, искрящимся, лёгким... “Выпал снег и всё забылось, // Чем душа была полна! // Сердце прощеще вдруг забилось, // Словно выпил я вина...” Он снится тебе, родимый снег...

... В 8а классе в “кубанский день” разрезвились на уроке, да на последней парте, два паренька. Случилось у них такое игривое настроение, с кем не бывает? И паренки-то, хорошие. Максим — спортсмен, красавчик, девчонки вокруг него хороводы кружат, а Герман, Гера, с первого урока мне запомнились. Что-то я, желая понравиться, не скрою, про любимый баскетбол (после футбола и хоккея, конечно) задвинул интересное, а высокий, худенький мальчишка с тонкими чертами лица востепенулся, поддержал тему, оказалось, — знаток! Ни одного матча “Локомотива-Кубань” в “Баскет-Холле” не пропускает, словом, свой человек! Хотя к баскетболу у него любовь больше теоретическая, а занимается он боулингом. Серьёзно так занимается, входит в юношескую сборную края по этому виду спорта.

Сделал я им замечание — замолчали на минутку, и снова веселие. Второй раз одёргиваю — тот же результат. В третий раз вместо замечания поднимаю Геру, задаю вопрос, и можно было бы слушать его с места, так чаще всего я и делаю, но “клинануло”:

– Прошу! К доске!

Вижу, что ему этого делать совсем не хочется, от учебника, то есть, уходить.

– Да, ладно, я с места... – и тон такой... развязный... вызывающий.

Вышел всё же, за эти пятнадцать шагов продемонстрировав (или мне показалось?), что сим он делает мне одолжение величайшее, словом, на публику работает Гера по полной. Да ещё и обозначилась у него ухмылочка (или, опять же, мне привиделось?), неприятная такая...

Тут уж я не выдержал. Стал говорить: вы в армию не ходите, иначе там вас с такой вот улыбочкой и походочкой, “как в море лодочкой”, сразу “очко” в туалете зубной щёткой чистить отправят до полной победы, то бишь демобилизации...

Отправил его обратно на место, а Гера в дверь напрямиком – на выход...

Вечером тоскливым, в очередной раз возвращаясь к своей глупости, думаю, что я на месте Геры в такой ситуации так же поступил бы, а может, и не сдержался бы. Всё можно выдержать и остаться человеком, кроме унижения.

Урок истории в 11 классе.

– Кто такой вермахт? – слегка “туманю” Диму Ш.

– Это... генерал...

– Чей?

– ...Французский... Нет! Немецкий!..

Старшеклассники знают генерала Власова. Охотно рассуждают о нём, некоторые пытаются оправдать: он же за русских был, хотел нас от коммуняка спасти...

Зато на вопрос, а кто такой генерал Карбышев? – молчание.

Герой Советского Союза майор Гаврилов (в центре Краснодара есть улица его имени, мемориальная доска на доме, где он жил, установлена, остановка “Гаврилова” – пересадочная) – также никому не известен...

На четвёртом уроке я наблюдал за выполнением КДР (краевой диагностической работы) в 10 классе по... математике.

Учителя-гуманитарии приглашаются завучем в качестве контролёров, ну, и чтобы ничего не смогли подсказать. И то верно: вчитывался я в учебник по алгебре, вчитывался...

Задания же встречаются весьма интересные. Так сказать, на перспективу.

Например: “Один литр бензина стоит 80 рублей. После повышения цен бензин стал стоить 92 рубля. На сколько процентов повысилась цена бензина?” День казался мне бесконечным...

В Первомайский праздник (День весны и труда) нам предлагают размяться, собираемся мы на Театральной площади и ждём, и топчемся, и выстраиваемся во что-то наподобие колонны, дабы идти организованным порядком по улице Красной до Пушкинской площади...

...Неодушевлённо шагающая подневольная толпа. Растрёпанный, неровный говор. Флаги-знамёна учителям и прочим “представителям общественности” не доверяют. По традиции, ещё советской, это дело молодых, мускулистых студентов. Они там – впереди колонны, которая растягивается по главной узенькой улочке Краснодара с тем, чтобы оказаться на Пушкинской площади и прослушать там прелестные речи ораторов от власти, песни о Родине, посмотреть пляски и танцы...

Позже СМИ, со ссылкой на правоохранительные органы, сообщают, что в шествии (демонстрации, митинге) приняло участие столько-то тысяч человек (в Краснодаре принято стартовать в таких отчётах от 10-ти тысяч).

В начале февраля 2014-го мы с женой были “представителями общественности” на встрече-зажигании олимпийского огня на Театральной площади.

Тут было шумно и весело. Исполнялся хип-хоп под аранжировку советских песен. Звучал патриотический рэп. Вертунчик-балаболчик (из когорты расплодившихся диджеев) неумолчно насиловал микрофон на сцене: “Скажем – да! Но не так, как в загсе! Мужики, давайте посвистим! Девушки, давайте повизжим!” Сюда, на это свистяще-визжащее действо, в отличие от митингов, молодой народ шёл охотно. И едва дело не дошло до паники, когда началась давка при одном-единственном входе на площадь со стороны улицы Красной.

А перед походом на очередную первомайскую подневольную демонстрацию делегаты-представители нашей школы участвуют с некоторыми пор и ещё в одном мероприятии.

Дело в том, что 13 апреля 2013 года в Краснодаре по адресу: “Улица имени Михаила Ивановича Калинина, 100”, – был открыт памятник... белому генералу Лавру Георгиевичу Корнилову.

Власти города выделили на предполагаемом месте гибели белого генерала полугектарное земельное угодье, скульпторы изваяли памятник, и из года в год этот мемориальный участок обрастает новыми деталями. Неумолимые скульпторы поместили рядом с трёхметровым бронзовым памятником три осёдланных лошади, но без седоков. Их, вероятно, убили красные. В двух метрах от памятника – высокий металлический забор. Забор и закрывает, и разделяет частный прибрежный сектор, чтобы, значит, тот не портил картинку для телекамер своей неказистой обыденностью: печные трубы над потемневшими шиферными крышами скромных домов, хозяйственные сараюшки, туалеты – в домах здешних нет воды и газа.

К очередным корниловским поминовениям на заборе появилось, с использованием современных фотосеток, безбрежное русское поле с берёзками. Соорудили сторожевую казачью вышку, разумеется, не обошлось и без плетней и коновязей. Поставили, наконец, и беленький домик, почти игрушечных размеров, из стандартного набора устройств подобных мемориальных комплексов, проходящего, видимо, в этом наборе под названием “мазанка крестьян юга России”... В такой примерно домик, по мнению авторов мемориала, и попал роковой снаряд, сразивший белого полководца, штурмовавшего красных Екатеринодар и не бравшего пленных...

Наша школа – самая ближняя к мемориалу, и потому рождается новый приказ. На этот раз его начало звучит несколько иначе:

“Во исполнение поручения главы администрации Прикубанского округа о проведении торжественного мероприятия, посвящённого 97-й годовщине гибели главнокомандующего Добровольческой армии Л. Г. Корнилова, приказываю...”

И тут не выдерживают нервы у учительницы русского языка и литературы. Узнав, что она в списке обязанных “почтить память”, категорически заявляет на перемене в учительской:

– Корниловцы моего деда убили! Простого русского человека! Он тоже был добровольцем! Добровольно вступил в отряд рабочих! И убили его за то, что он защищал родной город, защищал свою семью, моего отца, которому тогда было три годика. А я, значит, должна идти и “почтить память”! Да увольняйте меня, режьте, но я память своего деда не предам!

Переполошилась директор:

– Хорошо, хорошо, я не знала, заменим вас, уважаемая... только не кричите...

В Краснодаре, в городском саду, вообще-то есть редкий по точности выражения идеи мемориал жертвам братоубийственной гражданской войны в России. На семиметровой высоте возвышаются две полуарки. Под ними – гранитная плита, а на ней символы “белых” и “красных”: будёновка и папаха. Называется мемориал “Примирение и согласие”. А служит ли примирению и согласию корниловский мемориал?..

... Стихло в учительской. Остался только запах валерианки.

И вдруг меня пронзило: как всё близко-то! как всё рядышком! Вот оно, дыхание истории... И её, истории, запах...

Как-то Ира С., собирающаяся поступать на журфак, милая барышня с оборотистой улыбкой, мне заявила:

– Извините, Сергей Валентинович, но первый урок – не моя фишка.

Ира С. – девушка осторожная, присматривалась ко мне и лишь по весне, после одного нашего хорошего внеурочного разговора “за жизнь”, в котором главной темой была журналистика, призналась, что она пишет рассказы и хочет, чтобы я почитал их.

Два рассказа, которые она принесла распечатанными редко встречающимся “ариалом” и жестоким для глаз девятым кеглем, мне понравились. Искренние, наивные рассказы-впечатления от поездки минувшим летом со старшей сестрой в Париж.

Поинтересовался осторожно, после высказанного мнения, во-первых, читала ли она роман Виктора Лихоносова “Наш маленький Париж”:

– Нет, не читала. Я вообще, как бы, русскую литературу не читаю. Что читаю? Новинки. Дэйв Эгерс, Гиллиан Флинн, Джоджо Мойес...

А во-вторых, спросил у Иры о литературных студиях: не желает ли она походить куда-нибудь, пообщаться, поспорить там, поучиться...

Ответила также с некоторым удивлением, но определённо:

— Зачем? Мне это не нужно.

Вообще, увидеть школьника с книгой, подчёркиваю, с книгой, а не учебником — это так же редко сейчас, как увидеть синюю птицу. Хотя мои опросы старшеклассников выявили, что, помимо школьной программы, кто-то читал распиаренного Чака Паланика, кто-то — Ремарка, Брэдбери, из наших классиков называли Пушкина, Достоевского и Гоголя.

Среди парней есть поклонники движения “околофутбола”, это такое своеобразное эстетическое обоснование хулиганства футбольных фанатов. Но их агрессия мне кажется напускной, и глаза выдают их добрый характер. Просто им, “околофутболистам”, нравится быть единым целым на трибуне, болеть неистово за “Кубань”, распевать проникновенно “Катюшу” и инфернально проходиться по другой краснодарской футбольной команде.

Однажды февральским утром, на первом уроке, предварительно “раскрутив” меня на мнение о событиях в Киеве и, дабы самим проснуться, перекинувшись на интересующую многих тему национализма, спросили, показав свои познания, как я отношусь к цифре 14/88?

Староста Вадик, поклонник фатализма по отношению к ЕГЭ, уполномоченный, как я понял, задать этот вопрос, смотрел выжидательно, и весь класс, даже пофигисты Мишка с Коляном, встрепенулся: “редкие минуты сосредоточенного внимания” наступили.

— Эта теория, увы, возникла не из воздуха, — ответил я.

А потом рассказал им про свою службу в армии в середине восьмидесятых. Про то, как в нашей, одного призыва, роте выясняли отношения в первые месяцы службы представители многих наций, входящих в “братскую семью советских народов”. Выясняли порою с помощью ремней и табуреток. А выяснив, хорошо, что без значительных потерь, стали обычной стройбатовской ротой, где трус или негодяй национальной принадлежности не имеет. И если случался по нашей вине “косяк”, и шли мы, проштрафившиеся, на авральные ночные работы, то разгружали машину с бетоном, очень сноровисто разгружали, потому как бетон имеет обыкновение очень быстро схватываться на тридцатиградусном морозе, и тбилисский мажор Эдик Почхуа, и дагестанцы братья Дадашевы, и русский студент Серёга, и немец Колька Эртман, и казах из посёлка под Чимкентом Олжас Нурпеисов...

После этого рассказа “околофутболист” Андрей В., всегда заряженный вниманием на моих уроках, с авторитетными дружинисто-вальяжными движениями резюмировал:

— Всё равно они оструели. А ножки точатся.

Эту фразу про ножки Андрей произносит часто, и я понимаю, что это, по большому счёту, понты, если выражаться, как они. Но что поделаешь: положение авторитетного человека, любящего покрутить во рту половинку британского лезвия, обязывает.

Староста Вадик итожит:

— Только белый чел может спасти мир. Ну, ту же, типа, Америку...

Как-то заговорили, заспорили в 10 классе на тему: свастика на заборах — это баловство или опасность для общества?

Говорят мне шестнадцатилетние граждане: смотря какая свастика. Колорват, например, — это что, фашизм?

В многонациональном Краснодаре, раскрою страшную тайну, школы тоже многонациональные (это такая учительская ирония, которую никогда нельзя зачехлять).

За все школы я, конечно же, отвечать не могу, но в нашей, рабоче-крестьянской, так её называет одна из учительниц, каких-либо недоразумений, как любят выражаться политики, на национальной почве не наблюдается. Разве что совсем младшенькие иной раз перенесут из домашних кухонь некоторые подслушанные резкости и озвучат их в пылу публичной схватки.

А когда взрослеют, срабатывает, видимо, какой-то инстинкт, и грубые прозвища из лексикона учеников исчезают. Почти исчезают...

Правда, на их место заступает мат. Густейше в иную перемену (ну, например, после напряжённого урока — потому как нужна, понимаешь, школярам разрядка!) заволакивающий школьные коридоры.

Хотя грешат этим пороком все нации и народности, но матерная речь проносится исключительно на “великом и могучем”. Негодную, цитирую, грешник, Библию: “Не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека”.

Всё бесполезно. Возникает потому сакральный русский вопрос: “Кто виноват?”

И тут я не могу не поделиться одним разочарованием. Конечно, в основе этого разочарования – не просто субъективное, но архисубъективное мнение. Но я его выскажу, рискуя навлечь столь понятный и объяснимый гнев. Словом, в последнее время мне встречается всё больше и больше матерящихся... женщин. И, что называется, в возрасте, и совсем юных. Вот молодая мамаша везёт детскую коляску и такое “заворачивает”, такое... разговаривая по телефону. “Заворачивает” тоном самым естественным, самым обыденным. Вот в маршрутке в ограниченном пространстве уже не по телефону в мирно-обыденном, но по-южному громко-эмоциональном диалоге женщины из категории 40+ делятся впечатлениями... Уж лучше бы не делились...

Светлые дни запомнились особо. Как и запоминается всё светлое и доброе...

В понедельник 17 марта 2014 года и погода радовалась.

Распахнутое, солнечное утро.

И первый урок истории в одиннадцатом классе начинается у нас с могучего “Ура!” О, этот русский боевой клич, приводящий в трепет врагов! А на Кубани – защитнице славной южных рубежей государства нашего – как-то особому его воспринимаешь...

Проговорили в приподнятом настроении весь урок. Я напоминал, рассказывал о вхождении Крыма в состав Российской империи в 1783 году, попутно, конечно, не мог не вспомнить и Георгиевский трактат этого же года, спасший грузин от исчезновения... И о своеобразии исторической памяти говорили, дошли и обсудили хрущёвский “подарок” Украинской ССР в 1954 году...

Да и на последующих уроках тема референдума о присоединении Крыма к России была главной.

И весь день не покидала радостная взволнованность. И в кои-то веки смотрел я выпуски теленовостей. Какие счастливые, простые, славянские лица в Севастополе, Ялте, Симферополе показывало телевидение – забытые картинки...

Радостную же разгорячённость ведь надо куда-то девать, правильно? Договорились со старшеклассниками провести футбольный матч и посвятить его нашей общей победе. Противостояние футбольное, с давней историей, называется “Вавилово” – “Учхоз”. На нашем учхозовском стадионе тренировались все эти дни, чтобы сойтись в эпической битве 24 марта. Судейство доверили мне. Я внёс некоторые изменения в правила. Например, за матерок, который вдруг донесёт до меня ветерок, не просто удаление с поля, но и назначение пенальти.

Матч получился: никто не собирался уступать, ни “вавилоняне”, ни “учхозовцы”... Я назначил два пенальти. Нет-нет, за подножку и игру рукой в штрафной площади. Счёт не скажу – победила дружба.

В мае на учхозовском же стадионе состоялся у нас матч-реванш, а на главном стадионе Краснодара – стадионе “Кубань” – самые знающие и проницательные болельщики заговорили о нелёгких временах, которые ждут старейшую команду края: бизнес основного спонсора находился в Донбассе.

Обсуждали мы на одном из уроков с “околофутболистами” трагедию в Одессе и зловещую роль, что была отведена в ней футбольным фанатам... “Да какие это фанаты, это – отморозки, мы не такие...” – звучало рефреном...

... Месяц май с трудом можно обозвать месяцем учебным. И выпадающая из-за праздничных выходных первая его декада, и наступившая летняя жаркая погода... Всё шепчет ученикам, и даже проникает в учительские уши: “Расслабься... вот они, каникулы...”

Впрочем, учитель тотчас встрепенётся: какие каникулы, впереди недели экзаменационной нервотрёпки.

Учительница литературы, с которой мы сидели на окружном сборе по подготовке к ЕГЭ, сказала:

– Вы заметили? В последнее время все стараются говорить на языке военных. Сплошные стратеги.

Действительно, выступавший тьютор бросался словами и фразами: диспозиция такова... главный удар должен быть направлен... на вооружении учителя... помните, что ЕГЭ – это решающий бой...

Да, думаю, что же получается? Провёл год в тылу, а сейчас ждёт передовая?

Однако на “передовую” я не попал. Вместо этого очутился в пульмонологическом отделении с воспалением лёгких. Дезертировал, так сказать...

К началу нового учебного года списочный состав учащихся нашей школы увеличился на 29 человек. Среди новых учеников – дети беженцев с Украины. Встретили их приветливо, они быстро освоились.

Как странно... Ловишь себя на мысли об этом, когда смотришь на человека, видевшего, пережившего уже – и в таком-то возрасте! – самое бессмысленное и страшное, что придумало себе человечество.

В 7б – бережно мне рекомендованном, с уведомлением: “Вы с ними только построже, разболтанный, неуправляемый класс...” – новенькая Оксана.

С мамой приехали буквально неделю назад из Алчевска.

Мама, тоже Оксана, рассказала, что стрелять стреляли, но где-то там... в отдалении... канонаду было слышно иногда... А тут в пять утра как бабахнет... ещё... ещё... окна с рамами повывлетали... Мы всей пятиэтажкой на улице... Кричим, кругом истерика, паника... Сказали потом, будто ракетами этот сынок “Катюши” стрелял... Не поняли? Ну, “Град” так у нас сейчас называют... Мы по-быстренькому собрались и сюда ехать с дочкой... У нас здесь бабушка, моя мама, живёт... Да и я здесь родилась, потом вот замуж выскочила...

Оксана – девчушка бойкая, гордится тем, в этом есть и подростковый вызов, что она украинка. Показывала атласы по истории Украины с интерпретированными картами: особенно не повезло полякам – отхватили авторы атласов-шаблонов землицы польской изрядно...

Группа старшеклассников на перемене:

– Посмотрите! Современный показ войны.

Видео в смартфоне начинается со зловещего заголовка: “Каратели расстреляли машину с семьёй беженцев в Горловке”... И... как чёрт из табакерки, радостная реклама: “Открой “Дирол” и оторвись на Иблице”! Потом жуткие кадры, подробно, изрешеченная иномарка и три трупа... И в завершение – опять радостный вопль: “Оторвись на Иблице”... “Открой “Дирол” – открой позитив”!

Девчонки-подружки девятиклассницы подхватывают в этот же день тему, делятся со мною, задело, значит, их:

– Какую-то передачу смотрели у нас дома с мамой. Ну, типа, все базарят, короче, ржак про какого-то комика-гомика... И тут бах! Последние новости...

– Нет! Новость часа!

– Точно! Голос, как из могилы, о жертвах, картинки такие жуткие...

– Да! А потом опять этот напомаженный! Все веселятся, ржут!

– Бесит прямо это!

Принёс из домашней библиотеки книги: “Илиаду”, “Очерки и нравы Древней Греции” на урок моим пятиклассникам. Только выложил на стол перед уроком, как стайка подружек подлетела, начала рассматривать... Цокают языками, восхищаются, рассматривают...

Ксюша Т.: “Мне нравится, как пахнут! Вку-у-сно!”

А Варенька П. помимо восторгов, высказывает и практицизм: “Ого! Цена всего 2 рубля 30 копеек... Ой, я бы столько накупила!”

Такое искреннее восхищение и преклонение перед книгой! Давно – да что там! И не помню даже, когда такое видел.

А потом подумалось: что с ними станет к классу восьмому-девятому?

Заметил, что школьники любят слушать, когда им читают стихи. И пятый класс, и одиннадцатый.

Помню, было это уже на втором году моего учительства, снизошло на меня такое... чтецкое вдохновение, и повод был праздничный... Словом, решение созрело по дороге в школу... И на первом уроке в одиннадцатом классе объявил о всенародном нашем празднике.

Недоумённое переглядывание. Самые пронизательные начинают меня вежливо поправлять, мол, с прошедшим... Да... И вас также, Сергей Валентинович...

– Нет. С прошедшим Покровом, конечно, и вас, уважаемые. Но смею напомнить, что сегодня исполняется 200 лет со дня рождения гениального русского поэта Михаила Лермонтова. А ещё он один из первых русских спецназовцев. Это для вас, парни, информация. Но об этом поговорим в другой раз. А сейчас стихи...

...И читал весь урок.

Начал с хрестоматийного “Люблю Отчизну я, // Но странною любовью!..”, потом: “Когда волнуется желтеющая нива, // И свежий лес шумит при звуке ветерка...”, перешёл – как без Александра Сергеевича! – к любимым: “Подъезжая под Ижоры, // Я взглянул на небеса...” и “Пора, мой друг, пора! // Покоя сердце просит...” и “Если жизнь тебя обманет, // Не печалься, не сердись!..”, потом “Мы встречались с тобой на закате. // Ты веслом рассекала залив...” Александра Александровича, “Грубым даётся радость. // Нежным даётся печаль...” Сергея Александровича...

Понимаю, репертуар можно оспорить, осудить и даже заклеить. Но как слушают Её Величество Поэзию! Бла-го-го-вей-но...

...А-а-а! Какие там урочные планы... цели воспитательные, познавательные... Передо мною поэты! Да-да! Они, современные, семнадцатилетние – практично-лукавые уже, рациональные, но и беззащитно-искренние ещё, в стихии поэзии сейчас, а значит, в этот редкий час единения душ наших и они поэты, и потому: “Любите живопись, поэты! // Лишь ей, единственной, дано...”, “О счастье мы всегда лишь вспоминаем, // А счастье всюду. Может быть, оно...” Перешёл к современникам: “Есть реки, которые вдруг пропадают из виду, // Уходят под землю и долго текут под землей. // Россия – такая река, и теперь ее ищут. // А где она выйдет, об этом не знает никто...”, “...Качнётся люлькою дорога, // И в лунных перьях ходит рожь, // Для счастья надо так немного, // Когда судьбу свою поймёшь...”, добрался, конечно же, до Юрия Поликарповича – он ваш земляк! Знаете? Да как же так... Родные мои, ребяташки... Музей Высоцкого в Краснодаре есть, а поэтика Кузнецов, получается, не заслужил... Ах, ладно... Слушайте: “Завижу ли облако в небе высоко, // Примечу ли дерево в поле широком...” А это? Это великое и незамеченное, написанное двадцать лет назад: “Он возвращался с собственных поминок. // В туман и снег, без шапки и пальто, // И бормотал: – Повсюду глум и рынок. // Я проиграл со смертью поединком. // Да, я ничто, но русское ничто...”

...Что такое сорок минут, когда властвует поэзия, когда разгорается солнцем октябрьское утро? Так – фьють!

И так радостно, что ты русский богатейший человек, ведь именно у тебя есть Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Блок, Есенин, Рубцов, Кузнецов, Башунов...

Продолжил и на втором уроке, и на третьем, поздравления чтецкие с юбилеем... Благо, среда – 5 уроков кубановедения! Извините, Захарии Чепеги да Луки Бычи... Не ваш сегодня день... К четвёртому охрип голос, но пришли на помощь сами ребяташки: читали “Бородино”, устроил что-то вроде соревнования (пообещав, конечно, “пятёрки”), и читали, в основном, девочки. А Даша Г. из моего 7б, талантливейшая девочка и отчаянная хулиганка, которой и мальчишки побаиваются, прочитала “Жди меня” Константина Симонова и не утерпела, похвасталась:

– Я этот стишок за десять минут выучила и параллельно играла в компьютер...

Ну, что тут скажешь... Отшутился:

– Даш, ты какую-то новую методику заучивания стихов изобрела...

Решил поэкспериментировать в своём 7б. Предлагаю им:

– Придумайте рифму к слову “власть”.

Подумали. Ещё подумали... Кто-то, неуверенно:

– Упасть...

И вот, как и полагается, с последней парты, “оплота диссидентства”:

– Красть!

Смех. Стройный такой, с оглядкой на мою реакцию.

Нет, друзья мои, Россия – не родина слонов. Россия – родина поэтов. А значит, прорвёмся!

Новые образовательные стандарты, тот самый ФГОС, колотушкой вбивают в учительскую голову: урок без рефлексии – не урок.



Племя методистов и психологов тут как тут — подготовили, обозначили, сформулировали, как и полагается, помудрёней и позаковыристей, всего-то 12 видов этой самой рефлексии. Поспевай, мол, учитель, торопись, не отставай от века, заставляй учеников рефлексии предаваться. То есть учи их размышлять, проводить самонаблюдение и осмысление своей деятельности...

В конце урока учитель, потирая руки:

— Ну, а теперь, ребяташки, порефлексируем...

И дети:

— Я сегодня был гением!

— Нет, я!..

...Уф!

Порою, случается, что начинаешь сравнивать их, нынешних, с моим, например, поколением. И для такого сравнения лучше всего подходят самые старшенькие — одиннадцатиклассники.

В их возрасте я был уже первокурсником, студентом.

Тогда, в начале восьмидесятых в сознании советских родителей, давно уже и прочно утвердилась лелеемая ими мысль об обязательном высшем образовании для своего чада. Но как ни обихаживай эту мысль, однако же и учиться надо. Надо готовиться к тому, чтобы суметь преодолеть два главных барьера, уготованных тебе государством в юности: экзамены за курс средней школы и барьер значительно выше — вступительные экзамены в ВУЗ.

И ты готовился к преодолению этих барьеров. И никто за тебя платить не собирался. Да и не было никаких платных отделений и платных подготовительных курсов тоже не было... Ужасно, конечно... Как мы умудрялись жить...

Да, это был психологически очень сложный, тяжёлый период. Но это была и закалка силы воли, столь необходимой в юности. Ведь не будете же вы спорить, что только в юности дерзновенной мы хотим, как Рахметов, спать на гвоздях.

Так чем же они, родившиеся во второй половине страшно-залихватских девяностых, отличаются от нас? Поделюсь некоторыми выводами, конечно же, субъективными, из своих наблюдений.

Мы больше читали, а они более информированы. Я бы даже осмелился сказать, что интерес к чтению у нынешних школьников не угасает. Только вот беда — к чтению информативному, а не душеполезному.

Чтение предполагает труд душевный, развивает умственные способности. Информированность же всегда поверхностна: “ни уму, ни сердцу” — это про неё.

И тот же Чернышевский в круг этой информированности не входит. Впрочем, как и антагонист его, Набоков, тоже. Да и весь великий ряд классиков, увы, им (вновь оговорюсь, за редким правилом-исключением) не интересен. Авторитеты вообще на них “не дают”.

Какой-то там, говорите, Дидро, типа, кинул: “Люди перестают мыслить, когда перестают читать”? — Нет, Дидро говорил по-другому: “Народ, переставший читать, перестаёт мыслить”. Так-то.

Многие из нас, читающих советских школьников, к десятому классу уже могли отвечать по теме, не упражняться в болтологии, а именно отвечать, рассуждать, пусть и ошибочно, “на пол-урока”.

Устная же грамотная речь не возникает в одночасье, она возникает на основе прочитанного, на основе постоянного чтения, в том числе и заучивания — это тоже важнейший элемент в образовании, и в этом, конечно же, нет никакого открытия Америки. Зато мы открыли и сделали главным инструментом нашего образования американский “продукт” — ЕГЭ. Учеников отучают говорить грамотно, образно, чистым, ясным, богатым русским языком с помощью, в том числе, и этих палочек-галочек в клетках ЕГЭшных листов.

Нынешние детки в карман за словом тоже не полезут, но... Как бедна, как невыразительна, как унифицирована их словоохотливость!

Поймал себя на мысли: да не традиционное ли это возрастное ворчание старшего по отношению к младшим?

Нет! Ведь сами они, старшеклассники, сознаются, откровенничают во внеурочных разговорах: вот, **хочу сказать, хочу объяснить, а не могу. Слов не хватает...**

Именно — слов.

Они понимают, пусть даже и неосознанно, величие слова, его первооснову и первопричину во всём.

Главный же мой вывод на оригинальность и вовсе не претендует: они, дети, такие же, как мы, только время иное. И согласитесь, в том нет их вины. Это вина наша.

Не знал, не ведал, что сам окажусь однажды на передовой, так сказать, линии ЕГЭшного фронта.

На часах 7 часов 40 минут. Поднимаюсь на традиционно высокое школьное крыльцо, минуя дверной проём, достаю из широких штанин не дубликатом, но бесценным грузом орлисто-когтистый российский паспорт. Читают женщины, сидящие за столом (две сдвинутые друг к другу парты), просвечивают взглядом, повелительно просят снять с паспорта обложку.

– А это зачем?

– Вы что, первый раз? Может, вы там шпаргалку спрятали.

Вот так вот. Только-только убедил себя в том, что организатор ЕГЭ – звучит гордо, и – такое меленькое, не соответствующее настрою подозрение. Ну, да ладно. “Дура лекс сед лекс” – закон суров, но это закон. Зачем-то произношу эту фразу вслух. На начало этого латинского изречения резко обращается женщина в деловом синем костюме с бейджиком, гласящим, что она представляет министерство образования и науки Краснодарского края.

Расписываюсь, получаю свою карточку с информацией, кто я таков. Воротит, признаюсь, меня от этого слова: “бейджик”. Полчаса в гомонящей, заполненной коллегами аудитории, затем коллективное перемещение в актёрский зал, вновь ожидание.

Время – 8 часов 15 минут. Мчусь по этажам-коридорам купить бутылочку минералочки. Известно и понятно, что, как минимум, до половины третьего мы на свободу не вырвемся. А я же не верблюд, в конце концов, хотя и рядовой учитель истории, обществознания и кубановедения. А учителя, как молва доносит, могут и неделями не питаться.

– Куда?! Назад! – лысый молодец, знакомый мне по инструктажу, где он нас поучал-наставлял, на голову меня ниже ростом, распротёр в дверном проёме руки, богатырски выдвинул свои грудь с животиком и не пускает.

– Послушайте, уважаемый. Я водичку забыл купить с вечера. А утром ещё всё закрыто было. Я мигом – туда-сюда. Фюнф минутен, Савва Игнатьевич.

Нашёл где шутить.

– Я сказал: назад! – руки лысого уже обрастают к моей, вообще-то, как я считаю, считаю давным-давно, неприкасаемой личности.

– Руки! Руки уберите! – а забавно мы со стороны выглядим, мелькает у меня в голове, притом что я тоже изображаю на своём лице оскал человека, когда-то отдавшего два года жизни молодой служению в доблестном стройбате, где, как известно, вместо автоматов выдают лопаты, настолько крут там контингент (“один пьяный стройбатовец страшнее пяти трезвых десантников” – из солдатского фольклора).

За нами с каким-то спортивным интересом наблюдают трое полицейских (две обаятельные девушки и ражий кубанец), также несущие дежурство на входном пятачке.

Наконец, в наш импульсивный диалог вмешиваются женщины, толпящиеся с озабоченным видом здесь же, у входа, в том числе и те, что сканировали взглядом мой паспорт.

Конфликт погашен. За водичкой отправляют подвернувшегося ученика, помогающего осуществлять музыкальную прелюдию к празднику под названием “сдача ЕГЭ”.

В школьном дворе, замечаю, уже начинают собираться первые те, кто сегодня, 25 мая будут сдавать ЕГЭ по литературе и географии.

Мне же велено возвращаться, причём немедленно (“Поймите, вы здесь мешаете”, – спокойно увещевает меня милая женщина – общественный наблюдатель) в актёрский зал. По дороге туда придавлен вопросом: что же бы случилось в этом прекрасном и грозном мире, на Кубани щедрой, в Краснодаре славном, если бы я сбегал и купил бы водички?

В актовом зале сидим, ждём ещё с десятков минут. И вот начинается “раздача слоников”: распределение, кто и где будет нести службу.

... Затем озвучивается список “коридорных”. Радостные улыбки у названных. Тут работёнка проще. Едва ли не единственная сложность: сопроводительно-туалетная, как в тюрьме.

И напоследок называют фамилии тех, кто будет дежурить на входе. Я оказываюсь в числе последних. Ну, что ж, поработаем “швейцаром”. Я возвращаюсь туда, где ещё десять минут назад был “мешающимся”. Обмениваемся понимающими улыбками с общественной наблюдательницей. Всё в жизни бывает. На столе меня дожидается бутылочка негазированной воды и пять рублей сдачи.

На крыльце нервничают заместитель начальника городского департамента образования, начальник отдела образования Прикубанского внутригородского округа. Потом выяснится, что не были готовы какие-то списки. А в 9 часов по плану должна была начаться напутственная линейка.

Психоз выносятся на крыльцо:

– Построились по школам! Живо! Живо!

Внизу жмутся друг к другу, озираются испуганно “инопланетяне”. Так я называю тех мальчишек и девчонок, которые читают не только статусы ВКонтакте, но и книжки. Дочитались до того, что для сдачи ЕГЭ выбрали литературу. С ними, совсем уж небольшим числом, сдающие географию.

Забегая вперёд, скажу, что экзамен по литературе в целом по России сдавали 38 тысяч 10 человек. Это менее 5 процентов выпускников 2015 года. А вот, к примеру, обществознание сдавали более 428 тысяч. Это когда-то генсек Андропов признавался, что мы не знаем общества, в котором живём...

Происходит распределение по группам. Учителя-организаторы с таблицами колонной по одному ведут выпускников. Начинается проверка-сверка паспортов. Эту функцию выполняю я с напарницей – зеленоглазой Ольгой Геннадьевной. Пытаемся действовать согласованно. Ольга Геннадьевна тренированным педагогическим взглядом проверяет паспортные данные, называет фамилию, я нахожу такую в списках, ставлю галочку. После этого в ход идут металлоискатели полицейских.

Иные из учеников – ходячие сомнамбулы страха. Таким я в нарушение всяческих инструкций говорю: “Всё будет хорошо!” или “Ну-ка, сейчас же улыбнись!” – других поздравляю с Днём филолога – на календаре 25 мая 2015 года.

“Разговорчики!” – шепчут мне замечание. Я куражливо огрызаюсь. Ну, надо же как-то сопротивляться этому коллективному безумию: “Шаг влево, шаг вправо...”

Одной девочке сразу после этого проверочного коридора становится плохо, и её едва успевают подхватить под руки девушки-полицейские...

Кто-то из числа начальствующих особ негромко вносит директиву: “Выведите её из-под камеры”. Видеокамера безучастно взирает на всё это...

Экзамен начинается ровно в десять.

...Потянулись сразу после полудня первые написавшие ЕГЭ.

– Трудные задания?

– Нет, ожидал (-а) более сложного, – стандартный ответ.

Экзамен длится 3 часа 55 минут. Учтывая, что его официальный старт в 10 часов, затем минут двадцать происходит инструктаж участников ЕГЭ и процедура вскрытия конвертов, стало быть, экзамен продлится примерно до 14 часов 20 минут. А ещё есть учащиеся, проходящие по отдельному списку с различного рода заболеваниями – они имеют право взять дополнительные полтора часа.

Марафон, да и только. Вот представьте. Пробудился (если, конечно, он ещё спал) выпускник в шесть утра. К половине девятого должен быть у школы, где проходит ППЭ. Затем весь этот психозно-проверочный церемониал с металлоискателями на финише промежуточном. Продвижение к аудиториям: “Тихо! Не разговаривать!”

На дверях каждой аудитории плакаты. От пафосных: “Мы за честный ЕГЭ”. Переходящие к предупредительным: “Нарушил правила – потерял год”. И завершая вовсе зловещими: “Дал списать – потерял будущее”.

Затем сидение в аудиториях – ожидание десяти часов, когда организаторы ЕГЭ могут начать вскрывать пакеты. Впрочем, до этого читается организаторами инструктаж участникам ЕГЭ.

Инструктаж небольшой – всего пять страниц. Его начало: “Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участниками ЕГЭ слово в слово. Это делается для стандартизации проведения ЕГЭ. Комментарии, отмеченные курсивом, не читаются ученикам. Они даны в помощь организатору”.

Рассказывали коллеги, случалось, что организаторы при чтении этого документа, не справившись с волнением, начинали, как выражается молодёжь, “тупить”. И вот читает бедный организатор всё подряд, и звучит это так:

– Проверьте целостность своего индивидуального комплекта. Осторожно вскройте пакет, открывая клапан справа налево по линии перфорации. Организатор показывает место перфорации на конверте. Ой...

Это ещё хорошо, если “ой”...

Всё чаще посматриваешь на часы. Стрелки, ну, точно остановились. Глоток воды. Ещё парочка умненьких наших российских детей идёт по коридору с освобождённым видом. Уточняешь, из каких школ, просишь их подождать, идёшь скорым шагом в аудиторию, где находятся сопровождающие учителя, сообщая им радостную весть. Они отдают сданные им вещи выпускников. Всё. Сдавший ЕГЭ выпускается на свободу. Один паренёк продекламировал остроумно: “Темницы рухнут – и свобода // Нас встретит радостно у входа...”

Исполнение функций не только “швейцара”, но и “вестника счастья”, как прозвали меня сопровождающие учителя, имеет и ещё одно неоспоримое преимущество. В движении, в общении нет уже места тем силам, что в час затишья пытались заманить тебя в объятия Морфея. (Кофе, чай бодрящие проходят, видимо, согласно какой-нибудь тайной инструкции по списку запрещённых препаратов для организаторов ЕГЭ). Да, и стрелки часов вроде как опять начали своё движение.

Ровно в 13:00 мимо нас по направлению к кабинету, откуда уже минут десять просачиваются, несмотря на секретность, запахи мяса, сыра и зелени, продефилировали федеральный инспектор, дама из министерства, которую все знают, резко вскинув голову при моём цитировании латинского изречения женщина в строгом синем костюме. В сопровождении руководителя ППЭ и директора школы.

Минут через двадцать все вышеназванные прошли обратно. Старичок-инспектор подозрительно раскраснелся – отмечаю по журналистской привычке. Скорее всего, выпил не одну чашку чая, а две. А чай, наверное, зелёный, хорошо жажду утоляет... Я же время расправы со своей бутылочкой негазированной “Кубани” не рассчитал. Ну, что же, вспомним Константина Никольского и последуем его совету: “...Пускай они пьют воду из-под крана...”

Координатор ППЭ, пробегая по коридору, бросает загадочное: “Всем велено ждать. Возникли проблемы...”

Ждём в той же аудитории, что и утром. Вновь несмолкаем тот же женский гомон. Женщины общаются весело, по-кубански громко. У некоторых на партах аппетитно уничтожаются нелегально пронесённые пачки печенья. “Гвозди бы делать из этих людей!” Не просто людей – учителей!..”

Пять мужчин (включая меня) обессиленно опустили головушки на парты.

Нас, представителей вроде как сильной половины человечества, было, вообще-то, сегодня шестеро. Однако с полчаса назад мой коллега – в одной школе работаем, и я знаю, что у него проблемы со здоровьем – язва желудка, математик Олег Павлович – посмел спросить у дамы, которую все знают: “А нас когда выпустят (отпустят)?”

И действительно – экзамен закончен.

“Всё прошло без происшествий. Ну да, одной девочке стало плохо. Ну, это же не ЧП. Это же не обнаружение перед камерами шпаргалок или неправильное вскрытие конверта с КИМами”, – зло ворошу довольные чиновничьи думки.

Все экзаменовавшиеся уже давно ушли. Кстати, лишь одна девочка воспользовалась дополнительным временем. В начале экзамена у неё понизилось давление. Пока восстанавливалась, немного поспала... Но и она освободилась в три часа.

Бывший министр образования Фурсенко на молодёжном слёте на Селигере 22 июля 2007 года без обвиняков заявил: “Недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы вырастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других”.

А на передний линии фронта борьбы с этой потребительской чумой – вы, милые учителя.

ТАТЬЯНА МИРОНОВА  
доктор филологических наук

## СЛОВО ЦЕЛИТЕЛЬНОЕ И ГУБИТЕЛЬНОЕ

### Огонь и вода – древние кара и исцеление

Воспринимая Богом данный мир, мы неизбежно сталкиваемся с силами природы, что выше и могущественнее нас. Силы природы человек именовал стихиями, в огне и воде издревле познавал особые свойства. Первое из таких свойств – разрушительная мощь огненной и водной массы. Выражения *всё как огнём взяло*, *всё как водой снесло* указывают на неодолимую силу этих стихий. Живы в народе предупреждения: *огню и воде не верь, с огнём и водой не поспоришь, огню и воде Бог волю дал*.

В русской картине мира отражён взгляд на Божественное происхождение водной и огненной стихий. Небесный огонь – молния, небесная вода – дождь, особенно грозовой, явственно указывали на источник стихий – Вышние силы, подающие человеку и благоволение, и наказание. И потому в народе издревле говорилось: «Огонь – беда, вода – беда, а и то беды, как ни огня, ни воды». Зримое божественное происхождение огня и воды заставляло видеть в их действии проявление Божьей воли, Божьего промысла, Божьей защиты. По поверьям, живая вода могла рождаться от небесного огня, это когда на месте удара молнии внезапно возникал родник, его называли тогда «гремячий ключ».

Не всякие огонь и вода несли в себе частицу Божьего произволения, а те, что назывались в народе *живыми*. Живая вода – это вода из природных источников, криниц, родников, ключей, именуемая «небесным семенем» и «божьей кровью», её почитали с глубокой древности. А сами родники прозывали «Божьим оком». Слова **источник**, **родник**, **ключ** хранят в себе мысль о начале, рождении, открытии воды. Слово же **криница**, однокоренное понятию *кровь* (\*kry), сравнивает водную стихию с человеческой кровью, вот почему реки и ручьи называют в народе *жилами земли*.

Живая вода обладает особой целительной силой. Об этом славяне знали с языческих времён. Водным источникам славяне-язычники приносили жертвы, пуская по воде караваи хлеба, венки, утапливая в ней по праздничным дням жертвенный скот. Глядя, как вода поглощала дары, гадали о грядущей судьбе. У источников творили молитвы и приносили клятвы уже в христианскую эпоху, на что сетовали и о чём сокрушались христианские проповедники. У рек и родников заключались браки и союзы. Остатки этих верований сохранены донныне в народной традиции: набирая воду из ручья или ключа, принято осенять себя крестным знаменем. А ещё предписывается для чистоты воды

закреплять её и набирать в полном молчании или с почтительными словами приветствия воде. До сих пор у источников оставляют и дары – ленты, полотенца, хлеб.

Живой становилась вода и в ежегодном крещенском освящении вод – обновлении воды во всех природных водоёмах. По народной вере, в полночь накануне Крещения, по-русски называемого “водокрещи”, открывались небеса, утихал ветер, и вода на миг останавливала течение, являя при этом чудодейственную и целебную силу. Считалось, что вода становится “крещёной” даже без церковного освящения, а нечистая сила покидает воду вплоть до Ильина дня. В день Крещения по русской традиции в домах меняли всю воду. “Старую” выливали, она считалась опасной, и вносили в дом новую, наполняли ею сосуды, кропили хозяйство и скотину, умывались сами и пили крещенскую воду, закладывая здоровье на целый год.

Живым или святым считали в народе и огонь, но тоже не всякий, а лишь добытый первобытным способом – трением дерева о дерево. Явление огня из дерева почитали Божьим чудом. Для этого требовались три предмета – деревянная плашка с выемкой, деревянное сверло и тяж – верёвка, позволяющая энергично производить **трение** кончика сверла в выемке деревянной плашки. Первобытное добывание огня породило множество слов в человеческой культуре. Лингвисты, к примеру, Н. Д. Андреев, полагают, что индоевропейское числительное **три** возникло именно в связи с добыванием живого огня. Того же происхождения слово **трут** – горючий материал, воспламеняющийся от одной искры. В старину это чаще всего были древесные грибы, называемые **трутовиками**. В них разносили по домам живой огонь, добытый трением. Не исключено, что и слово **труд**, означающее большие усилия, исконно восходит к тому же корню, ведь добывание огня осмысливалось как огромной важности работа, требующая силы и упорства. А ещё в украинской мове и сербском языке огонь называется **ватра**, в его звучании явственно различим корень **ТР-** и основное значение этого слова – ‘огонь, получаемый именно трением’. А по-русски добывание живого огня описано выражением “вытирать огонь” – так в говорах установлено родство слов **вытирать** и **ватра**. В русском языке с тех давних пор сохранилось древнее слово **ватрушка** – ритуальное печиво с творогом, испечённое на живом огне. На божественное происхождение живого огня указывает и южнорусское слово **багатья**, тоже обозначающее огонь и осмысливающее его как дарованное Богом богатство. Ещё огонь по-русски именуется **пламя**, слово это происходит от древнеиндоевропейского корня \***pl-**, обозначающего изобилие и полноту.

Итак, огонь, добытый трением, воспринимался в народе не только как живой, новый, молодой, но прежде всего, как святой и Божий. По поверьям, он имел силу избавлять от эпидемий, моровых поветрий и падежа скота. При моровых поветриях священник крестным ходом обходил село, которое прежде опаживали обережным кругом. В это же самое время тушили в домах все очаги и особым образом добывали ритуальный живой огонь. С его помощью возжигали свечи и кадило в церкви, от него жители разносили святой огонь по своим домам. Считалось, что, если в жилище появился такой огонь, болезнь будет обходить его обитателей стороною. Ещё большей древностью отзывается такой обычай: живым огнём в селе, заражённом моровой язвой, разводили костры и через них сначала переходили здоровые люди, а потом переносили и больных. Между двух костров – “между двух огней” – прогоняли скот, если на него нападали болезни – ящур или чума. Живой огонь защищал людское здоровье и жилище. Им возжигали факелы и костры на Ивана Купалу, Масленицу и Юрьев день. Новорождённого младенца и его одежду держали над таким огнём, предохраняя от напастей. Молодых на свадьбе перед поездкой к венцу окружали кострами из соломы. Даже могилу покойника окольцовывали зажжённой соломой, знаменуя его переход в иной мир через огненную границу. Огонь защищал и жилища славян: четверговой свечой возжигали на дверях охранительные кресты.

Если же беда миновала людские селения, живой огонь всё равно возжигали, ежегодно заменяя им в жилищах старый огонь. Делали это либо на Ивана Купалу, либо в начале года – первого сентября, либо в канун Крещения или Пасхи. Причём совершалось обновление огня в полном молчании. Вновь рождённый огонь хранили в очагах весь год. Его нельзя было заливать водой, а только присыпать пеплом, чтобы под ним тлели угольки. Держали угли на

загнетке и из них в случае необходимости вздували огонь. Если же пламя в печи окончательно гасло, это предвещало скорую смерть кого-нибудь из обитателей дома. Подобное воззрение заставляло людей бережно хранить огонь, относиться к нему благоговейно и даже опасливо, будто к одушевлённому существу. В русской народной поэзии огонь, подобно человеку, рождался и жил, плясал, смеялся, ярился, затухал, умирал.

Древнейшие языческие представления о святом огне сменились затем христианскими воззрениями. И тогда Святой огонь в канун Крещения и в Великий четверг приносили горящими свечами из храмов, и от этих свечей с молитвой и крестным знаменем возжигали домашние лампы и пламя в печи. Разжигала печку старшая женщина в семье, при этом домочадцам было запрещено браниться и суесловить.

Огонь и вода в первозданном, “живом” состоянии служили в старину для ритуального очищения человека от грехов, отчего сохранились поговорки “*пройти сквозь огонь и воду, оказаться между двух огней*”. Убеждение, что праведное в огне не горит и в воде не тонет, происходит как раз из древнего ритуала испытания человека, проверки истинности его слов и поступков. Ритуал этот в древности назывался **каятины**, и в случае лжи перед лицом живого огня и святой воды человек, по поверью, наказывался самими этими стихиями – от ожога у него возникал антонов огонь, а водой он мог захлебнуться.

Во многих славянских землях сохранился рождественский домашний охранительный обряд, где огонь и вода оказывались рядом в священнодействии. В Рождество кувшин с новой водой, зачерпнутой на рассвете из непочатого ручья или колодца, ставили на пороге дома, рядом клали топор и горящие угли в совке. Все домочадцы перепрыгивали через эту преграду с приговором: “Через воду прошёл – не утонул, через топор прошёл – не поранился, через огонь прошёл – не сгорел”. Так каждый обитатель дома заговаривал себя от бедствий на грядущий год. Живой огонь придавал, по поверьям, особую силу воде. Народный обряд освящения воды требовал взять воду от слияния трёх ручьёв и пролить её между двумя горящими поленьями.

Нашествие огня или воды всегда воспринималось русским народом как кара Божья за грехи и преступления. Божий огонь – пожар от грозы – тушить запрещалось, ибо грешно. Убитые молнией почитались за тяжких грешников. Огнём пожара наказывалось лихоимство: *неправедная деньга – огонь*. От огня погибали притеснители бедных: *у нищего отнять – огонь в дому держать*. Огнём попиралось сквернословие – у матерщинников Мать Сыра Земля три года под ногами горит.

Вода тоже жестоко карала грешников. Утопленники вызывали священный ужас в народе. Вода забирала к себе злодеев и колдунов, несла отмщение осквернителям и сквернословцам.

Воду и огонь боялись разгневать, оскорбить, осквернить их чистоту. На воду запрещалось плевать – будут ранки на губах, на пламя плевать тоже возбранялось, иначе на лице выступит “летучий огонь” – золотушные язвы. На воду и в костёр запрещено было мочиться, за это ждало наказание на Страшном суде. Не разрешалось гасить огонь, затаптывая его ногами. И до сих пор стойко народное убеждение, возбраняющее плевать на воду и в огонь – это, говорят, всё равно, что плевать в Бога или в лицо родителям.

Грозная сила стихий одновременно оказывалась для человека целебной и защитительной от болезней. Святая вода в церкви, освящённая на молебне, святая вода из святых источников и родников, живая вода, на которую наговаривали слова для исцеления знахари, – всё это способы исцеления человека. Святой огонь, сходящий в Пасху на Гроб Господень, святой огонь свечей и лампад в храмах, зажженных во здравие болящих, тлеющие угли живого огня на загнетке печи – всё это средства исцеления, которые, по поверьям, ниспосланы человеку Самим Господом. Для излечения от болезни страждущего окуривали дымом, высекали над ним огонь, сжигали его одежду. При входе в новый дом окуривали живым огнём все углы жилища.

Но те же огонь и вода, воспринимаемые в народе как посланцы небес, были и предметом ворожбы, гаданий, предсказаний. Для этого ворожеи зажигали свечи, ставили перед собою чашу с водой, отчего до сих пор сохранились слова – **чародей** и **чаровать**, то есть волхвовать над чарой, полной воды. Сравним старинное слово **волхв** с понятием **волна**, означающим

колеблющуюся воду. Те же чародейные истоки имеет выражение *как в воду глядел*, а про сам ритуал гадания сказывали: *“В воду глядит, а огонь говорит”*.

Древнейшие представления об огне и воде с удивительной цельностью сохранились в мировых религиях, в том числе и в православном христианстве. Мы почитаем огонь небесный, сходящий в Пасху на Гроб Господень. Неотделим от богослужений лампадный и свечной огонь, а также вода, крещенская и освящённая на водосвятных молебнах. Они воспринимаются как материальное средство очищения христианина от грехов. Действительно, святая вода в православной христианской обрядности присутствует повсюду: в таинстве Крещения, в освящении жилища и предметов обихода, в лечении людей, в обрядах “изгнания бесов” — так называемых отчитках. А в таинстве Крещения даже сохранился древнейший гадательный чародейный обряд. Священник состригает прядь волос крещаемого младенца, затем закатывает её в воск и пускает в купель, рядом с которой горит свеча. Полагают, если воск утонет в купели, а свеча погаснет, не догорит, ребёнок долго не проживёт. Так даже в высшей форме религии сохраняются древнейшие языческие представления о пророческом даре огня и воды, через которые люди узнают судьбу и волю Божию.

Огонь и вода предстают в христианстве материальной, видимой основой человеческой молитвы к Богу, что заставляет нас задуматься над физической природой зримого или звучащего, или мыслимого слова. Существует ли субстанция, которая впитывает в себя энергию, смысл, силу слова? Действительно ли вблизи огня и воды особым образом действует молитва? Опытные пути, пройденные мировыми религиями, древнейшие обряды, хранимые в народной традиции, указывают на то, что огонь и вода неизменно сопутствуют как доброму, так и злему слову. И, следовательно, именно они в “живом” состоянии способны “переносить” слова, создавать условия, чтобы слова возымели своё действие.

### **Слова, не предназначенные для общения**

Мало кто задумывается о том, что Слово как средство общения — всего лишь частный случай использования речи. Словом мы обращаемся не только к другим людям, но и к незримым Высшим силам — к Богу и святым его. Слово может быть призывом к нечистой силе — к невидимым духам злобы. Слово порой адресуется к бессловесным живым существам — животным и растениям, к бездушным объектам — неживым предметам, к силам природы, стихиям, а ещё к человеческому телу и поразившим его болезням. В этих примерах использования слова нет ожидания ответной речи, зато есть ожидание ответного действия. Механизм действия подобных речей непостижим для сознания людей, и потому в зависимости от того, что несут эти слова — добро или зло, — их называют мистическими или магическими.

Каковы же мистические виды речи, которые не предназначены для общения? Это **молитва** — обращение к Богу, к Матери Божьей, к святым Божиим со славословием и просьбами. Это **благословение** — славословие и предсказание человеку добра в будущем. Мистические Слова более низкого порядка — знахарские **заговоры**, обращённые к человеческому естеству и постигшим его недугам с целью исцеления и изгнания хвори. Мистическими словами полагают **заклинания**, призванные воздействовать на бессловесные живые существа и бездушные предметы, чтобы оберегать и приумножать их. Все перечисленные здесь “слова” — благие, они молят, просят или заклинаят о добре. А вот злокозненные действия словом — их ещё называют магическими — несут **проклятия**: обращения к дьяволу и бесам, к духам злобы с просьбами и требованиями о зле. О том же взывают **заклятья**, призывающие и накликающие на человеческую плоть и душу порчу и вред. Опасными представляются и **клятвы**, предвещающие человеку беду в случае неисполнения обещания.

Итак, наши предки видели в слове не только средство общения человека с человеком, они осознавали, что в слове есть сила действия или призыв к действию, когда это слово адресовано Богу, обращено к невидимым силам природы, неживым или бездушным существам. Подобное воздействие есть, по сути, общение, но особого, мистического рода. Традиции такого общения сохранились в древнейших верованиях и в мировых религиях, а ещё в старинных практиках знахарства, из которого возникло искусство врачевания. Не случайно названия **врач** (от индоевропейского корня речи \***vr-** — ср. ворчать, верещать,



врать), и **лекарь** (от индоевропейского корня речи \*Ik- — ср. лат. lego, lectum) связаны с древними ритуалами произнесения слов. Словесное мистическое обращение человека к природным стихиям до сих пор сохранилось в шаманизме. У нас на Руси эта традиция истаяла вместе с волхвами и осела в бытовых верованиях в домовых, водяных и леших. Зато привилось общение человека с Творцом, с Высшими силами, сконцентрированное в богослужениях православного христианства. Здесь Слово, заключенное в молитвах, является действенной любовью к Богу.

Мистические слова были бы давно покинуты и забыты человечеством, если бы, обращаясь к Господу, природе или неживым предметам, человек не ощущал отклика на своё слово, не чувствовал или не видел ответного действия. Но разве мы не осознаём помощь Божию, посланную нам по нашей горячей молитве? И в то же время мы можем увидеть, как шаман вызывает дождь, и тот случается. Мы знаем, что, если яблоне, переставшей плодоносить, угрозить, что её срубят, она на следующий год даст плоды. И, разумеется, остатки древней традиции целительного воздействия словом на тело человека сохраняются в знахарстве, которое лечит, прежде всего, заговорами.

Хранителями мистических слов — молитв, благословений, заговоров, заклинаний — являются люди особого статуса. Хранителями молитвы в православном христианстве, к примеру, являются священник и диакон — служители Церкви. Хранителем заклинаний — древних обращений к силам природы — был и остаётся шаман, жрец, волхв, древнейшие языческие культы и поныне держатся в неприкосновенности у некоторых народов. Хранителем заговоров — словесных формул, приложимых к телу человека ради его исцеления, — является знахарь — старинный врачеватель человеческого естества.

Магические слова тоже имеют своих хранителей. Заклятиями и проклятиями с целью обращения к силам зла для уничтожения или нанесения вреда человеку ведают колдун и ведьма, издревле губители человеческого здоровья, а то и самой жизни.

Происхождение названий мистических и магических действий имеет древнейшие истоки. **Молитва** — от глагола **молить**, родственного, как это ни покажется странным, понятию **молоть**, то есть измельчать нечто, отделяя часть от целого для жертвоприношения. Слова эти — **молить** и **молоть** — отражают обрядовую сущность жертвоприношения, которое включало в себя как принесение даров Богу и силам природы — даров, отделяемых от всякого насущного добра, коим владеет человек, — так и словесное обращение к Высшим силам с просьбой или мольбой. Вот почему молитвой в русских говорах называют не только слова Божественных служб, но и жертвенную пищу — пироги, каши, мясо, ритуально поедаемые в праздники. Обратим внимание на название главного ритуального яства — **блин**. Слово это в исконном виде сохранилось в малорусских говорах — **млин**, оно происходит все от того же корня — **молить/молоть**, и означает 'моленное яство'.

Зримый ритуальный смысл имеют слова **клятва**, **заклятье**, **заклинание**, **проклятье**. В них очевиден корень **клин\клон**, содержащийся также в словах **кланяться** и **поклон**. Эти слова отражают древнейший ритуал поклонения Матери Сырой Земле, который включал земной поклон, знак почитания Земли — матери, кормилицы, хранительницы праха предков. И в том же ритуале непременно присутствовала словесная формула **клятвы**, **заклятья**, **заклинания** или **проклятья**, в зависимости от того, с какой целью человек поклонялся Матери Сырой Земле. Вот почему **клятва** и **поклон** — родственные слова. Слово же **проклятье** — по сути своей заклятье смерти другому человеку — исконно является ритуальным пожеланием проклинаемому уйти под землю, сохранившимся ещё в бытовой злокозненной формуле "чтоб ты сквозь землю провалился!"

Лишь слово **заговор**, относимое к знахарскому искусству, не имеет явно выраженной ритуальной природы. Но возникло оно не в знахарской среде, а у собирателей заговорных текстов — филологов и этнографов. Сами же знахари — "знающие", "знатки" — называют свои лечебные тексты просто "словами", и говорят так, что-де слово должно быть "крепко и лепко". То есть заговор должен иметь силу, крепость воздействия и быть способным прилепиться к человеку.

Как видим, хранители мистических и магических слов представляют различные сферы человеческого бытия и общества, хотя издревле входили в особую касту — сословие жрецов или волхвов. Слова их направлены на благо или

на зло, но природа действия слов одна и та же — влияние словесными формулами на водную и воздушную среду, многократно усиленное огненной стихией. Об этом свидетельствует народный опыт знахарства: слова исцеления наговаривают на воду, произносят перед лицом огня, пускают на ветер.

Не случайно здесь представление о ветре или воздухе, которым, по народному представлению, переносятся слова. Про то говорят: “Молву ветер носит”. А что такое **молва**? Она происходит от слова **молвить**, а то, в свою очередь, сопряжено с понятием **молить**. То есть **молва** и **молитва** — по своей сути истонно совпадающие понятия, только молитва закрепились за христианской обрядностью, а молва — собирательное слово для всенародного, единым духом высказанного пожелания. И вот об этой-то молве стойко народное убеждение, что *молву ветер носит*, и *молва — что волна*. Причём здесь не одна лишь метафора — скрытое сравнение молвы с волной. Вода оказалась истинной средой обитания слова, субстанцией, принимающей и переносящей слова.

### Мистика Слова

Словом **мистика** принято обозначать результат действия слов молитвы, благословения, заклинания — тех формул речи, которые очевидно, но совершенно непостижимым образом приносили человеку добро. Молитва Богу была главным оружием русского человека при любой опасности, сопровождала его во всех обстоятельствах жизни. Согласно народным представлениям и предписаниям Церкви, молиться следовало утром, после сна, перед едой, а также на ночь, молитва была необходима перед дорогой, при начале всякого дела и по его окончании. Слова молитвы произносили вслух, реже — про себя, повернувшись лицом к иконам, а за неимением их — к солнцу или на восток. В XIX веке отмечали даже обычаи молиться перед деревьями, почитаемыми камнями и у источников и ручьёв — то были отзвуки языческих молений в рощах, о которых сохранилась насмешливая поговорка: “В лесу родились, пням молились”. А старинные требники содержали молитвы “над гумном”, “над сеяньем”, “над пчелиным роем”, “на благословение стада” и “когда гром гремит”. Так молитвы служили насущным потребностям крестьянского быта.

Число охранительных молитв, любимых русским народом, весьма невелико. Это молитва “Да воскреснет Бог...”, называемая “Воскресной”, девятый псалом, известный как “Живый в помощи...”, “Отче наш...” и “Богородице, Дево, радуйся...” Их не только читали во всяком обстоянии, но и держали в письменном виде как оберег, зашивали в одежду, привязывали к голове больного, хранили в доме за божницей. Мы в нашем православном обиходе до сих пор используем тканые или вышитые пояса с молитвой “Живый в помощи”, которыми надлежит обвязываться при всякой опасности. В народе бытуют и молитвы святым, что охраняют человека от разных невзгод: святой Илья Пророк, к примеру, спасает от грозы, святой Георгий защищает скот и урожай, святой Никола заботится о путешественниках, святой Пантелеймон исцеляет от болезней.

Два выражения — **молиться о ком-то** и **молиться за кого-то** — исчерпывающе описывают суть молитв в русском языке. Человек, молящийся о ком-то, обращается к Богу от своего имени, но предстательствует за другого. А вот молящийся за кого-то молится Богу вместо того, кто не может или не хочет помолиться сам. Чаще всего это умерший или болящий, безбожник или враг. Мы в таком случае молимся за них, то есть вместо них, выказывая тем самым им свою любовь, заботу или прощение.

Само состояние молитвы изучено специалистами по работе мозга. Установлено, что во время глубокой молитвы кора головного мозга отключается, человек перестает думать о суетных делах, слова молитвы отвлекают его от земных забот, которые кажутся мелкими и незначительными. Человек перестает бояться мнимых опасностей, в большой беде он чувствует себя под покровом Бога, и этот покров называет **надеждой**. Подобно тому, как **одежда** охраняет и бережет тело, так **надежда** укрывает и сохраняет человека духовным покровом. Так издревле язык осмыслил то, что много позднее было подтверждено наукой. Во время молитвы резко тормозятся мыслительные процессы. Пространство в нашем сознании изменяется: мы смотрим не вширь и вдаль, как в текущей жизни, а видим ввысь и вглубь, устанавливая вертикаль общения с Высшими Силами, с Богом и ангелами Его. И наше **видение**,

благодаря молитве, преобразуется в ведение – разумное осознание происходящего. Сходство слов **видеть** и **ведать** обусловлено их прямым родством. Такое состояние человека названо исследователями молитвенным бодрствованием, когда энцефалограмма головного мозга молящегося соответствует энцефаллограмме мозга человека с отключённым сознанием, будто в состоянии комы. Однако при этом молящийся пребывает в полном сознании. Электрические импульсы коры головного мозга во время молитвы у нас снижаются почти до нуля и становятся равными импульсам, свойственным новорождённым младенцам. Как ни вспомнить евангельский призыв Господа Иисуса Христа: “Будьте как дети”! Молитва оказывает благотворное влияние на того, кто молится, причём о её целительной силе известно издревле, а в наши дни, к примеру, статистика больных раком показывает, что верующие больные в среднем живут на пять лет дольше неверующих. Жизнь им продлевают не только врачи, но и молитва. Введению человека в состояние молитвенного бодрствования способствует размеренный речитатив, которым произносят молитвы, и продолжительность их чтения. Вот для чего святой преподобный Серафим Саровский советовал приходящим к нему паломникам читать “Богородице, Дево, радуйся” сто пятьдесят раз подряд ежедневно. Вот почему в монастырях благословляют читать Иисусову молитву тысячекратно в день, непременно указывая, что это нужно не Богу, а нам самим. Благодаря таким вот усилиям словесная и мысленная молитва преобразуется в Боговедение и позволяет человеку жить и действовать разумно, во благо себе и обществу.

Народный опыт высоко ценит и силу **благословения** – так в русском языке именуют обрядовое пожелание добра. Мы привыкли называть этим словом только лишь благословение священника, чинно подходим к нему, сложив двумя горстями руки, слышим “Бог благословит” и, осенённые благословляющей рукой, благодарно целуем её. Но у благословения есть и более древние истоки: представление о том, что чужой человек – **гость**, пришедший в дом, – должен произнести благопожелание, и оно, оплаченное сторицей, обязательно возымеет действие. Таков архаичный ритуал дарообмена – доброе слово гостя с пожеланием благополучия и здоровья хозяевам обменивается на вещественные дары – угощение и подарки.

Благословение такого рода стойко сохраняется в народном быту, оно обязательно при встрече новорождённого и на его крестинах, без него не обходятся ни свадьбы, ни дни рождения, и даже похороны. Угасающая традиция святочных обходов с колядками, когда колядники произносят “славу” хозяевам, – самый яркий пример ритуального благословения. В получении благопожеланий до сих пор состоит смысл наших дней рождения, именин, юбилеев, да и сам ритуал принятия дома гостей. Не в ресторане, не на природе, как это принято у других народов, а именно дома мы принимаем не только родных, но и чужих людей, и это интуитивно чувствующаяся нами необходимость того, чтобы чужой для нас человек произнёс здравицу, сказал “спасибо”, провозгласил благополучие и нам, и дому, и всей семье. Современное русское застолье с угощением, с настойчивым “кушайте, гости дорогие” – осколки древнего обряда дарообмена, когда взамен добрым пожеланиям гостей требовалось их накормить-напоить, то есть отдариться. Искони слово “гость” означало чужого человека, а угощение было предназначено именно для гостей, для чужаков, обязанных произносить добрые слова хозяину и дому, будучи “в гостях”.

Благословения в семейных обрядах составляли смысл и цель любого семейного праздника, когда желали, во-первых, здоровья и долголетия, во-вторых – общего благополучия, будь то процветание семьи, материальный достаток, семейный мир, успешность хозяйства и работы.

Благословения сопровождали все этапы жизни русского человека. Младенца чествовали на родинах-крестинах. Считалось необходимым произносить благопожелания ребёнку при первом купании, при возвращении из церкви после крещения, при разбивании горшка с кашей на крестинах, при одаривании родителей, крёстных, повитухи и, разумеется, самого новорождённого. От всего этого осталось, пожалуй, лишь крестинное благословение, когда гости, посещая родителей, желают ребёнку доброй судьбы и получают ответное угощение. Благословляли молодых на свадьбе. И в обмен на здравицу жених с невестой отдаривали гостей свадебным застольем. Благословения могли произносить и на похоронах. Покойник, уходящий на тот свет, становился для

живых чужим и посторонним, и от его имени собравшиеся на похороны произносили здравицы и пожелания добра оставшимся в этом мире домочадцам, за что семья платила им поминками, провожая покойного сродника в дальний путь. Вот откуда извещение о смерти “Пётр Иванович приказал долго жить”. Порой и на кладбище при похоронах обращались к умершему, лежащему в гробу: “Что ты нам завещаешь?” И кто-нибудь говорил за него: “Здоровья, веселья и долгой жизни всему дому”.

Большинство благопожеланий произносили, да и сейчас произносят во время праздничных застольных возлияний — питья хмельного, а это означало, что добрые слова о здоровье, долголетию и благополучии наговаривались на чарку водки, на стакан зелена вина, на пиво и квас, на мед и сбитень. Неслучайное совпадение: здравица с чаркой вина в руке, когда все вокруг держат в руках чарки и слушают благопожелания, сходна в своей сути с заговором на воду, который как целительное лекарство вливают в себя люди, “пуская слова по крови”.

К мистическим словам можно причислить **заклинание** — словесное обращение к неживым предметам и вещам с требованием от них необходимых действий во благо человека. Такие предметы мыслятся как одушевлённые, живые, разумные, и слова адресуются непосредственно им: “Пшеничка, родись!”, “Ячмень, родись!”, “Уйди, зима, приди, лето!” Заклинания на Руси были необходимым условием всех земледельческих работ: “Уроди, лён, с оглоблю, репа — с колесо!” В современном мире сохранились древние представления, что с растениями и животными, чтобы они были полезны человеку, нужно обязательно “поговорить”, это и есть след древних заклинаний. К примеру, всем славянам известен рождественский обряд “пугания” неплодоносного дерева, когда на извете замахивались топором и говорили заклинание: “Роди, слива, не то тебя срублю”. То, что эта традиция сохранилась до сей поры, свидетельствует о действенности заклинания, как бы это сегодня ни выглядело смешным.

В заклинании народный опыт призывал желаемое добро к жизни, и главное — избавление от всякого рода напастей, болезней и стихийных бедствий. “С лица худоба!” — говорили, умываясь в чистый четверг. “Беги, град, от наших полей, от наших хлебов, от нашего села!” — приговаривали, завидя чёрную градовую тучу. “Идите, мухи, вон, идёт хозяин в дом”, — заклинали, внося в овин последний сжатый сноп. Изгоняли такими закличками коровью смерть: “Смерть ты, Коровья Смерть, уходи ты из нашего села, из закутья, из двора”.

Заклинания были особенно действенны в лечебных заговорах: “Уходи, хвороба, с пальчиков, с суставчиков, и с костей, и с буйной головы, и с ретивого сердца”. Изгоняли болезнь, будто она живая: “Рожа, рожа, пойди вон, на мёртвое тело”.

Остались от древних языческих заклинаний только детские заклички: “Дождик, дождик, пуще, дам тебе гущи”, “Солнышко-ведрышко, выгляни в окошко”, “Водичка-водичка, умой моё личико”. Они — след глубокой старины, в которой наши предки насыщали словесным добром окружающий мир.

## Магия Слова

В русской картине мира сохранилось выражение “злой рок” с корнем, родственным слову “речь”. Это выражение описывает так называемые магические слова — проклятье, заклятье, злопожелание и клятву. Самые опасные из магических слов — проклятия, в них, по народному убеждению, заключена огромная губительная сила. Даже неверующие люди интуитивно страшатся проклинающих слов, насылающих на человека всяческие беды, а то и смерть.

Проклятие — уникальный словесный ритуал, подобного которому больше нет даже среди магических словесных формул. Суть его в том, что проклятие не призывает к губительному действию, само проклятие и есть действие. Будучи произнесённым, оно неотменяемо разит человека, ложится на проклинаемого тяжким бременем, и сбросить его не так легко.

Традиция заповедовала: страшно быть проклятым, но она же утверждала необходимость существования проклятия, которое грозило карой нарушителям обычаев и законов, запретов и нравственных заповедей. Опасение проклятия было мощной основой семейного мира, телесной и духовной чистоты

человека, страх перед материнским или отцовским проклятием останавливал детей перед бесчинствами и безнравственными поступками. Но и родители, даже решась на проклятие, знали, что это смертный грех, который надлежало открыть на исповеди. Считалось, что одно только произнесение проклятия перевешивает все благодеяния человека, совершённые им в жизни прежде. Поэтому готовое слететь с губ проклятие зачастую заменяли на досадливое, но благопожелание: “Чтоб ты... жива была!”

Если же кто произносил роковые слова, то не считал себя исполнителем проклятия, полагая это делом Божиим. Порой проклинаящий призывал Высшие силы покарать обидчика, зачастую приговаривая: “Пошли ему, Боже!”, “Дай, Боже!”, “Пусть тебе Бог заплатит!”, “Суди тебя Бог!”. Отсюда сохранилось выражение – “проклят от Бога”. Среди наиболее тяжких проклятий, которых и по сей день страшится каждый человек, – роковое пророчество человеку, что умрёт не своей смертью, что не будет иметь своей могилы, что не будет принятых Матерью Сырой Землёй. Боялись и так называемого “родового проклятья”, грозящего исчезновением потомства.

Не менее опасны были **заклятья**, то есть наведение зла на человека, не ведающего о том: насылание болезней и увечий, пожелание разорения хозяйства и дома, неурожая, наведение пожара. Очень страшны были и заклятья злой доли, гибели на чужбине. Заклятья чаще всего накладывали колдуны. О действительности магических слов можно судить по тому, что многие трагические события в жизни, особенно если они шли чередой, люди всегда связывали с проклятьем или заклятьем. Это бывало в случае ранней смерти, гибели детей, рождения уродов, несчастного замужества, тяжких болезней, нескончаемой бедности.

Страшились не только проклятий и заклятий, но и злопожеланий: девушкам – не выйти замуж, роженицам – чтоб пропало молоко, уходящему из дома – чтобы не вернулся, а животным и скоту обидчика – чтоб волки съели. Опасение злопожеланий тоже являлось своеобразной основой мирных отношений, особенно среди родни и соседей.

Бывало, что люди обращались со злопожеланиями к силам зла. Для этого существовало множество разнообразных формул: “Лихоманка тебя забери!”, “Черт подери!”, “Чтоб тебя черти смолою поили!”, “Леший тебя понеси!”. Такие злопожелания имели меньший вес, их страшились значительно слабее, они воспринимались как простая ругань.

Проклятия и злопожелания различали по вредоносности, понимая, что не сравнимы страшные проклятия с упоминанием Бога и шутивная или раздраженная ругня: “Чтоб ты скис!”, “Чтобы глаза мои на тебя не глядели!”. Порой зла желали всерьёз, но выбирали иносказательную, не пугающую форму: “Чтоб ты на спине поехал!” – прозрачный намёк на смерть, ведь на спине несут в гробу на кладбище. “Чтоб ты просила, а смерть не брала!” – проклятье, насылающее мучительную болезнь. Образные выражения скрывали страшную сущность злопожелания: “Чтоб твоя шапка опустела!”, “Чтоб у тебя цветы на могиле росли”, “Чтоб ты родила столько, сколько верба винограда родит”.

Впрочем, в народе не верили, что всякое проклятие осуществимо, очень важно было, кто проклинал жертву. Если это был чужой человек, то проклятие, по общему мнению, не имело силы. Если же проклинали мать или отца, то это проклятие совершалось с неизбежностью и приводило несчастного отпрыска к смерти. Страшно было проклятие крёстных родителей, а ещё – от нищих и странников. Вот почему на Руси всегда боялись обижать нищих. Невротическим считали колдовское заклятье, произнесённое в сильном гневе, торжественно, с чувством. Особенно действенным было заклятье, изречённое в местах, для этого созданных, – в церкви, у колодца, на перекрёстке и на пороге дома.

Ещё проклятие исполнялось, как полагали в народе, по справедливости. Если человек был не виноват, то Бог не слышал и не исполнял неправедных проклятий. В случае же справедливой вины, кара становилась неминуемой. Но даже случайно, в горячах брошенное злопожелание могло исполниться, если оно было произнесено в особое время – на восходе или на закате солнца, в полночь или в полдень, и в проклятую роковую минуту, когда сбывается всякое злое слово.

Люди, спасаясь от злокозненных проклятий, придумали отклятья – ответ на роковые слова: “Отсохни твой язык!”, “Чтоб тебе язык отрезало!”. И ещё

заклинание на возврат обещанной беды на голову проклинающего: “Из твоих уст тебе на голову!”, “Кляни, кляни, да на себя бери!”, “Твои клятвы да тебе в пятки”. Есть в народной традиции и заклятье завистника, ругателя, колдуна: “Соль в глаза, кочерга в зубы”, “Соль в очи, дресва в зубы”, “Кто на рабу Божью зло подумает, лихо помыслит, тому соль в очи, щепицы в ресницы, дресву на язык, железный гвоздь в пята”.

Но если проклятие можно было одолеть отклятьем, молебнами, святым причащением и покаянием проклятого, то **клятва** в народном представлении не имела “обратного отсчёта”, и нарушителям клятвы не было спасения. **Клятва** – словесная формула-обещание, в случае нарушения которой человек призывает кару на самого себя. Неотменимость клятвы внушала человеку страх перед ней, который укреплялся поверьем, что у поклявшегося правдиво всё равно замирает одна из жил, а у поклявшегося ложно или нарушившего клятву “замирает” сразу двенадцать жил, и такой клятвopреступник быстро умирает. Потому в ходу была предостерегающая поговорка: “Лучше умирать, а креста не целовать”.

Клятва обязательно произносится при свидетелях, без них она не действительна и не имеет смысла, ибо клянущийся должен подтвердить истинность своих слов или дел перед лицом общества, которое и требует от него клятвы.

Древнейший вид клятвы – над землёй, которую полагалось либо взять в руку или положить на голову, либо целовать или есть, с тех давних пор сохранилось в детских играх шутивное требование: “Правду говоришь? Ешь землю!”. Обломки этой клятвы таятся в выражении “провалиться мне сквозь землю!”. Из той же глухой древности клятвенное выражение “разрази меня гром!”, напоминающее о клятве перед лицом живого огня, исшедшего из грозовой молнии. От ветхой старины дошли до наших дней свидетельства о клятве над оружием, которая называлась “рота” или “ротьба”. Её использовали славяне-язычники в договорах с греками во время походов на Византию. Считалось, что нарушивший такую клятву человек погибнет от своего меча, над которым произносил роковые слова. Этот обычай, наверное, и породил выражения: “Голову даю на отсечение”.

Клятвы, встречающиеся в нашей речи гораздо чаще, так называемые “самопроклятия” – пожелания смерти или потери здоровья себе самому. В них в наше легкомысленное время, без почтения относящееся к словам, нет недостатка в ежедневном словоупотреблении. Выражения “Чтоб мне пропасть!”, “Не сойти мне с этого места!”, “Лопни мои глаза!”, “Отсохни мой язык!” в ходу в русской речи. Гораздо серьёзнее относятся у нас к клятвам детьми или матерью, такие слова произносятся в случаях большой крайности, и им принято верить.

И, разумеется, самой значимой среди клятвенных формул является **божба**, произнесённая перед крестом, Евангелием или иконой. Такое клятвенное обещание, сопровождаемое крестным знаменем, целованием креста и других христианских святынь, являло собой важнейшую часть русской культуры и социума.

Действенность клятвы как самопроклятья в случае неисполнения обещанного ощутима людьми, она подтверждена Евангелием, где Христос запретил языческую клятву перед лицом тварных существ – неба и земли. Но, как бы то ни было, народная традиция издревле знала, что клятва, и проклятие, и злопожелание влияют на жизнь человека, они запоминаются в природе и сохраняются как некая печать, нанося человеку вред. Но страх перед ними, незримо существующими и неотвратимо действующими, останавливал людей, не доводя их поступки до преступных крайностей, и сохранял нравственные устои народа.

### **Десять заповедей обращения со Словом**

В этом очерке мы соединили, казалось бы, несоединимое: народные представления о мистической и магической речи, что принято считать суевением *тёмных людей*, и новейшие открытия, подтверждающие правоту традиции – религиозной и народно-бытовой. И оказалось, что религия и обычай сохраняют правильное отношение к слову, к языку, к нашему использованию языка и слова.

Многие явления политики и культуры, не получавшие прежде внятного объяснения, теперь, в свете учения о среде обитания Слова, обретают почву

в виде слов и мыслей, накапливающихся в ноосфере Земли. К таковым явлениям можно причислить распространение политических и религиозных доктрин, которые овладевают умами целых народов и заставляют их действовать даже в ущерб собственным интересам. Что вызывает “заражение”, как не высокая концентрация идей в обществе? Подобный механизм следует искать и у “вспышек” гениальных открытий, что возникают на фоне высокой образованности общества в целом и являются, по сути, плодом коллективного разума, хоть и рождённым гением-одиночкой. Точно так же великие произведения литературы не могут быть созданы в “чистом поле”, их творцы непременно обитают в насыщенной словесностью творческой лаборатории, именуемой литературным процессом.

Понимание природы Слова даёт, таким образом, ключи к развитию всякой национальной культуры и науки, они – в получении всеми гражданами доброкачественного образования ради создания питательной словесной и идейной среды, где только и может родиться талант или гений. Так же воспитание людей в духе высокой нравственности и одобряемое государством отвращение к очевидному злу препятствуют накоплению политических и религиозных учений, исповедующих разрушение и вражду, поскольку среда их обитания законодательно ограничена.

Осознание, что со Словом нужно обращаться правильно и осторожно, должно быть воспитано в каждом из нас, поскольку всякий человек как носитель слова и мысли определяет качеством своего мышления и речи собственную судьбу и судьбу близких ему людей. Каковы же представления, которые можно назвать “заповедями обращения со Словом”?

1. Молитва благотворна, она выстраивает правильное видение и ведение мира, очищая разум и направляя ум на добро.

2. Молитва целительна: она освящает тело и оздоравливает его.

3. Молитва защитительна: она способна уберечь, очистить душу и тело человека от насылаемого зла.

4. Благословение определяет успешность судьбы человека, оно создает словесную проекцию, нацеливая душу и тело человека на добро в будущем.

5. Заклинания, направленные на добро вокруг нас, оказывают благотворное воздействие на окружающий мир, который становится лучше и гармоничнее.

6. Проклятье действительно разрушает здоровье и ведёт человека к смерти, воздействуя на ДНК.

7. Злопожелание вредит жизни человека, оно создаёт словесную проекцию, материализуя в будущем высказанное зло, ведёт к несчастливой судьбе.

8. Заклятье творит неблагоприятную жизненную среду вокруг нас.

9. Клятва программирует самоуничтожение человека в случае её неисполнения.

10. Слово и мысль – понятия сопряжённые, слитые воедино. Добрые и злые помыслы материальны, поэтому опасно замышлять зло, это оскверняет человека и разрушает его и его близких.

Таковы заповеди, которые должны заставить нас с великой осторожностью относиться к речи, не бросать слова на ветер и отвечать за свои слова. Ибо лучше отвечать за собственные слова, осознанно используя их во благо, чем отвечать за свои слова, по глупости, беспечности или злобе используя их во зло. Вспомним апостольский наказ: “Слово гнило да не исходит из уст ваших, а только доброе, для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим” (Еф. 4:29). Осознаем Евангельский завет: “От слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься” (Мф. 12:37). Поймём непреложность Христова речения о том, что за каждое наше слово придётся дать ответ на Страшном Суде.

МИХАИЛ ЗАРУБИН

## БЕСЕДЫ С БОРИСОМ ОРЛОВЫМ

Известный поэт Борис Александрович Орлов родился 7 марта 1955 года в деревне Живетьево Ярославской области. Имеет два высших образования. Окончил Ленинградское высшее военно-морское училище им. Ф. Э. Дзержинского и Московский литературный институт им. Максима Горького. Служил на Северном флоте на атомной подводной лодке. Капитан 1-го ранга. Участвовал в дальних походах.

Автор более двух десятков поэтических книг, лауреат литературных премий, Председатель Санкт-Петербургского отделения Союза писателей России.

Самое главное – он талантливый поэт. Читая стихи Бориса Орлова, удивляешься их правдивости, проникновенности.

Я часто встречаюсь с Борисом Орловым. Эти встречи не ограничиваются приветствием и рукопожатием. Мы всегда, даже когда мало времени, что-то обсудим, поделимся впечатлениями, поразмыслим над планами. Мы говорим о месте книги в современном обществе, размышляем о возможном и необходимом развитии книжной отрасли, о нынешней поэзии и значении писателя в России, о превратностях творческого пути, обмениваемся мнениями, радостно, как мальчишки, взахлёб делимся воспоминаниями о своей малой родине.

Я попытался записать наиболее интересные разговоры и предлагаю наши диалоги читателям.

### **“НАУЧИМСЯ СВЯТОСТЬ БЕРЕЧЬ”...**

#### **Встреча первая**

Заседание Общественной палаты, проходившее в Световом зале Смольного, затянулось. Вместо регламентных двух часов оно продолжалось почти три с половиной. Из них полчаса ждали губернатора, немалая часть времени ушла на традиционное награждение юбиляров, каждому из которых была предоставлена возможность выступить со словами благодарности. И только после этого перешли к повестке дня. Обсуждалась работа комиссий Палаты. Председатели отчитывались о проведённых мероприятиях, не забывая подобострастно и многословно поблагодарить Комитеты администрации, которые якобы с большим удовольствием участвовали в них и помогали членам Палаты.

Участников совещания было немного, что особенно замечалось в невольном сравнении нашего собрания с размерами огромного зала. Да и пришедшие не отличались заинтересованностью и внимательностью. Кто-то перелистывал деловые бумаги, кто-то беседовал с соседом, кто-то громко, на ширину плеч разворачивал шуршащую газету. Мне, страдающему от духоты, помогала отвлечься от затянувшегося собрания любимая книга.



Когда наконец всё закончилось, я, одним из первых спешно покинул зал и, оказавшись на воле, подумал, как же мало мы радуемся простым, обыденным жизненным дарам. Разве не чудо — эта сладкая, насыщенная ароматами зелени парка прохлада, которая сейчас мне казалась даром бесценным.

Я глубоко вдыхал сладкий воздух, наполненный ароматами и невской влагой. Медленно спускаясь по огромным ступеням мраморной лестницы классического здания Смольного, боясь поскользнуться на них, отполированных до зеркального блеска, я вздрогнул от неожиданного приветствия.

— Здравствуй, Михаил Константинович!

Голос Бориса Орлова я узнал сразу. Радостно обернулся.

— Здравствуй, Борис Александрович, — откликнулся я с лёгким удивлением. — Ну, ладно мы, общественники прокажённые, протираем здесь штаны и подмётки ботинок, а тебя-то какие ветры сюда занесли?

— Да нет, не ветры и не волны... Деньги! Помощь приходил выпрашивать.

— Какие в Смольном деньги, Борис?

— Самые настоящие. Правда, не в привычном виде, как у меня в кармане, — Орлов импульсивно похлопал себя по груди, — а “бесконтактные”.

— Ты, председатель Правления Петербургского отделения Союза писателей России, просишь деньги в Смольном? Зачем?

— Чтобы издавать книги писателей.

— И что, получилось выпросить?

— Расскажу потом, когда приду в себя, — отшутился от сложного разговора Борис Александрович. — А ты, Михаил Константинович, куда путь держишь?

— До метро хочу прогуляться. Машину специально отпустил. Работа у меня хлопотная, а хожу мало, вот и решил пройтись по любимому городу.

— Мне тоже к метро, пошли вместе.

Свернув с Суворовского проспекта, мы направились по Кирочной. Пользуясь случаем, я старался расспросить о писательской жизни.

— Борис Александрович, ведь писатели прежде были самыми высокооплачиваемыми людьми. Что ж вы сегодня как руководитель одной из самых уважаемых в городе организаций выпрашиваете деньги на издание книг?

— Да были времена, когда писатель за книгу получал гонорар свыше двадцати тысяч рублей, это когда машина “Жигули” стоила пять тысяч. Союз писателей в советские времена был богатой организацией. Один Литфонд имел мощнейшие средства. Традиция повелась из XIX века.

— Кстати, создание Литфонда не было оригинальной нашей идеей, писатели взяли в пример английское Общество помощи писателям и расширили орбиту его деятельности в соответствии с названием “Общество для пособия нуждающимся литераторам и учёным”. А проект устава Общества получил Высочайшее утверждение.

— Да, Михаил Константинович, у исторического Литфонда есть чему поучиться. Хотя бы тому, из чего складывался его капитал. Ведь достаточно большой вклад вносило в виде ежегодных субсидий Министерство народного просвещения, были членские взносы, единовременные пожертвования. Вносили свой вклад в развитие русской литературы и Высочайшие особы, также поступали отчисления от публичных чтений, концертов, спектаклей, изданий.

И при советской власти многое сохранилось и приумножилось. Дома отдыха, поликлиники, детские сады, типографии и много другого добра было у Литфонда на балансе.

— И куда это богатство исчезло?

— Что-то пришло в негодность, так как имущество требует хозяйского глаза, что-то растащили “умные люди”, которые всегда появляются там, где можно пожить. Ты же понимаешь, Михаил Константинович, что сегодня может заработать писатель? Что-то может, если вдруг произойдёт чудо, и его заметит издательство. А для этого надо, чтобы текст понравился прочитавшему его редактору, тогда издательство пригласит на разговор, потом отредактирует так, что своего произведения не узнаешь. Хоть у нас цензуры нет, русскую тему пытаются втихаря притоптать, припрятать, исказить в соответствии с либеральной идеологией. У нас по Конституции идеологии нет, а как будто бы и есть. Посмотрите, кто пользуется благами от культуры? Те, кто пропагандирует пороки, смертные грехи, человеконенавистнические идеи. Раньше было понятие “космополитизм”, сейчас его заменили термином “толерант-

ность” или “права человека”. А какие это права? Права крикливого меньшинства! Почему никто не говорит о моих правах, о том, что я хочу в своей стране, отвоеванной моими предками для меня, быть русским не только в мыслях и мечтах, хочу свои патриотические стихи донести до молодёжи, до народа. Ведь я хочу, чтобы люди стали лучше, умнее, свободнее...

– Борис Александрович, но мы отвлеклись от темы, от процесса получения гонорара.

– Да, если вы подчинитесь требованиям издательства, тогда только вас напечатают. Автор получает десять процентов от проданных книг. Причём не с той цены, по которой книги продают в магазине, а с отпускной издательской – она раза в два меньше. Но тут вас поджидает ещё одна уловка. Если Вы написали одну книгу, издатели с Вами разговаривать не захотят, нужно чтобы было две, а то и три книги, чтобы можно было “раскрутить”. Итогом Вашей работы может стать двадцать или тридцать тысяч рублей.

Хороший заработок?

– Да, по нашим временам, сущие копейки. Согласен, Борис Александрович, не соизмерима эта цена с напряжённостью и интеллектуальными затратами писательского труда.

– Но я сказал: если произойдёт чудо, и тебя “заметят”, и издательство издаст твою книжку. Видите, сколько “если”. Таких чудес – единицы. Поэтому я как руководитель писательского сообщества прошу у власти помощи. Какой? Да любой. Искренне радуюсь, что всё-таки наступает понимание высокого значения русской литературы и писательского труда, – голос Бориса Александровича от волнения даже изменился.

– Да, сегодня власти регионов, в том числе и Санкт-Петербурга, за счёт городского бюджета издают книги писателей, выплачивают стипендии, гранты. И, слава Богу, у нас появился свой Дом писателей на Звенигородской, 22. Появляются и укрепляются и другие формы сотрудничества государства с творческими людьми.

Но всё равно – это крохи. Не ошибусь, если скажу, что девяносто процентов писателей не только ничего не получают за свой труд, но вынуждены ещё и сами платить издательствам за выпуск своих книжек.

Борис Орлов резко остановился.

– А помнишь, Михаил Константинович, – уже мягче, спокойнее продолжил мой спутник, – были в России в конце XIX – начале XX века такие знаменитые издатели Суворин, Солдатенков, Сытин. Они думали о народе. Сытин, например, всю жизнь посвятил изданию книг для народа, вернее, для его просвещения. Он ведь и издание дешёвых книг наладил, и книготорговлю организовал в интересах простых людей, отдавая предпочтение книгам духовно-нравственного содержания, просветительским, фольклорным. Выпустил свой знаменитый “Букварь” для народа. Да, такие, как Сытин, не только народ просвещали, но сами славу Отечеству составляли.

– А разве современные поэты, прозаики своими стихами и романами не создают славу Отечеству? Мир знает Россию по её великой литературе, к сожалению, только прошлой. Наверное, в наше время уже не будет великих писателей, Борис Александрович?

– Если никого не печатать, то никого и не будет. Литературному производству требуется укоренение в сердцах читателей, требуется оценка, только тогда то, что выходит из-под пера автора, становится литературой. А ведь большинство наших коллег пишут “в стол”, мы практически не допущены к средствам массовой информации, находящимся в руках барышников.

– Ну, а как в других странах? Посмотрю – все книжные прилавки завалены иностранной литературой в красивых обложках. Неужели заграничные писатели умнее и талантливее нас?

Борис Александрович задумался, вздохнул, замедлил шаг. Обвёл рукой воображаемый купол.

– Посмотри, Михаил Константинович, какие красивые вокруг дома. Старинная архитектура классицизма, барокко, шедевры конструктивизма первых пятилеток. А там – заводские корпуса, тоже красивые сооружения, выверенные, целесообразные. Талантлив русский человек. Во всём талантлив. Такой красивый город создан трудом и волей наших соотечественников. Без их жертвенной веры в то, что на “топких берегах” можно создать великую столицу, никакие итальянцы ничего бы не отважились напридумывать. Это ведь

русский труженик камнерез Самсон Суханов давал Монферрану уверенность в том, что с Божией помощью всё возможно: и колонны водрузить без фундамента, и столп поставить на века. Да, велик русский человек. И писателей у нас очень много талантливых. Только не организован их союз с читателем. То ли по злему умыслу властей, то ли по их недоразумению, то ли по лени.

– Но всё-таки за границей жизнь у писателей легче, насыщеннее?

– Да, у них скоординирована система взаимоотношений с властью. Например, в Румынии принят Закон об обязательном пятипроцентном отчислении от стоимости всей ввозимой в страну и производимой внутри неё копировально-множительной и печатающей техники. Эти средства поступают на счёт румынского Литературного фонда, таким образом у писателей появляется возможность издавать свои журналы, получать стипендии, гранты, премии и доплаты к пенсиям.

Кроме этого, решаются многие другие проблемы.

В Китае писательский союз находится на бюджете государства.

– У нас, Борис Александрович, стало почти нормой равенство на Соединённые Штаты. А как у них?

– У них тоже хорошо. Там для поддержки творческих людей учреждена должность “писатель при университете”, благодаря которой американские мастера получают профессорские оклады и ведут за это факультативные уроки по истории словесности, организуют литературные студии и мастер-классы. Работа обеспечивает достойное материальное существование писателям, освобождая их от необходимости зарабатывать деньги литературной подёнщиной, и помогает сохранить высокий культурный уровень нации и вырастить новые писательские кадры.

– При нашем количестве университетов всем бы писателям места хватило.

– Конечно, если бы мы не были расколоты.

– Это что за беда у нас такая? Что разъединяет писателей?

– Сегодня писательский мир России разбит на несколько почти не контактирующих друг с другом лагерей, образовавшихся по идеологическим, стилевым, художественно-вкусовым и иным признакам и группирующихся вокруг литературных журналов и различных объединений. Большинство этих объединений представляют узкие “межсобойные” тусовки, куда закрыт доступ писателям из других союзов. К добру это не приводит и приносит вред российской культуре.

– А государство просто наблюдает за этим процессом?

– Ну, а при чем здесь власть? Все объединения – некоммерческие, общественные, и государство не вправе вмешиваться в их деятельность. Поэтому у нас на книжном рынке книг выпускается много, а почитать нечего. Ведь за почти тридцать лет не появилось ни одной песни, которую бы пел весь народ вне зависимости от возраста и социального статуса. Где кинофильмы, “как раньше” – когда их показывали по телевизору, улицы пустели? Где новые имена?

– Знаешь, я сейчас читаю Валентина Григорьевича Распутина, у него по этому поводу есть замечательные слова.

Я открыл портфель, достал зачитанный томик любимого моего писателя.

– Послушай, Борис Александрович, вот его книга “Эти двадцать убийственных лет”, я взял её с собой, предполагая скрасить скуку заседания: “Издательства перестали выращивать, воспитывать автора, как было в пору моей молодости, когда такой селекционной и творческой работой занимались все издательства, не исключая и областные... Сейчас государство умыло руки, а у рынка жестокие и нечистоплотные законы выгоды. Издаётся то, что расходится. Расходится то, что проталкивается: развлекательность, низкопробность, мишура, всяческая наживка на крючок, которая, куда ни пойдешь, постоянно перед носом. Идёт непрерывная и масштабная, на всю страну, работа отупления человека, его развращения и озверения.

В неполноте своей, в своей национальной отверженности и духовной запущенности можем мы и с именем “русский” перестать ему соответствовать, после чего недолго нас и из имени, как из полегчавшего мешка, вытряхнуть”.

Я читал что-то ещё, перечитывал особенно важные мысли нашего современника, оказавшегося классиком при жизни. Когда я закрыл книгу, оказалось, что мы уже давно сидим на лавке в Таврическом саду. Разговор об общей боли, понимание этой боли сблизил нас. Говорили долго, вспоминали Леонида Леонова, о котором большинство молодёжи не ведаёт, ну, а уж про

Владимира Солоухина помнят только его ровесники или же те, кто жил во времена, когда его произведение звучало потрясающим душу набатом, созывающим людей на борьбу за русскую культуру, за русскую старину, являющуюся базисом будущего. Останови сегодня молодых людей, проходящих мимо, назови имена русских писателей, спроси, что они знают о них. И в ответ услышишь или циничное хамство, воспитанное всякими смехопанорамами, или жалобное мычание – мол, не трогайте трудными вопросами, ни к чему нам ваши писатели в век компьютерных технологий.

– Послушай, Борис Александрович, но ведь действительно, современная эпоха, как нас убеждают с телеэкранов, не приспособлена для книг. Сейчас везде интернет, гаджеты, лайки. Возможно, мы преувеличиваем значение печатной продукции, пытаемся молодёжь повернуть назад, в прошлые времена? А ведь научно-технический прогресс – процесс объективный и непрерывный. И куда не деться нам от идущей вперед жизни.

– Ладно тебе ссылаться на то, чего нет. Роль книги в бумажном варианте действительно неуклонно снижается. Но книга жива, и, я думаю, проживёт ещё долго. Какие тому причины? Каждому человеку книга дорога тем, что, читая её, он с ней сродняется, оставляет меж её страниц свои сердечные переживания, мысли и даже слёзы. Книга ведь – как учитель. Хорошего учителя не забывают всю жизнь.

– Но ведь есть любители аудиокниг. У некоторых людей глубже слуховое восприятие. Да и зрительное восприятие в наше время может удовлетвориться чтением книги на планшете.

– Но зрительное восприятие живой книги и книги на планшете различно, – резко перебил меня Орлов. – Это как прекрасная, яркая картина и газетная чёрно-белая её репродукция. При чтении на планшете восприятие поверхностно, впечатление недолговечно. Так называемое “клиповое мышление” создано лишь для кратковременного удовлетворения потребностей человека. А печатная книга, тем более в хорошем издании, запоминается как совокупное произведение искусства.

Борис Александрович, воодушевившись затронутой темой, казалось, был готов прочитать мне лекцию. Поэтому я решил наш разговор перевести в оптимистичное русло.

– Однако я вижу, что сегодня книги начинают отвоёвывать утраченные ранее позиции. Книга вновь стала хорошим подарком, даже в молодёжной среде. Ты посмотри, сколько книжных магазинов. Если бы книги не покупали, что, открывались бы новые магазины?

– Так-то оно так, но иногда я слышу даже от депутатов Госдумы, что у нас в стране нет достойной современной литературы, нет талантливых русских писателей. А почему – нет? Потому что их не знают. А я со знанием ситуации заявляю, что есть у нас всё: и выдающаяся литература, и сильные писатели. Являясь заместителем председателя приёмной комиссии Союза писателей России, я хорошо знаю современную русскую литературу. Очень талантливые поэты, прозаики, драматурги есть у нас! Многие из провинции. Однако Федеральное агентство по печати их не знает и знать не желает. Откуда же этим писателям найти денег, чтобы издать свои книги, а надо ещё и рекламу заказать. Нет у нас денег, чтобы эту рекламу в метро и по телевизору показать! В потоке масскульта теряются мизерные тиражи, расходятся среди друзей и родных. До широкого читателя не доходят.

Писатели – великая сила, но их потенциал сегодня не востребован. Они могли бы оказать стране помощь в воспитании молодёжи, в создании достойного образа России на мировой арене, в решении многих насущных проблем. Взять, к примеру, дорожное хамство – сколько о нём говорят, ужесточают правила дорожного движения, увеличивают штрафы. Но это та сфера, где не законодательными мерами надо действовать, а воспитательными, нравственным примером. И книга могла бы здесь очень помочь. Или демографическая проблема. Образ женщины-матери, верной жены, красота материнства, раскрытые талантливым писателем, могут просветлять женские и облагораживать мужские сердца. А современные ужастики-детективы учат вседозволенности, развивают в людях теплорядность, пропагандируют убийство как норму человеческого общества.

– Но ведь считается, что воспитательная функция книги сомнительна. Еще великий Николай Васильевич Гоголь пострадал от этой иллюзии.

– Не скажи, Михаил Константинович. Вряд ли было бы в нашей стране столько героев, если бы не было книг про “Молодую гвардию”, про героическую оборону Севастополя, про блокаду Ленинграда, про подвиги русских миротворцев в Осетии.

Сумерки незаметно стискивали. На центральной аллее Таврического сада зажглись фонари, похожие на банки, в которых законсервированы сгустки солнца. Разговор иссяк.

Из Дворца бракосочетания, что на Фурштатской, выходила группа молодых людей, окружив молодожёнов, весело шумела, пенились бокалы с шампанским. Мы остановились, полюбовались радостью молодости, неповторимой красотой юного счастья.

– Слушай, Борис Александрович, ты известный поэт, автор многих поэтических книг.

– Ну и что?

– Я вот думаю, стоит ли тебе надрывать сердце, напрягать душу, отрывать от творчества время, чтобы быть просителем о других? Может, бросишь все эти походы? И писать, писать...

Борис Орлов ничего не ответил на моё предложение. Сделал вид, что не расслышал меня. Потом, то ли мне, то ли самому себе он сказал:

– Ты знаешь, Михаил Константинович, лет сорок назад я прочёл слова в одной книге. Сейчас не помню, кто автор и какое название у той книги, но фраза запомнилась: “Выше литературы только богословие”. Вот какая у нас высокая планка!

И без паузы, кивая головой в такт рифме, Борис Орлов подтвердил поэтически эту аксиому:

*Мы в сердце, молитвой согретом,  
Научимся святость беречь.  
Струится спасительным светом  
Алтарная русская речь.  
Так было когда-то... Так будет!  
Ход крестный. Победный салют.  
Красивые русские люди  
В намоленном храме поют.*

Орлов без паузы продолжил:

– Ну и что, что писательская профессия стала общественной нагрузкой, что гонорары литераторов не идут ни в какое сравнение с заработками других деятелей культуры? Ну и что, что за книгу, которая пишется годами, можно получить гонорар, равный месячной пенсии? Всё это второстепенно. Главное – что Бог дал талант, умение видеть, слышать, осознавать и разъяснять людям. Наши читатели – вот главное наше богатство.

– Подожди, Борис Александрович, как это – писательская работа стала общественной нагрузкой? Может, это метафора?

– К сожалению, нет. В списке профессий нашей страны профессии “писатель” нет.

– И что – у нас нет профессиональных писателей?

– Выходит, нет.

– А как же пенсия?

– Как у бомжей, самая минимальная, или иди, подрабатывай где-нибудь. Зарабатывай на свою пенсию, работая грузчиком, истопником, охранником. Это излюбленные профессии наших писателей.

– То есть писательство является неким хобби?

– Получается, что так.

– И власти этого не видят?

– Видят, вот заговорили о патриотизме. Но патриотизм – слишком общее, вернее, идеальное понятие, его нужно наполнять конкретным, даже личным содержанием. И к этому призваны мы, писатели. Только когда нас призывают на самом деле? Вот поэтому хожу и прошу денег на издание новых книг, чтобы наши писатели стали известны стране. И, даст Бог, среди них появятся новые Распутины, Твардовские, Дудины, может, даже Шолоховы и Толстые. Хотя, конечно, у каждого времени свои творцы и герои.

## “ЛЮБЛЮ ИЗ ПРОШЛОГО МОТИВЫ”

### Встреча вторая

Май – из всех месяцев года месяц особенный, месяц-праздник, месяц-победитель. Окружающий мир, воскресая, ликует! Окончились тяжёлые Великопостные испытания и ограничения. Именно в майские дни природа полностью освобождается от зимнего гнёта, от последствий апрельских ледяных ветров, от неожиданных снежных нападков несдающейся зимы – правительницы наших северных краев, которые смирились с её почти полугодовой морозной властью.

Май – это и месяц труда! В мае в нашей писательской организации, завершающей полугодовой творческий сезон, дел “выше головы”. Секции проводят отчётные заседания, отмечают литературные удачи, выявляют организационные недочёты, намечают планы на “летние каникулы”. Писатели встречаются с читателями в школах, библиотеках, домах отдыха, университетских аудиториях и воинских частях. Но главное событие – это Международный книжный салон, который с помощью питерской исполнительной власти каждый год проводится в Санкт-Петербурге в последнюю декаду мая. Невозможно в нескольких словах передать напряжённость этой подготовки, занятые практически все члены нашего Отделения. Но главной организующей и координирующей силой является, конечно, Борис Александрович Орлов. В один из таких кипучих дней, согласовав в секции свой план участия в Салоне, я заглянул в кабинет нашего председателя.

– Здравствуй, Борис Александрович!

– Здравствуй, Константинич, – нехотя оторвав взгляд от бумаг и переводя его на меня, устало произнёс Орлов. Потом, потирая виски, он снял очки и вопросительно повернул голову ко мне.

– Может, пора домой? Если не против, довезу, – поспешил я оправдать цель своего прихода.

– Довезёшь, говоришь? – взбодрился мой начальник по писательскому цеху. – Попробуй. Только дай пять минут на сборы.

– Хорошо, жду внизу.

Когда Борис Александрович уже сидел в моей машине, я его бодро спросил:

– В каком районе живёшь? Куда едем?

– В Кронштадт, – невозмутимо ответил он.

– Куда? – уныло переспросил я, надеясь, что неправильно понял своего попутчика.

– В Кронштадт. Я там живу. Что, Михаил Константинович, ты уже передумал везти меня? – сказал Орлов и с хитрецей посмотрел на меня.

– Конечно, нет, хотя скажу честно, никак не ожидал, что ты так “близко” живёшь. Интересно, как же ты там оказался?

Борис Александрович не ответил, видимо, ответ был бы неоднозначным и долгим. Потом задал логичный вопрос:

– А как проехать в Кронштадт, ты хоть знаешь, Михаил Константинович?

– Знаю, по дамбе. Не раз бывал там.

– Дамбу открыли недавно, до этого мы добирались на пароме, теплоходе. Когда “Метеоры” ходили, намного быстрее получалось. А сейчас не нарадуюсь, что можно доехать различными видами наземного транспорта: на автобусе, маршрутке, такси.

Помолчали. Но Борис Александрович долго молчать не мог и нашёл благодатную тему для продолжения разговора.

– Как я попал в Кронштадт, спрашиваешь? Для меня самый любимый город – Ленинград, мой Санкт-Петербург. Я всю жизнь мечтал здесь жить и работать. Но флотская служба не выбирает мест. Где нужен, там и служишь. А как только представилась возможность, и появился выбор – Москва или Санкт-Петербург, – я, конечно, выбрал морской город. О Кронштадте даже не мечтал. Но так сложилась судьба, за что я ей очень благодарен.

Кронштадт ведь тоже Петербург, его неотъемлемая часть, его функциональный орган. Место особенное, подобных ему нет на свете. В своё время Кронштадтская крепость была мощнейшей военно-морской крепостью Европы, её форты и батареи ни разу не подпустили неприятеля к Санкт-Петербургу.

Она была заложена Петром I. Из-за угрозы войны со Швецией крепость содержалась в постоянной боевой готовности, её вооружение модернизировалось в соответствии с требованиями времени. На гербе Кронштадта изображен котёл. Знаешь, почему? По версии историка Бестужева, шведы под натиском русских, освобождавших остров Котлин, так быстро ретировались с поля боя, что оставили даже котёл с готовящейся кашей, дымящейся на горящем костре. Отсюда и появился этот символизирующий быструю победу знак.

С Кронштадтом меня связывают и родственные узы. Удивительно, но именно здесь в Первую мировую и в гражданскую служили матросами два брата моей бабушки, Фаддей и Иван. Оба они участвовали в Кронштадтском мятеже.

— Борис Александрович, а как правильно называть: мятеж или восстание? Я интересовался историей этого трагического события и заметил, что в книгах везде по-разному называют.

— Да, сейчас выступление называют восстанием, а в советской историографии события, которые происходили в 1921 году в Кронштадте, именовались “Кронштадтский мятеж”, “Кронштадтская авантюра”, “бунт моряков Балтфлота”, а его участников называли “мятежниками” и “врагами революции”. Понятно, почему, — чтобы принизить значение события, подчеркнуть якобы антинародную его сущность.

— Получается, что твои деды тоже пострадали. Там ведь расправа была жесточайшая, безжалостная, со всеми участниками. Большевики-ленинцы “своё” отстаивать умели.

— Пострадали. Но не так, как, скажем, офицеры или организаторы. Мои деды были рядовыми матросами. На них не очень обращали внимание, они всё-таки были ближе к народно-революционной массе. Как и другие русские люди, сохраняли тесные связи с деревней, жили простыми мечтами и в пределах мировоззрения крестьян. Хотя недоумевали по поводу новой власти, когда получали удручающие вести из родного края: у того последнюю лошадь забрали, у соседа посадили старика-отца, у третьего весь посев реквизировали, корову увели, носильные вещи прихватили представители большевиков. А на службе начальству было наплевать на матросов, комиссары-коммунисты увлечены были, как всегда, внутривластными проблемами. Им бы себя показать да соперника уличить. Каждый день речами захлёбывались.

После подавления восстания в качестве обвиняемых были привлечены более десяти тысяч человек, из них больше двух тысяч расстреляны, свыше шести тысяч человек отправлены в лагеря на принудительные работы или в трудовую армию и только полторы тысячи были освобождены из-под стражи.

Лишь к пятилетию Октябрьской революции ВЦИК амнистировал значительную часть рядовых участников Кронштадтского восстания. В их числе были и мои родственники. Но как бы они ни относились к власти, они всегда оставались русскими людьми и осознанно служили Родине. Родина для них была понятием святым. Поздней осенью сорок первого года, отставив Ленинград от фашистов, будучи ополченцами, оба моих деда погибли. Такова была участь миллионов русских людей.

Моя тётя Мария всю войну находилась в Кронштадте, работала на водозаборе.

— Где работала?

— На водозаборе. Сейчас поясню. Вокруг острова Котлин — Балтийское море, Финский залив. Однако основное течение морской воды преграждает пресная, более тёплая вода Невы. Она-то и заполняет морской фарватер. Нева здесь настолько сильнее моря, что долгие годы пресную воду черпали прямо с берега. Перед самой войной построили водозаборный канал и кронштадтские водопроводные сооружения.

— Борис Александрович, вот вы говорите, что ваша тётя всю войну работала в Кронштадте, а разве там кто-то тогда из жителей оставался?

— Конечно! Кронштадт — город-герой, наравне с Ленинградом, выстоявший 900 дней блокады. Морская крепость, по примеру многих древних русских крепостей, сопротивлялась, не сдалась, была крепким орешком, который враг не смог раскусить. Кронштадт надёжно прикрывал Ленинград от ударов противника с моря. Крепость систематически подвергалась жесточайшим бомбардировкам авиации противника. Через Кронштадт проходила “Малая Дорога жизни”. Из Кронштадта в Лисий Нос и далее в Ленинград шли войска,

грузы, эвакуировались люди по льду зимой, летом для этого использовались все маломерные суда вплоть до рыбацких лодок.

В городе находились военные госпитали, поэтому говорить, что Кронштадт был безлюдным, нельзя.

Я внимательно слушал своего спутника, только иногда кивал головой в знак согласия.

— Уверен, в этот город меня привела воля Божия. Какое великое счастье жить в таком священном для России месте! Больше двадцати лет я живу с семьёй в Кронштадте, Бог даст, проживу больше.

Мы ехали по дамбе к городу, который окружён со всех сторон водой. Поэтому моя ремарка была уместной:

— Но ведь, Борис Александрович, даже при дамбе, соединившей Кронштадт с двумя берегами “большой земли”, твой город по-прежнему называют островом.

— Да, его положение и прошлая закрытость всё ещё сказываются. И сегодня, если у тебя нет колес, трудно попасть в театры или на другие мероприятия, оканчивающиеся поздно. Наверняка останешься ночевать в Питере. Зато автобусы ходят строго по расписанию и никогда не набиваются под завязку. Такое редко встретишь в Петербурге. Чистые, удобные, с низкой посадкой. Кронштадтцы, несмотря на кризис, строят планы развития города. Надеемся, что к нам переедет филиал киностудии “Ленфильм”. Дирекция студии собирается реконструировать здание Мореходной школы, брошенной властями и закрытой в двухтысячные. Здесь, говорят, будет музей ленфильмовских костюмов как часть филиала знаменитой, европейского уровня киностудии. А в старинном Петровском доке Адмиралтейство планирует разместить музей кораблекрушений.

— А не жалко док отдать под такое дело?

— Петровский док — сегодня это антиквариат. Самый первый сухой док, из которого вода не откачивалась в течение месяца насосами, а уходила самотеком в специальный бассейн, соединённый с доком сухим каналом. И устройство музея в таком месте — хорошая идея, сохраняет память о доке. Будет заинтересовывать посетителей побольше узнать об истории города, российского судостроения и мореплавания.

За разговором мы не заметили, что уже почти подъехали к Кронштадту, что находимся недалеко от туннеля, где трасса ныряет под морской фарватер. Вокруг нас слева и справа — плавни, и сразу после туннеля, ближе к городу, вырастают из воды знаменитые таинственные форты. Борис Орлов попросил остановить машину, чтобы показать мне зловещий на вид форт Александра I. Действительно, это сооружение вызывало много вопросов.

— Борис Александрович, а почему он такой закопченный? Горел, что ли?

— Он чёрен от пожара, его развели там специально, нужно было обеззаразить стены: до 1917 года здесь находилась бактериологическая лаборатория. Поэтому этот форт имел прозвище “чумной”.

На пронизывающем весеннем ветру, своенравном хозяине здешних мест, долго не поговоришь, историю не обсудишь и не осудишь, поэтому я поторопился завершить нашу маленькую экскурсию.

— Очень интересно! Борис Александрович, я обязательно специально приеду, чтобы посмотреть форты. Поможете мне?

— Конечно, с радостью. Писателю надо увидеть всё это, окунуться в живую историю. Очень вдохновляет.

Город, казалось, сам выплыл нам навстречу. Но целостное представление о Кронштадте трудно было составить сразу, глаза “разбегались”, так много здесь необычных старинных зданий, диковинных промышленных сооружений непонятного назначения. Огромное окно во весь фасад дома в стиле модерн возникло из-за поворота неожиданно и, как мне показалось, преградило дорогу. Так что я с трудом притормозил, мне показалось, что я лечу прямо в это окно.

— Что это за архитектурное великолепие? — взволнованно воскликнул я

— Да, Михаил Константинович, ваш восторг понимаю. Все поражаются красоте этого дома. А назначение его было рядовое. В середине девятнадцатого века на смену парусам пришли корабли с паровыми двигателями, потребовались специалисты трюмного и кочегарного дела. В этом здании открылась Школа кочегаров, через несколько лет её преобразовали в Машинную



школу Балтийского флота, позже был выстроен комплекс зданий – с учебными классами, с машинными залами и мастерскими. Одноэтажный корпус с громадным полукруглым окном, что удивил Вас, представлял в подлинном виде кочегарку большого военного корабля с действующей моделью котла. Всё было по-настоящему: пылали топки, гудели форсунки, летел уголь в огненную пасть.

Многие выдающиеся деятели Военно-морского флота начали свой путь отсюда. Здесь моряки получали основные навыки и приобретали необходимые знания.

После Великой Отечественной войны Машинная школа превратилась в Морской техникум. В том классе, где когда-то была модель парового котла корабля, сделали бассейн. В нём ученики Водолазной школы проходили водолазную практику. Часть помещений занимала Минная школа.

Ну, а сейчас всё для этого здания в прошлом. Нет ни учеников в морской форме, ни опытных учителей. Вокруг старинного прославленного комплекса тишина.

Борис выразительно вздохнул. Но его голос дрожал, когда мы проезжали мимо Екатерининского парка, где когда-то находился знаменитый Андреевский собор, заложенный Петром I и посвящённый святому апостолу Андрею Первозванному. С искренним огорчением он поведал о трагичной истории этого великолепного храма, овеянного великими русскими морскими победами, просветлённого молитвами самого знаменитого его настоятеля – святого праведного Иоанна Кронштадтского. Сейчас от красивейшего храмового сооружения, уничтоженного богоборческой властью в 1932 году для того, чтобы на его месте поставить памятник Ленину, не осталось ничего, кроме памятного камня.

Здесь мы вышли из машины и несколько секунд стояли молча. Склонив свои головы, мы поклонились истории и жизни, которая, как сказал в одном из своих стихотворений Борис Орлов, “не всегда права”.

– Не огорчайся, Михаил Константинович. Не всё так печально. Сейчас мы увидим доказательство тому, что Бог необорим, что пути Господни неисповедимы, и русских людей никакая власть не отвернёт от Господа. Наш великий Морской Никольский собор блистает в прежнем величии и неизбывной красоте. А чтобы убедиться в этом, приглашаю тебя в моё скромное жилище. Заодно и чайком согреемся.

Пятый этаж без лифта – тяжеловато. И вот мы уже сидим в небольшой квартирке Бориса Александровича. Из окон хорошо виден Морской Никольский собор. Один из самых красивых храмов России. Белоснежный, с огромным ослепительно-золотым куполом, он не подавляет человека, а, наоборот, возвышает, заставляет проникнуться верой в Господнее величие. А осознание того, что этот блистательный купол виден даже в Петербурге, заставляет сердце восхититься Божественной целесообразностью и наполниться гордостью за родную нашу землю, которой нет конца и края и которой под стать такие огромные, солнцеподобные соборы.

Будто в продолжение моих мыслей Борис Александрович сказал, указывая на собор:

– Этому храму, как и всей стране, пришлось пережить нелёгкие времена. Его закрывали, переоборудовали, безжалостно скололи большую часть декора, смыли позолоту с куполов, богоборцы выломали мраморный иконостас, безжалостная рука какого-то художника-варвара закрасила мозаики и росписи. Чудовищные потери, возмутительное надругательство над Россией-Русью, которое произошло с попустительства самих же русских людей.

– Но, слава Богу, – возразил я, – ведь собор воскрес в своём первоначальном величии и, как прежде, украшает город. Забудем геростратов.

– Нет, – сухо ответил Борис Александрович, выразительно покачав головой. – Такое забывать нельзя.

Но к предмету его любви – Кронштадту – разговор вернулся скоро.

– Знаешь, здесь у меня порой появляется такое чувство, что я продолжаю жить на корабле, – глядя в окно, по-детски радостно признался Борис Александрович. – Посмотри, как каналы пересекают город, соединяя море и сушу, обильно питая влагой скверы и парки, расположенные вдоль водных артерий. А эти крепостные стены плотной каменной кладки! Толстыми массивными дугами они, как борта крейсера, обнимают город, защищая

островные строения не только от неприятеля, но и от балтийских волн. Всюду проникает морская стихия, море бьётся о дамбу, о рукотворные форты, плещется у крепостных стен города-корабля. Кронштадтское шоссе, улица Восстания, Якорная площадь, улица Советская, улица Аммермана и другие магистрали центральной части города-острова не жмутся к домам, их широкие тротуары кажутся мне палубой военно-морского корабля.

— Красиво, поэтично вы говорите, Борис Александрович. Хоть и чувствуются в ваших словах метафоры и преувеличения, но с ними не поспоришь: чистота в городе идеальная, действительно, как на палубе.

— Это одна из особенностей нашего города, даже при том, что дожди у нас — частые гости, грязи нет, обувь после прогулки можно не мыть, она всегда чистая.

Ещё здесь раздолье для велосипедистов и любителей роликов. Они летят по широкому тротуарам, никому не мешая, наслаждаясь свободой и своим мастерством. Но эти удобные тротуары предназначались не для них и не для нас, построены они не в теперешние времена и не в советские. Они были спроектированы как плацы, необходимые для марширующих матросов. Рота под барабаны размеренно шагала по тротуару, никому не мешая.

Кронштадт — идеальное место для жизни. Люди здесь пешком ходят на работу, дети — в школу. Недавно после ремонта открылась детская библиотека. Оригинальный проект в морском стиле, новейшие компьютеры, большой выбор литературы.

А если к этому добавить спортшколу, теннисный клуб, газпромовский бассейн... Мечта любого горожанина!

— Борис Александрович, в вас говорит любовь к городу. Вы “песню” ему поёте, по вашим словам, здесь недостатков нет. У меня на предприятии работают жители Кронштадта. Встают рано, возвращаются поздно, им не до тренировок в теннисном клубе и рекордов в бассейне.

Не приведи Господь заболеть! Проблема здравоохранения — общая для России, но с местными особенностями. В Петербурге мощные медицинские центры, прекрасное оборудование, хорошая диагностика, но, чтобы любому кронштадтцу к этому добраться, нужно быть здоровым человеком. Если ребёнка положили в клинику в Питере, а родители живут в Кронштадте, возникает множество проблем, особенно с посещением ребёнка. Другие сложности перечислять не хочу.

— И не перечисляй, у любого места, города, села найдётся и хорошее, и плохое. Но мой Кронштадт — самый лучший героический город. Вот послушай:

*Острым льдом зарастают дороги.  
Превращается в айсберг Кронштадт.  
Рядом с тральщиком — парусник в доке.  
Туча — словно дырявый штандарт.  
В рундуках спят матросские ленты.  
Тонут плацы в крылатом снегу.  
Не на мостиках — на постаментах  
Адмиралы встречают пургу.  
Маршируют учебные роты,  
И труба над заливом поёт...  
Колыбель океанского флота —  
Этот город, растающий в лёд.*

— Да, Борис Александрович, вашему городу повезло, что у него есть такой певец.

— Первая моя публикация была в школьные годы. Меня безо всяких “связей” печатали всесоюзные издания. Не то, что сейчас! Молодёжи негде печататься. А я просто посылал подборки, и они публиковались в известных на всю страну толстых журналах и в популярных газетах.

— Вам и сегодня грех жаловаться на невнимание к себе читателей.

— Мне действительно грех жаловаться, я вошёл в литературу с теми, кто был меня старше, мудрее, опытнее. Ездил на выступления вместе с писателями-фронтовиками. У меня с ними сложились прекрасные взаимоотношения. Мои учителя и друзья — Михаил Дудин, Сергей Давыдов, Вадим Шефнер,

Всеволод Азаров, Егор Исаев. Можно ещё многих назвать. Без них не было бы меня, поэта Бориса Орлова. Михаил Дудин рекомендовал меня в Союз писателей. Помню, что в Союз писателей СССР от Ленинграда в год принимали всего пять-шесть человек. Состоять в Союзе было престижно, но и уровень писательского мастерства был высочайшим.

Мы пили чай за столом, залитым лучами заходящего солнца, прямыми и отражающимися от золотого купола собора. То, что время позднее, я понял, не увидев на улице ни одного человека. Якорная площадь безмолствовала. И только было слышно, как волны бьются о крепостные стены.

Заторопившись, поблагодарив хозяев уютного жилища, Бориса Орлова и его заботливую жену Татьяну, я через несколько минут уже сидел за рулём своего автомобиля. Выежая из Кронштадта, я почувствовал справедливость названия – город-корабль. Окружённый со всех сторон бурливыми волнами, он уверенно шёл курсом истории, строго соблюдая своё предназначение – быть водным замком, морским редутом, защищающим великое детище царей и простых русских тружеников, великих архитекторов и умелых оружейников – Санкт-Петербург. И ещё подумалось мне, что Борис Александрович Орлов – тоже своего рода редут, мощное укрепление в бурном море литературы, которую он защищает от духовных разорителей и приспособленцев, от барышников, сутяжников и склочников, стремящихся подорвать, разорить литературный процесс, подстроить его под свою выгоду и амбиции.

## “...И БЕСКОНЕЧНОЙ КАЖЕТСЯ ПРОГУЛКА”

### Встреча третья

В это летнее, благоуханное воскресенье мы с сожалением и неохотой уехали с дачи раньше обычного, поторопились, надеясь избежать изнуряющих автомобильных пробок, которые в воскресные вечера закупоривают все шоссе, ведущие из дачной местности в Петербург. Но всё равно, даже в дневное время дорога оказалась загазованной, тормозящей. От дорожных тягот, год от года становящихся всё тяжелее в результате хаотичного заселения Санкт-Петербурга и области, я почувствовал изнуряющее недомогание. Дома лёг на диван, но и через полчаса легче не стало. Вспомнил, что в таких случаях я прибегаю к простейшему и действенному лекарству – неспешная прогулка для меня лучший доктор. Жена посмотрела неодобрительно, но препятствовать не стала. И только сказала мне вслед:

– Зайди в аптеку, Миша, купи себе таблетки! – Она сказала ещё что-то заботливое, но я уже не слышал, по-мальчишески резво сбегая с последнего этажа по крутой лестнице старинного дома на Большой Морской, где наша квартира.

Несмотря на то, что вышел я в самый центр, город оказался милосерднее, чем недавняя пригородная дорога. Улица приласкала меня освежающим ветром, поддержала объятием блистательных зданий-дворцов, глядя на которые я всегда воодушевляюсь, просветляюсь душой. Боясь расплескать захлестнувшее меня творческое, романтическое настроение, я пошёл по теневой стороне, но почувствовав, что в тонкой куртке мне здесь холодно, перешёл на противоположную. Но и здесь пологие солнечные лучи только подразнили меня, но не согрели. Поэтому, размахивая руками, я прибавил шагу, стало, действительно, теплее.

Ближайшая на Гороховой улице аптека в выходной оказалась закрытой. Делать нечего, пошёл в аптеку, что напротив Казанского собора, уж та точно открыта, так как работает круглые сутки, решил я, повернув на Невский проспект.

Величайшая улица мира, средоточие деяний гениальных архитекторов, художников, меценатов, в этот вечер оказалась сплошной человеческой рекой. Лавируя между участниками многолюдного воскресного променада, дошёл до Малой Кююшенной. Вдруг мой слух настроился, что-то знакомое показалось в тембре голоса и словах, доносившихся из мощных громкоговорителей, расположенных на стенах ближних зданий.

*Листва дурманит запахом земли,  
Лишайник растекается на стенах.*

*Архангелами в небе журавли  
Трубят о предстоящих переменах.  
Тревожит сердце облачная рябь —  
Печаль о невозвратном и любимом.  
Как сигареты, раскурил сентябрь  
Берёзы, наслаждаясь жёлтым дымом.  
Слепым дождём прибило в парке пыль,  
Кольшутся аллеи в дымке зыбкой.  
Парит над Петропавловкою шпиль —  
Божественный смычок над красной скрипкой.  
И отраженья кораблей царя  
Хранит Нева, прижавшись к парапетам.  
Намыло листьев, словно янтаря,  
На влажных берегах балтийским ветром.  
Перемешалось всё: и цвет, и звук,  
И бесконечной кажется прогулка.  
Осенне-золотистый Петербург  
Поёт, как музыкальная шкатулка.*

С трудом, шаг за шагом, словно прорастая к солнцу, пробился к небольшой сцене, что была устроена в глубине улицы, в самом начале традиционных для города “Книжных аллей”. Бориса Александровича я увидел в плотном окружении любителей поэзии. Слушателей было много, здесь собрались почитатели и знатоки творчества Орлова, были и те, кто раньше не догадывался, что является любителем поэзии, и влюбился в неё здесь “с первого взгляда”. Некоторые сидели на стульях, вынесенных из кафе, но большинство, как в церкви, стояли: поэзия — дело святое. Борис Орлов тоже стоял, он был в штатском, но по властным интонациям голоса и по темам стихов все понимали, что перед ними — военный человек, капитан, ведущий свою поэтическую Россию между предательскими мелями и политическими рифами.

*Указ или приказ — как вражеский фугас:  
Уходит флот ржаветь на мели и глубины.  
Я список кораблей прочёл десяток раз,  
А раньше я не мог прочесть до середины.  
Останки кораблей — вдоль русских берегов,  
Но сраму ни они, ни моряки не имут...  
Всё тайные враги... А явных нет врагов,  
И гибнут корабли трагичней, чем в Цусиму.  
Заморские моря грустят без наших рей,  
Но флаги на морях не нашего пошива.  
О флотские сыны — романтики морей!  
Здесь правит не любовь, а зависть и нажива.*

Слова просты, смыслы знакомы, так мы все теперь говорим и думаем, вспоминая недавние годы яростного сражения либералов с советами. Хотя надо сказать, что Борис Орлов и в убийственные “перестроечные” времена не боялся называть высокопоставленного вора — вором, властного убийцу — преступником, не стеснялся покаяться в своих грехах и проступках. Но поэту по силам не только называть большие темы, но удаётся заставить — тебя, меня, нас — действовать, понять, что от поступков каждого любящего Россию человека зависит её судьба и общая победа.

Мне было радостно осознавать свою причастность к этому духовному событию, стоять вместе со всеми, слушать знакомые мне стихи поэта. Я понял также, что поэзии нужна живая, заинтересованная аудитория. Я читал много книг Бориса Александровича, но сила его слова увеличилась многократно в этом звучном исполнении, одухотворённом вниманием слушателей.

Народ долго не расходился, люди задавали вопросы, Борис Александрович подробно на них отвечал, спорил, сердился, убеждал. Думаю, что его знаменитые четыре строчки: “Чёрная подлодка. Чёрная вода. Чёрная пилотка. Красная звезда”, — написанные на Северном флоте, после исполнения в центре Петербурга стали родными и для Балтийского флота, и для невских берегов.

- Борис Александрович, – заговорил первым я, – а вы родом из Петербурга?
- И да, и нет. Моя малая родина – Ярославская земля.
- Ярославская?
- Да, да – она, моя любимая и родная. В деревушке Живетьево Брейтовского района я и родился. Ну, как тебе рассказать о ней? Только так, пожалуй:

*Рассвет. Калиток скрип. Собачий лай.  
Над трубами — дым, свившийся в колечки.  
Живетьево... Черёмуховый край.  
Деревня дремлет меж ручьем и речкой.  
Пыль... Тихо гонят к пастбищу стада,  
Пастуший кнут звучит раскатом грома.  
Такой её запомнил навсегда,  
Когда в слезах простился с отчим домом.  
Живетьево... Зарос и высох пруд.  
Нет “пяточка”, где наша юность пела.  
Другие люди поселились тут,  
Которым нет до прежней жизни дела.  
Труд с совестью вошли в крутой раздрай,  
Взошёл бурьян непроходимой чащей.  
Конюшни нет, капустаника... Сарай,  
Где лён хранился, сломан и растащен.  
Живетьево... Жизнь не всегда права.  
Не вырастили для крестьянства смену.  
Черёмухи спилили на дрова,  
А в дождь в деревне грязи по колено.  
Где удаль? Где отцов и дедов речь?  
В полях растут осины да берёзы.  
Но всплону перед тем, как в землю лечь,  
И белый цвет, и ягод чёрных слёзы.*

Это даже не район, а целый край, – не переводя дыхания, продолжил Борис Александрович, – его история уходит в глубины веков. Географическая особенность Брейтовского района – всегда быть “на рубеже”, “на границе”. Эта территория и называлась порубежной. Поэтому и монголо-татары в 1238 году начали свои завоевания Руси с нашего края. Ты, наверное, знаешь, Михаил Константинович, о знаменитой битве на реке Сить, где прежде непобедимые русичи не смогли задержать нежданного сильного завоевателя. Так вот, эта битва была в моих родных землях. А ещё потому порубежный край, что находится на путях, соединяющих Великий Новгород и Ростов Великий.

Мои земляки издревле славились ткачеством. Во времена Петра I, можно сказать, эта земля породнилась с Санкт-Петербургом. Великий царь задумал сделать Петербург морской столицей, а на землях, ныне входящих в Брейтовский район, решил разместить вспомогательные ремесла.

– Борис Александрович, а какие знаменитые люди России жили на этих славных землях? – заинтересованно спросил я, чтобы по известным фамилиям лучше представить и запомнить историю.

– Да, жили, – сердечно произнёс мой собеседник, как будто вспоминая кровную родню. – История края тесно связана с жизнью и деятельностью потомственных мOLOGских дворян графов Мусиных-Пушкиных. Самым известным среди них был Алексей Иванович – государственный деятель, первооткрыватель великого “Слова о полку Игореве”, историк, коллекционер и собиратель русских древностей.

Брейтовская земля всегда была на границе важных событий, культур и традиций. Знаешь, когда я смотрю на картину Васнецова “Витязь на распутье”, представляю, что вещей камень с указанием путнику возможных путей

находился в наших краях, ведь здесь проходила грань между свободной землёй и покорённой монголо-татарами территорией. Я верю, что камень ещё сохранился, прячется, наверное, в каких-нибудь чащобах, а когда понадобится народу, вновь этот безошибочный указатель окажется на своём месте.

У нас в районном центре театр уже полвека носит гордое звание “Народный”. Больше ста двадцати лет библиотечной системе. В середине XIX века землевладелец генерал Николай Зиновьев освободил крестьян от крепостной зависимости за несколько лет до всероссийской отмены крепостного права. В революционные годы здесь по-своему разграничили прошлое и будущее, впервые в России создали Брейтовскую советскую волостную республику. Когда я был маленький, моя мама с гордостью говорила о нашей земле. Я запомнил её слова на всю жизнь. Тогда я ещё не знал модного ныне слова “патриотизм”, я просто очень-очень любил свою землю, свою Родину, свою семью.

— Борис Александрович, Ярославль — это центральная часть Европейской России. Леса, холмы, поля и топи, откуда же у вас появилось желание ходить по морям-океанам, да ещё не просто моряком на надводном корабле стать, а подводником. Ведь с детства вы не сиживали на берегу мощной реки и не мечтали о дальних плаваниях, глядя в морскую даль.

— Плохо вы географию знаете, уважаемый Михаил Константинович. А Рыбинское море?! Оно ведь всем морям море! — радостно воскликнул Борис Орлов.

— Но это же не море, а водохранилище, вернее, рукотворное море, — покраснев, попытался я исправить свою оплошность.

— А какая разница! Когда плывёшь по Рыбинке, не думаешь, что это рукотворное море. Море ведь тоже сотворено, если не человеком, то Богом. А человек создан по образу и подобию Творца. Так что спорить здесь не о чем. По определению, море — это часть Мирового океана, обособленная сушей или возвышениями подводного рельефа. И ничего в этом определении не говорится о том, кем оно сотворено. А у нас волны — больше двух метров. Ширь — берегов не видно. Сколько помню себя, во мне боролись два страстных желания: быть моряком, как мой отец, и поэтом. Оба с Божией помощью исполнились

Помню наши походы с отцом по Рыбинке — счастливейшие события и лучшие дни моей жизни. Я и сейчас до мелочей, до золотых прибрежных песчинок, до радужных оттенков мелких рыбёшек, снующих под водной гладью, помню красоту нашего моря.

Вот представь, на просторе уже волна, подгоняемая ночным ветром, а мы с отцом на стоянке, где-нибудь посередине “моря-океана”, у необитаемого острова. Вот рассказываю тебе, а сам слышу неспешные разговоры взрослых. Прислушайся, и ты, Михаил Константинович, может, услышишь жужжание комаров, призывные трели неведомой птицы. Приглядишься! Видишь — рог месяца, изобильно рассыпающий по небу спелые звёзды. И волны своими мягкими губами тянутся к ним, лакомятся ночной сладостью звёздного света.

— Прекрасно! В вас сейчас говорит поэт. А я не люблю рукотворные моря. Одно такое погубило мою родную деревню, под водой остался дом, где я родился, покосы и луга, наши поляны, где мы мальчишками играли в войну, набирались жизненной мудрости. И кладбище. Ничего не осталось. Даже поклониться нечему. Думаю, если бы у вас родной уголок был погребён под водой, другая бы картина рисовалась. И настроение было бы иное.

Орлов ничего не ответил, сочувственно вздохнул, но потом попытался возразить.

— Не хочу спорить, — сказал он, — у каждого человека свой взгляд на создание рукотворных морей. Знаю точно: без Рыбинской ГЭС не было бы развития областной промышленности, не работали бы крупные заводы. Кроме того, весенние паводки и летнее обмеление Волги составляли бы массу препятствий для судоходства. Ведь мощный Волго-Балтийский канал связан с Волгой благодаря Рыбинке.

— Сейчас ведь время другое, Борис Александрович, электроэнергетики, как говорится, пруд пруди. Может, разобрать плотину и спустить воду?

— Да, вы не первый, кто говорит об осушении водохранилища. Но когда подсчитаешь расходы и предполагаемую выгоду, в основном эстетического плана, за голову схватишься. Я неоднократно беседовал с бывшими жителями затопленных территорий. Некоторые страдают от ностальгии по своей малой

родине, это правда, вспоминают, какие были заливные луга! Причём это говорят даже те, кто был вывезен с тех территорий в глубоком младенчестве и лугов тех никогда не видел.

А другие резонно возражают:

– Из-за этих заливных лугов в крае постоянно свирепствовали кишечные инфекции. Дизентерия, брюшной тиф и паратиф косили людей сотнями.

Что мы получим при осушении водохранилища? Мы получим огромную пустыню, устланную в основном песком, ведь мизерный плодородный слой давно размыт и унесён течением в Волгу. В эту пустыню будут вкраплены разных размеров лужи и болота, в большинстве мелкие, с застойной цветущей и зловонной водой. Мало того, получим благоприятные условия для массового вы-  
плада малярийного комара.

Весной снова будем получать заливные территории (не луга!), просто мелкие водоёмы, которые, может, и станут лугами, но через десятки лет. А может, и не станут! Многолетние сбросы в водохранилище промышленных отходов предприятий города Череповца, сейчас покоящиеся на дне под толщей воды, выйдут на поверхность, потекут в Волгу, отравляя все водозаборы, находящиеся ниже водохранилища. Частично загрязнения останутся в почве осушенного водохранилища, делая весьма сомнительной возможность и целесообразность рекультивации территории. Да и какой может быть разговор о сумасшедших затратах на рекультивацию, если у нас всё больше возделываемых земель изымаются из использования и зарастают кустарниками!

К условиям водоёма давно уже “притёрто”, приспособлено огромное водное хозяйство: водозаборные и водоочистные сооружения Рыбинска, Тутаева, Ярославля.

А судоходство? Именно водохранилище обеспечивает прохождение судов река-море, грузовых и пассажирских, связь с Волго-Балтом, Беломорканалом. Всё это хозяйство обеспечено причалами и навигационным оборудованием.

Здесь и дешёвая электроэнергия, причём экологически чистая, помогает решить проблему пиковых нагрузок. Кто всё это считал, кто оценивал?

– Да остановитесь вы, Борис Александрович! Если вас послушать, впопру прыгать в Неву от ужасной перспективы. Убедил! Доказал! Но это уже размышления не поэта, а специалиста по обеспечению живучести корабля.

– Извини.

Борис Орлов замолчал, я даже подумал, что его командирский нрав утихомирила, умилостивила окружающая красота. Но через несколько минут он вновь продолжил спор с условным оппонентом, обращаясь ко мне.

– Вы знаете, Михаил Константинович, у нас в стране есть реформаторы, которым бы только выдумать и толкнуть идею покруче, себя показать этими гениями-преобразователями. Вообще реформаторство мне кажется психической болезнью. Помните наших горе-младореформаторов? У них была патологическая страсть всё ломать, всё перестраивать, доводить до абсурда. Весь этот нездоровый их запал ухудшает функционирование устоявшейся системы, причём часто это делается в чьих-то личных корыстных или “корпоративных” интересах. Под шумок можно много “бабок” срубить. Кто распознает, почему пересохли все колодцы в населённых пунктах, расположенных у моря? Кто озаботится экологическими нарушениями?

Я интересовался в деталях этой проблемой. Могу сказать, к прежнему состоянию возврата нет.

Вы поймите меня правильно. Идея осушения или снижения воды в Рыбинке опасна, экономически бессмысленна, экологически сомнительна.

Вода Невы, как будто услышав наш с Борисом разговор, потемнела, нахмурилась. В этот вечер волны Невы были особенно густыми, глубокого стального оттенка, так что казалось, воздух был насыщен приторным запахом прокатного металла. И вся река напоминала огромный зеркальный прокатный лист, уносящий на себе отражения звёзд, прибрежных петербургских красот и наши переживания в далёкие моря.

По Дворцовой площади шли молча. Под аркой Главного штаба Борис Орлов оглянулся назад и, указав рукой на Адмиралтейство, произнёс:

– Вот здесь моя альма-матер была.

– Почему была, Борис Александрович? – спросил я.

– Сейчас Высшее военно-морское инженерное училище имени Ф. Э. Дзержинского, в котором я учился, выселено из этих стен, а сюда переведён из Москвы Главный штаб Военно-морского флота России. Видите, над зданием развевается Андреевский флаг, он символизирует присутствие высшего военно-морского командования.

– Жалеете?

– О чём?

– Что училище переехало.

– Да мне-то жалеть нечего. Я своё получил, учился здесь, в самом центре нашего города, напился великой его историей и военно-морской традицией. Для современного учебного заведения это здание уже, конечно, не подходит. Это почти музей. И то, что сюда переехало руководство Военно-морским флотом из Москвы, считаю правильным. Символичным! Скажу по секрету, специальный факультет, который я окончил, остался пока в здании Адмиралтейства, и курсанты продолжают здесь учиться.

Как будто в подтверждение нашего возвышенного разговора неожиданно, словно из глубины небес, раздался пронзительный звук. Через равные промежутки времени он повторялся и повторялся, охватывая дали, проникая в наши сердца, наполняя их верой и надеждой.

– Наверное, это колокола Исаакиевского собора? – то ли утвердительно, то ли вопросительно сказал я.

– Нет, этот колокола Казанского собора.

Перезвон нарастал, становился многозвучным. Колокола весело перезванивались, как будто переговаривались, спорили, соглашались, постепенно их разные по тембру голоса сливались в единое симфоничное звучание, возвещающее время молитвы. Где-то вдалеке, на Екатерининском канале, заговорили колокола “Спаса на Крови”. Они были от нас далеко, поэтому их колокольная симфония казалась глуше, смиреннее, трагичнее. Да это и объяснимо – ведь это были колокола храма на крови.

Какая великая музыка! Действительно, хочется поднять к небу глаза и молиться. Борис Александрович перекрестился и блаженно вздохнул. Наверное, про себя прочитал молитву.

– Борис Александрович, а вы верите в Бога? – задал я значимый для меня вопрос.

– Если отвечать кратко, – верю. Но по законам Православия я недостаточно воцерковлённый человек. То есть недостаточно связанный с жизнью Церкви, которая требует от прихожанина регулярного участия в богослужениях, в насыщенной церковной жизни, требует от человека умения жить по христианским заповедям, поддерживать отношения с церковной общиной и т. д.

– Прости, что пристаю с вопросом. Так получилось в моей жизни, что я всегда осознавал себя атеистом. Но сейчас, уже в преклонном возрасте, стал всё чаще и чаще задумываться о Господе, о заповедях Божиих, о Божией справедливости и возмездии. О спасении. А как ты пришёл к вере? К Богу?

Сейчас, по-братски, мне было привычнее обращаться к Борису Александровичу на “ты”. Ведь говорят в храме: все мы братья и сестры.

– Вера в Бога – не только убеждённость в том, что Он есть. Вера проявляется в доверии Богу, Божиему Промыслу, в осознании жизненного принципа: “Не как я хочу, но как Ты, Господи. Да будет воля Твоя”. Если человек умеет слышать Божию волю и подчиняться ей, то Сам Господь ему помогает. Мне повезло в жизни. Наша родственница, сестра моей бабушки, была монахиней в монастыре. Монастырь богоборцы разорили, осквернили, но веру отнять у русских людей не смогли. Бабушка вернулась в деревню, купила себе маленький домик и обустроила его подобно келье, стала вести тайную монашескую жизнь. Много, помню, было у неё икон. Тогда в нашем районе совсем не осталось церквей. Бабушка Елена проводила в своей избушке церковные праздники. Мы с сестрой помогали ей. В этой своей келье она нас с согласия наших отца и матери крестила. Уже будучи взрослым, я рассказал одному православному священнику, что был крещён монахиней, и спросил, не нужно ли провести новый обряд крещения.

– Нет, не нужно, – был его ответ. – Таков о Вас Божий промысел. Ведь это всё совершалось в лютые богоборческие времена, когда Церковь в руинах лежала. Хорошо, что Вы были хоть так крещены. И это для Вашей дальнейшей судьбы было благом и спасением.



Борис Орлов опять замолчал, губы его зашевелились, я был уверен, что он молча читал молитву. Наверное, на помин души бабушки Елены. Потом он продолжил.

— Да, бабушка Елена многому нас научила, часто нам говорила, что, когда человек выполняет заповеди Божии, живёт по совести, тогда и только тогда его можно назвать верующим. Вера — это не только безотчётное, всепоглощающее чувство, но состояние ума, воли, сердечных чувств человека. Большинство людей имеют неглубокое духовное зрение, не прозревают замысла Божия, не различают духов зла, доверяются им, ведь в наше апостасийное время их тьмы и тьмы. А Бог знает всё. Поэтому тем, кто на Него уповает, Он помогает. Он помогает воплотить истинно доброе и даёт на это силы, говорила мне бабушка Елена.

Борис Орлов опять задумался. Я его не торопил, и он продолжил свой рассказ:

— Я приблизительно пересказал слова, но эти заповеди бабы Лены хранимы моей душой всю жизнь. И я уверен, что Господь помогает мне. Например, послал таких прекрасных учителей, которыми были Анна Александровна и Николай Романович Бакины.

Это они терпеливо учили нас в деревенской школе арифметической премудрости, чистописанию, чтению по хрестоматии “Родная речь”. Их рассказы о прошлом нашей страны, о природе, о реках, морях и океанах запомнились мне навсегда. Сейчас малыш-трехлётка знает, — а я тогда в первом классе только от них узнал, — что у реки есть исток и устье, а также берег левый и правый.

Борис Александрович счастливо заулыбался. Было радостно следить за его просветлённым любовью лицом, одухотворённым взором. И я отчётливо представлял вместе с ним, как эти незнакомые мне люди, давно ушедшие в мир иной, переживают, заботятся о каждом своём ученике, волнуются об успехах своих маленьких учеников, тревожатся из-за их неудач, приходят на помощь своим подопечным.

— В этом состояла вся их жизнь, их предназначение на этой земле, их человеческий подвиг, — подытожил Орлов. — А моё поступление в военное училище — не чудо ли? Тогда был огромный конкурс. Девять человек на одно место. И я, деревенский паренёк, побеждаю, а многие городские “хорошисты” сошли с дистанции.

А стихи — разве не Божий промысел? Я писал их с тех пор, как помню себя, как говорится, “отроду”. Но поэту нужна оценка. Помню, как в восемнадцать лет со своими опусами я робко пришёл в журнал “Нева”, и первым человеком, которого я встретил, был великий Всеволод Рождественский. И он меня приветил, одобрил, похвалил. Эта его похвала стала моим поэтическим крещением. Конечно, эта встреча — случайность. Но на его месте мог в тот момент оказаться какой-нибудь заслуженный русофоб (и тогда их было предостаточно), и меня с моими духовными стихами о России могли бы унижить, отбить охоту к творчеству.

Мы подошли к Екатерининскому каналу. От небесной колокольной симфонии, от разговора, убедившего меня в существовании помощи Божией, я был в приподнятом настроении. И почему-то здесь мы с Борисом Александровичем почти одновременно вспомнили, что в советские времена канал был переименован в честь великого современника и тезки Пушкина — поэта и офицера Александра Сергеевича Грибоедова. Это имя поныне символизирует высшие смыслы героического служения, верности, любви. На берегу канала Грибоедова, у входа в метро, мы с Борисом Орловым попрощались. Глядя ему вслед, зная его нелёгкую военную службу и писательское служение, я подумал, что, без преувеличения, это достойнейший человек нашего времени.

*г. Петербург*

ЯКОВ АЛЕКСЕЙЧИК

## КОМПЛЕКС БОЛЕСЛАВА

Вспышка антирусских настроений, которая характерна для нынешних польских политиков — да и значительной части польских обывателей, — чаще всего ими объясняется весьма просто. Как заявил один из варшавских журналистов в ходе ток-шоу на московском телеканале ТВЦ, всё дело в том, что после разделов первой Речи Посполитой, завершившихся в 1795 году, поляки более ста лет находились под русским гнётом. Да и до разделов на протяжении примерно такого же времени их короли подчинялись царям. А в социалистические времена пришлось быть послушными ещё сорок. В целом набирается почти три столетия, потому каждый поляк уже рождается с ощущением опасности, которая исходит от большого восточного соседа. Страх перед Россией, по его словам, поселился в его сородичах на генетическом уровне и даёт о себе знать каждому из них при одном только упоминании об этом государстве, потому что поляки в составе Российской Империи были рабами и только рабами, регулярно поднимали восстания, за что почти все прошли через Сибирь. Разумеется, вспоминается и Катынь, в могилах которой, если верить говорящим, лежат попавшие в красный плен родственники почти всех без исключения граждан Польши. Тех же поляков, которые жили в Советском Союзе до Великой Отечественной войны, горькая судьба постигла ещё раньше, утверждается в вышедшей в октябре 2017 года в познаньском издательстве “Рибис” книге под красноречивым названием “Погибли, потому что были поляками. Кошмар “польской операции” НКВД 1937–1938”. В сообщении о ней на портале [histmag.org](http://histmag.org) дважды подчёркнуто, что та операция была нацелена “в каждого поляка, проживающего на территории СССР”, — никак не меньше.

О том, что “в Польше страх перед ней (Россией — Я. А.) даже больший, чем где-либо ещё”, говорит и профессор Института международных отношений Варшавского университета Станислав Белень. Свой вывод он поясняет ещё и тем, что Россия возвращается “к политике геополитического ревизионизма и даже реваншизма”, в результате чего Речь Посполитая оказалась “между новыми конфронтационными действиями”, и “противостоящие одна другой махины Америки и России в случае возможного столкновения уничтожат всё, что окажется на их пути”. При этом в его статье с расхожим уже названием “Страх перед Россией”, опубликованной на портале [kresy.pl](http://kresy.pl) тоже в октябре 2017 года, обращает на себя внимание ещё один немаловажный нюанс: профессор подчеркнул, что между противостоящими сторонами Польша оказалась, “в значительной мере, по собственному желанию”. Вот только почему его страна добровольно пошла туда, где столь велика опасность для неё? И только ли страхом такой шаг был продиктован?

Поток обвинений в адрес нынешней России и русских в Польше возник не вчера и всё заметнее нарастает. Если некоторое время назад обозначилось

стремление поставить на одну доску Сталина и Гитлера и сделать ответственным за развязывание Второй мировой войны не только Третий рейх, но и Советский Союз, то теперь налицо усилила, цель которых — изобразить СССР и его преемницу Россию уже главным виновником той бойни и её последствий. На варшавских берегах зазвучали голоса, что Советы, как там предпочитают говорить, несут ответственность даже за Холокост, хотя он фактически начался ещё до войны, притом в предшествующее ей десятилетие регулярные еврейские погромы вспыхивали не только в Рейхе, но и в Польше. Более того, в Польше они начались раньше, чем печально знаменитая “хрустальная ночь” в нацистской Германии, случившаяся с 9 на 10 ноября 1938 года.

Всё чаще удивляет и “аргументация”, которую используют выходцы с висленских берегов в случаях, когда возникает дискуссия. В октябре 2017 года в одной из передач Романа Бабаяна на ТВЦ польский политолог Якуб Корейба в ответ на вопрос, почему в его стране проявляется неуважение к памятникам воинам, освободившим их страну от гитлеровцев, применил следующий довод: “А кто их в Польшу звал? Нас освободил бы американский генерал Паттон...” Оппоненты от неожиданности не нашлись, что возразить. Например, не спросили, почему, если Речь Посполитая была так важна для западного мира, после нападения на неё Германии, случившегося 1 сентября 1939 года, союзники палец о палец не ударили для спасения Польши, хотя давали ей гарантии заступничества от угрозы нацизма? Почему, даже объявив 3 сентября войну Рейху, даже перейдя границу в Сааре и не встретив сопротивления, французы и англичане, тем не менее, не стали развивать наступление, уже 12 сентября заявив, что “события в Польше не оправдывают дальнейших военных действий”. И тем самым дали понять, что в политических калькуляциях тех, на кого Речь Посполитая делала ставку, она в реальности не значила ничего, хотя все предвоенные годы настойчиво пыталась играть роль великой державы. Отголоски тех претензий на важность заметны и в словах Корейбы, ведь из них тоже можно сделать вывод, что не разгром мирового зла, каким был гитлеровский нацизм, якобы являлся главной задачей советской, британской, американской армий, а освобождение Польши, притом она сама должна была решать, кому именно предоставить такую честь.

Тем не менее, когда звучат заявления подобного рода, понять упомянутую растерянность вполне можно, если вспомнить совет не ввязываться в спор с демагогом, ибо в таком случае надо опуститься до его уровня, но всё равно проиграешь, поскольку у демагога больше опыта в ведении препирательства подобным образом. Оппоненты Якуба Корейбы, понимающие спор как сопоставление фактов, на такое “опущение” и не могли пойти. Но есть и ещё один нюанс, побуждающий помнить и о том, что нет худа без добра. Ведь такие насочки и продемонстрированные в качестве “доказательств” выверты, несомненно, вызовут у многих “обвиняемых” — и не только у них — желание уточнить, что всё-таки в отношениях русских с поляками на протяжении их многовекового соседства происходило в реальности. Тем более, что польско-русские или польско-российские отношения началась не с тех самых разделов первой Речи Посполитой, которая, кстати, была уже не Польшей, а конфедеративным государством, состоящим из Королевства Польского и Великого княжества Литовского. Их история куда больше трёх столетий, и если, всматриваясь в неё, сконцентрироваться именно на препирательствах, конфликтах, исходить только из чувства страха, то, наоборот, можно получить ощущение, что это у русских должно появляться чувство опасности при одном упоминании о Польше и поляках. Значимым поводом для того, чтобы заглянуть в далёкое прошлое, является как раз 2018 год. Будущим летом многие поляки отметят, если захотят, а многие точно захотят, тысячелетие похода, в результате которого войска польского князя Болеслава Храброго захватили не какой-либо окраинный кусочек Руси где-то в Карпатах, не пограничный Брест, что тоже случалось, а сам столичный Киев. Насколько известно, это была первая иностранная оккупация главного по тем временам города в русском государстве. А что касается Бреста, стоявшего на торговых путях, ведущих во все стороны света, то он был захвачен Болеславом ещё за два года до Киева, а потом не один раз переходил из рук в руки. Только Ярославу Мудрому за тридцать лет пришлось четырежды отбивать этот город.

Та первая большая война поляков и русских кое-чем похожа на Троянскую, отзвеневшую бронзовыми мечами ещё три тысячи лет назад. По крайней

мере, началом. Если Троянская случилась из-за Елены Прекрасной – жены спартанского царя Менелая, которую похитил царевич Парис, – то польско-русская вспыхнула из-за киевской княжны, на которую неудачно положил глаз Болеслав. Княжну звали Предславой, и была она дочерью Владимира Красно Солнышко, который крестил Русь, потому величается ещё и Крестителем. Вот только о Троянской, благодаря Гомеру, знают даже школьники, а у славян не нашлось своего сказителя, который бы создал столь же звучную поэму, чего та война заслуживала хотя бы потому, что распространилась на куда большие территории, её жертвой стала столица и трон значительно большего государства. Прав, значит, был Державин, когда утверждал, что в памяти народной лучше всего закрепляется то, что входит в неё “под звуки лиры и трубы”, то есть овеяно, освящено высоким искусством.

Правда, утверждать, что тот налёт на Киев был первым столкновением поляков с русскими, а до этого в их отношениях была сплошная тишь да гладь, всё-таки нельзя. Стычки случались и раньше. Но именно стычки. За пограничные города. Тот же Владимир ходил на Перемышль и Червень и занял их, пишет С. М. Соловьёв в своей “Истории России с древнейших времён”, хотя поляки считали их своими, чехи – своими, а из русских летописцев одни утверждали, что Владимир подчинил себе ещё свободные племена, другие, что восстановил власть над этими территориями, утраченную его отцом Святославом, который увлеклся походами на Волгу и Дунай и упустил из виду дела на западных окраинах.

Польский князь Болеслав Храбрый перед тем, как выдать свою дочь за Святополка, считавшегося третьим сыном Владимира Крестителя и правившего тогда в Турове, тоже совершал поход на земли будущего зятя и только после этого решил породниться. На нынешней белорусской Гомельщине Туров не является даже районным центром, а тогда он был столицей крупного удельного княжества. Можно не сомневаться, причиной той свадьбы была не столько горячая любовь жениха и невесты, которые вряд ли виделись до венчания, сколько соображения иного порядка. Притом заинтересован в ней был и Владимир, иначе она бы не состоялась. В те времена межгосударственные отношения часто строились на династических браках. Так разрешались многие споры, определялась судьба немалых территорий, войны или мира, наследства и прочая, прочая.

Для усиления желаемого политического эффекта от замужества своей дочери Болеслав вместе с ней отправил в Туров епископа Рейнберна, которому предстояло заботиться, чтобы зять, имевший шансы занять главный киевский стол, не упустил из поля зрения интересы тестя и всегда готов был поддержать его. Однако надежды не оправдались. Святополк за два года до кончины отца попал в немилость, был вызван в Киев и посажен в “поруб” – специальный деревянный сруб для заточения узников. Болеслав попытался вмешаться, даже договорился с немцами и печенегами о походе на Русь, однако, пишет в исследовании “Древнепольское государство” историк-славист В. Д. Королук, по пути союзники передрались, и, “расправившись с печенегами”, князь “вынужден был возвратиться в Польшу”. Но С. М. Соловьёв добавляет, что уже тот поход был опустошительным для русских земель.

Святополк после смерти отца в 1015 году всё-таки сел на отцовский трон в Киеве, однако рассорился с братьями, убил Бориса – князя ростовского, Глеба – князя муромского, Святослава – князя древлянского. Он, сообщает “Повесть временных лет”, “помысливъ высокоумьем своим”, решил: “Избью всю братью свою, а приму власть русьскую единь”. Но Предслава сразу же передала брату Ярославу в Новгород, где тот был отцовским наместником, специальное письмо: “Отець ти умерла, а Святополкъ съдѣти в Киевѣ, ѹби Бориса и по Глѣба посла, а ты влюди ся сего повеликѹ”. И Ярослав под Любечем, что на Черниговщине, так побил Святополка, что тот побегал к тестю за помощью. Однако сначала Болеслав предпочёл действовать не военными методами. Польский историк Анджей Зелиньский в книге “Скандалисты на тронах” настаивает на том, что он, дабы всё-таки войти в союз с русским государством или располагать возможностями влиять на него, после смерти своей супруги Эмнильды решил жениться на той самой Предславе – сестре Ярослава, ставшего главным князем на Руси.

Историки расходятся в том, которая из жен Владимира была её матерью. Анджей Зелиньский полагает, что Предславу родила Владимиру греческая

царевна Анна Порфиросная, сестра византийского императора Василия II, другие авторы, а их большинство, утверждают, что Предслава была дочерью Рогнеды Полоцкой. Хотя не сохранилось ни одного изображения княжны, все пишут, что слыла она девушкой необыкновенной привлекательности и имела прекрасное по тем временам образование. Помимо русского языка, уточняет Зелинский, бегло владела греческим и латынью, притом не только устно, но и на письме, что тогда было в диковинку в других европейских странах. Даже почти сорок лет спустя, когда Анна Ярославна – племянница Предславы – выходила замуж за французского короля Генриха I, жених при венчании “расписывался” маканием пальца в чернила. А кроме языков, добавляет Зелинский, мать позаботилась о том, чтобы Предслава усвоила и основы философии – так в те времена назывался комплекс знаний об обществе. Кроме того, она была очень музыкальной, что, тем более, делало её достойной невестой “для наиболее могущественных европейских королевских домов”. Предславу, уверен польский автор, “с детства готовили к большой супружеской карьере”.

И всё-таки в том сватовстве главным побудительным мотивом для Болеслава была не красота будущей жены, хотя таковая, несомненно, тоже имела значение. Он не мог быть равнодушным, в первую очередь, к самой Руси, с которой, напоминает Анджей Зелинский, “дружбы и союза... искали многие европейские короли и князья”. Уж очень большой она стала, распротёршись от Балтийского до Чёрного морей по обе стороны Днепра. А столичный Киев слыл “на востоке Европы вторым после Константинополя городом по богатству и роскоши”, невиданной в соседних западнославянских странах, что подчёркивает уже В. Д. Королук. Кроме того, это был “действительно крупнейший центр ремесла и торговли”. Павел Ясеница – старший коллега Анджея Зелинского – в книге “Польша Пястов” тоже пишет, что Киев “по тем временам был городом огромным и очень богатым”. Одних церквей в нём насчитывало четыре сотни, отмечал и саксонский хронист Дитмар Мерзенбургский, который посещал столицу Руси за год до похода польского князя на этот город, а некоторые летописцы говорили о семистах храмах. Однако, скорее всего, не церкви прельщали Болеслава, крещённого по римскому обряду. Было в Киеве восемь больших рынков, куда приезжали купцы из дальних восточных стран, особенно из Византии, что могло открыть значительные перспективы для польской торговли. И не только польской. Всё это приобретало особое значение для всей восточной и северной Европы в связи с упадком товарного обмена с арабами и персами, подвергшимися нападению турок-сельджуков.

Когда впоследствии Болеславу удалось захватить город, он в течение десяти месяцев беспрерывно отправлял оттуда деньги и товары в Польшу, многие ценные трофеи забрал с собой, уходя из русской столицы, писал Зелинский, а Сергей Соловьёв уточнял, что “Болеслав... захватил себе всё имущество Ярослава”. Пограбить в русской столице действительно “было очень соблазнительно для могущественного, но всё же бедного в сравнении с киевским польского князя”, отмечал В. Д. Королук. Добыча была очень важна, особенно для расчётов с наёмными воинами. Однако были у него и куда более “широкие политические планы”. Движимый желанием создать мощное польское государство, он понимал, что наличие сильных, но не дружественных соседей на западе и востоке способствовать тому не будет. Война с германским императором Генрихом II шла уже полтора десятка лет. Не сложились отношения и с южными соседями – чехами, словаками. Потому возникло желание “поставить под своё исключительное влияние киевский двор”, ибо ещё и “враждебная позиция Киевской державы грозила полным крахом всего политического курса Болеслава Храброго, особенно в условиях перманентного конфликта с Империей”. Да и германская империя, которая тогда именовалась Священной Римской, “прилагала усилия к тому, чтобы столкнуть Польшу с могущественным соседом на востоке” и тем самым направить войну в противоположную от себя сторону. Перед походом польского князя на Русь Генрих II заключил с ним мир и выделил ему в помощь 300 немецких рыцарей и 500 венгров. Напомним, с каждым рыцарем в бой шло ещё несколько его оруженосцев.

Но сначала приезжали сваты от Болеслава.

Тем сватам был дан от ворот поворот, притом с комментарием, граничащим с неуважением. Пятидесятилетнему жениху посоветовали искать супругу соответствующего ему возраста, добавив, что подобных среди сестёр Ярослава не имеется. Впрочем, в том, что касается возраста невесты, есть

серьёзные разночтения. Зелинский полагает, что Болеслава избранница была ещё юной девушкой, другие историки, а их большинство, считают, что к тому времени ей уже шёл четвёртый десяток лет от роду. Титмар Мерзбургский, говоря о том отказе, уточнял, что Предслава тоже не желала стать женой Болеслава, так как ей было известно, что он “толст и склонен к прелюбодейству”.

Почему ответ прозвучал столь резко? В Киеве, надо полагать, были слышаны, что правление Болеслава Храброго даже для тех времён было непривычно жёстким. Став главным на польских землях, одних родственников он изгнал, других ослепил. Пригласив чешского князя Болеслава Рыжего в гости, прямо во время посвящённого встрече пира приказал вырвать ему глаза и бросить его в темницу, пишет Павел Ясеница. На трон в Праге сел сам Храбрый. В этой связи В. Д. Королюк, ссылаясь на хрониста Аделболта, биографа Генриха II, говорит даже о “намерении Болеслава сделать Прагу столицей своей монархии”, ибо Прага была тогда “крупнейшим западнославянским городом, игравшим важную роль в торговых связях Востока и Запада”. Да и владения Болеслава к тому времени достигли наибольших размеров. Помимо собственно Польши, они включали Чехию, Моравию, Словакию, Лужицкую землю, верховья Эльбы, другие территории. Возможно, тогда и родилась извечная польская мечта о Польше “от моря до моря”, неумирающая доньяне. Маршал Юзеф Пилсудский пестовал её в виде Междуморья – конфедерации, которая под польской эгидой включала бы центрально-европейские и прибалтийские государства. В наши дни в Варшаве муссируется идея уже Трёхморья, в которое вошло бы двенадцать стран Центральной и Восточной Европы, примыкающих к Балтийскому, Адриатическому и Чёрному морям. Разница только в названии, суть одинакова: эти страны под руководством Польши должны быть противовесом, конечно же, России и играть заглавную роль в Европе.

Однако уже у Болеслава случился крупный сбой на пути к поставленной цели. Польские войска повели себя так, что через год чехи подняли восстание, заявив, что “лучше быть под немцами”, под протекторатом которых находились до этого. В Праге среди ночи ударили колокола, зовущие горожан к мечу и топору, и именно это, а не весть о приближающихся немецких ратях, заставило польского князя срочно уходить. Он отступил “перед бунтом всего населения, которое набрасывалось на польские отряды”, признаёт Павел Ясеница. Однако последующие действия князя показали, что выводов он тогда не сделал.

Болеславовы ухватки, похоже, влияли и на его туровского зятя. По крайней мере, С. М. Соловьёв, объясняя жестокое отношение князя Святополка к родственникам, полагал, что он брал пример именно с тестя. По его мнению, это “как нельзя легче объясняет поведение Святополка”, распорядившегося убить братьев Бориса, Глеба и Святослава. А Ярослав, скорее всего, знал о судьбе Рыжего, потому решил не давать польскому князю поводов претендовать и на русский стол. Притом положительных чувств к Болеславу, похоже, он не испытывал уже давно, в одно время даже начинал военные действия против польского князя, выступив на стороне германского императора Генрика II, но почему-то они “не были достаточно энергичными”.

Вряд ли тайной для киевского двора были и взаимоотношения Болеслава с женами. Первых двух – немку и мадьярку, которые у него были до Эмнильды, – он просто отправил назад к родителям. После отказа Предславы выйти за него замуж Болеслав женился на Оде – дочери германского маркграфа Эккенгарда, но оскорбление носил в сердце, как занозу, и искал повод “для атаки на Киев”, подчёркивает Зелинский. И тут появился Святополк, потевший трон в борьбе с Ярославом.

По словам В. Д. Королюка, принятию решения об атаке на Киев в немалой мере способствовали и “опустошительные набеги на город печенегов, о которых упоминает Титмар”. С. М. Соловьёв полагает, что они тоже были сделаны по наущению Болеслава. Главным же мотивом, по мнению этого историка, стало то, что “для Болеслава Польского открылись такие же виды на восток, какие он прежде имел на запад”. Говоря иными словами, “на Руси, как прежде у чехов, семейные раздоры приглашали его к посредничеству и к утверждению своего влияния”. Потому он и воспользовался “благоприятным” случаем.

В этой связи следует вспомнить и о том, что почву для тех семейных раздоров – конфликта между сыновьями Владимира, вражды Ярослава и Свято-

полка — создавал и сам Владимир Креститель. Притом делал это вполне осознанно, что следует особо подчеркнуть, с далёким прицелом на будущее, предполагающим укрепление государства. По действовавшему тогда “лествичному ряду” — так назывался порядок наследования власти — в случае смерти великого князя его место занимал старший сын. Поскольку сыновей от разных жён у него было двенадцать, то он сам определил их “ранжир по старшинству”. Первым был Вышеслав — от скандинавки Олавы, вторым Изяслав — от полоцкой Рогнеды, третьим Святополк — от женщины, которая до того, как стать женой Владимира, побыла супругой его старшего брата Ярополка, четвёртым и пятым Ярослав и Всеволод — тоже от Рогнеды. А ещё были Мстислав, Станислав, Судислав, Святослав и Позвизд, Борис, Глеб...

Похоже, к концу жизни Владимир захотел изменить порядок престолонаследования. Вышеслав, правивший в Новгороде, и Изяслав, сидевший на уделе в Полоцке, стоявшим на главном пути между Новгородом и Киевом, к тому времени ушли из жизни, а туровский Святополк, ставший польским зятем, вызвал подозрение, что слишком уж слушается епископа-католика Рейнберна, подстрекавшего не подчиняться родителю и постепенно отходить от византийского обряда в христианстве к римскому. Святополк, как полагает В. Д. Корольюк, готовил “восстание против отца, потому был арестован вместе с женой и епископом Рейнберном”. А С. М. Соловьёв подчёркивает, что успех восстания в политическом смысле был важен не только для Болеслава, но и “для западной церкви — в религиозном отношении, ибо с помощью Святополка юная русская церковь могла быть отвергнута от восточной”. Однако “Владимир узнал о враждебных замыслах”.

Была и ещё одна причина беспокоиться о делах в Турове, о котором летописцы с тревогой писали, что “люто бе граду тому, в нем же князь ун (юн, значит. — Я. А.), любяй вино пити с гусльми и младыми советниками”. Потому-то Святополк после смерти Вышеслава не был “переведён с повышением” в главный после Киева Новгород, а был вызван в Киев и даже посажен в “поруб”. В Новгород же из Ростова Великого переехал Ярослав, возведённый тем самым в статус старшего брата, которому по старым обычаям и предстояло наследовать трон отца.

После смерти Владимира великим князем киевским Святополк стал во многом потому, что отец хотя и смилостивился к нему перед кончиной и выпустил его из “поруба”, но в Туров не вернул. Как считает С. М. Соловьёв, “по освобождению из темницы Владимир уже не отдал Святополку волости Туровской, как ближайшей к границам польским”, а поселил его “подле Киева, чтоб удобнее наблюдать за его поведением”. Однако события повернулись так, что это и помогло Святославу. Оказавшись к престолу ближе других братьев, он сразу сел на отцовское место, начал раздавать подарки, затем приказал убить Бориса с Глебом и Святославом, за что прозван Окаянным и новым Каином. Ярослав пошёл на него с новгородцами. И побил. Святополк поскакал за помощью к тестю Болеславу, которого не пришлось долго уговаривать, поскольку лучшего повода для сведения счётов, чем помощь зятю, придумать было трудно. Тот сразу двинулся к Бугу, на противоположном берегу которого уже стояли воины Ярослава. Сначала произошла перебранка, в ходе которой воевода Будый пообещал пощекотать копьём жирное брюхо Болеслава, отчего тот разозлился, рванул через реку, а за ним всё его воинство.

Ярослав так поспешно уходил в Новгород, что оставил в Киеве свою супругу и сестёр. А Болеслав после вступления в русскую столицу 14 августа 1018 года учинил своё мщение. Ссылаясь на хрониста XI века Галла Анонима, Анджей Зелиньский пишет, что об этом польский князь заранее, притом громко, объявил всему войску. Войдя в город, он вынул из ножен меч и ударил им по Золотым Воротам, а когда люди его удивились, зачем он это делает, ведь битвы уже нет, со смехом пояснил: “Так же, как в этот час Золотые Ворота поражены этим мечом, так следующей ночью будет обещана сестра самого трусливого из королей, который отказался выдать её за меня замуж. Но она соединится с Болеславом не законным браком, а только один раз, как наложница, и этим будет отомщена обида, нанесённая нашему народу, а для русских это будет позором и бесчестьем”.

Насилие над княжной было совершено “показательным способом”. Её привели в зал, где победители отмечали свой успех, а затем в соседнюю комнату, куда сразу же последовал Болеслав. Через некоторое время он вернулся

и был встречен овациями. Вскоре через зал вынуждена была пройти и Предслава. Потом насилие повторялось много раз. Польский князь держал княжну в одной из комнат дворца, в котором располагался сам, и во время всего своего пребывания в Киеве “наведывал Предславу, как только появлялось на неё желание”.

Польские историки, напоминая Зелиньский, утверждают, что Болеслав Храбрый, заняв Киев, не намеревался заменить на русском престоле Ярослава, как это сделал в Праге с Болеславом Рыжим. Но такому утверждению противоречат его действия, следовавшие за вторжением. Известно, что, демонстративно посидев на троне Владимира, он направил специальные посольства с уведомлением об этом германскому императору Генриху II, а также в Константинополь, византийскому императору Василию II, пишет Павел Ясеница. Сообщая о сделанном, он уверял Генриха, что желает сотрудничать с ним и рассчитывает на его дальнюю помощь, а Василию II предлагал дружбу, но предупреждал, что тому будет плохо, если откажется. Одновременно начал в Киеве чеканку серебряных монет с надписью кириллицей “Болеслав”, напоминает Александр Широкоград, что вообще-то вряд ли соответствует суждениям, будто он не намеревался присвоить русский трон. Слова Новгородской и Софийской летописей: “. . . и седе (Болеслав) на столе Володимере”, скорее всего, свидетельствуют о желании подчинить Русь своей власти. Да и с какой стати ему было уходить из столь роскошного города, каких раньше и не видел. Ярослав побит, Святополка в расчёт уже можно и не брать. Однако зять взял да и разругался с тестем, ибо тоже жаждал власти, а воины Болеслава в местах постоя повели себя так, что вызвали гнев русичей и стали в больших количествах оказываться в Днепре, в Почайне, которая в Днепр впадает и в которой тридцать лет назад крестили киевлян, вообще исчезать неведомо где. Пришлось уходить польскому князю из Киева, но Червеньские города всё же оказались присоединёнными к его владениям.

А ещё захват им одного из самых больших и самых богатых городов Европы, называемого некоторыми хронистами соперником Константинополя, впоследствии породил до сих пор живую легенду, которая связана с тем самым мечом, которым Болеслав Храбрый якобы ударял по киевским Золотым Воротам и даже выщербил его тогда. Ей Анджей Зелиньский тоже уделяет много внимания. Дело в том, что через двести лет после того похода — с момента вступления на трон Владислава Локетка (Локотка) в 1320 году — меч, к тому времени получивший название “Щербец”, стал одним из обязательных реквизитов, используемых при коронации польских королей. Правда, историки потом выяснили, что Золотых Ворот во время захвата Киева Болеславом ещё не было — их начали строить два десятка лет спустя вместе с Софийским собором. Давало повод сомневаться в принадлежности меча Храброму и то, что после смерти Болеслава на тогдашнюю польскую столицу Гнезно совершил успешный налёт чешский король Бретислав I и приказал уничтожить всякие напоминания о своём сопернике и противнике, вплоть до разрушения саркофага, профанации болеславовых останков. Трудно предположить, что при такой “зачистке”, замечает Анджей Зелиньский, сохранился бы королевский меч.

Потом появились версии, что меч через пятьдесят лет выщербил правнук Болеслава Храброго Болеслав Смелый, тоже совершавший набеги на столицу Руси. Во время его приходов в Киев никакого “сексуального подтекста” не было, иронизирует Зелиньский, но мечом Смелому помахать довелось, напоминает он. Вот только вряд ли ему пришлось бы в голову хранить испорченное оружие, повредил, да и выбросил, король всё-таки, полагает историк. И не просто было что-то сохранить, даже полюбившееся, поскольку через десяток лет самому пришлось бежать из Польши и умереть на венгерской чужбине.

Автор высказывает предположение, что меч принадлежал какому-то участнику крестового похода на Ближний Восток в Святую землю и стал памятной вещью в семье княжат мазовецких и куявских. А ещё, возможно, он был подарочным мечом, преподнесённым евреями-сефардами калишскому князю Болеславу Набожному за спасение от врагов, их окруживших. К такому мнению подтолкнул и сравнительный анализ меча с другими европейскими изделиями подобного рода, проведённый сотрудниками краковского музея на Вавеле. Анализировались металл, техника исполнения, орнаменты, весьма богатые украшения, описания которых сохранились. Да и внешне походил он больше на ритуальный, парадный меч, нежели на боевое оружие. Однако



надпись на рукоятке “Князь Болеслав” многие продолжают истолковывать так, что речь идёт о Болеславе Храбром, констатирует Зелинский.

К сожалению, судьба Предславы туманна. Уходя из Киева, Болеслав забрал с собой и её, и её сестёр Добронегу, Мстиславу и даже, как утверждают, последнюю жену самого Владимира Крестителя, с которой тот жил после смерти греческой царицы Анны и имя которой осталось неизвестным. В Польше он поселил Предславу “в самом безопасном месте своего княжества, которым считался Остров Ледницкий, под охраной личной отборной дружины”, а потом “не согласился на обмен молоденькой княжны на собственную дочь, жену Святополка, которая тогда оставалась в руках Ярослава Мудрого”. Приказал построить в Острове Ледницком православную церковь. Анджей Зелинский утверждает, что останки той церкви уже обнаружены. А ещё он пишет, что в последние годы своей жизни Болеслав забыл о своей жене, тоже молодой и оставленной в Гнезно, которое тогда было польской столицей, и даже о маленькой дочке Матильде. Каждую вольную минуту он проводил в Острове Ледницком с Предславой. Потерял всякий интерес к делам на Руси. Остался равнодушным к смерти Святополка, который после ещё одного поражения от Ярослава, по одним сведениям, умер от ран и помешательства в Бресте, в связи с чем Брест впервые упомянут в летописях, по другим — где-то на границе между “между ляхи и чахи”, то есть лесий знает где. Вообще перестал заниматься и судьбой своей дочери, выданной им за Святополка. Так до сих пор и неизвестно, где она скончалась, в Киеве или в Новгороде.

Князь “ограничил своё участие в государственных делах, сконцентрировавшись фактически только на усилиях, связанных с получением королевской короны”, чего добивался от Папы Римского четверть века. Внутренним порядком в княжестве и внешними войнами занимался его средний сын, которому предстояло стать королём Мешко II. Желанную корону Болеслав всё-таки надел, хотя согласия от Римского Папы на это так и не дождался. Воспользовавшись смертью императора Священной Римской империи Генриха II, который тоже имел возможность раздавать короны, того самого, которому сообщал из Киева, что сидит на Владимирском троне, он распорядился, чтобы главный символ монархической власти на него возложили польские епископы. Через несколько месяцев первый польский король умер. Немецкий хронист Титмар счёл, что “быстрой смертью” монарх был наказан за самоуправство.

Предслава на Острове Ледницком родила Болеславу двух дочерей. К сожалению, их имена история тоже не сохранила. Анджей Зелинский приводит свидетельства, что одна из них впоследствии вышла замуж за большого вельможу по имени Мецлав. В некоторых источниках его называют Маславом. Он слыл важным человеком при дворе короля Мешко II, главным властителем в Мазовии и даже претендентом на всю власть в Польше. Был у Предславы от Болеслава, видимо, и сын, на что намекает недавно найденная в Острове могила маленького мальчика, относящаяся к одиннадцатому веку. В ней сохранились останки ребёнка, погребённого с очень богатыми украшениями. А отношения между Русью и Польшей после той войны восстановились, притом киевский князь Ярослав принял самое активное участие в судьбе соседнего государства. После смерти Болеслава на трон взошёл Мешко II и по примеру отца решил избавиться от старшего брата Безприма и младшего Отто. Безприм спасался в Киеве, а после смерти Мешко при помощи Ярослава — чудны дела твои, Господи! — стал польским королём, правда, ненадолго, так как был отравлен людьми, подосланными Мешко и Отто.

К Безприму у поляков много претензий: был тираном, отослал корону германскому императору и тем самым лишил Польшу королевского статуса, кроме того, одни говорят, что он хотел навязать Православие, другие — вернуть язычество. Мешко в это время спасался в Чехии, но был пойман и по приказу чешского князя Олдриха кастрирован в отместку за ослепление Болеслава Рыжего. Вернувшись на трон, тоже вынужден был отказаться от королевской короны и согласиться на раздел страны на три части: Малопольшу, Великопольшу и Мазовию, одна из которых досталась ему, другая — Отто, третья — двоюродному брату Дитриху.

Вернул единство государству Казимир — младший сын Мешко II, названный за это Казимиром Восстановителем. В усилиях вернуть единство польского государства поддержал Казимира с востока “владелец Киева, тот самый Ярослав, против которого не так давно ходил Болеслав”, то есть Казимиров

дед Болеслав Храбрый. А с запада на помощь пришли немцы. Зелинский уверен, что “Казимир Восстановитель вернул себе власть в Польше исключительно благодаря немецким и русским штыкам, точнее, щитам и мечам”, так как хаос “между Одером и Бугом угрожал и интересам соседей”. После этого “союз с Киевом стал важным фактором в политике Казимира Восстановителя”, а Ярослав, отметил уже Ясеница, ещё раз продемонстрировал, что он не случайно называется Мудрым.

С русской помощью Казимир подчинил себе и Мазовию. В бою с Ярославовыми ратниками суждено было погибнуть тому самому Мецлаву-Маславу – зятю Предславы, обуянному, как пишет Ян Длугош, жадной славой и власти. Запись в русской “Повести временных лет” тоже гласит, что “Ярослав пошёл на мазовшан и князя их убил Моислава, подчинив их Казимиру”. Но сделал он это не только для прекращения усабиц на польских землях. С Маславом у него были свои счёты. В союзе со славянами-пруссками и литовскими племенами, которые были ещё язычниками, он мешал Ярославу в движении к Балтике.

Казимир Восстановитель потом обратился к Ярославу с просьбой выдать за него сестру Добронегу, уведённую в плен Болеславом Храбрым, которая с тех пор жила в Острове Ледницком вместе с Предславой. И Ярослав, первая жена которого погибла в польском плену, дал на это согласие, поскольку был заинтересован в нормальных отношениях с соседом. Добронегу, став в католичестве Марией, родила Казимиру Восстановителю сына Болеслава, тоже потом надевшего королевскую корону и за дела свои названного Смелым. Болеслав Смелый, утверждает Ян Длугош, был женат на Вышеславе – княжне смоленской или черниговской, тут историки расходятся, но в том, что была она внучкой Ярослава Мудрого, не сомневается никто. Киев он захватывал дважды во время очередной свары русских князей.

Нрав и этот польский князь имел своеобразный. В 1069 году, когда он по зову Изяслава Ярославича явился со своим войском в Киев в первый раз, сообщает любопытный факт Павел Ясеница, Изяслав попросил, чтобы Болеслав “подъехал к нему и дал поцелуй мира, чтобы подчеркнуть уважение к его народу”. Тот согласился, правда, “потребовав по золотой гривне за каждый шаг его коня во время праздника”. Но и на таких условиях “в самый торжественный момент не сошёл с седла, а схватил Изяслава за бороду и оттащил на глазах у всех киевских вельмож”. Не трудно понять, констатировал историк, насколько “доброжелательно” настроило это киевлян к “союзнику”.

Другие польские источники тоже констатируют, правда, очень мягко, что и та “польская интервенция не была позитивно принята на Руси”, поясняя это тем, что “памятливые русины надолго запомнили опустошение Киева Болеславом Храбрым”. Смелый “прокололся” на том же, что и Храбрый. Он тоже разослал свои рати для прокормления по обширным киевским околицам, но там они встретили такое сопротивление, что ему, как и прадеду, пришлось “сматывать удочки”, правда, опять, “прихватив” Червеньские города, возвращённые Руси Ярославом Мудрым.

В целом отношении строились так, что соседи и чубились, то есть время от времени и за чубы друг друга таскали, и любились. Так продолжалось два столетия. За это время русские князья ещё больше перессорились между собой, Киев потерял своё объединяющее значение. И тут появились новые силы, от которых не было спасения, чем не преминули воспользоваться и поляки, и северные соседи Руси – литовцы, многие из которых ещё недавно исправно служили и новгородским, и псковским, и минским, и смоленским, и полоцким князьям.

После того, как орды Батыя разорили и во многом уничтожили княжества южной и западной Руси, польский король Казимир Великий захватил Львов, основанный галицким князем Данилой Романовичем и названный так в честь его сына Льва. Тогда же создалась “просто сказочная конъюнктура для Литвы”, резюмирует Павел Ясеница, которая стала занимать обезлюдёвшие русские провинции, не прилагая особых усилий. Так появилась “Литовская империя”, подчёркивает он, в которой минимум “восемьдесят процентов земель и населения были русскими”. Как образно выразился Александр Широкоград, в Великом княжестве Литовском победило именно название, никаких следов литовского культурного влияния за пределами территорий, на которых проживали предки нынешних литовцев – аукштайты, жемайты, пребывавшие ещё в язычестве, не имевшие собственной письменности, – не обнаружено.

Павел Ясеница добавляет, что оно “при видимости силы в основе своей оставалось слабым”, хотя поначалу представляло серьёзную опасность и для польских владений. Литовцы, став фактическими союзниками Орды, тоже совершали настолько разорительные набеги на всех соседей, что для тех же поляков стало опасным ведение хозяйства на всём правобережье Вислы.

Из создавшегося положения польские короли пытались найти выход старыми методами — с помощью династических браков. Сам Казимир Великий был женат на дочери владетеля Литвы Гедимина Альдоне, ставшей в крещении Анной. Литовку в качестве супруги выбрал он и для своего приёмного сына Казика. Получилось не сразу. Пришлось подождать, пока у соседнего государства возникнут серьёзные проблемы, что вскоре и произошло. Очередной литовский князь Ягайло тоже не поладил с братьями, приказал задушить дядю Кейстута, грозившего ему свержением, утопить тётку Бируту. Вскоре княжество доводилось до того, что создало себе противников почти по всему периметру своих границ. С одной стороны, Русь, с другой — меченосцы с крестоносцами, с третьей — Польша. И тут ловкий ход сделали поляки, очутившиеся примерно в такой же ситуации, что и литовцы, особенно после приглашения на берега Балтии рыцарей Тевтонского ордена. Звали их якобы для борьбы со славянским племенем прусов-язычников, но, как оказалось, и на свою голову тоже. Вырубив прусов, те взяли и за их соседей, завяв польскому королю, что своими мечами достанут его даже в Кракове. Вот тут-то поляки и предложили своему недавнему врагу Ягайло не только королевскую дочку, но и королевскую корону, однако взамен за принятие католичества им и его подданными и обязательство делать то, что ему скажут.

После согласия, достигнутого в замке в Крево — теперь центр сельсовета на Гродненщине, — последовало ещё полдюжины уний, вследствие которых жизнь в княжестве всё больше перестраивалась на польский манер. По словам Александра Широкограда, непольские кости постепенно обрастали польским мясом. Совместно отбившись от крестоносцев, даже побив их под Грюнвальдом, со временем поляки и литовцы стали пробовать “на зуб” и Русь, особенно во времена, когда там случалась очередная *замятня*. Правда, Павел Ясеница утверждал, что их на такие дальние цели подбили привыкшие к разбою литовцы, но постепенно и здесь главными становились поляки. Король Стефан Баторий ходил на Псков, Сигизмунд III — уже на Москву. И, казалось, желанный результат столь близок. В Кремле — польский гарнизон. Царём провозглашен Владислав — сын Сигизмунда. Бывшего царя Василия Шуйского отвезли в Варшаву, где он кланялся королю Речи Посполитой и присягал ему на верность. Однако ни Сигизмунду, ни Владиславу в русской столице побывать так и не удалось. Оккупанты и здесь повели себя так же, как когда-то в Киеве и Праге, и её жители тоже подняли восстание. Комендант польского гарнизона Госсевский, пытаясь усмирить их, приказал поджечь Москву, отчего выгорел Белый город, Китай-город, Замосворечье, но всё равно пришлось включать “задний ход”.

Владислав, став королём Польши, любил во время торжеств надевать специально изготовленную “московскую корону”. На колонне, которую он распорядился установить в честь отца, было выбито, что его венценосный родитель “взял в неволю вождей московских, столицу и земли московские добыл...” Он и сам пытался покорить с Москвой, в чём ему помогали запорожские казаки, но чуть не попал в плен, от которого его спас Богдан Хмельницкий, за что был награждён золотой саблей. Шестивековой накат на восток обернулся для поляков куда более быстрым откатом, закончившимися столь памятными и болезненными для них разделами.

Теперь политики на Висле пытаются представить дело так, что главным “раздельщиком” была Россия, хотя даже польские серьёзные исследователи признают, что инициатором и локомотивом того процесса стали Австрия и Пруссия, а довели свою страну до распада магнаты и крупная шляхта, ею правившие и не желавшие что-либо делать для укрепления своего же государства, дабы оно не ограничило их самоволия. Прусский король Фридрих II язвил, что там даже трон являлся предметом торга, как любой иной товар, о чём напоминает британский исследователь польской истории Норман Девис. Он же добавляет, что Речь Посполитую называли посмешищем, кабаком Европы. Не случайно против разделов не протестовали ни Британия, ни Франция, ни Швеция, ни Турция. Да и с какой стати им было протестовать, если первые два раздела утвердил сейм той самой Речи.

Как ни странно, в контексте суждений о тех разделах почему-то не звучит вопрос, а могла ли императрица Екатерина не участвовать в них, предоставив, предположим, возможность решать польскую судьбу австрийской эрц-герцогине Марии-Терезии и прусскому королю Фридриху. Ведь Россия, тогда воевавшая с Турцией, как раз не стремилась к разделам, поскольку ей выгоднее было граничить со слабой Речью Посполитой, чем с мощной Австрией или набирающей силу Пруссией. В то же время оставаться в стороне, ничего не взяв она не могла. И дело не только в том, что речь шла о землях, входивших ранее в русское государство, и, скорее всего, для царицы “разделы Польши не были чем-то более заслуживающим наказания, чем осуществлённые Польшей разделы Руси в XIV и Пруссии в XV в.”, о чём впоследствии прямо говорил германский канцлер Отто фон Бисмарк. Суть состояла в том, что в случае “раздела на двоих” границы Австрии и Пруссии оказались бы у Днепра и Западной Двины, у Риги, Смоленска и Киева, на что России согласиться было невозможно.

В Польше до сих пор звучат сожаления, что Сигизмунд со всеми своими войсками не пошёл на помощь взявшим Кремль отрядам, потому те вынуждены были капитулировать. А если бы пошёл, смог бы взять “давние царские богатства, заплатил бы долги своему рыцарству”, затем “собрать бояр, успокоить их и разрулить всё по своей воле”. Помешало, оказывается, то, что “прельщённые триумфами поляки ни о чём ином на сейме не говорили, только о том, как поделить на провинции завоеванную Московию”. С потерей той победы, похоже, в Польше никак не могут смириться до сих пор. Недавно историк Дариуш Кухарский предложил “перед главными воротами Королевского замка в Варшаве вкомпоновать в дорожное полотно плиту с надписью: “29 ОКТЯБРЯ, 1611 ГОД, РУССКАЯ ПРИСЯГА, КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК В ВАРШАВЕ”. В тот день Шуйский бил свои поклоны.

Кстати, потомки тех, кто поджигал Москву во время Смуты, через двести лет, уже после разделов Речи Посполитой, ещё раз получили возможность, что называется, отвести душу. В походе Наполеона на российскую столицу их было сто тысяч. Последнему польскому королю Станиславу Понятовскому такая армия и не снилась. Старший научный сотрудник Института истории РАН В. А. Артамонов заметил по этому поводу, что столько “поляки не собирали никогда, начиная с X в.”. А Норвид Девис напоминает, что корпус Юзефа Понятовского – племянника последнего короля Речи Посполитой – был единственным национальным воинским формированием “среди всей солдатской мешанины”. Притом подчёркивает, что поляки “шли в авангарде, до Смоленска дошли в августе... дрались под Бородино... в сентябре вошли в Москву” и “через двести лет после сожжения столицы России Госсевским снова увидели пылающий город”. Как свидетельствуют другие источники, в неистовствах, поругании, осквернении святынь с поляками “соревновались” только баварцы.

В самой Польше проводились благодарственные мессы, парады, артиллерийские салюты, срочно возводились обелиски, газеты писали, что “наглый москале преклонил дрожащие колена”. Видный поэт и прозаик того времени Казтан Козмян на встрече в варшавском Обществе друзей науки прочёл “Оду на пожар Москвы”, в которой в качестве своеобразной итоговой черты прозвучали слова: “Где то чудовище природы, тот гигант, то пугало народов...” Однако руководитель общества Станислав Сташиц всё-таки посоветовал Козмяну не публиковать оду до окончания войны, так как “гигант ещё стоит и борется”. И не ошибся. Из ушедших походным маршем на восток, по словам Нормана Девиса, вернулся только один из пяти. К сказанному добавим, что, когда Польша оказалась под российской короной, с Казтаном Козмяном ничего плохого не случилось. Он присягнул новому государю. Стал сенатором. Впрочем, император Александр простил и воевавших против него под Смоленском, Бородино, Малоярославцем, на Березине. Утверждают, лелеял надежду, что поляки вспомнят об общих с русскими славянских корнях.

Те разделы и войны сказались и на судьбе меча “Щербец”. После того, как в Краков 15 июня 1794 года вступили прусские войска, сотрудник королевских хранилищ Зубжицкий за солидное вознаграждение указал, в каком костёле спрятаны главные государственные реликвии. Меч был отправлен в Берлин. По завершении наполеоновских походов “Щербец” оказался у российского посла в Париже Карла Осиповича Поццо ди Борго, который коллекционировал оружие прежних времён. Тот подарил меч российскому императору Николаю I, считавшемуся одновременно и польским королём, а Николай передал его

в главный Санкт-Петербургский музей Эрмитаж. Так пишет Зелинский, хотя некоторые авторы полагают, что меч царю дарил другой посол, тоже коллекционер – Александр Базилевский. В Польшу “Щербец” вернулся после заключения в 1921 году Рижского договора между Советской Россией и второй Речью Посполитой. С началом Второй мировой он вновь “путешествовал” до Франции и Канады и домой попал только через двадцать лет. Никаких драгоценностей на нём давно уже нет. Ещё во время наполеоновских войн их приказал снять прусский король Вильгельм III для погашения долгов своего двора перед Берлинской дирекцией морской торговли. Тем не менее, меч в Польше числится среди самых почитаемых государственных реликвий и хранится в бывшем королевском дворце в Кракове. Как-никак, пусть по легенде, но им ударили по воротам древней русской столицы.

Поход тысячелетней давности, с которым меч ассоциируется, оставил в памяти поляков столь глубокий след, что после взятия Киева в мае 1920 года войсками Пилсудского они сравнивали этого маршала именно с Болеславом Храбрым. Как польские легионы там очутились? Речь Посполитая, возродившаяся 11 ноября 1918 года, упорно желая отодвинуть свои границы как можно дальше на восток, воспользовавшись гражданской войной на просторах рухнувшей Империи, пошла войной на литовцев, белорусов, украинцев, тоже провозгласивших свои республики. Уже через десять дней она захватила Львов, ставший столицей Западно-Украинской Народной Республики. БССР подверглась польскому нападению через полтора месяца после своего возникновения, притом Польша игнорировала государственность тех же белорусов как в советском, так и в националистическом варианте. Белорусы – это ноль, заявил тогда Пилсудский. Такое же отношение она продемонстрировала к суверенным устремлениям литовцев, мол, их слишком мало, потому пусть останутся под польской опекой. Не признала и советское правительство России, которое сразу же признало её.

В результате той многосторонней агрессии, а именно так называли польские действия даже британский премьер Дэвид Ллойд-Джордж, Литва потеряла столицу – город Вильнюс с окрестностями, Белоруссия – почти половину своих земель, а Западно-Украинская Народная Республика и Галицийская ССР и вовсе приказали долго жить, поскольку их территория вошла в состав новой Речи Посполитой. Вернуть потерянное литовцам, белорусам и украинцам удалось только в сентябре 1939 года силами всего Советского Союза. Но теперь Союза нет, и за Бугом вновь звучат голоса больших политиков, что Польшу просто невозможно представить без Львова. В минувшем ноябре во время празднования очередной годовщины польской независимости демонстранты в Варшаве впереди многотысячной колонны несли транспарант, на котором было написано, что они помнят и Вильнюс. Польское Вильнюс, разумеется. Не зря, значит, говорят, что нынешний гомо-сапиенс – это одновременно и тот человек, который жил и сто, и тысячу лет назад, с его фантомными болями, фобиями, ревностью, несбывшимися мечтами, выщербленными мечами...

Тысячелетний “спор славян между собою” превратился в польский комплекс, в основе которого теперь лежит, похоже, уже не только, даже не столько боязнь России, в борьбе с которой они так и не добились желаемых результатов, сколько удовольствие от любой неприятности, сваливающейся на русских. Или хотя бы воспоминание о ней. Именно на такую ассоциацию наталкивает, например, публикация, появившаяся в октябре 2017 года на интернет-странице варшавской газеты “Речь Посполитая”, тоже привлекавшая внимание “характерным” заголовком: “В глазах у русских был страх”. Под ним был опубликован материал, тоже посвящённый юбилею одной из побед над русскими. На сей раз – 60-летнему. Речь о том, что 20 октября 1957 года польская сборная по футболу со счётом 2:1 нанесла поражение сборной СССР, в которой, подчёркивается специально, тогда играли непревзойдённые Лев Яшин, Эдуард Стрельцов, а всего годом ранее она завоевала золотую олимпийскую медаль в Мельбурне. Это был первый отборочный матч чемпионата мира, разыгранный в послевоенное время на территории Польши, и тот выигрывает, утверждается поныне, “был чем-то большим, чем победа на футбольном поле”. Можно ли удивляться, что за тысячу лет не забыт поход Болеслава Храброго! Не с него ли началась мечта о том, чтобы “в глазах у русских был страх”?..

г. Минск

АЛЕКСАНДР НЕСТРУТИН

## “У НЕТАЮЩЕГО СНЕГА НА КРАЮ...”

(О поэте Николае Дмитриеве)

1

Память прихотлива. Казалось бы, ну, что ей стоит воротить дорогое тебе минувшее во всей его полноте, с прямо-таки бесценными теперь мелочами-подробностями... Ан нет: мелькнёт что-то обрывчато-расплывчатое, как на исцарапанной киноплёнке послевоенных лет, заденет сердце, и – нет его, растворилось, растаяло.

И сидишь, прикрыв глаза рукой, и надеешься: вдруг вернётся?

Пытаешься теперь уже усилием воли вернуться в далёкие годы: что-то домысливаешь, додумываешь, и при этом – невольно – высветляешь что-то, кладёшь ретушь. Восстановленная таким образом картинка порой получается далёкой от оригинала, но расстаться с ней жалко. И ты пытаешься её сохранить. Берёшь чистый лист бумаги и выводишь на нём первую строку...

Из самого первого, сквозьтуманного, не имеющего точной датировки, но уже – нетмнимо-личного: старая прялка, сгорая в печи, согревает озябших людей, которым негде (и нечем) больше согреться. Но прялку всё-таки жалко – она “затейливой работы”, чьё-то овеществленное умение в ней, чей-то художественный взгляд, может быть, даже чья-то судьба.

*Не помнят старожилы давно такой погоды:  
Метель срывала крышу, царапалась в окно...  
В печи пылала прялка затейливой работы,  
Рассохшаяся прялка, забытая давно.*

Да, случай с прялкой – не подробность моей жизни, но действительность особого рода – художественная. И создал её – размыто-зримую, волнующе-влекущую – совсем мальчишка, мой ровесник. В журнальной публикации (кажется, это журнал “Юность”) обозначено имя, которое мне ничего не говорит, – Николай Дмитриев. Наверное, мы с ним чем-то похожи, иначе откуда бы взяться при первом знакомстве с текстом чувству родственной вовлечённости, радостного узнавания?

Случай, о котором идёт речь в стихотворении, похоже, придуман, но я, студент юрфака, уже наученный чётко вычленять причинно-следственные связи и логические закономерности, почему-то не хочу этого видеть. И замечаю

не очевидную художественную условность ситуации, а такие, в сущности, мелочи. Например, то, что лирическому герою стихотворения тоже эту прялку жалко...

*В пыли и в паутине, узорный круг расколот,  
Её когда-то грело тепло девичьих рук...  
Но что я мог поделат? Стоял собачий холод,  
И не было ни щепки на сотни вёрст вокруг.*

А ещё для меня важно, что не для себя же, не для собственного комфорта сжигает лирический герой “тепло девичьих рук”.

*И возвращались люди, усталые и злые,  
И удивлялись люди: откуда здесь дрова?  
Потом к огню садились, от холода немые,  
Отогревать у печки улыбки и слова.*

*Усаживались тесно. И каждый прялку видел:  
В горячей позолоте она жила пока  
И выпрядала нити. Последние из нитей,  
Те, что соединяют трубу и облака.*

Тогда, в семидесятых (шёл семьдесят третий или семьдесят четвёртый год), вряд ли я знал такое умное слово, как “умозрительность”. Но то, что с точки зрения событийной стихотворение было не слишком убедительным, понимал: что же это за место такое, где есть старожилы, старая прялка – и в то же время “ни щепки на сотни вёрст вокруг”? Опять же, люди “усталые и злые” – кто они, откуда взялись, куда возвращались? Что их там, в этих гиблых местах, держало?

Все эти “нестыковки” даже для меня, не слишком искушённого в тонкостях поэтического ремесла начинающего стихописца, были очевидны. Но странное дело: при явной условности созданного в этом стихотворении художественного мира, во взгляде автора я не видел и крохотного отсвета фальши: он действительно видел это.

Сочетание внутренней чистоты автора с романтической приподнятостью поэтического рисунка создавало ощущение неповторимости и даже подлинности происходящего, как действия некоей волшебной, грустно-светлой сказки. Сказки, поделившейся со мной неустрашимой правдой поэзии: не мука, а “горячая позолота”, не смерть, а нить, соединяющая, роднящая эти две гордые стихии – землю и небеса.

А это уже более сфокусированная картинка, может быть, потому, что более поздняя? Воронеж, весна семьдесят шестого. Тает снег, солнечные зайчики обнимаются с мокрыми ветвями, “солдатиками” ныряют вниз, заставляя смеяться чёрные тротуарные лужи. Я шагаю, не разбирая дороги; в руках – тонюсенькая молодогвардейская книжица, где на обложке, на фоне сельских далей и высоких облаков – танк на пьедестале. И название, похожее на только что оттаявшую береговую лозину-талину: “Я – от мира сего”.

И знакомое имя – Николай Дмитриев.

Я её, эту книжицу-тетрадку, уже “проглотил” – в магазине, в троллейбусе, на ходу. В ней есть и грусть, то явная, то затаённая, но мне кажется она дышащей белым парком проталиной в родной моей придонской степи. Или – ластящимся к той проталине солнечным зайчиком, сумевшим проскользнуть сквозь серую вату туч. Проталина, солнечное пятнышко – как недолговечны, как уязвимы они и в житейско-природном, и в метафорическом своем бытовании!

А поди ж ты: не страшна им ни схватывающаяся по макушкам бугров белыми бурунами позёмка, ни вечерняя ранневесенняя подморозь, ни подступающая тенью оттаявшего берегового чернолесья темнота.

Им не страшна жизнь, как тому отчаянному цветку с таким русским именем, золотящему ранним цветением своим только что проступивший из-под снега суглинок вдоль обрыва.

*Над обрывом мать-и-мачеха цветёт,  
Золотой пыльцой по просеке метёт.*

*Не в горшочке, не в теплице — не в раю,  
У нетающего снега на краю.*

Потом я эту книжицу не раз и не два перечитаю, не запоминая даже — вдыхая, впитывая в кровь, как вечерующее мартовское заречье, эти холодящие грудь, прозрачно-строгие, хрестоматийные строки:

*В пятидесятых рождены,  
Войны не знали мы, и всё же  
В какой-то мере все мы тоже  
Вернувшиеся с той войны.*

*Летела пуля, знала дело,  
Летела тридцать лет подряд  
Вот в этот день, вот в это тело,  
Вот в это солнце, в этот сад.*

*С отцом я вместе выполз, выжил,  
А то в каких бы жил мирах,  
Когда бы снайпер батьку выждал  
В чехословацких клеверах?!*

Это и обо мне тоже: отец мой всю войну прошёл — на передовой, в ствольной противотанковой артиллерии.

Это о почве и воздухе, о вечном долге нашего поколения (лучше и спустя десятилетия не сказал никто), но ведь не только об этом, верно? А судьбы наших родителей, грозная година страны, кровная связь поколений — разве не стоит всё это в глубинах этого строгого поэтического образа?

Можно сказать, сразу и эпос, и лирика, и драма — в трёх четверостишьях...

Не менее ёмко и точно сказано и о том, что, в силу возраста автора, вроде не могло, не должно было ему открыться. Хотя почему — не должно? Ведь и самого Николая, по рождению и мироощущению — человека сельского, равнинного, речного да лесного, жизнь рано попыталась оторвать от корней. Он удержался, но разве чужой была ему дума-боль старого деревенского человека, который оказался вдруг (“Внучка деда привезла, на девятый вознесла”) в оторванном от земли, каменном мире?

*Ночью дед вставал — не спится,  
Письма сверстникам писал.  
Словно раненая птица  
Над балконом нависал.*

*Думал: что теперь в деревне,  
Живы ль, нет его друзья?  
И что старые деревья  
Пересаживать нельзя.  
 (“Парк насажен, лифт налажен...”)*

Правду люди говорят: в родниковом срубе глубину взглядом не вымеришь. Кажется, опусти только руку в воду — и тут же тронешь вихрящиеся у воронки-истока белые песчинки. А попробуешь дотянуться — не тут-то было.

Так и в Колиных стихах: глубина — родниковая.

А то, что принято именовать любовной лирикой, звучит у него как восторженный вздох, как порыв ветра в молодой листве, как целование светоносных девичьих рук обветренными мальчишескими губами.

*Пусть придёт потоп  
Или смертный вихрь,*



*Пусть сама потом  
Ты забудешь их —  
Как на трёх китах,  
Как на трёх слонах,  
Мир стоит на трёх  
На твоих словах.*

Как близко, как дорого мне всё это было...

Через несколько месяцев, окончив университет, я, молодой-зелёный, уехал работать следователем прокуратуры в отдалённый сельский район. Осень, глушь, ранняя темнота, съёмный угол в чужом доме, ни друзей, ни знакомых. Но потянешься таким вот неласково-долгим вечером к стопке книг на столе, найдёшь на ощупь заветную — и вот он, Коля Дмитриев, перед тобой, с чуть виноватой своей улыбкой.

Он не утешает, он просто рассказывает тебе о жизни — разве о своей только?

*За окном просёлок хмурый  
Да кротоми взрытый луг.  
Я — полпред литературы  
На пятнадцать сёл вокруг.*

*Много теми, много лесу,  
Всё трудней приходят дни,  
А дипломе что там весу —  
Только корочки одни!  
(“Из письма в институт”)*

И становится легче. Ведь ты уже не одинок.

Так и пережили мы с Колей те тёмные ночи и трудные дни.

Через время, уже по весне, дал я почитать книгу “Я — от мира сего” одной знакомой девушке, горожанке, с трудом привыкавшей к чужой для неё сельской жизни. Девушка та вскоре уехала в город, насовсем, а книгу мне не вернула. Наверное, забыла. Но с Колей Дмитриевым это нас не разлучило: он стал всё чаще заходить ко мне в гости — публикациями в альманахе “Поэзия”, новыми книгами.

Так и идём вместе по жизни — и теперь, когда его уже нет на этом свете...

## 2

Но кто же он такой, этот дорогой для меня (и, знаю точно, ещё для многих и многих) человек, большой русский поэт со стеснительно-внимательным взглядом? Отвечая на этот вопрос, без биографических подробностей не обойтись.

Николай Фёдорович Дмитриев родился в селе Архангельское Рузского района Московской области в семье сельских учителей. Случилось это в 1953 году, на Татьянин день, 25 января. Отец, Фёдор Дмитриевич, фронтовик, умер рано — “в васильковом, в ненавистном, в шестьдесят шестом”. Мама Николая, Клавдия Фёдоровна, пережила своего мужа всего на десять лет. Смерть родителей глубоко повлияла на Николая, став одной из сквозных тем его творчества.

*Усталое сердце твоё замолчало,  
Но дом ты поставил, отец.  
И это подворье не кол и мочало,  
Не просто конёк и венец.*

*Углы не кропили, порог не святости,  
Но, нежить и нечисть круша,  
Здесь тихо сияет, как вечный светильник,  
Твоя фронтовая душа.*

Поэзия не может воскресить дорогих нам людей, но ей под силу своим прикосновением даровать нам благодарную память вечную – как тихий, врачующий душу свет.

*“Налей ежихе молока,  
И жабу чёрную почаше  
Ты от пчелиного летка  
Гоняй”. Молчат глухие чащи.*

*Страдать природе не дано.  
В окне листва молчит резная.  
Записка мамина давно  
На сгибах вытертых — сквозная.*

И даже когда “наступит темнота”, она, поэзия русская, клонясь к страдающему сердцу, найдёт, подскажет выход.

*Сейчас наступит темнота,  
До глаз и сердца доберётся.  
Мне двадцать шесть. Я сирота.  
Усынови меня, берёза.*

Николай Дмитриев, чистый родник глубокого, совестливого русского слова, был усыновлен – берёзой, бором, землёй, “исклёванной дождём”. Безвестной “речонкой Тарусой” – и куда более именитой, звучной рекой Рузой. И – Родиной, тогда ещё большой и сильной (“Есть созвучье – Руза и Россия, // Есть созвучье, но не в звуках суть”).

И он всю жизнь старался их не подвести.

После окончания пединститута работал в родном Рузском районе учителем в сельской школе, служил в армии – далеко, в Казахстане, у озера Балхаш. И – походя вроде, не отходя далеко от повседневных забот и тревог, – писал стихи. О чём писал? О главном.

*“Пиши о главном”, — говорят.  
Пишу о главном.  
Пишу который год подряд  
О снеге плавном.*

*О жёлтых окнах наших сёл,  
О следе санном.  
Считая так, что это всё —  
О самом-самом.*

*Пишу о близких, дорогих  
Вечерней темью,  
Не почитая судьбы их  
За мелкотемье.*

*Иду тропинкою своей  
По всей планете.  
И где больней — там и главней  
Всего на свете.*

Так и жил он, Коля (именно так, с теплом и душевной приязнью, называли его многие коллеги-литераторы) Дмитриев, – “где больней”. В советское время у него щедро, большими тиражами выходили книги (“О самом-самом”, “С тобой”, “Тьма живая”). И премиями-почестями его не обходили (помимо прочих, и престижную по тем временам премию Ленинского комсомола получил). Но он не менялся, не “бронзовел”, не черствел сердцем. Цвёл, как та мать-и-мачеха, “у нетающего снега на краю”. И снова и снова сверял жизнь свою с судьбой страны, советовался с незримо шедшими рядом с ним родителями.

Вот он, молодой, но уже известный поэт, говорит с мамой – в стихотворении с таким непривычным, режущим глаза названием “47 руб. 45 коп.”:

*Ты жила на пенсию такую,  
Но писала: “Ничего, кукую.  
Куры пролезают в городьбе”.  
И ушла в немислимые дали.  
Мне сегодня, мама, деньги дали  
За стихи о доме, о тебе.*

*Яркие бумажки протянули,  
Словно бы осину тряханули  
И листву советуют сгрести.  
За стихи о тёмном, бедном доме!  
Ох, и жжёт листва мои ладони!  
Ну, куда, куда её нести?*

Трудные, горевые строки... И наверняка ведь “знающие”, “умные” люди отговаривали, и не только от названия: дескать, чего старое бередить... Не отступился. Наверное, и потому, что были рядом с ним и другие люди – настоящие.

В какой-то мере рано умершего отца заменил Коле редактор молодого гвардейского альманаха “Поэзия” Николай Старшинов, поэт проникновенно-честного голоса и не слишком ласковой судьбы. Это к нему, умеющему “погибать между строчек, воскрешающих веру в слова”, обращался молодой поэт с сыновней, по сути, просьбой-признанием:

*Не оставь эту землю до срока,  
Не погасни, как вечер в окне.  
И люблю я тебя одиноко,  
От влюблённой толпы в стороне.*

Николай Константинович умер в 1998 году. Кто же мог тогда предположить, что любимый ученик переживёт его всего на семь лет...

Жизнь всегда неласкова к поэтам. А тут ещё такое потрясение – страна распалась. А вместе с ней распались люди. Те, кто побойчей да понаглей, пошли по головам своих сограждан к вожделенному корыту. К власти пришли дельцы, готовые ради удовлетворения своих политических амбиций мать родную продать. Такие понятия, как совесть, честность, сострадание, патриотизм, были публично затоптаны в грязь и осмеяны. “Пятая колонна”, рядившаяся в одёжки передовой советской интеллигенции, публично, “под камеру” жгла партбилеты. Спортсмены уходили в рэкетеры, школьницы – в “интердевочки”.

Николай Дмитриев тяжело переживал этот слом. И, конечно же, не мог молчать.

*Свобода слова, говоришь,  
И всяческой приватизации?  
Москва похожа на Париж  
Времен фашистской оккупации.*

*Пусть продают кругом цветы,  
Пусть музыка и пусть движение,  
Есть ощущение срамоты  
И длящегося унижения.*

Не могли обмануть его и некие “публичные жесты”, с помощью которых нувориши, эти новые служители мамоны, якобы из благих побуждений, пытались, что называется, “сделать себе лицо”, получить отпущение грехов. Во все не будучи недоброжелателем Православия и Церкви, Николай Дмитриев откликнулся на одно из знаковых событий новейшей российской истории по-некрасовски горькими и честными строками:

*Храм возводится, нищих плодя.  
Положили кирпич — застрелился  
Офицер молодой, не найдя  
Ни буханки в семью, как ни бился.*

*Кто-то сытый, из новых, из этих:  
— Возрождается Русь! — говорит.  
Купол краденым золотом светит,  
Словно шапка на воре горит.  
(“На строительство храма Христа Спасителя”)*

Это ли не голос гражданина, не страшась говорить правду в лицо и властителям, и так называемому “общественному мнению”? Общественное мнение закавычено мной не зря: его роль давно уже, под шумок “демократических” перемен, присвоили себе самые отвязные либеральные СМИ и так называемые “элиты” — всякого рода гниль и плесень, — пытающиеся изжить, скрыть, заместить собой русское чувство и русскую мысль.

С таким мнением русскому поэту считаться не пристало. Он и не считает-ся. И потому намеренно говорит о другой своей боли — разрушении села, — не чураясь “модной” риторики самой либеральной тусовки. Контраст получается просто убийственный.

*На мгливой заре XXI века  
Я славлю борцов за права человека.*

*За чёрную воду гнилого колодца  
С тяжёлой бадьёй вылезает бороться*

*Старухи в обносках и парень-калека —  
Четыре борца за права человека.*

*Им надо бороться, и не понарошку,  
За право своё на дрова и картошку.*

*А значит, на жизнь — это главное право...  
Скрипуч журавель, а ворона картава.*

А “мглистая заря” всё длилась и длилась, и никак не наступал день. Пытаясь его приблизить, поэт не щадил себя, не берёг. Хорошо знал, что надолго его не хватит, и того не страшился. О другом он думал, куда более для него важном:

*Осталось уж не так и много  
Скрипеть до смертного конца.  
Я знаю: у того порога  
Увижу хмурого отца.*

*Увижу орденские планки,  
Увижу ясные глаза.  
Он заставлял чужие танки  
Коптить родные небеса.*

*И спросит он не без усилия,  
Вслед за поэтом, боль тая:  
“Так где теперь она, Россия,  
И по какой рубеж твоя?”*

Ответить отцу, ответить детям, ответить Отчизне — он смог ли, Коля Дмитриев? Думаю, что смог. Россия, сколь бы “эти, из новых” ни возвещали ежечасно о своих победах, всё ещё держится. Она всё ещё наша — по совести, по сердцу лучших её сыновей и дочерей.

Таких, как русский поэт Николай Дмитриев.

Память прихотлива...

И вдруг оказывается, что это тоже из твоей жизни: поле, снег, ветер встречь – пронизывающий, пригибающий к земле. И цепочка путников – то ли сбившихся с пути, то ли решивших переупрямить эту снежную сумеречь. Труднее всех идущему впереди. Не только потому, что он проминает снег, приминает плечом, смиряет самый яростный порыв ветра. Он идёт впереди и потому должен знать, куда торить путь, должен вывести. Остальные идут за ним, зная одну заботу: ступать след в след. И вдруг тот, кто идёт впереди, такой сильный, такой надёжный, падает.

И не может подняться.

Остановилось сердце.

И все, кто шёл за ним, ощущают не порывы ветра, не снег на щеках, а обступившее их бескрайнее пространство, от которого их некому теперь укрыть...

Знал ли я человека, которого – будто бы по праву старой дружбы – называю здесь Николаем, Колей?

Да, знал.

Не мог не знать: в поколении тех, что “в пятидесятых рождены”, он шёл впереди.

ВЛАДИМИР БОНДАРЕНКО

## ПЕВЕЦ ПОМОРЬЯ

У писателя Павла Кренёва и на самом деле очень светлая проза. Даже когда он пишет о самых тяжёлых периодах жизни своих поморских героев. Возьмите, к примеру, и прочитайте вышедшие книги Павла Кренёва и Людмилы Петрушевской.

У одной, о чём бы она ни писала, получаются “дикие животные истории, жуткие помойные рассказы”, у другого и в самых трагических случаях господствует доброе и светлое начало.

Это даже не литературный стиль, а сам характер, заложенный в писателях. Конечно, если и сравнивать прозу Павла Кренёва со старшими сверстниками, то никак не с Петрушевской или Битовым, а с такими же светлыми Юрием Казаковым и Владимиром Личутиным.

Вот кого надо выдвигать на “Большую книгу”, а не исписавшихся Пелевиных или Сорокиных. Но видно, что светлая русская, высоко художественная проза Павла Кренёва не по зубам руководителям нынешней российской культуры. Им лишь бы Серебренниковых прославить, обеспечить золотым запасом.

Для примера сравню две книги, которые сейчас читаю: Павла Кренёва “Светлый-пресветлый день” и Людмилы Петрушевской “Странствия по поводу смерти”.

Вот описание смерти бабушки Парасьи в повести Кренёва “Поздней осенью, на Казанскую”: “Ночью к бабушке Парасье пришёл Николай Угодник. Он стоял у неё в ногах – худенький, невысокий, седой старичок с добрым лицом. Стоял и тихонько ей улыбался. Парасья совсем и не испугалась.

– Это ты пришёл-то ко мне, голубеюшко? – спросила она его. – А я тебе и рада.

Николай ничего не сказал, а только закивал слегка головой и стал манить к себе указательным пальцем. И Парасья поняла: он пришёл за ней и зовёт к себе. Стало быть, пора помирать. Бабушка проснулась...

...Грустные мысли живут с ней рядом постоянно, Парасья невольно давно уже свыклась с ними. Но вот сегодня к ней пришла радость. Это потому, что в своё последнее утро... как в далёком детстве, ласково смотрит на неё Николай Угодник, живший всю жизнь в её сердце. А ещё радостно было оттого, что Парасья твёрдо верила: вымолит она сегодня лучшую долю для своего заблудшего сына, призрит и вразумит его, непутевого, Господь и убережёт по заступничеству Николая Чудотворца её дорогих далёких внученек-кровинушек. Не сомневалась сегодня Парасья, что будет у них счастливая жизнь. А иначе для чего все её страдания и жертвы. Жертвой жизнь ладится...

Когда гроб лежал на поперечинах над вырытой могилой, от него исходил еле видимый тихий, туманный свет. Многие видели его и удивлялись: откуда взялось это чудное свечение?..”

А вот как нечто подобное описывает Людмила Петрушевская в рассказе “Строгая бабушка”: “У одной девочки была очень строгая бабушка, если не сказать хуже. Как-то раз девочке приснился сон, что её бабушка на самом деле — злая колдунья.

И мы описываем именно такой случай, что взрослая дочь и внучка оказались у такой бабушки причиной всех её бедствий, выросли ни на что не способными дармоедками, живоглотками и чулиндрами, сидящими на шее...

...Тяжёлая полка сорвалась со стены, она лежала на подушках, а острым углом торчала на полу, вся разбитая, разъехавшаяся, и из полки высыпались на пол доллары, они веером валялись повсюду: на тахте, на ковре.

Бабушка торопливо кинулась их собирать, оглянулась на Лену, что-то крикнула, вроде: “Иди, иди отсюда!” — и вдруг ткнулась головой в пол, как будто поклонилась кому-то невидимому...”

В такой прозе никакого свечения явно нет и быть не может.

Светлая проза Павла Кренёва даже противоречит его же собственной официальной биографии, прочитав которую, и от его прозы ждешь нечто в духе боевиков.

Он — выпускник Суворовского военного училища, факультета журналистики Ленинградского государственного университета, окончил Высшие курсы КГБ СССР, аспирантуру Академии безопасности России, стал кандидатом юридических наук. Работал долгие годы в КГБ, дослужился до высших званий и высоких чинов, преподавал в Академии безопасности, занимался научной работой и руководил группой научных сотрудников и консультантов Министерства безопасности РФ по вопросам разведки и контрразведки. Четыре года работал в Администрации Президента РФ в должности куратора спецслужб в Главном правовом управлении. В марте 1996 года его назначили полномочным представителем Президента РФ в Архангельской области. Он достойно участвовал в выборах главы администрации области и не стал губернатором лишь в результате интриг кремлёвских кукловодов: на этот пост требовался более управляемый и послушный кандидат.

... И молодец, что не стал, одним хорошим писателем на Руси стало больше. Не верю я, что перед губернаторами открывается дорога в большую литературу. Да и офицеры госбезопасности, занимающие высокие государственные посты, как правило, в литературу не рвутся.

Другая судьба была предназначена свыше нашему герою, от другой своей биографии он идёт. Официальная биография Павла Григорьевича Поздеева (это его настоящая фамилия) лежит где-то в спецархивах, а я же пишу о своём друге, северном земляке, национальном русском писателе Павле Кренёве, родившемся в деревне Лопшеньга на Летнем берегу Белого моря 28 октября 1950 года. Повести и рассказы из книги “Светлый-пресветлый день” посвящены жизни на русском Севере, и написаны они с точки зрения так называемого “простого человека”.

Павел Кренёв — из коренных поморов. Вот и писательский псевдоним он взял самый что ни на есть поморский — Кренёв.

Сам автор считает: “Мой творческий псевдоним происходит от прозвища моих исконных предков. Дело в том, что слово “крень” на архангельском, поморском наречии означает твёрдую, извилистую древесину, которую сложно, а то и невозможно перепилить, расколоть. Мои пращуры получили такое прозвище, потому что были они сильными, крепкими мужиками. Вообще, это слово у нас на Севере применяется к людям упорным, упрямым. Я доволен своей новой фамилией, потому что она связывает меня с родовыми предшественниками, питает меня древней поморской волей-волюшкой, наливает силой-силушкой...”

Павел рассказывает о своих земляках: “...Заметьте, даже от выражения “коренной помор” веет былинной крепостью, кондовостью и кренёвой силушкой.

Их трудно обидеть, потому что народ этот не очень-то обидчивый, однако крикну и хулителю, высказавшему ему ненароком незаслуженную ругань, лучше поскорее унести прочь свою нелепую голову.

Это хорошие и рачительные хозяева, умелые и мастеровитые. Каждый помор умеет сшить себе карбас, связать и наладить снасть и на своём карбасе и со своей снастью выйти в открытое море на рыбный и зверовой промысел.

Поморы – последние носители былинного, затерянного, считай, полностью древнейшего уклада Северной Руси, его самобытнейшего языка, который и не сказывался-то совсем, а выпевался в удивительной, былинной, разговорно-песенной вязи народных поморских сказительниц. Живущий доселе на берегах Белого моря народ каким-то чудом пронёс через все лихолетья, бесчеловечные опыты тех, кто душил и разрушал Россию “до основанья”, хрустальные частицы подлинной народной культуры, языка и исторического опыта.

Слава Богу за то, что он дозволил мне родиться посреди этих людей, в невероятных красотах северной природы, прямо на берегу очаровательного Белого моря. Сердце моё наполнено постоянной радостью оттого, что я – плоть от плоти этого края. Тут прошло моё, в буквальном смысле, босоногое детство. Все мои предки тоже родились здесь, на берегах нашего моря..”

Его родовое сознание оказалось сильнее, чем профессиональные чекистские навыки, по пути Юлиана Семёнова он не пошёл. Зато он прекрасно и естественно пишет о зверье и птицах, как о самодостаточных участниках Божественного мироздания, равных человеку. Его память напоена древнейшей культурой русского Севера. Как говорит писатель, ему не нужно ездить в этнографические экспедиции, чтобы собрать материал для своих книг. Он весь полон поморским духом, погружён в историю русского Севера. Павел построил на свои деньги в своей деревне церковь, организовал Казаковские чтения.

Может, и хорошо, что он не влился в российскую тусовочную литературную братию, как правило, оплачиваемую либеральными космополитическими магнатами. Его проза демонстрирует откровенно русское национальное сознание писателя. И ему нет дела, что такая национальная проза в России в меньшинстве.

Мне в книге рассказов и повестей Павла Кренёва “Светлый-пресветлый день” зачастую интересен даже не сам автор, которого я и так хорошо знаю, а герои его поморской прозы: дедушко Павлин, дядя Вася, Трофим.. Впрочем, половина его героев – это не люди, а северные звери, тюлени, глухари, лебеди.. Все они весьма и весьма самобытны. По рассказам видно, как автор не выпячивает себя и свою позицию, а абсолютно естественно включает их в канву повествования, и герои его как бы подчиняются не воле писателя, а самостоятельно идут от жизни. К тому же одни герои – поморы, охотники и рыболовы – иногда остро конфликтуют с другими его героями – тюленями, лебедями, глухарями, в результате чего случается гибель и тех, и других.

В рассказе о животных писатель явно на стороне животных, и мы ненавидим Охотника, убивающего такого хорошего глухаря Пеструху, ненавидим убийцу лебедя Свана, любим тюленят Беляка и Пятнышко, спасших начинающую зверобойку Аню. Вот уж жестокий промысел: гренландские тюлени-самки никогда не бросают своих детёнышей, и потому на зверобойных промыслах в добыче почти нет самцов: они, почуяв промысловиков, сразу бросаются со льда в море, остаются только самки и их детёныши. Их сало и мясо спасли в голодные военные годы от гибели и Архангельск, и другие северные города. Потому и стоит в Архангельске памятник самке гренландского тюленя – утельге.

И как совместить правду убиваемой природы и правду охотников?

И вот уже в повестях и рассказах Кренёва о самих охотниках мы соглашаемся с суровой правдой жизни промысловиков. Это даже не забавы охотников-любителей, убивающих всё живое, лишь бы потешить свою страстишку. А рассказ о людях, всю жизнь живущих этим суровым и тяжёлым, и кровавым промыслом, это основной доход для жизни всех поморских сёл. И все эти дяди Трофимы, дяди Васи живут в прозе Павла Кренёва, потому что он их взял из жизни, из своего поморского детства.

Для нынешних либеральных интеллигентов – это всё выдуманные образы, они даже не верят в их существование, но для самого писателя, как и для его читателей, – это народная северная правда. И его поморская книга – это памятник поморской жизни.

И потому Павел Кренёв – самый настоящий народный писатель. Как и его старшие северные братья: Фёдор Абрамов, Василий Белов, Владимир Личутин..

Это часть подлинно русской истинно народной литературы, которая чудом дожила до нашего времени.

Да и во всей мировой литературе именно глубоко национальные писатели определяют её развитие, демонстрируют и народный язык, и народные характеры.



Американский писатель Торнтон Уайльдер писал, что литературный стиль и все словесные эксперименты — это нечто вторичное для писателя: “Смысл литературы есть код сердца. Стиль — лишь обиходный сосуд, в котором подаётся миру горькое питьё”. Самое главное для Павла Кренёва — просто рассказать о простом, добраться до поморского космоса, до северного народного человека.

Ещё в пятом классе, как вспоминают земляки, школьник Паша Поздеев мечтал в своём сочинении, опубликованном в районной газете, что “лоси будут ходить по деревне, как коровы, и есть с рук хлеб, глухари начнут токовать прямо на крышах...” В жизни всё произошло наоборот: и лосей стало меньше, и глухарей не видать, и тюлени исчезают. Да и такие народные писатели, как Павел Кренёв, становятся крайне редкими в современной литературе. Они и становятся последними хранителями былинного уклада поморов — плоть от плоти поморского края!

АЛЕКСАНДР РАЗУМИХИН

## “КАК НАШЕ СЕРДЦЕ СВОЕНРАВНО!”

Где тут правда, где полуправда, а где сушая ложь – ни мне, ни кому другому знать не дано. И тем не менее, об отношениях Пушкина с женщинами написаны тысячи страниц. Можно подумать, что каждый из несметного легиона уверенно рассуждающих о женщинах, фигурирующих в так называемом “донжуанском списке” Пушкина, и об отношениях поэта с теми из них, кто в списке обозначен и кто в него не попал, лично присутствовал при описываемых им событиях.

Этот список, выписанный рукой Пушкина, породил всплеск интереса пушкинистов к адресатам его любви, и в особенности к расшифровке загадочного символа NN, помещённого среди реальных женских имен. Говорю “реальных”, так как имена действительно реальные, однако на ряд имён оказались по две-три и более реальные претендентки. Пушкин сыграл с потомками злую шутку, “заставив” специалистов и почитателей поэта гадать, порой на кофейной гуще: кто, например, значится под № 14 в первом столбце: Екатерина Николаевна Ушакова, в альбоме сестры которой Пушкин писал этот список, Екатерина Николаевна Карамзина, дочь историографа (по мужу с 1828 года княгиня Мещерская), или Екатерина Васильевна Вельяшева (по мужу с 1834 года Жандр)?

Или кто значится под № 1 во втором столбце: Мария Николаевна Раевская (в замужестве Волконская), Мария Егоровна Эйхфельдт, Мария Васильевна Борисова, Мария Аркадьевна Суворова (в замужестве Голицына) либо Мария Александровна Урусова (в замужестве Мусина-Пушкина)?

Немного истории: название “донжуанский список” Пушкина родилось с лёгкой руки Павла Сергеевича Киселёва – сына московского знакомого Пушкина, полковника л.-гв. Егерского полка Сергея Дмитриевича Киселёва (в апреле 1830 года тот станет мужем младшей из сестёр Ушаковых – Елизаветы Николаевны). По шуточной просьбе девушки поэт, отмечая весёлый “День ангела Д. Жуана”, выстроил в её альбоме две колонки имён женщин. Правда, на одной странице все имена не поместились, и три из них пришлось перенести на другую страницу. Было это 2 июня 1829 года. Впервые список был напечатан, причём факсимильно, в “Альбоме Пушкинской выставки 1880 года” (изданном в 1887 году). Тогда-то всё и началось! Уже в приложенном к нему “Биографическом очерке” А. А. Венкстерна дано первое “осмысление” этого списка. В итоге со ссылкой на П. С. Киселёва, сына Елизаветы и племянника её сестры Екатерины, ничтоже сумняшеся объявлено, что сие есть перечень всех женщин, которыми Пушкин увлекался. Самое занимательное, что П. С. Киселёву в год смерти Пушкина было неполных шесть лет, а самих владелицы альбома, его тётушки, отца, кто мог бы прояснить, как, при каких обстоятельствах возник этот перечень, никого уже не было в живых. Однако

придуманной веселящейся хмельной компанией “День ангела Д. Жуана” обернулся сотнями публикаций на эту тему. Самое курьёзное в “донжуанском списке” — его двусмысленное название. Ведь в нём фигурируют имена и тех женщин, с которыми у Пушкина близких отношений заведомо не было.

Зачастую на любовные отношения Пушкина глядят сквозь призму его поэзии. При этом каждый видит своё и, естественно, осмысляет увиденное по-разному. Иные “пушкинисты”, противники всяческих иллюзий, выхватив из текста строки “когда легковверен и молод я был, младую гречанку я страстно любил”, непременно озадачиваются вопросом, о какой именно гречанке идёт речь: имя, фамилия, возраст, семейное положение... И не могут успокоиться, пока не облюбуют достойную кандидатуру.

Существуют два типа читательского восприятия любовных отношений поэта. Суть первого, часто встречающегося, состоит в том, что на стихи глядят, как на зеркальное отражение реальных чувств конкретного мужчины, в данном случае, поэта к конкретной женщине. В таком случае стихи превращаются в рифмованную риторику на любовную тему. И соответственно, если в них, допустим, есть строчка, сообщающая, что накрапывал дождь, когда действующий персонаж спешил на свидание, значит так оно в действительности и было: поэт попал под лёгкую морось, торопясь на встречу с любимой.

Другой тип читательского восприятия исходит из того, что на самом деле происходившие события стали для поэта отстранённым переживанием, фактом его внутренней жизни. Объективность отошла в сторону — она оказывается всего лишь некоей “исходной точкой”. Ей на смену приходит неприкрытая субъективность и крайне пристрастные чувства. В этом случае конкретная особа женского пола, сохранив, а нередко утратив черты реальной личности, становится лирической героиней. Реальный бытовой факт, имевший место, становится поэтическим событием, основой лирического сюжета. Порой может случиться так, что в результате авторской редактуры стихотворного текста от реального события даже деталей не остаётся. В нём истина присутствует уже в совершенно особом качестве, заведомо удалённой от происходившего между поэтом и предметом его обожания. Именно такие стихи становятся тем, что мы называем любовной лирикой.

Стихотворения Пушкина о любви и являются именно любовной лирикой. В ней, конечно, есть отзвуки реальных встреч, симпатий и даже чувств, но они нечётки и абстрактны. А потому даже знаменитое “гений чистой красоты”, вроде бы адресованное конкретной женщине, взято им “напрокат” у Жуковского, из его стихотворений, тоже о любви, “Я музу юную бывало...” и “Лалла рук”. (В своих прижизненных изданиях Пушкин неизменно выделял эту строчку курсивом, что по обычаям того времени значило: речь идёт о цитате.) В определённом смысле это выражение малоотличимо от известного “Мой друг, отчизне посвятим // Души прекрасные порывы!” Во всяком случае, выражение “гений чистой красоты” не более конкретно, чем “души прекрасные порывы” или “звезда пленительного счастья”. Каждое из них прочитывается лишь в контексте поэтического освоения лирического содержания.

Тогда как в реальной жизни о своём “прообразе”, заявленном как “гений чистой красоты”, Пушкин позволял себе иные лексические “красоты” (в письме С. Соболевскому): “Безалаберный! Ты ничего не пишешь мне о 2100 р., мною тебе должных, а пишешь мне о М-те Керп, которую с помощью Божией я на днях уб...л”. А в письме к Алексею Вульфу он именует её не иначе, как “наша вавилонская блудница Анна Петровна”.

Фу, как грубо выражается Пушкин! Каков хам, ещё вчера добивавшийся внимания этой женщины! Подобными репликами переполнены сегодня социальные сети, авторы которых “открывают” незнакомого для себя Пушкина. Что касается грубости, то на вопрос “зачем она?” Пушкин ещё в 1823 году из Одессы писал князю Вяземскому:

*“Я желал бы оставить русскому языку некоторую библейскую похабность”.*

Есть и другой вопрос: “Отчего так? Отчего вчера — “гений чистой красоты”, а сегодня — никакой тебе чистоты и красоты?” Самый простой ответ: творческое мышление предпочитает ходить сложными путями. Черты личного темперамента вкпе с органическим пушкинским жизнелюбием, дерзостью желать и добиваться желаемого, внутренней свободой раскрепощённого человека накладывали отпечаток на личное, бытовое поведение поэта, про которое можно сказать, что оно нередко не умещалось ни в какие рамки, било через край.

Ещё в 1825 году, внимательно обдумав “Горе от ума”, Пушкин пишет о пьесе большое письмо А. А. Бестужеву:

*“... писателя должно судить по законам, им самим над собою признанным. Следст. не осуждаю ни плана, ни завязки, ни приличий комедии Грибоедова. Цель его — характеры и резкая картина нравов”.*

Хочется быть чудаком и последовать за пушкинской мыслью, перенеся её непосредственно на самого поэта и его женщин, не осуждая ни плана, ни завязки, ни приличий их отношений. С единственной целью — осмыслить резкую картину нравов, столь отличных от века нынешнего.

Сегодня произведения Пушкина многим уже приходится читать со слезами. Для кого-то прозвучит странным, но прежде чем открыть его томик стихов о любви или затеять знакомство с его биографией, в которой любовь и любовные отношения — серьёзные страницы его жизни, советуя хотя бы немного познакомиться с тем историческим периодом, в котором он жил. Для плотской любви (слово “секс” тогда ещё не существовало) очень важно, когда она происходит — по крайней мере, в какую историческую эпоху. Казалось бы, про любовь все всё знают. Но в современном мире большинство из нас ведёт образ жизни, всё же отличающийся от того, что был присущ началу XIX столетия. И отношение к женщине, к плотской любви у нашего героя (не у него одного) совсем иное.

Непросто, но без этого не обойтись: чтобы приблизиться к Пушкину, нужно воссоздать исторические, общественные, семейные подробности событий, взаимоотношений, перекрещивающихся судеб давно уже отшумевшей жизни; осмыслить эпистолярное и мемуарное наследие десятков реальных персонажей пушкинской эпохи и пушкинского круга общения, потому что фактическую сторону русской истории большинство из нас знает очень скверно.

Есть данность — натура поэта, в которой всё обострено. Попойки, неизбежные карты и “рассеянный образ жизни”, непременно включающий в себя “визиты к девкам”... Однако не нужно списывать на гены матери, поминать арапские корни. Он ведь был несдержан не только в поведении с женщинами. Общительный, добродушный и доверчивый по натуре, Пушкин был мастером светской беседы и переписки, но он постоянно совершал какие-нибудь выходки, которые уже в царствование Николая I немалому числу людей казались ужасными. Сознал ли он сам это?

В лишённом экзиков писем князю П. А. Вяземскому от 27 мая 1826 года он проговорился:

*“Мы живём в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, англ. журналы или парижские театры и бордели — то моё глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство”.*

Ясное дело, все мы крепки задним умом, особенно если наблюдать со стороны соединение им воедино театров и борделей. Но коли уж глядеть по прошествии лет и без малейших “претензий”, то складывается впечатление, что или женский идеал, поэтически “созданный” Пушкиным, направлял сексуальную энергию поэта на женщин, не очень-то соответствующих ему, или же он был мало озабочен этим самым соответствием.

Может быть, я ошибусь в каких-то мелочах, говоря о той или иной женщине. Но вслушиваясь в “пьесу” собственной жизни, написанную Пушкиным, я не намерен критиковать ни его самого, ни женщин, которые любили его, ни женщин, которых любил он. Мне хочется уловить те штрихи, из которых возникали реальные портреты, “встроенные” в окружающую атмосферу исторического фона.

Жить в постоянном напряжении страстей было для Пушкина не уступкой темпераменту, как кому-то кажется (мол, играла взрывоопасная смесь африканской крови и вольного французского воспитания, решительного по амурной части), а сознательной жизненной установкой. И страстями, способствующими поэтическому вдохновению, для него были не только женщины, но и окружение будущих декабристов, страстью для него была и поэзия, и уединение на лоне природы. А самой сильной из страстей — черта, знакомая нам по И. А. Крылову и Ф. М. Достоевскому, — он признавал страсть к игре. Так что представить натуру Пушкина, построенную на основе аскетизма, невозможно.

Как невозможно назвать аскетичным и само время, в которое жил Пушкин. Без этого не понять ни его поэзию, ни его переписку, ни его самого, ни его окружение, людей, с которыми он общался, в среде которых он жил, в обществе которых он вращался.

Начну от противного, нетипичного случая, и потому вошедшего в историю. С ним связаны две легенды. Одна – вполне возможная, будто бы Пушкин, оказавшись на Кавказе, посетил на горе Мтацминда ещё свежую могилу Грибоедова. Там юная вдова установила памятник погибшему мужу – пьедестал из чёрного мрамора и изваяние плачущей вдовы, охватившей руками крест, с надписью: “Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя?” Постоял, преклонил пред могилой колени, а когда встал, на его глазах блестели слезы: такая любовь – мечта каждого мужчины!

Существует и другая легенда, не менее возможная. Будто Пушкина потряс уже сам брак Грибоедова – неожиданный и скоротечный: приехал, увидел и завертелись приготовления к свадьбе. И главное: тёзка, трудно вообразить, “женился он на той, которую любил”, и та тоже любила его! Как-никак, женитьба по взаимной любви, надо признать, по тем временам была большой редкостью. Мол, желание взглянуть на Нину Чавчавадзе было даже одной из целей его поездки на Кавказ. Встречается мнение, что, увидев её, он утвердился во мнении, что жениться надо, как и Грибоедов, только на юном создании.

Любая легенда всегда приближена к правде. В те времена брать в жёны юное создание было обыкновенным явлением, почти что нормой. Невеститься девочки начинали лет в 13 (немало случаев, когда в столь юном возрасте уже становились жёнами). Через два года это уже барышни на выданье, и их вывозят на балы-смотрины, предлагая женихам, когда завидным, когда не очень. Зачастую о какой-то там любви и речи не шло. В девушке искали красоту и достойную семью. От будущего мужа родители невесты хотели состояния и знатности. Обычно возраст кандидата в мужья даже в расчёт не принимался.

Можно, конечно, сослаться на суждение англичанки леди Рондо, отмечавшей, что русские мужчины того времени смотрели “на женщин лишь как на забавные и хорошенькие игрушки, способные развлечь”. Но есть смысл привести более конкретные примеры.

Первый, кто приходит на память, Андрей Тимофеевич Болотов. Русский писатель, мемуарист, философ-моралист, учёный-ботаник и агроном, он был сыном мелкого помещика из Тульской губернии, ранее служившего в армии полковником. Болотов жил в одно время с Пушкиным, разве что был несколько старше. Современный читатель может обратиться к его знаменитым “Запискам” (в 3-х томах), носящим название “Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков”, в которых ярко изображён внутренний быт русского общества.

Мы коснёмся одной его грани. В 26 лет Болотов, считавшийся завидным женихом, пленился некоей грациозной девушкой, но счёл её “холодной”. Любопытно, сколько раз, давая такую оценку, он её просто-напросто видел. Ведь бытовало неписаное правило, по которому родители препятствовали свиданиям девушки до венчания.

Воспитанная по старинке, требовательная к себе и к окружающим княгиня Наталья Долгорукова вспоминала:

*“В тогдашнее время не такое было обхождение, в свете примечали поступки молодых девушек... тогда не можно было так мыкаться, как в нынешний век”.*

А в воспоминаниях её современницы Марии Сергеевны Николовой “Черты старинного дворянского быта”, в рассказе о десятых годах XIX века, находим подтверждение слов княгини, что, по понятиям того времени, даже “вести переписку невесте с женихом” в дворянских семьях “не считалось строго приличным”.

Если двум частным мнениям требуется научное подтверждение, то можно сослаться на авторитет Ю. М. Лотмана, комментирующего известный эпизод письма 17-летней Татьяны Онегину:

*“Посылая письмо Онегину, Татьяна ведёт себя по нормам поведения героини романа, однако реальные бытовые нормы поведения русской дворянской барышни начала XIX в. делали такой поступок невыносимым: и то, что она вступает без ведома матери в переписку с почти неизвестным ей человеком, и то, что она первая признаётся ему в любви, делало её поступок находящимся по ту сторону всех норм приличия. Если бы Онегин разгласил тайну получения им письма, репутация Татьяны пострадала бы неисправимо”.*

Другими словами, в романе Пушкина со стороны автора получает оправдание “своенравие страстей”. Тем не менее, литературная ситуация не высосана из пальца, она была в духе столь хорошо знакомых Пушкину французских

любовных романов с их обманами “и Ричардсона, и Руссо”. Александр Сергеевич просто перенёс её на нашу литературную почву. И это вызывает вопрос: чего в тоне авторского повествования больше, симпатии или иронии? Забегая вперёд, надо сказать, что бытовое неприличие поступка Татьяны заставляет скептически отнестись к существующей гипотезе, будто бы образцом для письма явилось реальное страстное письмо, якобы полученное Пушкиным от юной Марии Раевской. Предположение такое бытует, серьёзные доказательства его напротив отсутствуют.

Но вернёмся к Андрею Болотову. Поборов увлечение, он обратился к “запасной” невесте – 12-летней девочке. Та была “ровней”: единственная дочь и наследница, воспитанная разумной матерью-вдовой с хорошим родством. Жених очень понравился матери и тётке. От самой девочки добиться ответа, как она находит жениха, не смогли – она сконфуженно пряталась. Однако не просила, чтобы оставили её в покое, и потому старшие сочли, что жених ей “не противен”. По обоюдному соглашению сторон сговор отложили на год, когда невесте сравняется 13 лет. Писатель решил, что юную, неиспорченную светом и модами девушку он сможет воспитать по-своему: развить в ней любовь к чтению.

Спустя год, как договорились, свадьбу сыграли. В 14 лет с большими опасностями для здоровья юная жена стала матерью. Как складывалась их семейная жизнь? Если коротко, то она апатично относилась к мужу и ко всему, чем он старался занять и заинтересовать её и по дому, и по хозяйству. Это глубоко огорчало мемуариста; большим утешением послужили ему живость и отзывчивость ещё молодой тётки, которая стала для него приятным собеседником и товарищем в его агрономических работах.

Так что Александр Грибоедов, взявший в жёны грузинскую княжну, когда ей было 15 лет, явление обычное. Чтобы убедиться, что такое происходило в разных слоях и сословиях, можно упомянуть, что отец будущего митрополита Филарета – Михаил Фёдорович – женился в 1782 году на Евдокии Никитичне, которой было 15 лет.

Специалисты в области семейного права и обычаев в России отмечают, что попытка отойти от старой традиции низкого брачного возраста невест была сделана ещё в начале XVIII века. (Указ о единонаследии 1714 года определял 17 лет как возрастной ценз девушек при вступлении в брак.) Однако обычай выдавать замуж рано, в 12 лет, когда девочки были несамостоятельными и зависимыми не только от воли, но и от житейского опыта родителей, продолжал сохраняться, несмотря ни на какие указы.

Кстати, русская литература прекрасно отразила это явление. Читавшие хотя бы первый том “Войны и мира” припомнят, что Наташе Ростовой 12 лет, когда она влюбляется в князя Бориса Друбецкого, которому 20 лет. Услышав от него, что через четыре года он будет просить её руки, а до этого времени им не следует целоваться, она считает по тоненьким пальчикам: “Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать”. А “умники и умницы”, знающие роман Надежды Дуровой (той самой кавалерист-девицы) “Игра судьбы, или Противозаконная любовь”, получили бы орден за правильный ответ на дорожке, сказав, что главную героиню родители выдают замуж, когда ей ещё нет четырнадцати.

Да, в начале XIX века в дворянской среде обнаружилась тенденция к повышению брачного возраста. Родители известного мемуариста Г. С. Винского обвенчались, когда матери было 16 лет. При упоминании возраста юной незамужней девушки в мемуарах стало употребляться словосочетание “ей было уже 17 лет”.

В “Воспоминаниях” фрейлины Н. Н. Мордвиновой о своём отце, графе Николае Семёновиче Мордвинове, – государственном деятеле, экономисте, адмирале-флотоводце, почётном члене Петербургской АН – есть упоминание о возрасте жениха (ему исполнился 51 год) и невесты (едва достигшей 17-летия).

Если для кого-то эти фамилии мало что говорят, обратимся к более известным, из тех, с кем общался Пушкин.

Анна Петровна Керн (урождённая Полторацкая) была из семьи, входившей в круг состоятельного чиновного дворянства. Её отец – полтавский помещик и надворный советник Пётр Маркович Полторацкий.

В положенное время девушку начали вывозить в свет. И в столицах, и в провинции это означало, что настала пора, когда девочку-подростка нужно сопровождать на балы и танцы, посещать с ними театр и брать с собой,

отправляясь на званые вечера к знакомым и друзьям, у которых среди родственников имелись кандидаты в женихи. Описания балов присутствуют в большинстве мемуаров русских дворянок, которые, вспоминая молодость, писали, что каждый бал таил в себе возможность новых встреч, решения судьбы и каждый “ожидался с нетерпением”.

Анна Полторацкая обращала на себя внимание своей красотой... но предложений не следовало. И тогда отец сам привёл в дом жениха – генерала Ермолая Фёдоровича Керна. Ему в ту пору было 52 года. Далее всё, как у всех: генералу девица Анна понравилась, и последовала свадьба. “... в 16 лет выдали замуж” – напишет она в воспоминаниях. С какими чувствами девушка выходила замуж? В своём дневнике Анна сделала запись:

*“Его невозможно любить – мне даже не дано утешения уважать его; скажу прямо – я почти ненавижу его”.*

К Анне Керн и её отношениям с Пушкиным мы вернёмся чуть позже, а пока вспомним другую, не менее знаменитую женщину, чьё имя встречается часто в связи с Пушкиным, – Мария Николаевна Волконская. Что мы о ней знаем? Дочь героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского, который, умирая (в 1829 году), произнёс о своей дочери знаменитые слова: “Это самая удивительная женщина, которую я знал”. Жена декабриста князя С. Г. Волконского (был причислен к “первому разряду” и приговорён к смертной казни. “По уважению совершённого раскаяния” смертную казнь ему заменили на каторжные работы сроком 20 лет и последующее поселение; в Сибирь отправлен в кандалах).

Предложение Марии генерал-майор, бригадный командир 19-й пехотной дивизии, герой Отечественной войны 1812 года осмелился сделать только через её отца и в письменном виде (кстати, обычное дело для XIX столетия, к такой форме сватовства прибегали, желая засвидетельствовать уважение к избраннице и её родителям).

Отец всё решил сам за дочь. И потому, что таков был его характер, и потому, что семья оказалась на грани разорения, и потому, что дочь уже вроде как перестарок: ей 19 лет. Его можно понять: Раевский хотел для дочери блестящей и безбедной жизни. Тем более, что к этому времени она из “малоинтересного подростка” превратилась в “стройную красавицу, смуглый цвет лица которой находил оправдание в чёрных кудрях густых волос и пронизывающих, полных огня очей”.

Дочь, впрочем, не смолчала: “Папа, я ведь его совсем не знаю!” На что последовал ответ: “А кто ж тебя торопит? У вас будет время подружиться. Князь прекрасный человек. Ступай, Машенька!” Поэтому, когда мы сегодня читаем в какой-нибудь энциклопедии или в Википедии заметку о женщинах конца XVIII – первой половины XIX веков и встречаем в ней словосочетание “вышла замуж”, зачастую это означает “выдана или отдана замуж”.

Венчание дочери Раевского с князем, который был старше её на 17 лет (принадлежал к знатнейшей российской фамилии – из Рюриковичей, имел огромные связи при дворе), состоялось спустя несколько месяцев, в январе 1825 года. Как складывались семейные отношения? Первый год супружества молодые провели в нескончаемой разлуке: служба Сергея Григорьевича, болезнь Марии Николаевны и отъезд её на юг, арест мужа – сын-первенец родился, когда Волконский уже находился в крепости в ожидании суда. На момент свадьбы Марии Раевской только-только в конце декабря исполнилось 20. И уже в июне Мария Волконская, беременная, писала из Одессы сестре:

*“Дорогая Катенька! Ты пишешь о своих занятиях по хозяйству, что сказала бы ты, видя, как я хожу каждый день на кухню, чтобы наблюдать за порядком, заглядываю даже в конюшни, пробую еду прислуги, считаю, вычисляю, я только этим и занята с утра до вечера и нахожу, что нет ничего более невыносимого в мире”.*

Замужество в 20 лет и ребёнок в 20 лет – это, по сегодняшним меркам, многим покажется рано. А тогда... Бабушка Раевской-Волконской со стороны матери прожила очень короткую жизнь – скончалась в 23 года в родах четвёртого ребёнка.

К слову, из 22-х жён осуждённых участников тайных обществ четыре женщины были младше Марии Волконской, три из них – беременны:

Анна Поливанова (урождённая Власьева) в декабре 1825-го – 18-летняя молодая жена, родившая в июле 1826 года сына и овдовевшая через два месяца, в 19 лет;

Екатерина Лихарева (урождённая Бороздина) – ей тоже было 18 лет, она родила сына в мае 1826-го;

Анастасия Якушкина – 18-летняя мать 2-летнего сына (то есть родила его в 16);

Камилла Ле Дантю – самая младшая из декабристок (1808 года рождения), жена декабриста Василия Ивашева, хотя их свадьба состоится позже, в Петровском заводе 16 сентября 1831 года.

Но поехали за мужьями, как известно, не все. Последовали в Сибирь 9 жён и 2 невесты, а вместе с ними ещё 7 женщин: матери и сёстры сосланных декабристов. В “Записках декабриста” А. Е. Розен свидетельствует, что 8 мужей оказались отторгнутыми от жён и детей, 7 женихов – с обручальными кольцами, но без надежды на брак с невестами. В Сибирь не поехали жёны Бриггена, Лихарева, Артамона Муравьёва, Иосифа Поджо, Тизенгаузена, Фаленберга, Штейнгеля, Якушкина.

Мария Волконская в сибирский вояж отправилась. А далее, как в сказке: налево пойдёшь – одну легенду найдёшь, направо пойдёшь – другую легенду встретишь.

Сегодня одни “специалисты по истинной любви” убеждают всех, что это была великая любовь: она любила мужа отчаянно, тонко, вдохновенно, не с ослеплением “дамского восторженно-слепого романтизма”, а с гордой готовностью пожертвовать для него всем, слив две Судьбы в единое целое. Вере в то, что всё именно так и было, в немалой степени способствовал Н. Некрасов. Его мелодраматическая поэма “Русские женщины” (часть 1 “Княгиня Е. И. Трубецкая”, часть 2 “Княгиня М. Н. Волконская”), предложившая довольно суральное видение поступка декабристок как подвиг во имя любви, сострадания и справедливости, имела громадный успех. В советское время к оценке поэмы добавилось то, что это общественно значимый поступок, вызов злой воле, открытое сопротивление высшей власти, демонстративная поддержка их революционного дела. Поэтому преподносилось это так: “столь психологически достоверен кульминационный эпизод второй части поэмы: княгиня Волконская в миг долгожданной встречи с мужем целует прежде его каторжные цепи”.

Кто бы спорил, но я не стану: как-никак, “Русские женщины” – художественное произведение, а значит, автор имеет право на любой замысел и домысел. Но, как свидетельствует Михаил Сергеевич, сын Волконской, по окончании поэмы Некрасов при встрече принял все его замечания, просил лишь оставить сцену встречи княгини с мужем в шахте (на самом деле они увиделись в помещении благодатской тюрьмы), по причине, что, мол, она “так красиво выходит”. Однако последнюю корректуру Волконский, вопреки своим ожиданиям, не получил. Некрасов прислал ему уже опубликованную в “Отечественных записках” (январь 1873 года) поэму с письмом, “полным извинений”. Значит, обещание учесть замечания не выполнил.

Впрочем, это детали. Главное в том, что одни уверены: в сердце Марии Волконской царил только “опальный князь”.

Другие, не без оснований, заверяют, что Мария, вовсе его не любившая, лишь безропотно несла свой крест, как и полагается русской женщине, присягнувшей ему перед Богом. К позиции сторонников этой концепции, не менее красивой, но возможной, можно отнестись с пониманием. Особенно зная, что, несмотря на очень сложные мотивы, побудившие Марию Николаевну отправиться в Сибирь (любви меж супругами точно не было), её приезд, по свидетельствам очевидцев, спас его, по сути, от смерти. Сергей Григорьевич, пребывая в состоянии жуткой депрессии, воспрянул духом и постепенно выздоровел (за что был бесконечно благодарен жене за всю оставшуюся жизнь, его и похоронили в селе Воронки под Черниговом, согласно завещанию, в ногах у жены). Сцена с кандалами, которые Волконская кинулась целовать при первой встрече с мужем в Сибири, – достоверна. Но, опять-таки, порыв княгини был продиктован скорее состраданием, нежели какими другими причинами.

Известно, что в отношениях между Марией и мужем не было не то что особой теплоты, а зачастую простого согласия. Она жаловалась братьям и сёстрам на Волконского, который избегал её, был с ней резок и даже “несносен”. В заметках известного пушкиниста П. Е. Щёголева читаем о них:

*“Мы знаем, что духовной, интимной близости не было ни между женихом и невестой, ни между мужем и женой”.*



Можно рассуждать, мол, это суждение человека, жившего много лет спустя. Сам Щёголев ведь не видел, не слышал, не присутствовал. Воспроизведём тогда слова ссыльного декабриста А. Е. Розена, что Мария Волконская “не по своей воле вышла замуж, но только из любви и послушания к отцу”. И уж совсем из ближайшего круга лиц. В одном из писем к сестре, по времени уже после декабрьского мятежа, Александр Раевский в ответ, похоже, на её жалобы, пишет: *“Если ты хочешь говорить о твоём несчастном замужестве, то ты не имешь права никого в нём винить”* (выделено мной. — А. Р.).

Было ли её замужество таковым, не нам судить. Но трудно пройти мимо одной характеристики князя Волконского с совсем неожиданной стороны: в глазах императора Николая I Сергей Григорьевич заслужил репутацию “набитого дурака”, “лжеца” и “подлеца”. И если два последних определения могут быть как-то связаны с его участием в бунте, то первое... Что-что, а в людях Николай I разбирался недурно. Впрочем, и в памяти семейной Сергей Волконский “остался как человек не от мира сего”.

Тем достоверней выглядят свидетельства ссыльных декабристов и приехавших к ним “декабристок”, которые, не надевая розовых очков, видели всё своими собственными глазами и потом рисовали портрет княгини М. Н. Волконской без всякой ретуши.

Годы общих лишений сплотили декабристов-каторжан и их жён в одну большую “артель”, в которой все вещи и книги были общие, единение позволяло оказывать некоторую материальную помощь наиболее нуждающимся. В среде менее обеспеченных товарищей по несчастью Марию Николаевну, мягко говоря, недолюбливали за высокомерие, безжалостность и чёрствость. Можно сказать и резче: Марию Николаевну в обществе декабристов терпели ради мужа, который был пусть и не очень умным человеком, но по натуре добрым и незлобивым.

Можно ли это счесть неожиданным? Смею думать, что нет. Вызывающе заносчивой она была и ранее, особенно это проявлялось в отношениях к новой родне — Волконским. Вытерпевшая немало за годы сибирской эпопеи от своих прямых родственников сиятельная “декабристка”, сама о себе говорившая, что “совсем не любезна от природы”, и впрямь наследовала и проявляла в жизни не лучшие черты своего “ядовитого семейства”. Так отзывались современники о семье Раевских. А декабрист М. Лунин — самая многосторонняя, причудливая и по-человечески самая симпатичная фигура среди декабристов (он был одним из немногих декабристов, кто не назвал на следствии ни одного сообщника) — за поведение, последовавшее после декабрьского мятежа, позже назовёт Раевских “трусливым семейством”. Как можно, воскликнет кто-то, говорить о трусости семейства, глава которого проявил героизм в годы Отечественной войны? К сожалению, история знает немало примеров, когда поведение человека на поле брани разнится с его поведением в мирные дни.

Но нас сейчас больше интересует лишь одна сторона жизни Марии Волконской в Сибири. Среди декабристов ходило мнение, что княгиня отправилась в Сибирь вовсе не за мужем, а к другому мужчине — тоже декабристу, ближайшему сподвижнику П. И. Пестеля, Александру Викторовичу Поджио. Обрусевший итальянец, “сохранивший весь жар и все убеждения юношества”, — есть портрет неизвестного художника (начала 1820-х годов), на котором он удивительным образом внешне похож... на Пушкина. Это ни о чём не говорит, однако... факт любопытный, о котором ещё будет повод вспомнить. Родился он в Николаеве, учился в Одессе, отставной подполковник, был всего на семь лет старше Марии Волконской.

Ни у кого из декабристов не было сомнений в их любовных отношениях. Очень многие считали, что своих детей Волконская родила не от мужа, а от любовника. Историк движения декабристов, сын декабриста Ивана Якушкина, Евгений Якушкин, ещё при жизни всех участников любовного треугольника писал об этом своей жене в 1855 году:

*“... как бы то ни было, она была одной из первых, приехавших в Сибирь разделить участь мужей, посланных в каторжную работу. Подвиг, конечно, небольшой, если есть сильная привязанность, но почти непонятный, ежели этой привязанности нет. Много ходит невыгодных для Марии Николаевны слухов про её жизнь в Сибири, говорят, что даже сын и дочь её дети не Волконского... Вся привязанность детей сосредотачивалась на матери, а мать смотрела с каким-то пренебрежением на мужа, что, конечно, имело влияние и на отношение к нему детей”.*

Конечно, слова “смотрела с каким-то пренебрежением на мужа” режут глаз. И думается, мол, “злые языки”, они всегда “страшнее пистолета”. Но читаем письмо Марии Николаевны своему брату Александру (8 марта 1826 года):  
“... Не его [мужа] арест меня огорчает, не наказание, которое нас ожидает, но то, что он дал себя увлечь, и кому же? Низким из людей, презиаемым его beau-père [тестем], его братьями и его женой...”

А спустя годы в своих мемуарах княгиня М. Н. Волконская писала:  
“Что меня больше всего мучило, это то, что я прочитала в напечатанном приговоре, будто мой муж подделал фальшивую печать, с целью вскрытия правительственных бумаг”.

Между тем, действительный факт, что Волконский “употреблял поддельную печать полевого аудиториата”, стал для него одним из отягчающих обстоятельств при вынесении приговора. Марию Волконскую можно понять: всё же разговор можно как-то объяснить высокой целью – деянием во благо России. Но прославленный генерал, князь, потомок Рюрика, поддельвающий казенные печати, – это в сознании и современников, и жены никак не вязалось с образом благородного вольнодумца.

Первое время дни Волконской заполнены хлопотами по хозяйству. Женщина, не приученная не только к труду, но даже к обслуживанию самой себя, теперь, живя в простой деревенской избе, стирала бельё, мыла полы, рубила дрова, топила печь, занималась шитьём, проводила целые часы перед свечкой, размышляя – о чём же? – о безнадёжности положения, из которого никогда не суждено выйти. По настоянию начальства привезённые горничные вскоре были отосланы восвояси. Причина проста как мир: “Наши девушки стали очень упрямыми, не хотели нам ни в чём помогать и начали себя дурно вести, сходясь с тюремными унтер-офицерами и казаками”.

Это не мешало ей после работы читать и музицировать (Зинаида Волконская в вечер прощания со своей невесткой втихую от неё распорядилась привязать к её кибитке клавикорды. Миф это или реальный факт, трудно сказать. Но исключить такое тоже трудно. Ни одна из женщин, отправившихся вслед декабристам, не представляла, что ждёт её впереди. Сужу по “описи вещам полковницы Нарышкиной” при выезде её в Сибирь. Она занимала три листа большого формата: “в длинном клеёнчатом ящике”, “в малиньком клеёнчатом ящике”, в двух “важах” и в “висючем чемодане под козлами” поместились 22 чепчика и соломенная шляпа, 30 пар женских перчаток, “2 вуаля”, до 30 ночных рубашек, десятки пар чулок – бумажных, шёлковых, шерстяных, “1 картончик с буклями”, медный самовар и многое другое.

Семейная жизнь Волконских в Сибири оказалась такой же безрадостной, какой была и до ареста мужа. Постепенно Мария Николаевна отдалилась от Сергея Григорьевича. Исследователи отмечают: “Имя мужа почти совсем исчезает со страниц её писем, оно упоминается лишь изредка и то по какому-нибудь незначительному поводу”. В мемуарах и переписке декабристов картина личной жизни Волконской складывается из следующих фактов: из стремления поддержать репутацию “достойной и безупречной спутницы декабриста”; из тайной на протяжении долгих лет влюблённости в неё Михаила Лунина (одного женского взгляда на него было достаточно, чтобы сказать, что это человек редкого мужского обаяния и достоинства; конечно, о точности говорить не приходится, но типаж внешности притягательный и чем-то напоминающий пушкинский); из памяти о былых отношениях с Александром Пушкиным; из известного всем большого влияния на неё Поджо. У В. В. Вересаева, составившего в своё время сборник “Пушкин в жизни”, дано пояснение, что сын Михаил рождён ею от декабриста Поджо, а дочь, “знаменитая красавица Нелли”, так в семье звали Елену, – от И. И. Пушина.

Сын Михаил “красоты рафаэльской” родился весной 1832 года. 11 марта И. И. Пуштин отправляет любопытное письмо к С. Г. Волконскому:

“Давно я не имел такого приятного, успокоительного чувства. Сегодня разбудил меня Поджо с радостной вестью о сыне. Между нами не нужны, я надеюсь, общие поздравления. Поцелуйте за меня ручку у Марьи Николаевны – поцелуйте малютку”.

Так или иначе, но Сергей Волконский никогда не проявлял никаких эмоций по поводу её отношений ни с Александром Викторовичем, ни с Иваном Ивановичем. С его стороны никогда не было высказано хоть малейшее сомнение в своём отцовстве (по крайней мере, о них ничего не известно).

Было бы странно, появившись тут вопрос “почему?” Я лишь проведу параллель. Княгиня Зинаида Александровна Волконская (урождённая Белосельская-Белозерская) — поэтесса и художница, певица и хозяйка знаменитого московского литературного салона, “царица муз и красоты”, воспетая Пушкиным и Боратынским, не была верна мужу. В свете говорили о её многочисленных любовных связях, в том числе и с самим императором Александром I. Но несмотря на это, генерал-майор Никита Волконский, брат Сергея, не порывал с ней, предпочитал растворяться в лучах славы собственной жены.

Судя по всему, Волконская и в Сибири оставалась женщиной сиятельной и страстной одновременно. Среди мужчин находилось немало таких, кто искренне восхищался ею, так что от недостатка мужского внимания Мария Николаевна не страдала. Её побаивался и уважал даже генерал-губернатор Восточной Сибири. Она, когда хотела, умело влюбляла в себя мужчин. Имелось ли у этих влюблённостей естественное продолжение? А какая нам разница! Мария Николаевна была из тех светских женщин, кто свои отношения не афиширует. В 1841 году в письме А. М. Раевской она лишь обронила о Поджио:

*“Это превосходный и достойный уважения человек, который предан мне сердцем и душой, и я не знаю, как выказать ему свою признательность”.*

Всё-то она знала! Разговоры о связи Волконской и Поджио, тем не менее, имели вполне реальное развитие, характер которого заслуживает определения, любого на ваш выбор: хотите — удивительное, хотите — озадачивающее. В 1850 году Поджио женился на классной даме иркутского института благородных девиц Ларисе Андреевне Смирновой. Опять же по слухам, Мария Николаевна была очень огорчена этим. А несколько позже в браке у Поджио родилась дочь Варвара.

Но характер взаимоотношений всех членов семейства Волконских и Александра Поджио остался близким, если не следовать слухам, в которых его находили даже ненормальным и одной дружбой не объяснимым. Особенно после амнистии декабристов в 1856 году и их возвращения в европейскую часть Российской империи. Однако в воспоминаниях Волконской именно в тех местах, где мемуаристка упоминает Поджио, можно увидеть много недосказанного и непонятного.

“Записки княгини Марии Николаевны Волконской” (фр. “Mémoires de La Princesse Marie Wolkonsky”), написанные на французском языке и адресованные детям и внукам, не смогли поколебать пристрастных оценивающих взглядов окружающих людей, какие можно встретить, например, у декабриста Ф. Ф. Вадковского (по делу декабристов проходил как “преступник первого разряда”. Ему была уготована смертная казнь, но её заменили пожизненной каторгой, сокращённой впоследствии до 13 лет. Вместе с И. И. Пущиным был инициатором создания тюремной “артели” декабристов на кооперативных началах. В 1844 году умер от чахотки). В письме (1840) другому декабристу, П. Н. Свистуну (осуждён по II разряду и приговорён в каторжную работу на 20 лет, позже срок сокращён до 15 лет. В 1842 году 39-летний Пётр Николаевич обвенчан с 16-летней девицей Татьяной Александровной Неугодниковой, приёмной дочерью бывшего курганского земского исправника), он писал:

*“Что касается семьи Волконских — на неё жалко смотреть. Бедный старый муж решительно устранин. Жена ведёт хозяйство, с утра до вечера окружена братьями Поджио, злословит и с ними, и с кем попало над Сергеем Григорьевичем, доводя скандал до того, что поддерживает все унижения, которые его заставляют сносить. Словом — это отвратительно!”*

Странный “декабрист” Ипполит Завалишин (родной брат Дмитрия Завалишина), первый в России революционный провокатор, прославившийся патологической страстью к доносам, “на всех перекрёстках трубил про М. Н. Волконскую, что она вторая Мессалина”. Да что там чужие люди, у родных сестёр, Софьи Николаевны и Марии Николаевны, возник конфликт, о котором семья Раевских предпочитала не распространяться, но который, похоже, был связан с “неблаговидным” поведением Волконской в сибирской ссылке.

Вернувшись из Сибири, Мария Николаевна прожила недолго. Когда состояние её летом 1863 года резко ухудшилось, приехал А. Поджио, чтобы провести с ней последние дни. Сергей Григорьевич Волконский в это время приболел, ему решили не сообщать об ухудшении здоровья жены, и он с ней даже не простился. В середине августа в возрасте 57-ми лет она умерла. В поместье Воронки Черниговской губернии похоронили ту, которую одна легенда превратила в пушкинскую “музу”, другая легенда — в идеальную подругу

опального декабриста, в женщину, посвятившую жизнь подвигу во имя верности. О других легендах, с ней связанных, предпочитают не упоминать.

После смерти Марии Николаевны, в 1863–1864 годах А. Поджио со своей семьёй сопровождал семью её дочери Елены (по мужу Кочубей) во время путешествия по Италии. Позже уехал в Италию сам, но весной 1873 года смертельно больным (бросив в Италии жену и дочь, которые в Россию больше никогда не вернутся) приехал в поместье Елены Сергеевны и умер у неё на руках. Завещал похоронить себя рядом с Марией Николаевной (на деле случилось, что рядом с обоими Волконскими – Сергей Григорьевич к тому времени уже 8 лет как упокоился около своей жены), что и было исполнено.

В 1930-х годах литературовед О. Попова отметила, что в отлично сохранившемся архиве Волконских в Пушкинском доме письма Александра Поджио к Марии Николаевне отсутствуют. Есть только его письма к Сергею Григорьевичу и Михаилу Сергеевичу, относящиеся уже к периоду после смерти Волконской. Похоже, что письма были уничтожены либо самой Марией Николаевной, либо её родственниками уже после 1863 года.

И ещё один штрих к портрету Марии Николаевны. Её внук, Сергей Михайлович Волконский, оставил такие воспоминания:

*“Она смотрела на чужую жизнь из глубины своего прошлого, на чужую радость – из глубины своих страданий. Это не она смотрела строго, а её страдания смотрели из неё: можно всё забыть, но следов уничтожить нельзя. И я думаю, что это причина, по которой домочадцы, служащие, гувернантки боялись её”.*

Да что там служащие и гувернантки! всю жизнь страдая от того, что отец выдал её замуж без её согласия, со своей единственной дочерью княгиня Волконская поступила точно так же. В 1850 году Елена Сергеевна Волконская, которой оставалось две недели до 16-летия, стала женой Дмитрия Васильевича Молчанова, чиновника по особым поручениям при губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьёве-Амурском. Собственно, решение о свадьбе (вся в папеньку!) Мария Николаевна приняла годом ранее. Задержка была вызвана тем, что понадобилось время, чтобы сломить сопротивление мужа, который был против этого брака.

И вот тут самое примечательное. Евгений Якушкин, касаясь этой ситуации, писал, что, став с годами властной и оставшись такой же решительной, Мария Николаевна, решая судьбу дочери, *“не хотела никого слушать и сказала приятелям Волконского, что если он не согласится, то она объяснит ему, что он не имеет никакого права запрещать, потому что он не отец её дочери. Хотя до этого дело не дошло, но старик, в конце концов, уступил”.*

Кстати, Александр Поджио принимал самое непосредственное участие в решении судьбы дочери Волконских (столь большое для близкого друга семьи, что со стороны оно выглядело не очень приличным). Он тоже был против замужества юной Елены. Однако дети Марии Волконской, ощущая внутреннюю отчуждённость родителей, понимали, кто в семье хозяин, авторитет матери для них был много выше отцовского. Дочь исполнила волю матери.

И буквально два слова о сыне, рождённом в Сибири. Потомок Волконской эмигрировал из России в Италию. Там он вернул себе фамилию своего отца. В начале XX века его похоронили в семейной усыпальнице итальянской ветви рода Поджио.

Наконец, в современной литературе о Пушкине можно встретить точку зрения, что сопоставление ряда свидетельств и нехитрые подсчёты показывают, что сближение Марии Волконской с Александром Поджио (А. П.) началось в Петровском заводе только после того, как Мария Николаевна узнала о бракосочетании другого А. П. – Александра Пушкина. Как бы сей поступок поэта сделал оскорблённую княгиню одинокой и свободной.

Так что нам пора вернуться к Пушкину. В советское время версия о любви Пушкина к Марии Раевской-Волконской имела огромную популярность. Уж очень велик был соблазн идеологически связать “противника царского режима” Пушкина с женщиной, последовавшей за декабристом в ссылку, тем самым ставшей олицетворением оппозиции самодержавию.

Желающих признать Марию Раевскую-Волконскую адресатом и вдохновительницей стихотворений “Редеет облаков летучая гряда...” (1820), “Таврида” (1822), “Ненастный день потух...” (1824), “Буря” (“Ты видел деву на скале...”), “Не пой, красавица, при мне...”, “На холмах Грузии лежит ночная

мгла...” и одного из самых глубоких откровений Пушкина – “Я вас любил...” – находилось немало.

Но главное, что смущает: мотивировка литературоведами “отнесения” (аргументация атрибуции) стихотворения “Я вас любил...” к М. Н. Волконской строится на “косвенных уликах”. Мол, в тот момент, когда рождалось “Я вас любил...”, Пушкин не мог не думать о М. Н. Волконской, так как накануне писал “Эпитафию младенцу” для надгробия её сына\*. А в альбоме А. А. Олениной стихотворение попало случайно, в качестве “отработки” смущённым Пушкиным “штрафа” за посещение её дома в компании ряженных. Из чего напрашивается очевидный вывод, что литературоведение, как и история, – науки точные, по крайней мере, исключительно объективные, но выборочно.

Сама же версия берёт начало в работах пушкиниста П. Е. Щёголева. Кажется, он первым провозгласил Марию “утаённой любовью” поэта, той самой “NN” в его “донжуанском списке”.

... Факт остаётся фактом: когда 26 декабря 1826 года Зинаида Волконская устроила проводы Марии (несмотря на сопротивление родных, оставив годовалого сына, она на следующий день уехала вслед за сосланным мужем), в салон пришли и Пушкин с братом Веневитиновым. Хотя, если говорить о том, когда и как меж ними “начиналось”, то придётся вернуться в 1820 год, когда Пушкин с семьёй Раевских едут из Екатеринослава через Кавказ в Крым. В той совместной поездке в течение трёх месяцев Мария была рядом с поэтом. И было ей тогда всего 14 лет. Он встречался с ней и позже, в Одессе в ноябре 1823 года, когда она вместе с сестрой Софьей приезжала к сестре Елене, жившей тогда у Воронцовых, близких родственников.

Мария Раевская-Волконская и Пушкин – это особая тема, породившая целую гору литературы. Вершиной которой, на мой взгляд, стало первое в отечественной историографии жизнеописание М. Н. Волконской, увидевшее свет в серии “ЖЗЛ”. По мнению автора книги М. Д. Филина, главной нитью её бурной, драматической и загадочной жизни были отношения с Пушкиным, та самая взаимная “утаённая любовь”, пронесённая через все отпущенные им обоим годы.

Следы глубокого чувства писатель и историк обнаруживает в документах княгини и в произведениях, черновиках, рисунках поэта. Сопоставление судьбы Марии Николаевны и романа в стихах “Евгений Онегин” позволило автору сделать оригинальный вывод, что пушкинская Татьяна – не кто иная, как Мария Волконская: от якобы реального её письма Пушкину (помните: “Я к вам пишу – чего же боле? // Что я могу ещё сказать? // Теперь, я знаю, в вашей воле // Меня презреньем наказать”?) до появления в салоне дамы, вышедшей замуж за генерала. (Той, кто “была нетороплива, // Не холодна, не горлива, // Без взора наглого для всех, // Без притязаний на успех, // Без этих маленьких ужимок, // Без подражательных затей... <...> Ужель та самая Татьяна, // Которой он наедине, <...> В глухой, далёкой стороне, // В благом пылу нравоченья // Читал когда-то наставленья, // Та, от которой он хранит // Письмо, <...> Та девочка... иль это сон?..”)

Роман-сон Михаила Филина читается с превеликим любопытством. Тем более, что реальная Мария Волконская сама безосновательно “привязывала” немало пушкинских стихов к своему имени. Так, прочитав “Евгения Онегина”, она сделала в своём дневнике запись:

*“Увидя море, мы приказали остановиться, и вся наша ватага, выйдя из кареты, бросилась к морю любоваться им. Оно было покрыто волнами, и, не подозревая, что поэт идёт за нами, я стала для забавы бегать за волной и вновь убежать от неё, когда она меня настигала!.. Пушкин нашёл эту сцену такой красивой, что воспел её в прелестных стихах, поэтизируя детскую шалость; мне было только 15 лет”.*

Речь идёт о строфе XXXIII Первой главы “Евгения Онегина”:

*Я помню море пред грозою:  
Как я завидовал волнам,*

---

\* Н. С. Волконский похоронен в Александро-Невской лавре. Могила его была потеряна, на саркофаге, наполовину ушедшем в землю, не были обозначены ни имя, ни даты жизни. Нашли её в начале 1950-х годов именно по тексту эпитафии Пушкина, которая сохранилась.

*Бегущим бурной чередою  
С любовью лечь к её ногам!  
Как я желал тогда с волнами  
Коснуться милых ног устами!*

У этой прелестной сценки, впрочем, есть и другая “привязка”, более ранняя. 11 июля 1824 года Вера Вяземская рассказывала мужу один эпизод из своей одесской жизни:

*“...я помещаюсь на громадных камнях, ушедших в море, я смотрю, как волны разбиваются у моих ног, иногда я не нахожу храбрости ожидать девятый вал, когда он приближается слишком поспешно; я тогда стараюсь убежать ещё поспешнее и возвращаюсь минутой спустя...”*

Чуть позже, уже из Михайловского, обращаясь к Вере Вяземской, Пушкин, ни сном ни духом не подозревающий о женской разноголосице, пишет: *“Вот строфа, которой я вам обязан”,* — невольно опровергая одну и свидетельствуя в пользу той, кому посвящена эта строфа.

Между прочим, новость о том, что Пушкин женится на Гончаровой, Волконская в Сибири узнает как раз из письма Веры Вяземской. Чувство ревности одной княгини породит желание доставить горькую пилюлю другой княгине. К тому же подкреплённую стихотворными строчками *“На холмах Грузии лежит ночная мгла...”* и припиской, что они обращены Пушкиным своей избраннице. Но Мария Николаевна умеет “держать удар” и сделает вид, будто происходящее никоим образом её не трогает. Она ответит письмом, полным, как подобает, выражения высокого уважения и почтения. И даже проведёт некоторый как бы отстранённый разбор произведения:

*“В первых двух стихах поэт пробует свой голос. Извлекаемые им звуки, нет сомнения, очень гармоничны, но не имеют отношения к дальнейшим мыслям, столь достойным нашего великого поэта и, судя по тому, что Вы пишете мне, достойным предмета его вдохновения. Эти мысли так новы, так привлекательны, они возбуждают в нас восхищение, но окончание, извините меня, милая Вера, за Вашего приёмного сына, — это окончание старого французского мадригала, это любовный вздор, который нам приятен потому, что доказывает, насколько поэт увлечён своей невестой, а это для нас залог ожидающего его счастливого будущего. Поручаю Вам передать ему наши искрение, самые сердечные поздравления...”*

Отзывы М. Н. Волконской, как видим, противоречит многим современным изданиям, где указано, что поэтические строки адресованы именно ей, Волконской. В. Ф. Вяземская прислала ей это стихотворение с указанием, что оно обращено к невесте поэта — Н. Н. Гончаровой. Что, впрочем, могло быть продиктовано лишь желанием сделать укол новостью о Пушкине более болезненным для Волконской, а никак не “из лучших побуждений”.

К слову, на чём основано суждение, будто это стихотворение “связано” с Натальей Гончаровой? Берлинский автограф *“На холмах Грузии лежит ночная мгла...”* сопровождается рисунком, изображающим девушку во весь рост, с удлинённой линией лба и длинной шеей, и с крылышками бабочки (так обычно изображали Психею). А по свидетельствам сестры поэта, в петербургском свете жену Пушкина называли Психеей. Несколько подчёркнутый высокий лоб и длинная шея в этом профиле присущи пушкинским наброскам профиля Н. Н. Гончаровой. Так что несколько штрихов рисунка, и... гипотеза к вашим услугам.

В другом случае восхищение поэта прелестными ножками в строфе *“Я помню море пред грозою...”* позволило В. Набокову увязать эту сцену с “ножками” графини Воронцовой. Его сторонниками, убеждёнными, что миф о бурном романе поэта с графиней Воронцовой, созданный Т. Г. Цявловской, вовсе не миф, стали пушкинисты, поддержавшие версию отношений поэта с графиней Воронцовой вниманием к одной фразе Вяземской в письме к мужу:

*“...нам довелось вместе с графиней Воронцовой и Пушкиным дожидаться и быть окаченными так обильно, что нам пришлось менять одежду”.*

Но по этому поводу возникла небольшая полемика. Мол, Пушкин был восхищён не ножками графини Елизаветы Ксаверьевны Воронцовой, а ножками самой княгини Веры Фёдоровны Вяземской. Ведь именно она, по свидетельству самого поэта, является адресатом строфы XXXIII Первой главы *“Евгения Онегина”*, а значит — и аналогичных лирических произведений: элегии *“Ненастный день потух...”* и отрывка *“За нею по наклону гор...”*

Однако Марии Раевской-Волконской хотелось думать, что это её образ преследовал Пушкина в момент создания строфы, а сцена, изображённая в “Евгении Онегине”, та самая, что воспроизведена в её дневнике. Вольному воля, но обнаружить что-то “детское” в изображении чувств к женщине, к ногам которой волны бежали “бурной чередой”, чересчур затруднительно.

“Приближение” же поэтических строк о море и женских ножках к Вере Вяземской способствует развенчанию сразу двух мифов – об “утаённой” любви Пушкина к Марии Николаевне Раевской-Волконской и страстном романе с Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой.

При этом надо сказать, что Пушкин вовсе не оставался равнодушен к Воронцовой. Да, она не была, по мнению современников, красавицей, но манера держаться, гордая посадка головы, стройная лебединая шея, аристократическая утончённость делали её обаятельной. Как вспоминал Владимир Соллогуб:

*“Всё её существо было проникнуто такою мягкою, очаровательною, женственной грацией, такою привлекательностью, таким неукоснительным щегольством, что легко себе объяснить, как такие люди, как Пушкин, герой 1812 года Раевский и многие, многие другие без памяти влюблялись в княгиню Воронцову”.*

Влюблялись, действительно, многие, но как любовника Елизавета Ксаверьевна привечала Александра Раевского. И маскировала свою связь с ним (по одной “версии”, у них был общий ребёнок, по другой версии, Раевский был отцом её детей – так считали пушкинисты И. Л. Фейнберг и А. А. Лацис) бывшей у всех на глазах фигурой Пушкина, который, увидев Воронцову, не стал исключением из желающих вписаться в когорту поклонников привлекательной женщины.

Про Воронцову и Пушкина можно услышать, что, мол, что́ между ними было – это тайна двоих. Если вдуматься, то тайна в другом: было ли что или ничего не было между ними? Поэтому правомерен вопрос: есть ли вообще тут тайна или нет никакой тайны, одна легенда? Кому-то хочется предположить, что Воронцова была среди тех женщин Пушкина, правду отношений с которыми он спрятал в тайниках сердца (к такому обычно относят Д. Фикельмон, П. Осипову). Мотивация в таких случаях проста: Пушкин в отношении женщин не отличался скромностью. С этим можно согласиться, если принять во внимание маленькую деталь: так он поступал только тогда, когда огласка не могла ухудшить репутацию женщины (и тут возникают имена А. Керн и А. Закревской).

Миф о Воронцовой, “подкрепляемый” якобы рождением Елизаветой Ксаверьевной темнокожей девочки (этот миф по сию пору нет-нет да и даёт о себе знать), вполне устраивал радетелей страстной любви Пушкина и жены графа Воронцова не потому, что им хотелось по-человечески порадоваться за них, а по причине исключительно “профессиональной”: отголоски этой любви позволяли отчётливо идентифицировать целый ряд элитеский произведений: “Ненастный день потух...”, “Сожжённое письмо”, “Желание славы”, “Храни меня, мой талисман...”, “Талисман”. Можно подумать, будто это хоть на йоту может изменить наше восприятие этих произведений.

А что касается темнокожего ребёнка, то, насколько известно, ни среди детей Пушкина, ни среди его внуков и правнуков таковых не встретишь. Сей факт предпочту оставить без комментария. Разве что позволю себе заметить: смуглая девочка у Воронцовой была. Что из того? Александр Раевский, между прочим, был брюнет, а от матери, внучки знаменитого Ломоносова, ему досталась толика греческой крови. Кого же из двух, графиню или княгиню, природа наградила лучшими ножками, на сей счёт ни у кого из современников Воронцовой и Вяземской упоминаний нет.

Потому от мифа обратимся к реальности. Вот характеристика В. Ф. Вяземской, данная Ф. Ф. Вигелем. Он хоть и был, как известно, “к женщинам равнодушным”, но словесными портретами не брезговал:

*“Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась: немного старше мужа и сестёр, она всех их казалась моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица, грациозная непринуждённость движений долго молодили её. Смелое обхождение в ней казалось не наглостью, а остатком детской резвости. Чистый и громкий хохот её в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал, ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор её”.*

Какой женщине не нравится, когда на неё обращают внимание мужчины! Вера Фёдоровна любила вызывать к себе любовь. Князь Вяземский тоже любил ухаживать за другими женщинами. Меж собой их отношения были... обычными: супруги, скажем так, терпимо относились к сердечным увлечениям друг друга на стороне. Но была у них "изюминка": оба любили делиться своими впечатлениями. Книгиня рассказывала мужу о своих мужчинах, князь Вяземский отвечал ей той же монетой: поверял ей свои чувства, которые рождались во время общения с женщинами. Говорят, это в определённой степени даже укрепляло их брак.

Истинные отношения Веры Фёдоровны с Александром Сергеевичем в Одессе рассматривались неоднократно, что называется, чуть ли не под микроскопом. И конечно, никто не проходил мимо письма Веры Вяземской мужу 1 августа 1824 года:

*"Приходится начать письмо с того, что меня занимает сейчас более всего, — со ссылки и отъезда Пушкина, которого я только что проводила до верха моей огромной горы, нежно поцеловала и о котором я плакала, как о брате, потому что последние недели мы были с ним совсем, как брат с сестрой. Я была единственной поверенной его целомудренно, да и серьёзно лишь с его стороны... Я проповедую ему покорность судьбе, а сама не могу с ней примириться; он сказал мне, покидая меня, что я была единственной женщиной, с которой он расстанется с такою грустью, притом, что никогда не был в меня влюблён".*

В памяти встают строки:

*Я вспомню речи неги страстной,  
Слова тоскующей любви,  
Которые в минувши дни  
У ног любовницы прекрасной  
Мне приходили на язык.*

Что из письма Вяземской следует? Вера Фёдоровна была единственной в Одессе женщиной, расставание с которой поэту далось труднее всего. Что он был в отчаянии, так как последние дни пребывания в Одессе прерывали его чувство к какой-то женщине. Намёки Веры Фёдоровны позволяют "догадаться", что чувство это обращено к Вяземской. Вы так не подумали? Зато именно такую мысль высказал её муж в ответном письме. Опытный в любовных делах, Пётр Вяземский прекрасно знал и понимал свою супругу. К тому же надо учесть, что Елизаветы Ксаверьевны в последние дни в Одессе не было. Единственной женщиной из светского общества, с которой поэт тогда постоянно общался, была сама Вера Фёдоровна.

В ноябре 1823 года в рабочей тетради Пушкина появляется первоначальный черновой автограф строк, которым позже суждено будет стать стихотворением "Желание славы". В разное время пушкинисты соотносили их с Амалией Ризнич и Е. К. Воронцовой. Мифический роман Пушкина с графиней Воронцовой очень красив, но в реальной жизни разворачивались отнюдь не выдуманные отношения поэта с Верой Вяземской. В октябре 1824 года оторванный от женщины, вокруг которой крутились все мысли, боящийся потерять её, Пушкин пишет княгине:

*"Прекрасная, добрейшая княгиня Вера, душа прелестная и великодушная! Не стану благодарить Вас за Ваше письмо, слова были бы слишком холодны и слишком слабы, чтобы выразить Вам моё умиление и признательность... Вашей нежной дружбы было бы достаточно для всякой души менее эгоистичной, чем моя; каков я ни есть, она одна утешила меня во многих горестях и одна могла успокоить бешенство скуки, снедающей моё нелепое существование".*

В первой половине 1825 года оформляется окончательный текст "Желания славы":

*Могли ль меня молвы тревожить приговоры,  
Когда, склонив ко мне томительные взоры  
И руку на главу мне тихо наложив,  
Шептала ты: "Скажи, ты любишь, ты счастлив?  
Другую, как меня, скажи, любить не будешь?  
Ты никогда, мой друг, меня не забудешь?"*  
<...>



*Я новым для меня желанием томим:  
Желаю славы я, чтоб именем моим  
Твой слух был поражён всечасно, чтоб ты мною  
Окружена была, чтоб громкою молвою  
Всё, всё вокруг тебя звучало обо мне...*

Примерно в это же время, по свидетельству А. А. Муханова (сына сенатора А. И. Муханова от брака его с княжной Варварой Трубецкой), с которым у Веры Фёдоровны был в прошлом роман, во время новой их встречи в ноябре 1825 года Вяземская “сильно пробудить усопшие чувства”, на что он в ответ ей достаточно красноречиво дал понять: “В душе моей одно волнение, // а не любовь пробудишь ты”. При этом дальнейшие отношения Вяземской и Муханова были чрезвычайно дружескими. Обаятельная и осмотровательная княгиня, надо заметить, старалась расставаться с любовниками бесконфликтно, предпочитала сохранять с ними тёплые отношения.

Возвращённый царём из Михайловского в Москву, Пушкин пытался возобновить отношения с Вяземской. В письме к ней от 3 ноября 1826 года поэт писал:

*“Спешу, княгиня, послать Вам поясы. Вы видите, что мне представляется прекрасный случай написать Вам мадригал по поводу пояса Венеры, но мадригал и чувство стали одинаково смешны. Что сказать Вам о моём путешествии? Оно продолжается при самых счастливых предзнаменованиях, за исключением отвратительной дороги и невыносимых ямщиков. Толчки, удары локтями и проч. очень беспокоят двух моих спутников, я прошу у них извинения за вольность обращения, но, когда путешествуешь совместно, необходимо кое-что прощать друг другу. С. П.\* – мой добрый ангел, но другая\*\* – мой демон; это весьма некстати смущает меня в моих поэтических и любовных размышлениях. Прощайте, княгиня, – еду похоронить себя в обществе моих соседок. Молите Бога за упокой моей души. Если Вы удостоите прислать мне в Опочку небольшое письмо страницы в 4, это будет с вашей стороны вполне милое кокетство. Вы, которая умеет написать записку лучше, чем моя покойная тётушка\*\*\*, неужели Вы не проявите такой доброты? (NB: записка впрямь синоним музыки.) Итак, прощайте. Я у Ваших ног и трясу Вам руку на английский манер, так как Вы ни за что не желаете, чтобы я Вам её целовал. – Торжок. 3 ноября. – Достаточно ли обиняков? Ради Бога не давайте ключа к ниму Вашему супругу. Категорически восстаю против этого”.*

На что Вяземская, которая была старше его на девять лет и, несомненно, вносила в свои отношения к Пушкину чувство нежной материнской заботливости (в одном из её писем мужу читаем: “Мы с ним в прекрасных отношениях; он забавен до невозможности. Я браню его, как будто бы он был моим сыном...”), кокетливо отвечает:

*“Добрый ангел и демон дерутся ли ещё около Вас? Я полагаю, что Вы уже давно их отогнали. Кстати, Вы так часто меняли предметы, что я уже не знаю, кто же другая. Муж мой уверяет меня, что я надеюсь, что это – я... Но я рассчитываю на Вашу дружбу”.*

В её письме явно просматривается подтекст: “Вы часто меняете свои привязанности, и я уже не знаю, кто сегодня у вас “другая”, хотя прежде ею была я”.

По поводу того, кем они были друг для друга, намёков со стороны современников Пушкина предостаточно. П. В. и В. А. Нащокины утверждали, что Пушкин не любил Вяземского, хотя явно этого не выражал. Напротив, Вяземскую Пушкин любил. Но что было, чего не было меж ними, нас ведь это не касается. Одно несомненно: Пушкин и Вяземская до самой смерти поэта оставались друзьями. Княгиня никогда и ни в чём его не предавала. Будем ей за это благодарны.

Кишинёвский, затем одесский, позже михайловский периоды были отмечены бурными, чувственными, экзотическими, сложными, страстными, болезненными и нередко скандальными любовными отношениями-похождениями,

\* С. П. – “Это, само собою разумеется, не Сергей Пушкин” (примеч. Пушкина). Расшифровывается как Софья Пушкина, которой поэт в то время увлекался.

\*\* Другая – по мнению Б. Л. Модзалевского – Анна Николаевна Вульф.

\*\*\* Покойная тётушка – та, которой посвящено шутивное стихотворение: “Ах, тётушка, ах, Анна Львовна, – Василья Львовича сестра...”

когда мимолётными, когда продолжительными, с жёнами и дочерьми молдавских бояр, с женой богача Инглези красавицей-цыганкой Людмилой Шеко-рой, с певицей Калипсо, которая, поговаривали, ранее была любовницей Байрона, с маленькой гречанкой – холодной красавицей с огромным носом Пульхерией Варфоломей, с привлекательной женой подполковника Ф. Г. Вакара, чей полк был расквартирован в Кишинёве, а она в то время ещё училась в Одесском пансионе (Пушкину нравилось танцевать с Викторией, так как в паре с ней при его небольшом росте они выглядели очень гармоничной парой). Можно упомянуть многих других. Из чего следует вывод: Пушкин не был привередлив. По свидетельству И. П. Липранди, он “любил всех хорошеньких, всех свободных болтуний”. Тут главное – понять, что “свободных” – имелось в виду свободных нравов.

В разное время по жизни его “сопровождали”:

жена А. Г. Строганова Н. В. Кочубей (исследователи связывают с ней стихотворение “Измены” и имя “Наталья” в “донжуанском списке” Пушкина); красивая брюнетка с длинной косой и пламенными глазами Амалия Ризнич – в Михайловском в 1826 году, узнав о её смерти, Пушкин отозвался на сообщение с удивившим его самого спокойствием. (“Из равнодушных уст я слышал смелые весты, // И равнодушно ей внимал я”). А ведь в пору романа с Ризнич какие муки ревности испытывал он! Брат поэта рассказывал, что однажды тот “в бешенстве ревности пробежал пять вёрст с обнажённой головой под палящим солнцем”. Вероятно, именно они описаны Пушкиным в элегии “Простишь ли мне ревнивые мечты...”:

*Мой милый друг, не мучь меня, молю,  
Не знаешь ты, как сильно я люблю,  
Не знаешь ты, как тяжко я страдаю...*

В Одессе написаны и другие стихотворения, посвящённые Ризнич: “Ночь”, “Надеждой сладостной младенчески дыша...”

Переехав в Одессу, Пушкин стал более сдержан. Очевидная причина: общество и женщины были другими. Тем не менее:

*“Недавно выдался нам молодой денёк – я был предводителем попойки, все перепились и поехали по борделям”.*

Вопреки своей репутации, будто он не пропускал ни одной юбки, остаётся открытым вопрос: кто влюблялся раньше – он в женщин или женщины в него? Брат Лев вспоминал:

*“Женщинам Пушкин нравился; он бывал с ними необыкновенно увлекателен и внушил не одну страсть на веку своём. Когда он кокетничал с женщиной или когда был действительно ею занят, разговор его становился необыкновенно заманчив”.*

XIX век – время флирта, когда светские замужние женщины пользовались большой свободой в своих отношениях с мужчинами. Замужние дамы, львицы света и полусвета имели, говоря современным языком, довольно широкие взгляды на нравственность и позволяли себе не просто обманывать своих мужей, но нередко открыто демонстрировать поведение, нарушавшее нормы приличия, а потому скандальное. Как известно, не только деньги любят тишину. Тем не менее, брак не являлся святыней, верность не рассматривалась как добродетель супругов. Нельзя сказать, что каждая женщина, но многие, не ограничивая себя ничем, считали, что должны иметь кавалера или любовника. В ситуации, когда жёнами становились в юном возрасте без всякой любви, адюльтер замужней дамы стал явлением практически легализованным. Обручальное кольцо (только к середине XIX века оно перекочевало на безымянный палец правой руки) никаких ограничений не накладывало.

Соответственно немало мужчин считали своим долгом волочиться за женщинами и мало ценили в жизни “возвышенные чувства”. Никого из мужчин не останавливало то, что многие из женщин, на которых они “положили глаз”, были жёнами, скажем так, приятелей и знакомых.

От обоих супругов требовалось одно: нужно было, чтобы отношения не выходили из границ светской благопристойности, и нельзя было пренебрегать мнением света. Развод как таковой, можно сказать, отсутствовал. Не любит, изменяет, не сошлись характерами – не поводы и не мотивы для развода. Случалось, о нём просили от отчаяния, но разрешения Синода на развод обычно не получали. Воспоминания свидетельствуют, что в конце XVIII –

начале XIX веков “развод... считался чем-то языческим и чудовищным... Сильно возбуждённое мнение “большого света” обеих столиц строго осуждало нарушавших закон...”

Авторы известного сочинения “О повреждении нравов в России” – французский посланник в России в 80-е годы XVIII века граф А. Ф. де Сепор и историк М. М. Щербатов – приводят множество примеров незаконного сожительства и супружеских измен в среде высшей столичной знати. В числе наиболее скандальных связей названы “распутства” княгинь А. С. Бутурлиной, А. Б. Апраксиной (урождённой Голицыной), Е. С. Куракиной. “А ныне, – сетовал М. М. Щербатов, – их можно сотнями считать”.

Зачастую семейные пары являли собой такую форму сосуществования, в которой муж не отличался верностью супруге, а она платила ему той же монетой. В окружении Пушкина таких семейных “союзов” было предостаточно. Наталья Викторовна Кочубей – дочь М. В. Кочубей (урождённой Васильчиковой) и министра внутренних дел, впоследствии председателя Госсовета и кабинета министров, вице-канцлера В. П. Кочубея “была первым предметом любви Пушкина”, ещё во времена Лицея, как вспоминал лицеист-сокурсник Корф.

В 1820 году Наталья Викторовна вышла замуж за графа А. Г. Строганова, родственника Гончаровых и брата Идалии Полетика. (К слову, ранее её сватали за графа М. С. Воронцова, будущего новороссийского генерал-губернатора, но по каким-то причинам свадьба не состоялась.). Историк С. Соловьёв, который был домашним воспитателем их детей, оставил беспощадную характеристику графа:

*“Александр Григорьевич Строганов <...> служил страшным примером, какие люди в России в царствование Николая I могли достигать высших степеней служебной лестницы. <...> Имея ум чрезвычайно поверхностный, ...с важностью выкладывал какую-нибудь нелепую мысль и старался ею озадачить, упорно поддерживая и обстраивая другими подобными же нелепостями. При этом – ни малейшего благородства, деликатности”.*

Впрочем, ничуть не лучшего мнения Соловьёв был и о его супруге:

*“Жена была ещё хуже мужа: с умом и образованием также поверхностными, с огромными претензиями на то и другое, с полным отсутствием сердца, эгоизм воплощённый, неразборчивость средств, способность унижаться до самых неприличных искательств, когда считалось нужным, и в то же время гордость, властолюбие непомерное – вот графиня Наталья Викторовна Строганова, урождённая княжна Кочубей. Эта чета была испорчена губернаторством. <...> Раболепство русского губернского чиновничества, дворянства и купечества пред генерал-губернатором легко развратили Строгановых”.*

Брак, увы, оказался несчастливим. Граф Строганов не был верен супруге, и Наталья тоже имела любовные связи на стороне. Красавицей её назвать трудно, но у неё были прекрасные глаза – их признавали её главной красотой. Одна из её современниц отметила по-женски точно: “...она в точности такая, какой нужно быть, чтобы очаровывать”. Соловьёв характеризовал графиню как “женщину без убеждений и без сердца” и намекал, что в Петербурге она вела распутную жизнь. Ни для кого не являлось тайной, что она длительное время добивалась взаимности Николая I. Генерал князь Горчаков ухаживал “за ней так, как это делалось в былые времена, – открыто и не таясь”. Среди её любовников был будущий убийца поэта – Дантес. Наталья Викторовна часто встречалась с Пушкиным в последнее десятилетие его жизни. Но, надо отдать должное, в отличие от своего мужа и его сестры, графиня оставалась верным другом Пушкина до и после его смерти.

Занятно то, что у гроба Пушкина самой громкогласой плакальщицей была ещё одна “беззаконная комета” – эксцентричного характера удивительная женщина, одновременно очаровывающая и шокирующая.

*“Всем известно, какое было тогда стечение народу на канаве у Певческого моста перед домом <...> Весь этот люд днём и ночью рвался поклониться праху незабвенного поэта. Затем тело Александра Сергеевича до дня похорон поставили в склеп Конюшенной церкви, и там поклонения продолжались. А дамы так даже ночевали в склепе, и самой яркой из них оказалась тётушка Аграфена Фёдоровна Закревская. Мало того, что её сон не брал всё время, как тело стояло в склепе, мало того, что она, сидя около гроба в мягком кресле, не переставала обливаться горячими слезами, – нет, она ещё знакомила ночевавших с нею в склепе барынь с особенными отличительными чертами*

<...> характера дорогого ей человека. Разумеется, она первым делом с наслаждением поведала барыням, что Пушкин был в неё влюблён без памяти, что он ревновал её ко всем и каждому. Что ещё недавно в гостях у Соловых <...> Пушкин шепнул ей на ухо: “Может быть, вы никогда меня не увидите!”

Так впоследствии писала в своих “Воспоминаниях” племянница А. Ф. Закревской, М. Ф. Каменская. И сказать, что тогда, в склепе, её тётка фантазировала, будет неверным. Доказательством тому свидетельствует, что Закревской адресованы стихотворения “Портрет” (“С своей пылающей душой...”), “Наперсник” (“Твоих признаний, жалоб нежных...”), “Счастлив, кто избран своенравно...”, “Когда твои младые лета...” Можно встретить суждения, что в отрывке (неоконченной повести) “Гости съезжались на дачу” прототипом Зинаиды Вольской была Закревская.

Кто она такая? Закревская Аграфена Фёдоровна (урождённая Толстая) – дочь графа Фёдора Андреевича Толстого и Степаниды Алексеевны Толстой (урождённой Дурасовой), внучка богатейшего золотопромышленника И. С. Мясникова, племянница московского богача Н. А. Дурасова, двоюродная сестра художника Ф. П. Толстого и двоюродная тётка писателей Л. Н. и А. К. Толстых, троюродная сестра княгини Е. И. Трубецкой.

Родословная замечательная, но мы выделим два момента. Первый: в 1818 году, в восемнадцать лет, Аграфена вышла замуж за 35-летнего А. А. Закревского, участника Отечественной войны, генерала без сколько-нибудь значительного состояния, поскольку происходил он из мелкопоместных дворян Тверской губернии. В качестве приданого Аграфена принесла ему подмосковную усадьбу Студенец, расположенную на левом берегу Москвы-реки подле старинной Звенигородской дороги. Их браку способствовал император, зная о недостаточности средств Закревского.

Второй: она была фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны. Какая здесь связь между одним и другим, станет ясно чуть позже.

По случаю их помолвки В. Л. Пушкин писал Вяземскому:

“...Толстая, дочь Толстой Степаниды, сговорена за генерал-адъютанта Закревского и на днях получила вензель\*. Батюшка её назначил будущим новобрачным сто тысяч годового дохода. Закревский по-французски не говорит, и Фёдор Андреевич утверждает, что такой зять ему был и надобен”.

Граф Ф. П. Толстой, кузен Грушеньки, вспоминал:

“Аграфена Фёдоровна, бывши невестою, не могла даже видеть своего жениха, он ей не нравился, а между тем всё-таки была выдана за Закревского, потому что тщеславным родителям льстило иметь зятем человека, так близкого к особе Его Величества. А может ли она его любить и будет ли за ним счастлива, об этом почтенные родителинисколько и не заботились. Хорошо, что Аграфена Фёдоровна была такой нравственности, что с первых же дней после свадьбы умела найти себе утешение – у её мужа были аютанты. Как Аграфена Фёдоровна любила своего мужа и дорожила его честью и своей, известно очень хорошо всем в городе. Расчётливый же муж молодой богатой жены, любивший гораздо более женины деньги, нежели её самое и супружескую честь, не убивался её развратом, которого она не заботилась и скрывать”.

В 1823 году А. А. Закревский был назначен генерал-губернатором в Финляндию, и Аграфена последовала за мужем. Там высокая, смуглая красавица с живым и острым умом приобрела громкую известность способностью говорить одновременно о 10 различных предметах и своими многочисленными любовными связями. Пылкая и страстная любительница французских романов, она одаривала благосклонностью молодых людей, состоявших при муже. Судачили, что особо ею был приближен граф Армфельдт, которому светская молва (напишет инженер-генерал из рода Дельвигов, двоюродный брат поэта Антона Дельвига, лицейского друга Пушкина, Андрей Иванович Дельвиг в мемуарах “Мои воспоминания” – “Полвека русской жизни”) и приписывала отцовство дочери Закревских. (Её крёстными стали император Николай I и императрица Александра Фёдоровна, но это так, к слову.)

“Нервические припадки” стали причиной её поездки на лечение в Италию, где у неё случился бурный роман с князем Кобургским, будущим королём

\* Получить вензель означало получить придворное назначение на должность фрейлины. Фрейлинский вензель (шифр с вензелем) – золотой, усыпанный бриллиантами знак отличия, который носили придворные дамы в должности фрейлин. Он представлял собой брошь на банте цвета Андреевской голубой ленты, прикрепляемую к платью на левой стороне корсажа.

Бельгии. В свете поползли упорные слухи, что “Грушенька Толстая” не намерена возвращаться из Италии. Но она вернулась, получив от князя от ворот поворот относительно каких-либо перспектив для неё. И её очередной пассией стал 24-летний поэт Евгений Боратынский, который в звании унтер-офицера состоял в Гельсингфорсе при корпусном штабе генерала А. А. Закревского. Считается, что любовное увлечение поэта нашло отражение в его стихотворениях “Мне с упоением заметным...”, “Фея”, “Нет, обманула Вас молва...”, “Оправдание”, “Мы пьём в любви отраву сладкую...”, “Я безрассуден, и не диво...”, “Как много ты в немного дней...”

Живя в Финляндии, Аграфена Закревская иногда наезжала в Петербург. Пушкин увидел её впервые в один из её приездов из Гельсингфорса к мужу, который получил назначение министром внутренних дел. Правда, Пушкина опередил П. А. Вяземский. С лёгкой руки князя, любителя и почитателя её красоты, за Закревской закрепилось прозвище “медной Венеры”. Прозвище было не случайное: в европейской галантной поэзии Венера была символом чувственной любви.

6 мая 1828 года на балу у Авдулиных Пушкин, как шутливо сообщил жене Вяземский, “отбил” у него Закревскую. Именно в том году происходили частые встречи Пушкина и красавицы Аграфены на балах, в салонах и на званых приёмах. Петербургский свет не только-то привечал её, но, хочешь не хочешь – она жена министра внутренних дел.

О влюблённости Пушкина в Закревскую записала в свой дневник 11 августа дочь президента Академии художеств Анна Оленина. Как раз в то время Пушкин сватался к ней (впрочем, в тот же период сватовства к Олениной, кроме Закревской, у Пушкина была мимолётная любовная связь с Анной Керн). Осенью Вяземский писал А. И. Тургеневу, что Пушкин “целое лето кружился в вихре петербургской жизни” и воспевал Закревскую.

Графиня Лидия Андреевна Ростопчина, внучка московского градоначальника и генерал-губернатора Москвы во время наполеоновского нашествия, современница молодой жены Закревского, в своей “Семейной хронике” набросала портрет во многом знаковой героини той эпохи:

*“Графиня Закревская была весьма оригинальной личностью, выведенной во многих романах того времени. Она давала обильную пищу злословию, и по всей Москве ходили сплетни на её счёт. Очень умная, без предрассудков, насколько не считавшаяся с условными требованиями морали и внешности, она обладала способностью искренней привязанности”.*

Живи она веком позже, наверняка стала бы поборницей “новой морали” и “свободной любви” и, кто знает, ещё одной валькирией революции вроде Александры Коллонтай, чьё имя и о чьих неприкрытых и бурных романах в начале XX века знали все. В начале XIX века имя Аграфены Закревской, чьи частые увлечения объяснялись презрением к светским условностям и свободным отношением к брачным обязательствам, тоже знали все. Образ её привлекал внимание лучших поэтов 1820–1830-х годов.

Слух людей и впрямь был утоmlён “молвой побед её бесстыдных // и соблазнительных связей”, как ранее предсказал Боратынский. Но это ничуть не смущало Пушкина. Он знал про её связь с Евгением Боратынским и о поэме “Бал”, в которой тот вывел внушающую страх необузданностью желаний женщину-вамп под именем княгини Нины. Но стоило ему только увидеть эту женщину с “пылающей душой” и “бурными страстями”, он стал её “наперсником”.

*Твоих признаний, жалоб нежных  
Ловлю я жадно каждый крик:  
Страстей безумных и мятежных  
Так упоителен язык!*

Хотя себе признавался, что их отношения мучительны: сам влюблён в неё без памяти и ревнует её ко всем и к каждому. Племянница Закревской по секрету всему свету делилась “тайной” взаимоотношений тётушки с Пушкиным:

*“Ещё недавно в гостях у Соловых он, ревнуя её за то, что она занимается с кем-то больше, чем с ним, разозлился на неё и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь...”*

Почему так? Что двигало им? Может, ответ найдём в строках письма Пушкина Елизавете Михайловне Хитрово (дочь М. И. Кутузова, мать Д. Ф. Фикельмон)? Елизавета Михайловна питала к Пушкину, можно сказать и так,

“самую нежную, страстную дружбу”. Чувства стареющей женщины порой тяготили поэта. Хотя, надо признать, она старалась философски смотреть на его увлечения другими, более молодыми женщинами. Письмо написано в октябре 1828 года:

*“Я больше всего на свете боюсь порядочных женщин и возвышенных чувств. Да здравствуют гризетки – это и гораздо короче, и гораздо удобнее. Я не прихожу к Вам оттого, что очень занят и могу выходить из дому лишь весьма поздно. Мне нужно бы было видеть тысячу людей, а между тем я их не вижу.*

*Хотите, чтоб я говорил с Вами откровенно? Быть может, я изыщен и порядочен в моих писаниях, но сердце моё совсем вульгарно, и все склонности у меня вполне мещанские. Я пресытился интригами, чувствами, перепиской и т. п. Я имею несчастье быть в связи с особой умной, болезненной и страстной, которая доводит меня до бешенства, хотя я её и люблю всем сердцем. Этого более чем достаточно для моих забот и моего темперамента. Вас ведь не рассердит моя откровенность, правда?”*

Той же осенью Пушкин пишет П. А. Вяземскому, что Закревская “произвела его в свои сводники”.

Пушкин, обуреваемый “бешенством желаний” и “любовным пылом” (выражения самого поэта), полный самых противоречивых страстей, считал возможным не проходить мимо тех, кто “не отличался семейными добродетелями”. Его увлечения нередко были, можно сказать, легковесными, а диапазон внимания довольно широк. В одних случаях он мог волочиться за женщиной, потому что сознавал её доступность. В других случаях его вела страсть. Бывало, он влюблялся нежно и даже безнадёжно.

Его чувство к Екатерине Бакуниной не походило на чувство к Е. А. Карамзиной, влюблённость в Евдокию Голицыну различалась со страстью, например, к Амалии Ризнич, а отношения с Аглаей Антоновной Давыдовой не имели и капли похожести с тем, что складывалось у него с Каролиной Собаньской, самоотверженная страсть Е. М. Хитрово воспринималась им иначе, чем сердечные чувства к нему Анны Вульф или П. А. Осиповой.

К его встречам с разными женщинами, людьми разной культуры чувств и сердечных переживаний, можно относиться по-разному. Но они учили поэта замечать и выражать нюансы чувств, а не только их примитивную сторону. Обогащали его поэтическую палитру. Развивали в нём способность переосмысливать свою личность, быть гибким и разным. Заметим, влюблялся не только он. Влюблялись и в него. И ещё как влюблялись – в небогатого, маленького ростом, не блещущего красотой, не отличающегося постоянством, с плохой репутацией и вообще не такого, как все.

Чтобы лучше вникнуть в серьёзную тему “Пушкин и женщины”, нужно непременно коснуться ещё одной её грани. Думать, что вызывающим, с современной точки зрения, поведением отличались лишь аристократы, увы, не приходится. Императорские особы на их фоне заметно не выделялись. И те, кто был успешен в военных делах, и те, кто отличался проницательностью в делах государственных, в повседневной личной жизни особо никого не стеснялись, да и ничего не скрывали. И менее всего думали о том, выходят или нет их отношения из границ светской благопристойности. Достаточно упомянуть несколько имён и сослаться на известные, совсем не романтические истории.

Последний царь Всея Руси и первый Император Всероссийский Пётр I, который начал заполнять свой “постельный реестр” в 18 лет в Немецкой слободе Москвы, проходя начальный курс любви с двумя подругами – Еленой Фадемрех и Кукуйской царицей Анной Монс – был большим охотником до женского пола. Его супруга Екатерина Алексеевна, лифляндская крестьянка, обозная девка, взлетевшая на вершину власти по прихоти своего венценосного супруга, смотрела на шалости супруга сквозь пальцы. Никаких тебе сцен ревности, наоборот, она привечала царских “метресок”, дарила им подарки и придворные должности.

Александр I, состоявший в браке с Луизой Марией Августой Баденской, часто заводил любовные интриги на стороне. Детей имел от фрейлины Марии Нарышкиной (очаровательной жены придворного вельможи Д. Л. Нарышкина), с которой он на протяжении 15 лет жил как со второй (а то и первой) женой.

Нравы этого многоугольника были таковы, что муж Марии Антоновны, Дмитрий Львович Нарышкин, имел две должности: официальную – обер-егермейстера и неофициальную – “снисходительного мужа”. В истории он остался

образцовым “рогоносцем” своего времени. Следуя законам фаворитизма, страдающей императрице Елизавете Алексеевне пришлось найти утешителя-любовника. У Марии Антоновны, помимо Александра I, были и другие “поклонники”, большей частью из молоденьких царских флигель-адъютантов. Александр I ревновал свою возлюбленную и тех своих подданных, которые смели перейти ему дорогу, отправлял в далёкие и долгие командировки, кого в европейские страны, кого в противоположную сторону. Любовная история кончилась тем, что Мария Нарышкина в 1814 году сама разорвала связь с императором. Оно и понятно — “до того ль, голубчик, было”: случилась Отечественная война 1812 года, затем последовал заграничный поход 1813–1814 годов и международный конгресс победителей Наполеона в 1814 году. Два года император редко бывал в Петербурге.

Амурные похождения императора Николая I, большого любителя пеших прогулок для здоровья и мимолётных романов, Фёдор Иванович Тютчев, умнейший человек и известный острослов, окрестил “васильковыми чудачествами”. До этих чудачеств нам вроде бы дела нет. В истории сохранилась лишь долговременная связь, которую он поддерживал с одной своей фавориткой, красавицей-фрейлиной Варварой Нелидовой. Их отношения продолжались 17 лет. В генеалогических таблицах есть упоминания о внебрачных детях царя, которых, полагают, родила ему Варвара.

Впрочем, история сохранила и некоторые детали, имеющие отношение к условиям, продиктованным Николаем I, не считавшим свои “васильковые чудачества” неким прегрешением, относительно характера пребывания на каторге декабристов. Сосланные ведь были молодыми мужчинами с естественными потребностями. Что пронциательный царь учёл. Поэтому все женщины, отправившиеся вслед за ними, по прибытии в Сибирь давали подписку об отказе от семейной жизни.

Жёнам свидания с мужьями разрешались по часу два раза в неделю в присутствии офицера. Об этой интимной стороне жизни декабристов обычно стараются не говорить, хотя нормальному человеку понятно, что 60 минут “свидания” мужей со своими жёнами два раза в неделю в присутствии постороннего человека накладывали особый “колорит” на их сексуальные отношения. А они были, что легко высчитывается по датам рождения сибирских первенцев, например, Трубецких, Давыдовых, Муравьёвых и других.

Зная это, надо признать, отказ от привилегий и от привычного с детства образа жизни явился не самым тяжким испытанием для “жён ссылокаторжных”, везущих в Сибирь чепчики и соломенные шляпы, десятки пар женских перчаток, “вуаля” и “картончики с буклями”.

Более обстоятельно о Николае I есть смысл продолжить разговор потом, но позже, во время позорной для нас Крымской войны 1853–1855 годов, тот же Тютчев публично произнёс в адрес последнего внука Екатерины II:

*“Чтобы создать такое безвыходное положение, нужна была чудовищная тупость этого злополучного человека”.*

В данный момент тупость Николая I нас волнует меньше всего, как и оценка, часто звучащая в его адрес: мол, что взять с “коронованного жандарма”, а вот слова историка М. Н. Покровского будут как раз в тему:

*“Лицемерием была проникнута вся его личная жизнь. Он был, конечно, развратен, как все его предшественники и предшественницы”.*

Императором, прославившимся в качестве “рушителя” семейной чести своих подданных, назвал Николая I известный лермонтовед Ираклий Андроников. И подтвердил это конкретной историей, в которой судьба свела Лермонтова, царя, баронессу Ольгу Фредерикс и Екатерину Столыпину. Как пишет литературовед, *“...Ольга Фредерикс была дочерью генерал-адъютанта барона П. А. Фредерикса, командира лейб-гвардии Московского полка, человека, доказавшего свою преданность Николаю 14 декабря 1825 года, когда он, Фредерикс, выйдя к восставшим солдатам, упал от удара саблей по голове, нанесённого ему поручиком Щепиным-Ростовским. Мать молодой фрейлины — Цецилия Владиславовна, урождённая графиня Гуровская, полька и католичка — с детских лет состояла в интимной дружбе с императрицей, была с нею на “ты”, виделись они ежедневно, и дети Фредериксов воспитывались во дворце вместе с детьми императора. Это не помешало Николаю проявить интерес к подруге своих детей”.*

Проявление интереса происходило по привычному сценарию. Читаем у Андроникова:

“Для удобства императора... девушку, обратившую на себя “высочайшее” внимание, жаловали во фрейлины, после чего она поселялась во дворце и становилась кратковременной фавориткой. Это благосклонное внимание государя завершалось тем, что императрица начинала сватать недавнюю избранницу за кого-либо, “лично известного” государю. При этом чаще всего избранный ею жених и родители невесты рассматривали это сватовство как проявление особой монаршей “милости”. Но бывало (хоть это случалось нечасто), что история принимала другой оборот. И те, кому следовало о том беспокоиться, старались, чтобы скандальные слухи не вышли за пределы узкого придворного круга”.

У известного критика Н. А. Добролюбова есть статья “Разврат Николая Павловича и его приближённых любимцев”. Можно, конечно, усомниться в том, что разночинец Добролюбов мог знать хоть что-нибудь о жизни царской семьи. Но ведь он и поместил её в нелегальной газете “Слухи”. То есть переадресовал возможные сомнения на тех современников, кто знал о жизни двора:

“Можно сказать, что нет и не было при дворе ни одной фрейлины, которая была бы взята ко двору без покушения на её любовь со стороны или самого государя, или кого-нибудь из его августейшего семейства... Обыкновенный порядок был такой: брали девушку знатной фамилии в фрейлины, употребляли её для услуг благочестивейшего самодержавнейшего императора нашего, а затем императрица Александра начинала сватать обеспеченную девушку за кого-нибудь из придворных женихов”.

Тут уместно, забегаая вперёд, сказать: эта статья появилась через 18 лет после гибели Пушкина. Но поэт был в курсе дела, смею думать, лучше Добролюбова, хотя бы благодаря дружбе с одной из царских фавориток – Александрой Россет. В том, что женитьба на любовнице императора считалась обычным путём успешной карьеры, ни для кого секрета не было. Так, заурядная черта нравов того времени. Избирался сей путь вовсе не редко. Его ещё и почитали честью (в соответствии с понятием чести, которое исповедовало великосветское общество).

Иной взгляд был довольно редок, но случался. Например, очередную симпатию Николая Павловича, Ольгу Фредерикс, пожалованную фрейлиной к дочери Николая – великой княгине Марии, – выдали замуж за поручика лейб-гвардии гусарского полка Никитина. И муж позволил себе упрекать жену за предшествовавший её роман с венценосцем. Жена же возьми и пожалуйся царю на обидчика – мужа немедленно сослали.

Ираклий Андроников, воспроизводя этот эпизод, пишет, что факты изложены Добролюбовым не совсем точно, но по существу подтверждаются. В архиве III Отделения хранилось “Дело по жалобе поручика Василия Никитина на жену свою, преданную прудосудительной жизни”. Более того, косвенно эта история отразилась в мемуарах одной из дочерей Николая I (Ольги), которая, вероятно, даже и не догадываясь о причинах, рассказывает о крушении дружбы между Фредериксами и царской семьёй, последовавшем вскоре после описанных здесь событий.

Впрочем, Андроников воспроизводит другую реальную историю, имеющую прямое отношение к Лермонтову и другу и родственнику поэта Алексею Аркадьевичу Столыпину (Монго), которым “удалось спасти одну даму от назойливости некоего высокопоставленного лица”. Речь, считает литературовед, шла о назойливом внимании императора. “Вмешательство в интимные дела” первого лица государства даже спустя 50 лет вызвало раздражение власти против историка литературы П. А. Висковатова (первого биографа Лермонтова), обнародовавшего историю о том, как друзьям удалось дать 17-летней девушке возможность срочно выйти замуж и незаметно скрыться за границу.

Монго был внуком знаменитого адмирала Н. С. Мордвинова. У семьи Мордвиновых возникла проблема: уберечь младшую Столыпину от грозившей ей “интимной благосклонности” императора (после смерти матери дети Столыпина жили в семье Мордвиновых). Видимо, о предстоящем назначении Екатерины Столыпину фрейлиной кто-то оповестил их заранее. А у них уже был опыт, чем оборачивается назначение фрейлиной, связанный с её сестрой, Верой Аркадьевной.

Ранее Мордвиновы очень неохотно дали согласие на её назначение ко двору фрейлиной дочери Николая I – великой княжны Александры. Вначале Веру отпускали только на дневное время, чтобы она ежевечерне возвращалась



к бабушке с дедушкой. Потом ей пришлось переселиться во дворец. По статуту пожаловать во фрейлины можно было только девицу. Когда ко двору хотели приблизить замужнюю, придворное звание получал муж. Так было с Александром Сергеевичем Пушкиным. Жить во дворце замужняя женщина не могла. Спешно устроенная Мордвиновыми свадьба младшей Столыпиной нарушила планы царя. Чем это для них обернулось? Царь в гневе потребовал подготовить проект указа об «отрешении» Мордвинова от высокой должности, которую тот занимал многие годы, и лишения его звания статс-секретаря.

Кто на очереди? Александр II. Император тоже (генетика – страшная сила) был человеком увлекающимся. Про него обычно говорят, что на его счету множество романов. Хотя правильнее сказать, что романов было бессчётное количество. В юности роман с фрейлиной Бородиной. Потом роман с фрейлиной Марией Трубецкой. Затем – с фрейлиной Ольгой Калиновской. Тут цесаревич даже возжелал ради брака с ней отречься от престола. Но родители проявили жёсткость и женили его на немецкой принцессе Максимилиане Гессенской, в которую наследник российского престола, сын императора Николая I, путешествуя по Европе, влюбился, когда той было 14 лет. Мари умела владеть собой, что, по мнению Николая I, «уравновешивало недостаток энергии в Саше». У супругов родились восемь детей. Но вследствие «недостатка энергии» монарх не был верным мужем, что служило постоянной темой пересудов царского двора. Некоторые фаворитки родили от государя внебрачных детей.

В 1865 году, посещая Смольный институт, император узнаёт в одной из воспитанниц Екатерину Долгорукову, братьев и сестёр которой он взял на попечение 6 лет назад, после разорения их семьи. После чего начались их тайные встречи в Летнем саду около Зимнего дворца. Летом следующего года они впервые провели вместе ночь. 18-летняя фрейлина сумела завладеть сердцем императора.

Эта связь почему-то никому не понравилась. И главное, цесаревич, будущий император Александр III, счёл поведение папеньки не комильфо. В результате монарх вынужден был выслать фаворитку в Париж. Поговаривали, что последняя их тайная встреча состоялась через год в отеле, под присмотром французской полиции. Государь женился на давней возлюбленной в тот же год, когда умерла супруга. Это был морганатический брак (то есть заключённый с лицом не царского происхождения). Дети от этого союза (их было четверо) не могли стать наследниками престола. Примечательно, что все дети родились в то время, когда Александр II ещё был женат на первой супруге.

Вообще-то Александр II по сию пору почитается как добрейший человек. Время его правления сравнивают с наступившей «оттепелью». По случаю коронации император даровал льготы и послабления декабристам, петрашевцам, участникам польского восстания 1830–1831 годов, на 3 года приостановил рекрутские наборы. Правление Александра II было ознаменовано беспрецедентными реформами, получившими название «великих реформ». Он удостоен особого эпитета в русской историографии – «Освободитель» (в связи с отменой крепостного права по манифесту). Про два десятка его детей от разных женщин поминать не принято.

Теперь самое время покинуть царские чертоги и от венценосных особ перейти к персонажам не то чтобы попроще, но имеющим непосредственное отношение к Пушкину и его поэзии. Читатель должен признать, что в стихах Александр Сергеевич изящен и глубоко сердечен, тогда как его любовные связи носили характер прозаической будничности.

Тут стоит разобраться: почему? Потому что отношение в быту, в семье, на людях, в обществе и к себе в литературе тогда принадлежало к совершенно разным сферам бытия. Это даже не разница между *вчера* и *сегодня*. Это привычная разница поведения по разным принципам в разных ситуациях (допустим, в семье – верный муж, с друзьями – распутник). На языке современной психологии, поведение во всех случаях жизни не с позиции общепринятой моральной нормы, а поведение человека «игрового поведения».

Кстати, здесь находится одна из скреп, которая объединяла Пушкина и его задушевного друга Дельвига. Тося – так с любовью называл его Пушкин, – как и все «арзамасцы», тоже был человек «игрового поведения». Для обоих визит «к девкам» входит в сферу быта, то есть не имеет для них никакого значения, никак не соотносится с мировоззрением, социальным положением, идеологией, уровнем культуры, и значит, не бросает тени на их характер и личность в целом.

Да, такое поведение тогда было привычным для многих, но уже не всех. Опять же из лиц пушкинского круга — для Рылеева, как мы знаем, нормы поведения в принципе были едиными, и подобный поступок, с его точки зрения, воспринимался как отступление от морали, как нечто неуместное и даже грешное. Он был из тех людей, кто культивировал “серьёзность” как норму поведения и священного мироздания. Вот разговор, с явным удовольствием записанный Пушкиным:

*“Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам.*

*— Я женат, — отвечал Рылеев.*

*— Так что же, — сказал Дельвиг, — разве ты не можешь отобедать в ресторации потому только, что у тебя дома есть кухня?”*

Такой подход дворянской элиты к жизни объясняет расширенный диапазон понимания ею “свободы” — от свободомыслия и политической оппозиционности до свободы от моральной нормы. В трактовке Ю. М. Лотмана, “перед нами — столкновение “игрового” и “серьёзного” отношения к жизни <...> в реальную жизнь переносится ситуация игры, позволяющая считать в определённых позициях допустимой условную замену “правильного” поведения противоположным”.

Из чего следует: распутно-праздничная свобода половых отношений, узаконенность в светском быту “антиповедения” (термин Д. С. Лихачёва), стиль поведения, включающий “девок” и хвастовство своими любовными похождениями, были именно “нормой”, а не отклонением от неё. Весь строй пушкинского времени был таков, что любовь, имевшая наработанные формы “науки страсти нежной”, занимала в жизни высших слоёв исключительное место. Любовь грезилась девушке до замужества, ею полнились мысли молодой светской дамы, выданной замуж не по любви. Она была главной темой разговоров женщин между собой, она заполняла собой поэзию. Всё это, как правило, отстояло весьма далеко от подлинных любовных чувств. Пушкин прошёл все этапы этой жизни сердца, которая во многом была ритуализованной игрой.

Здесь важно осознать: ведущей чертой, сформированной Пушкиным-человеком, была его убеждённость, что он, прежде всего, поэт. И надо согласиться с М. Н. Волконской, которая знала, что говорит:

*“Как поэт, он считал своим долгом быть влюблённым во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался <...> В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал всё, что видел”.*

Пушкин всегда строил свою личную жизнь именно как личность поэта. Такая жизненная философия позволяла ему находить поэзию и красоту, истину и мудрость там, где обычный взгляд замечал заурядную рутину и пошлость.

Впоследствии циники сформулируют подобный подход коротко и ясно: “Всё на продажу”. Кто знает, не исключаю, исходя из пушкинских же слов: “Не продаётся вдохновенье, // Но можно рукопись продать”. И содержание этих трёх слов не представлялось негативным. Просто подразумевалось: всё, что поэт видел, слышал, чувствовал, думал, он вправе использовать при написании произведений. Всё — значит всё, и хорошее, и плохое. (Тут на память приходят известные слова Анны Ахматовой о тайнах мастерства: “Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда, // Как жёлтый одуванчик у забора, // Как лопухи и лебеда. // Сердитый окрик, дёгтя запах свежий, // Таинственная плесень на стене...”)

Взгляд на жизнь, сформулированный Н. Некрасовым: “Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан”, — не из Собрания сочинений Пушкина, который, конечно, стремился быть гражданином, но исключительно в качестве поэта.

И когда мы сегодня упрекаем или хвалим Пушкина, меряя всё нынешним аршином, говорим: он относился обычно довольно легко к проявлениям сердечной привязанности, он был хамом и циником с женщинами, был хитёр, двуличен и скрытен с приятелями, или, наоборот, он прям и благороден, проявлял глубокое и трогательное чувство, был готов всё понять и всё простить... Всё это — слова из другого романа. Пушкин в жизни был сыном своего времени, не больше, но и не меньше.

И нет ничего удивительного в том, что женщин, приносящих ему счастливые и одновременно драматические перемены-изломы, повороты мысли и сознания, перемены в судьбе, принимал он, видимо, только в творческом плане. Любовь вносила некоторое разнообразие в характер его отношения к женщине. Но влечение и увлечённость не принесли ему ни единства внутренних

переживаний, ни полного слияния, ни радости общего бытия. На какое-то время вспыхивала страсть, сопровождаемая ревностью, он оба эти состояния переживал необычайно интенсивно и бурно. Чувство высокого и чистого поклонения “вечно женственному” присутствовало лишь в лирике, но никак не в его повседневной жизни.

Каждый раз его что-то не устраивает, что-то останавливает, что-то пугает, он хочет довериться и не находит, кому: они его не понимают. “На свете нет ничего более верного и отрадного, нежели дружба и свобода, — пишет он Осиповой. — Вы научили меня ценить всю прелесть первой”. И в то же время рождаются иные строки:

*Что дружба? Лёгкий пыл похмелья,  
Обиды вольный разговор,  
Обмен тщеславия, безделья  
Иль покровительства позор.*

Ум его конфликтует с сердцем, и так всю жизнь. Возникает странная параллель с более поздним временем, когда появится автомобиль: водитель одной ногой давит на газ, а другой — на тормоз. В результате всё непредсказуемо: то ли жизнь поэта остановится, то ли всё в ней перевернётся вверх дном. Началось это сразу после Лицея. Александр Тургенев делился тогда с Вяземским:

*“Сверчок прыгает по бульвару и по б...м... Но при всём беспутном образе жизни его, он кончает четвертую песнь поэмы”.*

Он не мог жить без женщин, приносящих ему художественное вдохновение. Потому что, как напишет В. Ф. Ходасевич в работе “О Пушкине”:

*“То, что некогда пережил он сам, Пушкин нередко заставлял переживать своих героев, лишь в условиях и формах, изменённых соответственно требованиям сюжета и обстановки. Он любил эту связь жизни с творчеством и любил для самого себя закреплять её в виде лукавых намёков, разбросанных по его писаниям. Искусно пряча все нити, ведущие от вымысла к биографической правде, он, однако же, иногда выставлял наружу их едва заметные кончики”.*

Эти “едва заметные кончики” особенно интересно рассматривать в элегии “Для берегов отчизны дальней...”, написанной Пушкиным, когда он попал в капкан болдинского карантина осенью 1830 года (знаменитой “Болдинской осенью”). Тогда, в преддверии женитьбы, поэт затеял “прощание” с увлечениями своей молодости. Почему-то память среди других высветила воспоминания об одесском увлечении Амалией Ризнич. С пера на бумагу сходит элегия, а вслед за ней и “Заклинание”:

*Явись, возлюбленная тень,  
Как ты была перед разлукой,  
Бледна, холодна, как зимний день,  
Искажена последней мукой.  
Приди, как дальняя звезда,  
Как лёгкий звук иль дуновенье,  
Иль как ужасное виденье,  
Мне всё равно... Сюда! сюда!..*

С этими двумя произведениями, считается, есть хоть какая-то “ясность”. А вообще литературоведам, бравшимся найти ответ на вопрос, какие пушкинские стихотворения посвящены именно Амалии Ризнич, чья жизнь оборвалась в 23 года, можно посоветовать. Поди различи, какие строки отнести к ней, какие — к графине Воронцовой, какие — к Каролине Собаньской, какие — к другим одесским увлечениям поэта. Вопрос остаётся до конца не выясненным по сию пору. А вывод, что эпизод увлечения Амалией Ризнич принадлежит к “запутаннейшим пунктам биографии” Пушкина, сделанный ещё П. Е. Щёголевым, энтузиастов-искателей прообразов, похоже, только воодушевляет. Их не останавливает резонное замечание Вересаева, что поэзия — “источник, в общем, не совсем надёжный: поэты, — а Пушкин в особенности, — далеко не всегда отражают в стихах подлинные свои настроения и отношения”.

Куда оригинальнее и продуктивнее мне видится гипотеза литературоведа В. Э. Вацура об элегии “Простишь ли мне ревнивые мечты...” (1823), посвящённой Амалии Ризнич. Он нашёл сходство пушкинского текста с мотивами

элегии французского поэта Мильвуа “Беспокойство”. И счёл, что Пушкин, обнаружив сборник с этим произведением, созвучным его недавним мукам ревности, захотел... посостязаться с автором-французом в модном жанре поэзии. Чего-чего, а чувства ревности у него было в избытке, и не только в отношении Ризнич.

Впустую гадать, насколько написанные им строки соответствуют жизненной правде. Это не парадокс и не странность, это нормальное явление: чем больше поэт отстранялся от конкретных реалий, а его возлюбленная “превращалась” в свою романтическую тень, тем художественно совершеннее становились стихи. Каковы тогда в Одессе были их отношения? Одни уверяют, что молодые люди были близки. Другие клянутся, что мучительная, страстная, отравленная ревностью, “как чёрный сплин, как лихорадка, как повреждение ума”, любовь Пушкина к Амалии была лишь платонической. Что для нас меняет это в стихах Пушкина — понять невозможно.

Дальше можно последний тезис приводить применительно ко множеству стихов о любви, в написании которых “повинны” женщины, чьё счастье и одновременно несчастье заключались в том, что судьбе было угодно свести их с Пушкиным. Но мы вернёмся, что намеревались ранее сделать, к Керн, той, кому поэт собственноручно вручил листок со стихотворением “Я помню чудное мгновенье...” (традиционное, по первой строке, название эпохального стихотворения Александра Сергеевича “К\*\*\*”, обращённого, по общепринятой версии, именно к ней).

Впервые “К\*\*\*” было напечатано в 1827 году в альманахе “Северные цветы”, издававшемся Дельвигом. То есть прошло достаточно времени, почти два года, прежде чем Пушкин решил его опубликовать. История отношений Пушкина и Керн растиражирована, наверное, ничуть не меньше 24-х строк самого стихотворения. Познакомились в 1819 году в Петербурге в доме президента Академии художеств Оленина, жене которого Анна Петровна приходилась племянницей. Произвела ли Анна Керн на юного поэта неизгладимое впечатление? Принято писать, что было именно так. Что ж, пишем зная лучше.

Затем Михайловское, 1825-й год. Тут, “в глуши, во мраке заточенья”, произошла их новая встреча. Тогда Керн гостила у своей тётки в имении Тригорское по соседству с Михайловским. Других соседей у Пушкина не было. Владелица Тригорского — двукратная вдова Прасковья Александровна Осипова (урождённая Вындомская), по первому мужу Вульф, — правила здесь женским царством, состоявшим из барышень и молодых дам (её дочери от первого брака — Анна Николаевна и Евпраксия Николаевна; её падчерица — Александра Ивановна Осипова, её племянницы — Анна Ивановна Вульф и Анна Петровна Керн, если не считать ещё двух младших дочерей П. А. Осиповой, совсем маленьких девочек). Исключение составлял сын хозяйки Алексей Николаевич Вульф.

Среди живущих в Тригорском царили, надо признать, совсем не монастырские законы. Пушкин купался здесь в девичьей влюблённости Анны Вульф, заботливой нежности Осиповой, весёлой фривольности Керн... Знакомые с бальным этикетом начала XIX века могут успокоиться. Правило, будто танцевать большое количество танцев за один вечер с одной дамой могут позволить себе только родственники (муж с женой, братья с сёстрами) и жених с невестой, в Тригорском не работало. Полагать, что это может бросить тень на репутацию вашей дамы, а вам, как честному и благородному человеку, придётся на ней жениться, не приходилось. С каждым днём, проведённым в соседнем имении, Пушкин убеждался всё больше, что патриархальные сельские нравы вовсе не строги: даже серьёзный роман с тригорской барышней не повлечёт за собой брачных уз. В результате за время жизни в Михайловском Пушкин завёл романы почти со всеми обитательницами Тригорского: и с хозяйкой, и её дочерью, и с племянницами и падчерицей.

Конечно, в четвёртой главе романа в стихах речь идёт об Онегине. Но, как писал сам поэт, “в 4-й песни Онегина я изобразил свою жизнь в деревне...”:

*В красавиц он уж не влюблялся,  
А волочился как-нибудь;  
Откажут — мигом утешался;  
Изменят — рад был отдохнуть.*

Желающие вникнуть в подробности, когда, за кем, в каком порядке волочился Пушкин, наезжая погостить в Тригорское, легко получат соответствующую

информацию в изданиях, коим нет числа. Мне же хочется, прежде всего, упомянуть ту, память о которой сохранилась в двух всем известных строчках в “Евгении Онегине”:

*Чем меньше женщину мы любим,  
Тем легче нравимся мы ей...*

Это 25-летняя дочь Осиповой от первого брака Анна Николаевна Вульф. Такое трудно себе вообразить въяве: Анна влюбилась в Пушкина без памяти, а у него к ней ни нежности, ни страсти. Из адресованных ему писем Анны ясно, что даже состоявшаяся плотская близость не пробудила в нём ответного чувства, не изменила его снисходительно-дружеского отношения. Можно предположить, что Пушкин... испугался необычной для него ситуации, когда не он добивался благосклонности девушки. Можно – что мысль о женитьбе ещё не посетила его. Можно – что мысленный образ той, кто мог бы соответствовать его “идеалу”, не накладывался на реальную Анну. Что-то, видимо, в душе его царапало, но выплеснуть свои мысли в стихах оказалось проще, чем сказать девушке напрямую:

*Когда б семейственной картиной  
Пленился я хоть миг единый, —  
То верно б кроме вас одной  
Невесты не искал иной.  
Скажу без блёсток мадригальных:  
Нашед мой прежний идеал,  
Я верно б вас одну избрал  
В подруги дней моих печальных...*

Пушкинские строки замечательны тем, что они позволяют наглядно увидеть, как в них реальное трансформируется в поэтическое, отстранённое от этого самого реального. Дело в том, что пройдёт не так уж много времени, и “семейственная картина” и поиск невесты окажутся для Пушкина очень даже актуальными. Но избрания Анны в *подруги дней его печальных* не случилось. Более того, Анна стала той “жилеткой”, в которую поэт приезжал “поплакаться” в ситуациях неудач на любовном фронте.

Он появлялся у неё в трудную для него минуту – залечивал свои душевные раны осенью 1828 года после “облома” со сватовством к Анне Олениной. Так же было и осенью 1829 года, когда, получив отказ на своё предложение Наталье Гончаровой, Пушкин, пребывающий “в полном отчаянии”, заявился незванным гостем в усадьбу “Малинники”, где застал Анну одну, и они провели вместе три недели. Помните написанные там два стихотворения (“Зима. Что делать нам в деревне?..” и “Зимнее утро”), проникнутые ощущением безмятежного покоя и счастья?

*Мороз и солнце; день чудесный!  
Ещё ты дремлешь, друг прелестный, —  
Пора, красавица, проснись:  
Открой сомкнуты негой взоры...*

Но “блестки мадригальные” остались блёстками – Пушкин не избрал умную, образованную девушку в *подруги дней своих печальных*. К слову, стихотворную “красавицу” в жизни вряд можно было назвать красавицей, хотя обаяния ей было не занимать (это опять по поводу реального и словесного). Забегая вперёд, надо сказать, что в 1834 году Анна Вульф вышла замуж за поручика Корпуса инженеров путей сообщения В. И. Трувеллера и вскоре умерла. При жизни она оставалась, пожалуй, самой преданной Пушкину женщиной. История, как известно, не знает сослагательного наклонения. Но порой вопрос, как сложилась бы дальнейшая судьба поэта, прими он тогда иное решение, нет-нет, да и приходит в голову.

А теперь о племяннице Осиповой – Анне Петровне Керн. Её приезд в Тригорское случился в июле 1825 года. Тогда Пушкин узнал, что Керн, бросив мужа-генерала, последнее время жила в свободном браке с незадачливым украинским поэтом Аркадием Родзянко в Лубнах (на Украине). А теперь, похоже, рассталась и с Родзянкой. Иными словами, в понимании Пушкина, она была свободна и доступна.

Волнительный блеск в глазах Александра Сергеевича не остался незамеченным кокетливой гостьей. И то, и другое весьма встревожило Прасковью Александровну, на глазах у которой всё это происходило. Воспрепятствовать Анне Петровне принять приглашение поэта посетить Михайловское она не могла. Но, как считает Вересаев, тогда в Михайловском до интима не дошло. По простой причине: у Керн были в разгаре два других романа – с Алексеем Вульфом и соседом-помещиком Рокотовым. Через год после того, как они с Пушкиным расстались, Керн родила третью дочь, значит, ребёнок этот был не от поэта.

Однако уже тем же вечером Прасковья Александровна распорядилась заложить экипаж и поутру отправила племянницу к брошенному, но ещё не дававшему ей развода мужу. Для надёжности Прасковья Александровна даже поехала сопровождать её до Риги, прихватив с собой дочерей Анну и Евпраксию.

Почему Осипова столь решительно пресекла ухаживания Пушкина за Керн и спешно выпроводила её из Тригорского? Гадать можно сколько угодно. Вскоре, как только заметила, что Пушкин принялся нешуточно обхаживать её Анну, она поступила так же с собственной дочерью. Что ею руководило? Анна Николаевна считала, что ревность:

*“Вчера у меня была очень бурная сцена с маменькой... она заявила, ...что безусловно оставляет меня здесь <в Малинниках>... и что она не может взять меня с собой <в Тригорское>... – Я в самом деле уверена, как и Анета Керн, что она хочет одна завладеть Вами и оставляет меня здесь из ревности...”*

Скорее всего, Анна Николаевна была права. Гонимый, неустроенный поэт с его импульсивным характером и недавно овдовевшая Осипова были каждый по-своему несчастны, оба ощущали себя одиночками, что и сделало их необходимыми друг другу. Физика жизни такова, что в ней притягиваются и люди, имеющие одинаковые “заряды”. Насколько близким было это притяжение между Пушкиным и хозяйкой Тригорского? Что нам с того, если это перестанет для нас быть тайной? Во всяком случае, он пожелал скрыть от нескромных взоров, каковы были в действительности их отношения. Все её письма 1820-х годов он уничтожил. От них случайно сохранились только два обрывка. В одном можно увидеть:

*“...целую ваши прекрасные глаза, которые я так люблю...”*

Разница в возрасте вряд ли могла стать препятствием на пути сближения Пушкина с Осиповой. Пушкина, если вспомнить его объяснение Карамзиной, ухаживание за Голицыной, связь с 46-летней Елизаветой Хитрово, это мало смущало. Многое в письмах Пушкина к П. А. Осиповой свидетельствует о том, что он ценил её преданность и искренность. За что и обессмертил Прасковью Александровну посвящением ей знаменитого цикла “Подражание Корану”, стихотворением “Быть может, уж недолго мне...” и одной из своих миниатюр, очень трогательной:

*Цветы последние милей  
Роскошных первенцев полей.  
Они унылые мечтанья  
Живее пробуждают в нас,  
Так иногда разлуки час  
Живее сладкого свиданья.*

Следующая встреча Пушкина с Керн состоялась после длительного перерыва. Считается, что будто бы именно она вдохновила поэта на создание стихотворного шедевра и что автограф произведения Пушкин лично преподнёс Анне Керн перед её отъездом из Тригорского в Ригу. Почему считается?

Спустя годы, когда Пушкина уже не было в живых, Анна Петровна написала “Воспоминания о Пушкине”, в которых “воспроизвела” историю, связанную с этим произведением. Из неё мы знаем, что поэт принёс ей экземпляр 2-й главы “Евгения Онегина” в неразрезанных листках, между которых она обнаружила вчетверо сложенный почтовый лист бумаги со стихами “Я помню чудное мгновенье...” “Когда я сбиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом судорожно выхватил и не хотел возвращать; насилу выпросила я их опять; что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю”, – написала она. По поводу причины, почему Пушкин хотел забрать стихи обратно, существует много версий, но имеет ли она отношение к любви-страсти поэта – можно лишь гадать.

Сам Пушкин в письме Анне Вульф после расставания с Керн писал:

“Каждую ночь я гуляю в своём саду и говорю себе: “Здесь была она... камень, о который она споткнулась, лежит на моём столе подле увядшего ге-лиотропа. Наконец, я много пишу стихов. Всё это, если хотите, крепко похо-же на любовь, но боюсь вам, что о ней и помину нет””.

В одном из писем Осиповой он набросал портрет её племянницы:

“Хотите знать, что такое г-жа К...? — она изящна; она всё понимает; лег-ко огорчается и так же легко утешается; у неё робкие манеры и смелые по-ступки, но при этом она чудо как привлекательна”.

Переписка была и с самой Керн. Неизвестно, что отвечала ему Керн, Пушкин не хранил её письма. Но она письма Пушкина сохранила, они дошли до нас:

“Вы уверяете, что я не знаю Вашего характера. А какое мне до него де-ло? Очень он мне нужен! Разве у хорошеньких женщин должен быть характер? Главное — это глаза, зубы, ручки и ножки... Как поживает Ваш супруг? Наде-юсь, у него был основательный припадок подагры через день после Вашего приезда? Если бы Вы знали, какое отвращение... испытываю я к этому чело-веку! ... Умоляю Вас, божественная, пишите мне, любите меня”.

В другом письме:

“... я люблю Вас больше, чем Вам кажется... Вы приедете? Не правда ли? А до тех пор не решайте ничего касательно Вашего мужа. Наконец, будь-те уверены, что я не из тех, кто никогда не посоветует решительных мер, — иногда это неизбежно, но раньше надо хорошенько подумать и не создавать скандала без надобности. Сейчас ночь, и Ваш образ встаёт передо мной, та-кой печальный и сладострастный: мне чудится, что я вижу... Ваши полуот-крытые уста... мне чудится, что я у Ваших ног, сжимаю их, ощущаю Ваши ко-лени, — я отдал бы всю свою жизнь за миг действительности. Прощайте и верьте моему бреду; он смешон, но искренен”.

Можно ли воспринимать эти строки всерьёз, или они больше похожи на традиционное словесное оформление флирта: весёлая и лёгкая болтовня с иг-ривыми намёками? Решайте сами. И не удивляйтесь: спустя два года не ме-нее искренне Пушкин будет с удовольствием повторять пару строк из шуточ-ных стихов Сергея Соболевского к А. П. Керн и баронессе С. М. Дельвиг: “У дамы Керны ноги скверны”.

Безотносительно к стихотворению многие пушкинисты полагают, что ув-лечение Анной Керн было для поэта не особенно серьёзным... И впрямь “ми-молётное виденье”. Как заметила одна наша современница, “в глухомань, в ссылку к Поэту приехала восторженная женщина, а поэт был просто мужчи-ной, который был поэтом...”

В ту же пору вслед Керн и письмам Пушкина в Ригу к Анне Петровне от-правляется её двоюродный брат Алексей Вульф. По приезде у них случился бурный роман. В 1825 году студент Вульф по уши влюблён в свою кузину Ан-ну Керн, и кузина ответила ему полной взаимностью.

Ничего удивительного: позже Вульф будет в близких отношениях и с младшей сестрой Анны — Елизаветой Петровной Полторацкой. Лиза на два года младше Анны. “Высокого роста, с прекрасной грудью, руками и ножка-ми, и с хорошеньким личиком, — одним словом, она слыла красавицей”, — писал о ней Вульф. Картину нравов того времени можно представить по его характерной дневниковой записи 2 января 1830 года:

“Довольно забавно, что, познакомившись короче, я с нею бился об за-клад, что она в меня влюбится.

Не стану описывать, как с этих пор возрастала её любовь ко мне до стра-сти, как совершенно предалась она мне, со всем пламенем чувств и вообра-жения, и как с тех пор любовью ко мне дышала. Любить меня было её един-ственное занятие, исполнять мои желания — её блаженство; быть со мною — всё, чего она желала. И эти пламенные чувства остались безответными! Они только согрели мои холодные пока чувства. Напрасно я искал в душе упое-ния! Одна чувственность говорила. Проводя с нею наедине целые дни (Анна Петровна была всё больна), я провёл её постепенно через все наслаждения чувственности, которые только представляются роскошному воображению, однако не касаясь девственности. Это было в моей власти, и надобно было всю холодность моего рассудка, чтобы в пылу восторгов не переступить гра-ницу, ибо она сама, кажется, желала быть совершенно моею и, вопреки мо-им уверениям, считала себя такою”.

В работе “Любовный быт пушкинской эпохи” известного литературоведа и историка П. Е. Щёголева можно прочесть:

*“Анна Петровна знала, конечно, о любовных историях Вульфа, и это знание не мешало их взаимным наслаждениям; в свою очередь, близкие отношения с Вульфом несколько не мешали и Анне Петровне в её увлечениях, которых она не скрывала от него. Они не были в претензии друг на друга”.*

И жениться на кузинах, и иметь их в любовницах тогда было в порядке вещей — такое вот время. Между прочим, тут можно вспомнить прокомментированный список всех лицейских однокурсников Пушкина из дневника М. А. Корфа. Эта запись появилась через 23 года после окончания Лицея первым выпуском и через 2 года после гибели поэта. Из неё следует, что из одиннадцати женатых выпускников двое женаты как раз на кузинах. Говоря языком сухой математики, получается, что фактически примерно каждый пятый.

Когда Анна Керн появится в Петербурге, она станет снимать маленькую квартирку в доме, где жил друг Пушкина — поэт барон Дельвиг со своей женой. Вспоминая те дни, Керн упомянет, что “однажды, представляя одному семейству свою жену, Дельвиг пошутил: “Это моя жена”, — и потом, указывая на меня: “А это вторая””.

Возвращаясь к письму Пушкина 1828 года, в котором он пишет о происшедшей-таки его связи с Анной Керн, следует иметь в виду, что в это же самое время роман Анны Керн с её двоюродным братом всё ещё продолжался, хотя, “встречаясь” с Анной Керн, Алексей Вульф одновременно “встречался” с Софьей Дельвиг и с ещё одной барышней.

Лет через десять в письме к жене Пушкин назовёт Анну Керн дурой и пошлёт к чёрту. Действительно ли он так думал или жанр письма жене требовал? Можно считать по-разному. Но истории известно, что, познакомившись с “Воспоминаниями о Пушкине”, Тургенев в письме Полине Виардо обронил: “Она не умна”.

И ещё два штриха, имеющих отношение к Анне Керн. Накануне свадьбы Пушкина жена Дельвига писала ей:

*“... Александр Сергеевич возвратился третьего дня. Он, говорят, влюблён больше, чем когда-либо. Однако он почти не говорит о ней. Вчера он привёл фразу — кажется, г-жи Виллуа, которая говорила сыну: “Говорите о себе с одним только королём, а о своей жене — ни с кем, иначе вы всегда рискуете говорить о ней с кем-то, кто знает её лучше вас””.*

И несколько строк самой Керн:

*“Пушкин уехал в Москву (Он уехал в начале марта 1829 года. — А. Р.), и, хотя после женитьбы и возвратился в Петербург, но я не более пяти раз с ним встречалась, — пишет Анна Петровна. — ... женитьба произвела в характере поэта глубокую перемену. ... он на всё смотрел серьёзнее. В ответ на поздравление с неожиданною в нём способностью вести себя, как прилично любящему мужу, он шутил отвечал: “Ce n'est que de l'hipocrisie” (“Я просто хитёр”, или “Это только лицемерие”)”.*

С литературной точки зрения всё ясно: есть лирический шедевр Пушкина, начинающийся со слов “Я помню чудное мгновенье...” Есть реальный биографический факт отношений Пушкина и Анны Керн. Утвердилась личностная фокусировка событий, что великим стихотворением “Я помню чудное мгновенье...” мы обязаны Анне Петровне. Так ли это? Ей ли? Или она здесь постольку-поскольку? Можно ли счесть оправданной постановку знака равенства, равно как и отождествление “гения чистой красоты” с реальной биографической Анной Петровной Керн? И как быть в случае признания узко биографической подоплёки стихотворного послания с тематической и композиционной схожестью “К\*\*\*” с другим любовным поэтическим текстом под названием “К ней”, написанным Пушкиным в 1817 году?

Ответы на эти вопросы, надо признать, куда существенней для нас нежели удовлетворение любопытства: что было между Пушкиным и Анной Керн? Да, изящный профиль этой женщины запечатлён рукой Пушкина на полях “Евгения Онегина”. Да, Анна Петровна Керн — одна из женщин, имя которой навсегда связано в нашем сознании с именем величайшего русского поэта. Что из этого следует? Только то, что история их взаимоотношений — яркий пример того, как далеко бывает пошлая обыденность от поэтической фантазии и в то же время как прочно они связаны. Источник вдохновения не всегда адекватен произведению. И наоборот: лирическое стихотворение далеко не всегда адекватно источнику вдохновения.



В этой связи тем интересней выдвигавшиеся другие версии по поводу лирической героини стихотворения Пушкина. Поэт Михаил Дудин считал ею крепостную девушку Ольгу Калашникову. Он даже (в русле этой гипотезы) посвятил ей своё стихотворение “Об Ольге Калашниковой моя песня”. Другую неожиданную версию выдвинул современный поэт, переводчик и эссеист Вадим Данилович Николаев, согласно которой стихотворение посвящено... Татьяне Лариной. Согласно его версии, пушкинское “Я помню чудное мгновение...” – никакая “не любовная лирика, а стихи о создании образа”.

Фееричная жизнь Анны Петровны с её бесконечными романами, которые делали её положение разведённой женщины более чем скандальным, лишь множили слухи, дошедшие до нашего времени, что у неё, кроме связи с Вульфом, Дельвигом и Пушкиным, были интимные отношения с композитором Глинкой, с поэтом Веневитиновым, с библиофилом С. Соболевским, с профессором и цензором А. В. Никитенко, жившим в одном доме с А. П. Керн, с Львом Пушкиным и даже с отцом Александра Сергеевича, который потом влюбился и в её дочь. Можно ещё добавить, что одним из её успешных поклонников был Александр I.

Но вряд ли это стало причиной, по которой Александр Сергеевич ту, кого сначала поэтически назвал “гением чистой красоты”, потом стал именовать иначе. Это как в компании рассказывать непристойные, с пикантными ситуациями анекдоты – всегда найдутся и любители их, и противники. И добиваться женщин, о которых “ходит слава”, и обсуждать “общих” любовниц тогда было в порядке вещей – такое время. Таковы любовные нравы эпохи. Таков интимный быт пушкинской поры.

Кстати, хочется заметить, что среди возможных определений Пушкин употребил в стихотворении не какую-нибудь “небесную” красоту, а “чистую”. Словно на противоположности сыграл. И ещё. Помните, он назовёт Анну Керн дурой? И где? В частном письме.

Позже Керн напишет:

*“...нахожу, что он был так опрометчив и самонадеян, что, несмотря на всю его гениальность – всем светом признанную и неоспоримую, – он точно не всегда был благоразумен, а иногда даже не умён, в таком же смысле, как и Фигаро восклицает: “Ах, как они глупы, эти умные люди!”*

Можно сказать, обменялись любезностями. Но где это сделала Керн? В своих воспоминаниях, рассчитанных на широкого читателя. Как видим, есть некоторая разница. К тому же жизнь показывает, что назвать человека дураком и считать его таковым – две большие разницы.

Кто из них больше дурачился в отношениях друг к другу (он, например, подписал как-то письмо к ней словами “Яблочный Пирог”?) Кто был более, кто менее неблагоразумен? Кто проявлял себя более, кто менее умным? Можно вообразить, что боль одного не всегда воспринималась и отзывалась болью другого. Но мы знаем, что на содержании пушкинских стихов это никак не отразилось. Если какое эхо и прозвучало, то в воспоминаниях участницы отношений:

*“Помню ещё одну особенность в его характере, которая, думаю, была вредна ему: думаю, что он был более способен увлечься блеском, заняться кокетливым старанием ему нравиться, чем истинным, глубоким чувством любви. Это была в нём дань веку, если не ошибаюсь; иначе истолковать себе не умею! Острое словцо, живая реплика всегда ему нравились”.*

Надо ли пушкинские “дурак” и “дура” принимать всерьёз? В 1824 году в письме сестре досталось всем соседским барышням: “Твои троюгорские приятельницы несносные дуры”. Так он “обласкал” 25-летнюю дочь Осиповой Анну Николаевну Вульф и падчерицу, 19-летнюю Алину, за которыми впоследствии при других обстоятельствах и в другом расположении духа станет ухаживать.

Самой Керн, что есть “дань веку”, суждено будет сознать на собственном опыте всю жизнь. Анне Петровне будет 36 лет, когда в неё страстно влюбится её троюродный брат А. В. Марков-Виноградский, которому в ту пору всего 16 лет (чем не доказательство её привлекательности?). Он ещё воспитанник кадетского корпуса, но она ответит ему взаимностью и выйдет за него замуж. При этом ей придётся отказаться от генеральской пенсии, жить вдали от столиц и, по сути, в бедности. Их осуждали в свете, тем не менее Александр Васильевич одарил супругу любовью, заботой и нежностью.

Жили они долго. Анна Петровна всего на три месяца пережила мужа. И было ей тогда 79 лет. Вот и думай после этого, что разглядел в ней Пушкин, ког-

да писал о “чистой красоте”. Опять приходится гадать, чего в его шедевре больше: конкретики человеческого образа, удивительного прозрения или художественного видения, запечатлевшего великие и чудные мгновения — “и божеество, и вдохновенье, и жизнь, и слёзы, и любовь”.

Так что “Я помню чудное мгновенье...”, если вдуматься, посвящено таинству любви, а не Анне Керн. Собственно, поэтому мы и храним эти строки в своей памяти. А вот стихи другого поэта, пушкинского сокурсника по Лицею, Алексея Илличевского, прямо адресованные к Анне Петровне, известны разве что специалистам:

*Ты не жена и не девица,  
Разъезд же с мужем для тебя —  
Что после ужина горчица!..*

Понятно после этого, что тема “Пушкин и женщины” имеет философский характер, а не конкретно-личностный. По крайней мере, такой подход куда объективнее, нежели выяснение, где, с кем и когда в иных исторических обстоятельствах поэт из пазлов с женскими именами складывал историю личной жизни, а параллельно писал историю русской лирической поэзии.

Пушкинские женщины внесли большой вклад в поэзию, которой мы сейчас гордимся. А его поэзия сохранила их от забвения.

Желая понять характер отношений поэта с тригорскими девушками, его привычки и нравы любовного обхождения с женщинами, следует беспристрастно глядеть на чувственную сторону жизни поэта. Не потому, что она интересна, а потому, что важна для изучения творчества Пушкина. Как-никак без любви не рождаются стихи. Я не стал бы говорить этой банальности, если бы не существование стойкого желания смотреть на пушкинские стихи исключительно как на дневниковые записи. Вникнуть в нравы любовного обхождения с женщинами в ту эпоху — значит лучше понять и самого Пушкина, и, допустим, его роман в стихах “Евгений Онегин”. Откройте его первую главу и перечитайте строки о Евгении:

*Как рано мог он лицемерить,  
Таить надежду, ревновать,  
Разуверять, заставить верить,  
Казаться мрачным, изнывать,  
Являться гордым и послушным,  
Внимательным, иль равнодушным!  
Как томно был он молчалив,  
Как пламенно красноречив,  
В сердечных письмах как небрежен!  
Одним дыша, одно любя,  
Как он умел забыть себя!  
Как взор его был быстр и нежен,  
Стыдлив и дерзок, а порой  
Блистал послушною слезой!*

Заодно можно взглянуть на две пропущенные строфы той же первой главы, которые имеются в черновой рукописи (впрочем, стихи про “усатого кота” не останутся без применения и в малом изменении с превращением в “лукавого кота” найдут своё место в “Графе Нулине”):

### XIII

*Как он умел вдовы смиренной  
Привлечь благочестивый взор  
И с нею скромный и смятенный  
Начать, краснея, разговор,  
Пленять неопытностью нежной  
Любви, которой в мире нет,  
И пылкостью невинных лет.  
Как он умел с любую дамой  
О платонизме рассуждать  
И в куклы с дурочкой играть,*

*И вдруг нежданной эпиграммой  
Её смутить и наконец  
Сорвать торжественный венец.*

#### XIV

*Так резвый баловень служанки,  
Анбара страж, усатый кот  
За мышью крадется с лежанки,  
Протянется, идёт, идёт,  
Полузажмурысь, подступает,  
Свернётся в ком, хвостом играет,  
Готовит когти хитрых лап  
И вдруг бедняжку цап-царап.  
Так хищный волк, томясь от глада,  
Выходит из глуши лесов  
И рыщет близ беспечных псов  
Вокруг неопытного стада;  
Всё спит, и вдруг свирепый вор  
Ягнёнка мчит в дремучий бор.*

Есть возможность сравнить эти поэтические строки с дневниковыми записями его современника – очень полезное занятие. Тем более, что существуют таковые, имеющие прямое отношение непосредственно к участникам событий. Самое время обратиться к обширной публикации Алексея Вульфа. Его “Дневники 1827–1842 гг.” (в разные годы они выходили то с подзаголовком “Любовный быт пушкинской эпохи”, то “Любовные похождения и военные походы”), в которых подробно, с нескромными подробностями, описана его интимная жизнь, позволяют познакомиться с произведением совершенно исключительным для русской литературы.

Нет нужды подчёркивать все нюансы этого источника бесценной информации о людях 1820–1830-х годов, достаточно сказать, что значение его для истории нравов не подлежит сомнению. “Дневники” Вульфа – это страницы истории любовного быта, знакомящие нас с любовным “этикетом” пушкинской поры. Не тем, что мы зачастую вообразаем себе, а с реально существовавшим. П. Е. Щёголев по их поводу писал:

*“Любовные переживания Вульфа не были патологическими; они носят на себе печать эпохи и общественного круга, к которому он принадлежал. Если бы Вульф был исключением, то его дневник не представлял бы общего интереса. Но дело в том, что рядом с Вульфom и за ним стояли ему подобные, что в круг его переживаний втягивались девушки и женщины его общественной среды, что в этом общественном круге его любовные переживания не казались выходящими из порядка вещей. С этой точки зрения дневник Вульфа – целое откровение для истории чувства и чувственности среднего русского дворянства 1820 – <18>30-х годов. Самое обращение с женщинами и девушками такое, какое нам трудно было бы представить без дневника Вульфа. Правда, в письмах самого Пушкина хотя бы к жене, в его произведениях кое-где, в письмах князя Вяземского к жене уже встречались нам намёки на иной, не похожий на наш любовный быт, но это были намёки, рассеянные подробности картины, которую можно нарисовать только теперь при помощи дневника Вульфа.*

Но все эти похотливые извилины чувственности, эти формы чисто чувственной любви характерны ли для Пушкина? Не слишком ли смело отождествить методу Мефистофеля, как её рисует Вульф, и образ обращения с женщинами, которого придерживался Вульф, с методой и образом обращения самого Пушкина? У Вульфа есть прямые свидетельства, которые дают нам в известной мере право на такое отождествление. Из песни слова не выкинешь, и мы не должны скрывать от себя и закрывать глаза на проявления пушкинской чувственности. В исторической обстановке, которую мы можем восстановить по дневнику, эти проявления теряют свою экзотическую исключительность. Пора уж отказаться от сюсюканья в рассуждениях о Пушкине.

<...>

Помимо указанного специфического историко-бытового значения, романы, записанные в дневнике Вульфа, любопытны ещё и тем, что героинями их

были, по большей части, пушкинские женщины, имена которых хорошо известны не только специалистам-исследователям, но и всем любителям пушкинского творчества. . . ”

Тут бы, собственно, и закончить историю о любовных пересечениях Пушкина в пространстве истории, быта и нравов, началом которой послужил так называемый “донжуанский список” поэта. Но одна строка из него, одно женское имя, спрятанное за двумя загадочными символами NN, требует особого разговора.

Обычно берущиеся расшифровать “утаённую любовь Пушкина” называют имена женщин, на мой взгляд, отношения с которыми никакой тайной не являются. Ну, какой тайной могут быть отношения с Марией Раевской-Волконской, если она сама не то что не скрывала, а, наоборот, при любом случае их выпячивала? И имя Елизаветы Воронцовой на слуху присутствует – на выбор Елиза и Елизавета. Екатерина Карамзина (версия Ю. Тынянова)? – так “Катерина” упомянута аж 4 раза. Даже для экзотической гипотезы Д. Дарского о пленной татарке Анне Ивановне есть вариант – имя Анна фигурирует в списке 5 раз.

Можно, конечно, согласиться с существующей точкой зрения, по которой легенда об “утаённой любви Пушкина” представляет собой вымысел. Но есть одна версия, которую я могу допустить – она единственная из всех не противоречит критерию “утаённой любви”. Слово “любовь” тут безусловно “громкое” слово. И всё же чувства, родившиеся у поэта 19 октября 1811 года на торжественном открытии Лицея при виде “величавой жены”, молодой и удивительно привлекательной, отзовутся в нём стихотворением “В начале жизни. . . ”

Будет это в 1830 году, то есть всего через несколько месяцев после написания им так называемого “донжуанского списка”.

*Её чела я помню покрывало  
И очи светлые, как небеса.  
Но я вникал в её беседы мало.*

*Меня смущала строгая краса  
Её чела, спокойных уст и взоров,  
И полные святыни словеса.*

Терцины (строфы, состоящие из трёх стихов), навеянные Дантовой “Божественной комедией”, обращённые к памяти уже ушедшей из жизни в то время императрицы Елизаветы Алексеевны, давно стали преданием о тайной любви Пушкина к супруге Александра I. Впрочем, не только преданием.

Не знаю, был ли японский пушкинист Кейдзи Касама первым, кто соотнёс запись “NN” с императрицей. Вряд ли. Был ли Пушкин замечен императрицей, и она захотела, чтобы он посвятил ей стихотворение? Нет ответа. Но хорошо известно, что в 1818 году лицеист Пушкин отправил Н. Я. Плюсковой, фрейлине императрицы, стихотворение с явным расчётом на то, что его прочтёт не только она:

*На лире скромной, благородной  
Земных богов я не хвалил...  
Я не рождён царей забавить  
Стыдливой Музою моей.  
Но, признаюсь, под Геликоном,  
Где Касталийский ток шумел,  
Я, вдохновенный Аполлоном,  
Елисавету втайне пел.  
Небесного земной свидетель,  
Воспламенённую душой  
Я пел на троне добродетель  
С её приветною красой.*

Черновики свидетельствуют: в окончательном варианте Пушкин даже приглушил свои чувства, вычёркивая просящиеся на бумагу слова: “Я пел в восторге, в упоенье. . . Любовь. . . Любовь, надежду. . . прелесть. . . ” Дошли ли эти стихи до императрицы или нет, не существенно. Важно, что они были им написаны.

Была ли одна из дерзких выходов молодого Пушкина, когда он вместо мленькой горничной Наташи поцеловал камер-фрейлину княжну В. М. Волконскую, приняв старую деву за молоденькую девушку, случайной ошибкой? Или, не имея возможности поцеловать императрицу, он поцеловал её фрейлину – хотел привлечь внимание своей “богини”? Эпизод забавный, и трактовать его можно как угодно. Сам Пушкин “прокомментировал” случившееся довольно определённо:

*On peut très bien, mademoiselle,  
Vous prendre pour une maquerelle,  
Ou pour une vieille guenon,  
Mais pour une grâce, — oh, mon Dieu, non.*

*(Мадемуазель, вас очень легко  
Принять за сводню  
Или за старую мартышку,  
Но за грацию, — о, Боже! — никак.)*

Главное тут не переборщить в трактовке и не торопиться заявлять, будто то, что эта выходка была преднамеренной и имела отношение к императрице, интуитивно почувствовал её супруг Александр I, который сначала резко отчитал директора Лицея Егора Антоновича Энгельгардта, а позже отправил в ссылку Пушкина. Смею думать, что, возникни вдруг такая мысль у императора, он смешком ввернул бы Елизавете Алексеевне, что она пользуется успехом даже у мальчиков.

Сыграло ли заступничество императрицы перед Александром I (именно к ней обращался Карамзин) решающую роль в судьбе Пушкина, которого вместо ссылки в Сибирь отправили в порядке перевода по службе на Юг в Бессарабию? Очень может быть. Притушить гнев императора и сменить его на милость она могла. Пушкин понимал это, когда обращался именно к Карамзину, у которого, как он знал, были особые личные отношения с императрицей. В его же чувствах к Елизавете Алексеевне возник новый нюанс: та, которую он воспринимал “воспламенённою душой”, защитила его.

Казалось бы, юноша, почти мальчишка, вчерашний лицеист, и императрица (к слову, в момент высылки Пушкина из Петербурга ему 20 лет, ей – 41 год)... Но ведь жизнь порой выкидывает такие фортели, – как говорится, нарочно не придумаешь.

Если предположить, что Пушкин, составляя “донжуанский список”, в той или иной мере придерживался хронологии – так ему было легче припоминать, – то расположение “NN” на четвёртой позиции косвенно подтверждает эту версию.

Кажется, в жизни Александра Сергеевича Пушкина это была самая продолжительная, возможно, самая сильная и, вероятно, наименее эротическая любовь.

*От редакции*

### **Мышиная возня у подножья памятника Александру Пушкину**

Казалось, что либералы-реформаторы за последнюю четверть века разрушили в России всё, что способно рушиться. Ан нет, их поганые руки дотянулись до несокрушимого – имени Александра Сергеевича Пушкина.

Автор очерка “Немой Онегин”, опубликованного 3 октября 2017 года в “Московском комсомольце”, А. Минкин затеял мышиную возню у подножья нерукотворного памятника русского поэта. Журналист всколыхнул угасающий к себе интерес и достиг желаемого – теперь о нём много говорят, пишут...

Вывернуто наизнанку “грязное бельё”, которое может иметь место у любого человека – самого обыкновенного или гениального. Журналист не поленился покопаться в нечистотах и вытащить на свет худшее, неприличное, ошибочное, что могло быть в жизни и творчестве Александра Сергеевича. И Онегин, оказывается, не такой, как надо, и Татьяна – шлюха. Неужели для

поэзии важно, сколько лет молчит Онегин и с какой скоростью и по какой схеме движения бежит влюблённая барышня Ларина, ломая кусты и цветы? Да пусть она бежит, как хочет, навстречу своей любви! Дело разве в этом? Поэту было всего 24 года, когда он писал “Онегина”! Читателю от тухлого зловонья очерка А. Минкина становится до тошноты погано, так, что хочется бесконечно мыть руки.

– *Посмотрите, какой мерзости вы поклоняйтесь*, – навязчиво намекает нам автор очерка.

– *А раз такое ничтожество и абсолютную бездарь вы считаете гением, то и вся ваша русская литература такая же мерзопакостная, как, впрочем, и весь русский народ, а значит, чтить и уважать просто некого*, – читается между строк.

А. Минкин не первый в когорте злопыхателей поэта. Их было много и при жизни, и после. Где все они, завистники, моралисты, непримиримые критиканы? Растворились на задворках поэзии, утонули в выгребной яме третьесортной литературы. А Пушкин остался на века! Автор очерка хотел “искупаться” в лучах славы, разгромив по всем статьям жизнь и творчество кумира миллионов, а вместо этого “испоносился” зловонными дрязгами и завяз в них у подножья памятника гения, стоящего, – по словам В.А.Жуковского, – на первом месте русского Парнаса. Что ж, каждый выбирает по себе...

Как ведёт себя враг в чужой стране? С чего начинается любой завоеватель? С уничтожения памятников национальной культуры – традиций, религии, литературы. На что направлено варварство завоевателя? На вытравливание исторических и культурных корней народа, на истребление его достоинства и самосознания. Именно так, как ненавистник всего русского позиционирует себя журналист Минкин.

Никто и не говорит, что Пушкин – икона. Ничто человеческое ему не чуждо. В нём сочеталась африканская пылкость и русская бесшабашность, он умел страстно любить и страстно ненавидеть.

Прошло 200 лет. В горниле истории давно истлело “грязное бельё” Александра Сергеевича. Потомкам осталось богатое наследие – могучее СЛОВО русского гения. Давайте оставим в покое Пушкина – человека, и будем наслаждаться лучшими творениями Пушкина – поэта.

*Член Союза журналистов России  
Наталья Морсова.*

Это письмо пришло в редакцию “Нашего современника”, когда статья Александра Разумихина уже была в наборе.

Открыли мы текст Минкина.

“Давайте почитаем так, будто это репортаж из сегодняшней газеты”.

Вот и весь ответ. При всём обилии цитат из мемуаров и писем. Минкин не читает – Минкин **вычитывает**. И на вычитанном отбивает злобную чечётку.

“Писал не профессор, а молодой повеса и хулиган”.

“Главы выходили с интервалом в месяц, а чаще в годы. Похоже на издательство”.

“Автор валяет дурака”.

“Это даже не учебник, это энциклопедия растлителя”.

“Герой романа (да и Автор) о целомудрии и правдивости знал не больше, чем обезьяна о симфонии”.

Пожалуй, хватит.

Ни о времени, ни о нравах тех лет, ни об атмосфере эпохи сей новоявленный “пушкинист” не имеет ни малейшего представления. При всей кажущейся начитанности.

Читать “Евгения Онегина” как сегодняшнюю газету такому типу гораздо легче. Сподручнее. Только никогда такие “читатели” не возьмут в толк, что до настоящего понимания Пушкина надо ещё дорасти. И статья Александра Разумихина, по сути, утверждает это.

АЛЕКСЕЙ БАШИЛОВ

## ЗВЕЗДА ПОЛЕЙ

Прочтём ещё раз стихотворение Н. Рубцова “Звезда полей”.

*Звезда полей во мгле заледенелой,  
Остановившись, смотрит в полынью.  
Вот на часах двенадцать прозвенело,  
И сон окутал родину мою...*

*Звезда полей! В минуты потрясений  
Я вспоминал, как тихо за холмом  
Она горит над золотом осенним,  
Она горит над зимним серебром...*

*Звезда полей горит, не угасая,  
Для всех тревожных жителей земли,  
Своим лучом приветливо касаясь  
Всех городов, поднявшихся вдали.*

*И только здесь, во мгле заледенелой,  
Она восходит ярче и полнее,  
И счастлив я, пока на свете белом  
Горит, горит звезда моих полей...*

После многократного прочтения этого стихотворения, кроме обстоятельств внешнего мира, отображённого поэтом, начинает раскрываться внутренняя составляющая мировоззрения автора, и самопроизвольно возникают вопросы.

Какую звезду имеет в виду автор? И эта звезда каких полей?

Из прочитанного ясно, что эту звезду “ярче и полнее” можно увидеть в ночном небе. Эту звезду можно увидеть в любое время года, ибо “она горит над золотом осенним, она горит над зимним серебром”.

В каком месте можно увидеть эту звезду? “И только здесь во мгле заледенелой”, то есть ближе к северу, в Северном полушарии, на территории России.

Так что это за звезда, которая “остановившись, смотрит в полынью”? Автор прямо не называет её, но можно понять, что это Полярная звезда. Она горит почти в центре вращения Земли, в точке Северного полюса. При вращении Земли она визуально на месте, астрономически медленно движется по малому кругу относительно оси.

Итак, это Полярная звезда, не самая яркая, но постоянно висящая над головой. Она всегда там, и как бы мы сами ни меняли место жительства, и как бы она ни закрывалась облаками и мглой, она там. Вспомнил всеми любимую песню:

*Гори, гори, моя звезда,  
Звезда любви приветная!  
Ты у меня одна заветная,  
Другой не будет никогда...*

Возникает вопрос: “Чья же это звезда? Кому она напоминает о своём присутствии? Кто на неё больше всего обращает внимание?” Это – русская звезда! Звезда Руси! Звезда древних славян – богиня Тара, хранительница лесов и священных деревьев, спасительница людей, управляющая их сознанием. И она “горит, не угасая, // для всех тревожных жителей земли”, для всех россиян и особенно для русских, потому что север для нас очень многое значит в историческом прошлом. Возможно, это наша прародина, колыбель нашего народа, место зарождения нового типа цивилизации, отказавшейся от звериных привычек в пользу социальной и духовной перспективы.

Конечно, наличие таких “корней”, осознание их глубины и силы не может не вызывать ощущения счастья. “И счастлив я, пока на свете белом // горит, горит звезда моих полей”, – восклицает поэт. И вот это счастье никто уже не может отменить. Всё равно каждый из нас остаётся с путеводной звездой и может чувствовать себя комфортно даже в открытом поле – “с милой рай и в шалаше”.

Звезда полей в прямом смысле – природных полей (рожь, пшеница, луга), а в социально-психологическом – это наши мысли, чувства, наш русский общечеловеческий дух. Этот дух порождает ход правильных гармонизирующих мыслей, столь необходимых для дезориентированных людей, потерявших первоосновы цивилизации и нашедших радость в эгоистических амбициях.

Кто же тогда поэт такого уровня, как Николай Рубцов? Это Провидец, который путём исповеди передаёт нам настоящие заповеди. С помощью высшего космического поля, своей способностью его улавливать и транслировать, а скорее, генерировать своим воображением, устремлённым в недоступно далёкое прошлое и будущее, он шлёт нам послания-видения на холме: “Россия, Русь! Храни себя, храни!..”

Сюда можно отнести ещё целый ряд стихотворений, через “серебряные струны” связывающих прошлое и будущее в единый поток непрерывной жизни, тех, кто остаётся жить под Звездой полей с названием кратким Русь. И нам в этом потоке “плыть, плыть, плыть”.

Легко ли самому Рубцову было писать эти послания? Наверно, нет. Мощное желание передачи неугасимой исторической энергетики через сакральное поэтическое слово помогло Н. Рубцову решить важную психологическую задачу – идентификации самого себя как русского человека (чего он и нам желает). Разномасштабная самоидентификация: я советский, я демократ, я националист, я иной – не соответствует естественно-природному историко-географическому, геокосмическому происхождению россиян.

Н. Рубцов устремлён в другой идеал, ему нужна Россия-Русь, исторически глубинная. Не образованная и обрубленная по заморским искривлённым понятиям, а естественно выправленная в исторической правде, настоящая наша Русь с людьми, считающими себя так же, как он, русскими. Но не по паспорту или этническому происхождению, а по естественно природному ощущению нахождения на родной территории и принятию высоконравственной православной этики. На севере нашей Руси оставались и возвращались туда люди с высокой духовной составляющей, с приоритетом тех ценностей и ориентиров, которые были зарожжены в Святой Руси, украсились Православной Верой и преумножились в Советском Союзе.

*Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,  
Неведомый сын удивительных вольных племён!  
Как прежде скакали на голос удачи капризный,  
Я буду скакать по следам миновавших времён...*



Н. Рубцову подсознательно хочется гармонизировать связь исторических эпох, сделать грамотные переходы между “холмами” достижений русской цивилизации. Но как это сделать? И тут есть ответ — указание на правильный путь: “За всё Добро расплатимся Добром!” То есть всё самое лучшее возьмём для будущей нашей отчизны. Нужна не непрерывная борьба эпох, а созидание и приращение Добра. Будущее виделось ему как продление исторического лучшего, а не слом и воздвижение нового холма жизни с полным отрицанием прошлого.

Это новое открытие возможности обновления любимой Родины в 60-е годы XX века давало Н. Рубцову большое вдохновение и большую скорбь, так как его идеал мог не осуществиться.

Посмотрим, какой ему представлялась в литературных образах наша Родина-Русь. Умерла она или остаётся с нами? В стихотворении “Душа хранит”:

*О, вид смиренный и родной!  
Берёзы, избы по буграм  
И, отражённый глубиной,  
Как сон столетий, Божий храм.*

*О, Русь — великий звездочёт!  
Как звёзд не свергнуть с высоты,  
Так век неслышно протечёт,  
Не тронув этой красоты,*

*Как будто древний этот вид  
Раз навсегда запечатлён  
В душе, которая хранит  
Всю красоту былых времён...*

Рубцов показывает, что Русь не умерла, приметы её видны повсюду. Русь осталась в природном облике, Русь жива в природе, в развалинах храмов, в простых деревенских домах, в тревожно-доброжелательных людях. Она есть, остаётся её увидеть и самому одеться в другие одежды. Читаем в стихотворении “Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны”:

*О, сельские виды! О, дивное счастье родиться  
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!  
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,  
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!*

*Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы,  
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,  
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы...  
Отчизна и воля — останься, моё божество!*

*Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!  
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!  
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы  
Старинной короной своих восходящих лучей!..*

Да, Рубцов пока одинок. Кто может поддержать его идеал? Конечно, Тютчев, Есенин, Гоголь, Пушкин, но они в прошлом. А сегодня кто его поддержит? И он надеется на лучшее. В стихотворении “Русский огонёк” заключительная строфа:

*Спасибо, скромный русский огонёк,  
За то, что ты в предчувствии тревожном  
Горишь для тех, кто в поле бездорожном  
От всех друзей отчаянно далёк,  
За то, что, с доброй верою друга,  
Среди тревог великих и разбоя*

*Горишь, горишь, как добрая душа,  
Горишь во мгле — и нет тебе покоя...*

Так почему же Н. Рубцову удаётся видеть этот идеал, когда другие устремлены к компиляциям западного меркантильного образа жизни, к смене точки исторического отсчёта саморазвития? Может быть, благодаря *медлительной лире*, которая *поднимает паруса*? Мироощущение Н. Рубцова — на уровне абсолюта, он видит не изменённую во времени, сохранившуюся до сих пор, главную составляющую часть образа Руси — природу и человека.

Прочувствуйте темп восприятия образа в заключительной строфе стихотворения “Давай, земля, немного отдохнём”:

*Вокруг любви моей  
Непобедимой  
К моим лугам,  
Где травы я косил,  
Вся жизнь моя  
Вращается незримо,  
Как ты, Земля,  
Вокруг своей оси...*

Н. Рубцов ищет поддержки своего видения будущей Руси. И вот приезжают гости, в контексте — равнодушные к России. Смотрим, что происходит в стихотворении “Нагрянули”, в заключительной строфе:

*Под луной, под гаснущими ивами  
Посмотрели мой любимый край  
И опять умчались, торопливые,  
И пропал вдали собачий лай...*

Разрыв между чётко увиденным идеалом будущей России и стеной непонимания и даже отвержения достигает предела. В стихотворении “Над вечным покоем”:

*И эту грусть, и святость прежних лет  
Я так любил во мгле родного края,  
Что я хотел упасть и умереть  
И обнимать ромашки, умирая...*

Это любовь к Родине до самопожертвования. Но как ещё много людей, равнодушных к чувству любви родного края! “Он жил в предчувствии осеннем // уж далеко не лучших перемен”. Он понимал, что чуждые его Родине люди желают попользоваться её благами-ресурсами и даже самим народом, не понимая результатов “этой работы”, не слушая предупреждений народных, не жалея близких — ради чужебесия, максимальной добычи, изощрённого сверхпотребления.

Так кто же такой Николай Рубцов? Тонкий лирик природы или транслятор вечного? Провидец? Пророк? Его жизнь и творчество — это всё наше, общинное, это все мы, а значит, он первый из нас — творец и продолжатель идеала нашей Руси — Земной Сферы Добра и Справедливости.

Нашёл ли идеал нашей общинной духовной Руси непосредственное государственное воплощение в современной России? Нет, конечно, он заморожен. “Я умру в крещенские морозы”, то есть этот идеал братской, дружелюбной, оттого и сильной Руси будет агрессивно отторгнут на самом пике торжества другого, альтернативного варианта, смысл которого — беспардонно копировать всё чужое.

Рубцова нет, но идеал нашей Руси не исчезает, а ощущается ещё ясней и утвердительней.

*Душа свои не помнит годы,  
Так по-младенчески чиста,  
Как говорящие уста  
Нас окружающей природы...*

Что же нам остаётся: смиренное созерцание исторического потока русской жизни, чувствительное переживание в реальном времени всех преобразований, преобразований, перестроек и модернизаций или активно осознанный, столь необходимый, спасительный прорыв в будущее, на новый уровень развития русской цивилизации?

Для осуществления прорыва в новую цивилизацию потребуется мощный сплав всех духовных сил, накопленных за всю историческую глубину от изначальной Руси, великодержавной России, Советского Союза, нашей духовно прозревающей России и Руси обновлённой. Ресурс этих сил огромен: природно-исторических, религиозно-православных, государственно-многонациональных, социально-интеллектуальных. Придётся брать всех идолов, богов, вождей, героев, поэтов, пророков для прорыва стены заточения. Всё сразу или иначе – ничего своего.

Призрак ведического, православного, социального будущего нашей цивилизации бродит по России.

СТАНИСЛАВ ЗОТОВ

## ОН ПРОКЛЯЛ ВОЙНУ, А ПОГИБ ЗА РОССИЮ

*К 175-летию художника Василия Верещагина*

Нет в истории русской живописи художника, более непохожего на мирного живописца, напоминающего всей своей судьбой скорее солдата, исполнителя воинский долг, чем вдохновенного маэстро свободных искусств. Он и вышел из воинской среды, из сообщества офицеров флота, и, занявшись живописью, сохранил глубокую приверженность ко всему строю воинской жизни, прежде всего – к упорному достижению цели, что так свойственно именно военному человеку. Этого художника звали Василий Васильевич Верещагин.

Род Верещагиных – старинный дворянский род из вологодских мест. Древний Череповец – их родина. Вологодские дворяне всегда отличались особой приверженностью к монарху, к престолу. Это у них в крови. В своё время ещё царь Иоанн Грозный, намеревавшийся одно время перенести столицу России в Вологду, расселял здесь своих самых верных сторонников, от них и пошли вологодские дворяне, и Верещагины – из их числа. Отец Василия Васильевича был предводителем местного череповецкого дворянства, военная косточка, он и детей своих, а было у него четыре сына, определил с малолетства по военной линии. Василий Верещагин так же, как и старший брат его Николай, был с пяти лет (!) зачислен в знаменитый Морской корпус в Санкт-Петербурге. Конечно, отбыл он туда позже, но обычного деревенского детства, как у иных помещичьих детей, у него не случилось. Воинская муштра началась для него с восьмилетнего возраста.

Такая жизнь может сломать иного человека, более слабого, но сильного мальчика она сделает ещё более сильным, настойчивым в достижении цели. Этих качеств у Василия Верещагина хватало. Позже он признавался в своих воспоминаниях, что всегда стремился быть первым. В классе на учёбе, в воинском строю, в занятиях спортом, в морском деле. Морской корпус, созданный ещё Петром Великим, – учебное заведение особого сорта. Там не только исправных служак воспитывали, но и разносторонних, образованных людей, ведь военный флот России всегда был гордостью империи, он всегда был на виду у императорского двора, ведь и Кронштадт – столица российского флота – был главной крепостью державы.

И потому отличнику учёбы, гардемарину Верещагину светила престижная судьба. Вполне вероятно, что он мог закончить свою службу на адмиральском мостике какого-нибудь грозного броненосца... От судьбы не уйдёшь, именно

так и случилось впоследствии: в возрасте 61 года он был убит на адмиральском мостике флагманского броненосца “Петропавловск” в самом начале Русско-японской войны. Только адмиралом был не он, а его друг – прославленный Степан Осипович Макаров. Обоих поглотила морская пучина... Хотя рядом с Макаровым стоял не военный моряк, а свободный художник, признанный и в России, и в Европе, и в Америке, знаменитый создатель великой антивоенной картины “Апофеоз войны” Василий Верещагин. Так море, от которого он ушёл сразу после окончания Морского корпуса, забрало его себе навеки.

А весной 1860 года, когда первый по результатам испытаний выпускник Морского корпуса Верещагин вдруг подаёт в отставку, отказавшись от престижной карьеры, всё для него было смутно и неопределённо. Да, он давно уже занимался рисованием, и талант его уже был признан многими, но никаких особых отличий он в этом деле ещё не достиг. Он намеревался поступить в Императорскую Академию художеств, но путь это был зыбкий, не сулящий ни славы, ни материального благополучия. Другое дело – офицер флота Его Величества! Вот почему родственники Верещагина сочли его поступок признаком начинающегося безумия. Отец Василия Верещагина, несостоявшегося офицера флота, в ярости лишил своего сына материальной помощи. Теперь бывший блистательный гардемарин должен был слоняться по съёмным углам, подрабатывать уроками рисования, едва ли не малевать портреты за гроши. Нужда, бедность – вот обычная судьба художника, и эта судьба будет преследовать Верещагина до конца его дней. Он станет прославленным живописцем, а жить будет в долг, и когда трагически погибнет, то его вдове придётся продать все его картины, дом и мастерскую за долги. В Москве нет музея-мастерской Василия Верещагина, а ведь этот художник открыл новую страницу в русской, да, пожалуй, и в мировой живописи – он первым восстал против монстра войны, он из века XIX заглянул в век XX, когда война стала угрозой гибели для всего человечества.

Итак, Верещагин стремился уйти от армии, заняться классическим искусством, прекрасной живописью, а судьба всё возвращала и возвращала его к теме войны, и никуда от этого нельзя было спастись, сражаться с монстром войны ему придётся всю свою жизнь. Три года он провёл в стенах Академии художеств в Санкт-Петербурге, писал работы на классические темы из области древнегреческой и древнеримской истории, научился композиции и изучил анатомию человеческого тела. Героические позы, выпренные жесты, постановочные сцены – всё это наскучило ему, и он в сердцах даже уничтожает первую свою большую работу, за которую в стенах Академии был удостоен серебряной медали – “Улисс убивает женихов Пенелопы”. Всё это было не то, художника влекла реальная жизнь России, а прежде всего – яркость типов, незаурядные человеческие лица. Где всё это можно было найти? Конечно, на Востоке, на Кавказе и в Средней Азии, которая как раз в эти годы присоединялась к Российской империи. И художник отправляется на Восток – сначала на Кавказ, потом и в Туркестан.

Была у него попытка освоить европейскую школу живописи, он ездил в Париж, учился там в школе известного мастера Жана Жерома, но в Европе не было той энергетики, которую он нашёл на Востоке. Стремился ли он к экзотике Востока, к пышным костюмам, торжественным ритуалам, связанным с жизнью восточных владык? Да, и это было в его творчестве. Достаточно вспомнить его картины “Двери Тимура” или “Богатый киргизский охотник с соколом” – всё это картины начала 1870-х годов, времени его поездки в Восточный Туркестан и Западный Китай, там есть и пышность, и экзотика Востока, и особый дух древней цивилизации. Может быть, Верещагин и стал бы со временем художником-ориенталистом, специалистом по восточной экзотике, может быть – бытописателем нравов и сцен жизни азиатских народов, может быть... Но другая реальность захлестнула его с головой – война и страдания человеческие.

Так уж случилось, что в 1868 году он оказался в составе русской действующей армии, которая покоряла Бухарский эмират – самое крупное феодальное государство той поры на землях Средней Азии. Бухарский эмират держал в подчинении народы этого региона, вёл бесконечные войны со своими соседями – Кокандским и Хивинским ханством, власть эмиров жестоко эксплуатировала местные народы – таджиков и узбеков. Русская армия под предводительством генерала Кауфмана отбила у бухарцев древний Самарканд, когда-то

столицу империи Тимура, причём местное население выразило полную покорность российским властям, “белому царю” — так звали на Востоке российского императора. Армия Кауфмана ушла дальше, оставив в Самарканде небольшой гарнизон, остался вместе с ним и художник Верещагин, баталист, долженствующий запечатлеть в своих рисунках эпизоды восточной войны. И он оказался в самом пекле этой войны, так как на Самарканд, оставленный армией Кауфмана, напали войска бухарцев.

Ситуация была очень тяжёлая. Небольшой русский гарнизон, засевший в цитадели Самарканда, оборонялся от огромной, нестройной, но озлобленной армии воинствующих исламистов. По всему Самарканду неистово кричали муллы, призывая правоверных идти на бой с “неверными”. На кого-то эти вопли произвели впечатление, и дикие толпы фанатиков бросились на штурм цитадели. Тут пришлось взять оружие всем, в том числе и штатской живописцу Верещагину. Он вспомнил, что он ведь военный человек, морской офицер. Он взял вместо кисти револьвер и устремился в самое опасное место боя. Он так впоследствии описывал эти события: *“Массы неприятеля обложили крепость и через день пошли на штурм. Я, как услышал выстрелы и крики “Ура!” на стенах, так бросил недопитый чай (который получилось допить только через три дня), схватил револьвер и побежал в самое опасное место, где пробыл девять дней. Разумеется, ни один солдат, ни один офицер не работал столько. Я поспевал везде, на всех вылазках был впереди, несколько раз схватывался врукопашную, и только вовремя подоспевшие солдаты выручали от верной смерти, так как накидывалось на меня по несколько человек. Когда уставшие солдаты не двигались с места, я нагружал трупы на арбы. Когда трупы убитых людей и лошадей, гнившие под самыми стенами, грозили болезнями и буквалью отравляли воздух, почти никто даже из солдат не хотел притронуться к этим трупам, представлявшим какой-то кисель, — я втыкал штык и проталкивал мертвечину со стен. Около меня на второй день штурма было убито 40 человек, из которых некоторые залили кровью моё пальто. Я получил страшный удар камнем, которые сыпались на нас градом из-за саклей; крови вытекло немало, но я стыдился показать себя раненным камнем, как это делали некоторые офицеры. Кажется, мне приписали спасение нашей пушки, по крайней мере, офицеры тут же после битвы поздравляли меня с первым крестом, что мне было дико, так как всё это я делал для забавы”.*

Тут мы опять сталкиваемся с парадоксальной, непредсказуемой личностью Василия Верещагина, человека порывистого, иной раз нервного в своих реакциях. Положа руку на сердце, разве можно поверить, что человек воюет и проливает кровь своих врагов, сам рискует поминуть своей жизнью, и всё это он делает “для забавы”? Война — это забава? Тогда как же расценить картины Верещагина, написанные им по воспоминаниям этой среднеазиатской войны, где показано крайнее ожесточение схватки, все ужасы и преступления, что творятся на поле боя, и, наконец, “Апофеоз войны” (так называется его знаменитая картина) — груда человеческих черепов среди пустыни, настающий курган смерти, воздвигнутый очередным завоевателем ради собственного мрачного тщеславия. Нет, всё понимал русский художник Василий Верещагин. Недаром посвящение к картине “Апофеоз войны”, начертанное им лично, звучит так: “Всем завоевателем — прошлого, настоящего и будущего”. Василий Верещагин проклял войну и завоевательные походы, запечатлев символ военного безумия — вот этот курган смерти. После него лишь только картина Пабло Пикассо — знаменитая “Герника” — сможет подняться до таких высот обобщения ужасов и безумия войны.

И вот в связи с этим возникает вопрос: а был ли художник Василий Васильевич Верещагин баталистом в полном смысле этого слова? Баталистом у нас принято называть художника, рисующего батальные сцены. Батальные сцены писал и Верещагин, он немало прошёл восточных дорог с нашими солдатами, сам воевал, как видим. У него есть очень точно запечатлённые сцены нападения мусульманских фанатиков на русский военный лагерь, сцены обороны нашими солдатами крепости и многое другое, но во всех картинах его есть какой-то особый подтекст, есть намёк на иные мотивы всего происходящего. Верещагину, как никому другому, удалось совместить на своих полотнах героизм и мужество русских солдат и отчаянный фанатизм исламистов. Героизму войны и её ужас и безысходность. Вот почему на его картинах так много трупов, иной раз даже целые поля трупов, как на полотнах времён

Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Это полотно “Побеждённые”, где показано это ужасное поле трупов, обезображенных человеческих тел, как русских, так и турок, которых смерть примирила и соединила перед лицом вечности. И крохотная группка людей на краю этого поля смерти – русский военный и священник в рясе, творящий заупокойную молитву, махающий кадилом, отпевающий всех – без разбора вер и национальностей. Безумие, абсурдность войны невозможно выразить более сильно, чем это выражено на полотнах Верещагина.

Разумеется, многим и в те времена было понятно, что Верещагин – не просто баталист, он активный борец против войны, против любого насилия и убийства. И полотна его нравились отнюдь не всем представителям власти. Не понравились они и императору Александру II, посетившему выставку в Санкт-Петербурге весной 1874 года. Там была представлена вся “туркестанская серия” картин Верещагина, которая прежде с триумфом прошла по выставочным залам Европы. В Европе картины Верещагина вызвали бешеный ажиотаж. Европейский “цивилизованный” обыватель вдруг увидел совсем иной мир – мир сильных страстей, яркого солнца, крови и железа, мир ярких восточных красок и сильных чувств. В то время Азия, Туркестан, да и сама загадочная Россия казались европейцу чем-то очень далёким, какой-то восточной сказкой. А оказалось, что это не сказка, – это мир, где шла борьба не на жизнь, а на смерть, где героизм и мужество русских солдат столкнулись с отчаянным фанатизмом и жертвенностью ислама.

Иной была реакция петербургских венценосцев. И государю-императору, и наследнику престола картина не понравилась. Александр Александрович высказался о Верещагине так: *“Всегдашние его тенденциозности противны национальному самолюбию, и можно по ним заключить одно: либо Верещагин скотина, или совершенно помешанный человек”*. В отчаянии Верещагин уничтожает несколько своих самых острых картин. Сам-то он считает себя безусловным патриотом России, он с гордостью носит Георгиевский крест 4-й степени, полученный им за бои в Самарканде, хотя от других наград отказывается. Он никогда не подвергал сомнению свой русский патриотизм, что доказал впоследствии, отправившись на поля Русско-турецкой войны, сражаясь за свободу Болгарии. Он запечатлел сражение на знаменитой Шипке и победу русских войск под командованием знаменитого генерала Михаила Скобелева в картине “На Шипке всё спокойно”. Все эти сражения он наблюдал не со стороны, он сам был участником боёв. Это была его принципиальная позиция – быть под огнём, рисовать там же. *“Выполнить цель, которой я задался, дать обществу картину настоящей, неподдельной войны нельзя, глядя на сражение в бинокль из прекрасного далека, а нужно самому всё прочувствовать и проделать, участвовать в атаках, штурмах, победах, поражениях, испытать голод, болезни, раны. Нужно не бояться жертвовать своей кровью, своим мясом, иначе картины мои будут не то”*.

Таков был этот художник, которого обвиняли и в непатриотизме, и в тенденциозности, а он, будучи храбрым русским патриотом, был ещё и философом человечности. Он, прославляя русское оружие, вместе с тем не мог не показать бессмысленность войны, абсурдность всего происходящего, вроде того кургана из человеческих черепов... Полотна Верещагина – это урок всему человечеству, его призыв быть людьми, а не озверелыми фанатиками. Разве это не крайне актуально сейчас, в наши дни?

Свой патриотизм Верещагин доказывал не только на полях сражений, а всем своим творчеством. Его последний крупный цикл работ, выполненный им в Москве, в своей мастерской в Нижних Котлах, в 90-е годы XIX века посвящён нашествию Наполеона на Россию в 1812 году. Василий Васильевич словно предвидел, что он не доживёт до 100-летнего юбилея тех событий в 1912 году, и писал цикл полотен о нашествии заранее, будто собираясь утвердить мысль в обществе, что главная тема его творчества – судьба России, которая часто перелеталась с кровопролитными войнами. И здесь тема патриотизма побеждает у Верещагина тему бессмысленности войны. Да, война – зло, говорит художник, но война за Отечество – это священное деяние, гордиться которым должно и нужно.

Особенно сильны в этой серии полотна, где отражался свободолюбивый дух русского народа. Верещагин писал и русских партизан, нападающих на захватчиков, и расстрел русских людей оккупантами в Москве. Видимо, соответствующие сцены из эпопеи Льва Толстого “Война и мир” явились для него

материалом к размышлению. И бегство армии Наполеона из России, где по заснеженной, красивой зимней русской дороге катится колонна чуждых России людей во главе с их предводителем Наполеоном, словно сама русская зима изгоняет врага прочь. Цикл этих работ был приобретён русским императорским правительством у вдовы художника уже после его смерти.

Василий Васильевич Верещагин был живой, непоседливый человек. Весь мир был его мастерская, или, как выразился поэт Николай Гумилёв о себе, но его слова можно приложить и к Верещагину: *“Любил он ветер с юга, в каждом шуме слышал звуки лир, говорил, что жизнь – его подруга, коврик под его ногами – мир...”*. В каких только странах не побывал Василий Васильевич: Европа, Америка носили его на руках. (Хотя, что уж греха таить, в Америке один ловкий устроитель его выставок обокрал художника, присвоив его картины.) Он выставлялся и в Хрустальном дворце в Лондоне, и в галереях Вены, возил выставку своих картин по Соединённым Штатам Америки, писал там в Белом доме портрет президента США Теодора Рузвельта. А затем он ехал на Восток, в Индию, и срисовывал там с природы знаменитый мавзолей Тадж-Махал, забирался в Тибет, едва не погиб там, заблудившись в горах. Его не оставляла мысль о страданиях человечества, о насилии, господствующем в мире, о несправедливости, царящей в человеческом обществе. И потому главная его работа, написанная им под впечатлением от поездки в Индию – это знаменитое полотно “Подавление индийского восстания англичанами” (1884). Англичане привязали к дулам пушек индийских крестьян и приготовились палить... В таких случаях тело человека бывает разорвано в куски. Нет, не забывал Василий Верещагин о предназначении художника – бороться с мировым злом, даже если это зло скрывается под личиной “цивизованности”.

Вот и на последнюю свою войну Василий Верещагин поехал именно с этой целью – ещё раз вступить в сражение со злом. Русско-японская война разразилась в начале 1904 года, и началась она с вероломного нападения японских миноносцев на Порт-Артур. Были повреждены многие русские корабли. Восстанавливать флот и нанести поражение японцам отправился на Дальний Восток прославленный адмирал Степан Осипович Макаров, близкий друг Верещагина. Сам художник поспешил за ним. Ему уже шёл 62-й год, дома, в Нижних Котлах, осталась жена и трое детей. В таком возрасте лучше сидеть дома, а не рисковать жизнью, но для него это была уже третья большая война, и он как патриот не мог остаться дома. По протекции Макарова он был официально причислен к штабу флота как штабной офицер, а это давало хоть небольшое, но жалованье. В последние годы семья художника сильно нуждалась, ведь его картины не покупались царским правительством в силу известных обвинений в “тенденциозности”.

В Порт-Артуре Верещагин, исполняя должность офицера, прикомандированного к командующему флотом, должен был выходить в море вместе со своим начальником, да он и сам стремился быть там, на мостике флагманского корабля: оттуда легче было зарисовывать силуэты наших и вражеских кораблей. Дело шло к большому морскому сражению, адмирал Макаров усиленно готовил флот к нему, часто выходил в море. Утром 13 апреля (по новому стилю) большое соединение русских кораблей вышло из гавани Порт-Артура для решающего боя. Командующий флотом адмирал Макаров находился на мостике флагманского броненосца “Петропавловск”. Рядом с ним был его офицер и друг, художник Верещагин. Появились японские корабли, но, увидев грозный строй русских броненосцев, начали спешно отступать. Макаров решил, что дело тут не чисто, что японцы заманивают русский флот в какую-то ловушку, и, в свою очередь, стал отходить к внешней гавани Порт-Артура, но ловушка уже успела захлопнуться – в 9 часов 35 минут утра флагманский броненосец “Петропавловск” подорвался на связке плавучих мин (по официальной версии). Взрыв был чудовищной силы. По свидетельству очевидцев, броненосец буквально был расколот пополам и за 2 минуты ушёл на дно.

Один из матросов “Петропавловска” видел, как взрывной волной адмирала Макарова и художника Верещагина буквально снесло с мостика, и они оказались за бортом. Броненосец сразу погрузился в пучину моря, и многие трупы засосала огромная воронка. Тела Макарова и Верещагина так и не нашли. Вместе с ними погибло до 600 человек русских моряков...

Так война, с которой всю жизнь боролся Василий Верещагин, убила русского художника. Но дух его картин, призывающий мир к человечности, к отвержению насилия и зла – это и есть лучший памятник ему. Русскому патриоту и миротворцу Василию Васильевичу Верещагину.



## НЕКРОЛОГ

---



Общественный совет журнала потерял одного из своих давних членов. Скончался Сергей Николаевич Есин. Человек счастливой судьбы, прославившийся своим романом “Имитатор”, долгое время возглавлявший Литературный институт имени А.М. Горького, где он даже считался своеобразным талисманом.

В “Нашем современнике” печаталась его замечательная повесть “Стоящая в дверях”, год за годом публиковались выдержки из его дневников, ставших летописью литературной жизни конца XX — начала XXI века.

В последнее время Есин часто повторял, что хотел бы умереть легко, в пути. Так и получилось – в начале декабря 2017 года он оказался в делегации Литературного института в Минске, готовился к встречам с литераторами, читателями, администрацией столицы Беларуси. Проснувшись утром в гостинице, стал одеваться и — внезапная смерть.

Многим сотрудникам “Нашего современника” он запомнится как замечательный собеседник, специалист по литературе, непримиримый спорщик, если его мнения расходились с мнениями других собеседников.

Мир твоему праху, Сергей Николаевич!

## ТВОРЧЕСКИЕ ИТОГИ 2017 ГОДА

**Премия имени В. В. Кожина** за работу “Время вокзала” (№ 11), а также за достойное служение русской литературе присуждена Юрию Васильевичу УБОГОМУ;

**Премия имени Л. М. Леонова** (номинация “Молодые прозаики”) за рассказ “Яблоки” (№ 8) присуждена Дмитрию ФИЛИППОВУ (Петербург);

**Премия имени Ю. П. Кузнецова** (номинация “Молодые поэты”) за подборку стихов “И это — нормально” (№ 8) присуждена Григорию ШУВАЛОВУ (Москва);

**Премия имени А. Г. Кузьмина** (номинация “Молодые историки и публицисты”) присуждена Яне САФРОНОВОЙ (Подмосковье);

**Ежегодные премии за лучшие произведения 2017 года присуждены:**

— Анатолию БАЙБОРОДИНУ, прозаику, публицисту — за статью “Поле скорби Виктора Астафьева” (№ 9);

— Сергею БЕРЕЖНОМУ, прозаику — за записки добровольца “Тихая работа вежливых людей” (№ 7);

— Николаю БЕСЕДИНУ, поэту — за подборку стихов “Пусть душа отдохнёт” (№ 4);

— Владимиру БУШИНУ, публицисту — за статью “Мадам, рукопись на бочку!” (№ 9);

— Александру ВОДОЛАГИНУ, публицисту — за статью “Сильные мысли о России” (№ 11);

— Валерию ГАНИЧЕВУ, историку, публицисту — за статьи “Цивилизация Донбасса” (№ 4) и “Встречи с песней” (№ 9);

— Алексею КАСМЫНИНУ, прозаику — за рассказ “Сделка” (№ 10);

— Елене ЛАРИНОЙ, публицисту — за цикл статей “Преступность эпохи промышленной революции XXI века” (№ 3–5, 10–12);

— Марку ЛЮБОМУДРОВУ, критику — за статьи “Чужое” (№ 2) и “Архипастырь Всея Руси” (№ 10);

— Сергею МИХЕЕНКОВУ, прозаику — за повесть “Бессмертный солдат” (№ 6);

— Владимиру ОВЧИНСКОМУ, публицисту — за цикл статей “Преступность эпохи промышленной революции XXI века” (№ 3–5, 10–12);

— Ивану ПЕРЕВЕРЗИНУ, поэту — за подборку стихов “И длится день, как век, суров и горек...” (№ 10);

— Василию СТРУЖУ, поэту — за подборку стихов “Что апокалипсиса ждать?” (№ 12);

— Светлане СЫРНЕВОЙ, поэту — за подборку стихов “Сон течёт по корням до ствола” (№ 10);

— Михаилу ТАРКОВСКОМУ, прозаику — за повесть “Фарт” (№ 9).

В 2017 году престижных литературных премий за публикации в журнале “Наш современник” удостоены Александр КАЗИНЦЕВ, Сергей КУНЯЕВ, Елена ТУЛУШЕВА, Сергей ШАРГУНОВ.

**Поздравляем лауреатов!**